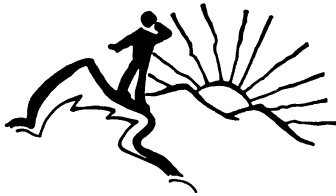


ф а з и л ь  
Искандер

с о б р а н и е



с о з в е з д и е к о з л о т у р а



**собрание**

фазиль

# ИСКАНДЕР

созвездие козлотура



МОСКВА

2003

ББК 84.7-4

И86

*Издательство выражает благодарность  
Александру Леонидовичу Мамуту  
за поддержку в издании книги*

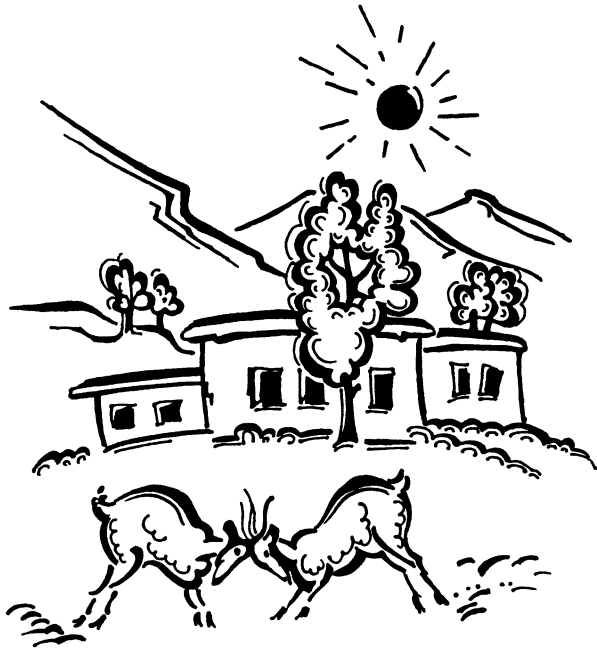
*Макет, оформление, иллюстрации*  
Валерий Калныньш

ISBN 5-94117-059-9

© Ф. А. Искандер, 2003

© В. Я. Калныньш, 2003

© Издательский дом «Время», 2003





путь из варяг в греки

созвездие козлотура

детство чика

сандро из чегема 1

сандро из чегема 2

сандро из чегема 3

софичка

человек и его окрестности

козы и шекспир

паром



## созвездие козлотура

В один прекрасный день я был изгнан из редакции одной среднерусской молодежной газеты, в которой проработал неполный год. В газету я попал по распределению после окончания института.

По какому-то дьявольскому стечению обстоятельств оказалось, что мой редактор пишет стихи. Мало того, что он писал стихи, он еще из уважения к местному руководству выступал под псевдонимом, хотя, как потом выяснилось, псевдоним он взял напрасно, потому что местное руководство знало, что он пишет стихи, но считало эту слабость вполне простительной для редактора молодежной газеты.

Местное руководство знало, но я не знал. На первой же лекции я стал критиковать одно напечатанное у нас стихотворение. Я его критиковал без всякого издевательства, хотя, возможно, и с некоторым оттенком московского снобизма, что, в общем, простительно для парня, только-только окончившего столичный вуз.

Во время своего выступления я краем глаза заметил странное выражение лиц наших сотрудников, но не придал этому большого значения. Мне, честно говоря, показалось, что они поражены изяществом моей аргументации.

Возможно, мне все это и сошло бы с рук, если б не одна деталь. В стихах, написанных от имени сельского комсомольца,

говорилось о преимуществах картофелекопалки перед ручным сбором картофеля.

По простоте душевной и даже литературной я решил, что это одно из тех стихотворений, которые приходят самотеком во все редакции мира, и в конце своего выступления, чтобы не совсем обижать автора, сказал, что все же для сельского комсомольца оно написано довольно грамотно.

Впоследствии я никогда не критиковал стихи нашего редактора, но, кажется, он мне не верил и считал, что я эту критику перенес в кулуары.

В конце концов, я думаю, он правильно решил, что для провинциальной молодежной газеты вполне достаточно одного стихотворца. Какого именно, в этом у него не было сомнений, как, впрочем, и у меня.

Весной началась кампания по сокращению штатов, и я попал под нее. Весна вполне подходящее время для сокращения штатов, но мало приспособленное для расставания с любимой девушкой.

Я был тогда влюблен в одну девушку. Днем она работала учетчицей в бухгалтерии одного военного учреждения, а вечером училась в вечерней школе. Между этими двумя занятиями она успевала назначать свидания, и, к сожалению, не только мне. Она разбрасывала эти свидания, как цветы.

Можно сказать, что в те годы она проходила сквозь жизнь с огромным букетом цветов, небрежно разбрасывая их напра-

во и налево. Каждый, получивший такой цветок, считал себя будущим хозяином всего букета, и на этом основании возникло множество недоразумений.

Однажды мы встретились в парке и некоторое время гуляли по аллеям, обсаженным могучими старыми липами. Был чудесный вечер с далекой музыкой, с листьями, шуршащими под ногами, с расплывающимся в сумерках ее живым, смеющимся лицом.

Когда мы вышли из аллеи на освещенную фонарем площадку, я заметил группу ребят. Один из них, на вид наиболее сумрачный, отделился от своих дружков и направился к нам. Его сумрачное лицо сразу же мне не понравилось, я даже подумал, что лучше бы к нам подошел кто-нибудь из остальных, но подошел именно он.

Он приблизился к нам и молча, не говоря ни слова, влепил ей пощечину. Я бросился на него, мы сцепились, но потом подошли остальные и все испортили. Я был сбит с ног и порядочно помят. Так приостанавливают или предотвращают в наши дни дуэли.

Оказалось, что она в этом парке чуть ли не на это же время назначила ему свидание.

— Хорошо, но почему в этом же парке? — спросил я у нее, стараясь уловить какую-то логику в ее поведении.

— Не знаю, — ответила она, смеясь и нежно отряхивая мой пиджак, — но ведь и я тоже получила...

Я посмотрел на нее и горестно подумал, что ей все идет — от пощечины лицо ее сделалось еще более хорошеньким.

В последнее время ее преследовал один, как нам тогда казалось, пожилой майор. Она, смеясь, часто рассказывала о нем, и это меня тревожило. Я уже знал, что, если девушка слишком смеется над своим поклонником, а тот достаточно упорен, она может выйти за него замуж хотя бы под тем предлогом, что ей с ним весело. В упорстве майора я не сомневался.

Все это не слишком способствовало моему служебному рвению и давало некоторые внешние поводы для осуществления тайного замысла моего редактора.

Чтобы замаскировать свою пристрастность ко мне, редактор сократил вместе со мной нашу редакционную уборщицу, хотя сократить следовало двух наших редакционных шоферов, которые все равно ничего не делали, потому что месяцем раньше началась кампания по экономии горючего и им перестали выдавать бензин. Они до того обленились, что отпустили бороды и целыми днями, не снимая пальто, играли в шашки, сидя на редакционном диване, с лицами, развратно перекошенными от непроходящей похмельной скуки.

Там, где можно было на машине проскочить за материалом в один день, мы ездили в командировку на несколько дней, потому что кампанию по сокращению командировочных расходов тогда еще не проводили.

Так или иначе, сокращение состоялось, и я решил, что мне надо ехать на родину. Редакция щедро со мной расплатилась. Я получил зарплату, какие-то непонятные отпускные и гоно-

рар за свои последние корреспонденции. В ту пору я еще жил студенческими представлениями о финансовом могуществе и поэтому решил, что по крайней мере на два месяца мне обеспечена полная независимость.

Я в последний раз проводил свою девушку до вечерней школы.

— Обязательно пиши, — сказала она и, в последний раз бросив мне ослепительную улыбку, исчезла в темном проеме дверей вечерней школы.

Я считал, что такая любовь, конечно, не зависит ни от времени, ни от разлуки. Все же я был несколько уязвлен ее мужеством, мне хотелось более ощутимых признаков ее привязанности, чем эта улыбка.

Вечер я провел на скамье городского парка, обдумывая свою прошедшую жизнь и мечтая о новой. Я сидел на сырой скамье в уже расцветающем, голом, холодном парке. Неожиданно из репродуктора полилась песенка Сольвейг. И пока она звучала, мне ничего не стоило легким, незаметным, может быть, чуть-чуть шулерским движением вложить душу Сольвейг в мою девушку.

Нет, думал я, мир, в котором создана такая песня, несмотря на все свои погрешности, имеет право на счастье и будет счастлив.

И довольно легкомыслия, думал я, надо принять участие в преобразовании мира, пора стать взрослым человеком, пора устраиваться на работу в настоящую взрослую газету, где занимаются настоящими взрослыми делами.

Надо сказать, к этому времени, независимо от моего сокращения, мне порядочно надоел псевдомолодежный словарь нашей газеты, ее постоянное бесплодное бодрячество. Мне надоели все эти задумки вместо замыслов, живинки вместо живости, веселинки вместо веселья и даже глубинки вместо глубины. Черт его знает что!

Нет худа без добра, думал я, теперь я стану настоящим журналистом, и она многое поймет и оценит.

Что именно она поймет, я представлял смутно, но то, что она оценит меня, казалось мне бесспорным.

Ночью друзья проводили меня на московский поезд. Согретый их прощальной лаской, я уехал в Москву, чтобы оттуда ринуться вниз на родину, на благословенный юг.

В Москве мне удалось тогда проездом напечатать одно стихотворение, что по тогдашним временам было немалым успехом. С одной стороны, я наносил удар своему бывшему редактору, потому что он в Москве не печатался. С другой стороны, стихотворение шло на родину впереди меня и должно было сыграть роль визитной карточки в нашей газете «Красные субтропики», где я собирался устраиваться.

— Да, да, уже читали, — сказал редактор газеты Автандил Автандилович, как только увидел меня в коридоре редакции. — Кстати, не собираешься ли ты вернуться в родные края?

Он, видимо, решил, что я приехал в отпуск.

— Собираюсь, — сказал я, и мы обо всем договорились. Мы договорились, что он меня возьмет, как только один старый сотрудник редакции уйдет на пенсию.

С месяц я гулял по берегу моря, ходил по пустынным пляжам, стараясь переложить на стихи свои не слишком веселые раздумья. Два моих письма, посланные ей, остались без ответа, и я самолюбиво замолчал. Правда, я еще написал письмо товарищу, с которым работал в молодежной газете. В письме я вскользь упомянул, что уже принят в настоящую взрослую газету, куда просил черкнуть о себе, если ему такое придет в голову. Кстати, писал я, если кое-кого случайно встретишь на улице, можешь сообщить об этом, разумеется, если найдешь уместным. В конце я передавал привет всем без исключения сотрудникам редакции. Письмо, по-моему, было выдержано в спокойных тонах с легким налетом мудрого снисхождения.

Воздух родины, насыщенный резким запахом моря и мягким женственным запахом цветущих глициний, успокаивал меня. Возможно, йод, растворенный в морском воздухе, благотворно действует не только на телесные, но и на душевные раны. Целыми днями я валялся на пустынном пляже и загорал. Иногда мимо меня проходили небольшими группами местные сердцееды. Они хозяйственно оглядывали пляж, они изучали его, как полководцы изучают рельеф местности, где вскоре предстоят великие битвы.

Наконец человек, который должен был пойти на пенсию, согласился пойти, потому что в это время прошла небольшая кампания за то, чтобы люди, достигшие пенсионного возраста, действительно шли на пенсию. До этого он всячески бодрился, но тут ему пришлось согласиться. Его торжественно

проводили и даже купили ему резиновую надувную лодку. Правда, он еще намекал на спиннинг, но намек его остался непонятым, потому что надувная лодка и без того опустошила кассу месткома. Впоследствии он стал повсюду говорить, что его отправили на пенсию против воли и даже не подарили обещанного спиннинга, хотя спиннинга ему никто не обещал. Ему обещали подарить резиновую лодку и подарили, а про спиннинг и речи не было.

Я об этом говорю так подробно, потому что в какой-то мере получалось, как будто я сел на его место, хотя я был принят как местный кадр и имеющий квартиру.

С работниками нашей газеты я был знаком не первый год, потому что еще студентом во время летних каникул неоднократно пытался заинтересовать их своими литературными произведениями. Заинтересовать, как правило, не удавалось, зато я кое-что узнал о наших сотрудниках.

Во всяком случае, я твердо знал, что редактор газеты Автандил Автандилович стихов никогда не писал и писать не собирается. Более того, он вообще за все время своего пребывания в газете, во всяком случае на моей памяти, ничего не писал.

Этот человек по самой природе своей был руководителем широкого профиля. Как и многие мои соотечественники, он обладал прирожденным застольным талантом. Высокий рост, кучерявые волосы, мужественная внешность делали его одинаково желанным, более того — необходимым как за банкетным столом, так и за столом президиума на больших собрани-



ях. Он свободно говорил на всех кавказских языках, и тосты, которые он произносил, не нуждались в переводах.

До своего редакторства он руководил местной промышленностью, разумеется, в масштабах нашей маленькой, но симпатичной автономной республики. Вероятно, с делом своим он справлялся хорошо, может быть, даже очень хорошо, потому что появилась настоятельная необходимость его выдвинуть, и, когда открылась возможность, его сделали редактором газеты.

Как прирожденный руководитель широкого профиля, он быстро освоил новое дело. Оперативность его была действительно необычайна. В нашей газете довольно часто появлялись передовые на важнейшие темы промышленности и сельского хозяйства одновременно с центральными газетами, а то и днем раньше.

Я, как и мечтал, был принят в отдел сельского хозяйства. В эти годы одна за другой в сельском хозяйстве проходили реформы. Мне хотелось разобраться во всем этом, понять, что куда идет, и стать в конце концов настоящим знатоком своего дела.

Руководил отделом Платон Самсонович. Не следует удивляться его имени. У нас таких имен — хоть пруд пруди. Видимо, они у нас остались еще со времен греческой и римской колонизации Черноморского побережья.

Я знал его и раньше — это был тихий и мирный человек, мы часто с ним ловили рыбу. Более опытного и умелого рыбака на нашем побережье я не знал.

Но ко времени моего поступления в редакцию он совершенно изменился: про рыбалку не вспоминал и даже продал свою лодку. Он ходил по редакции лихорадочно возбужденный, с каким-то сумрачным блеском в глазах, с многозначительно поджатыми губами. Он и всегда был человеком небольшого роста, правда, жилистым и крепким. Теперь он совсем усох, стал еще более жилистым и как бы наэлектризованным.

Дело в том, что в это время проходила кампания по разведению козлотуров, и он был первым пропагандистом этого дела.

Вот как это началось. Года два назад Платон Самсонович побывал в одном горном заповеднике и привез оттуда небольшую заметку о селекционере, которому удалось скрестить горного тура с обыкновенной козой. В результате появился первый козлотур. Он спокойно пасся среди домашних коз, не подозревая, какое великое будущее предназначила ему судьба.

На заметку в газете никто не обратил внимания, но, оказывается, один большой человек, хотя и не министр, однако никак не меньше министра по значению, прочел ее. Он каждый год отдыхал у нас на Оранжевом мысе. Он прочел ее и сказал вслух:

— Интересное начинание, между прочим...

Теперь уже трудно установить, обращался ли он с этими словами к окружающим или просто так вымолвил вслух то, что ему подумалось, но на следующий день Автандилу Автандиловичу позвонили и сказали:

— Поздравляем, Автандил Автандилович, он сказал, что это интересное начинание, между прочим.

Автандил Автандилович созвал сотрудников и в праздничной обстановке объявил благодарность Платону Самсоновичу. Кроме того, он срочно командировал его вместе с нашим фотокором, с тем чтобы он теперь привез развернутый очерк о жизни козлотура.

— Не исключено, что в будущем козлотуры займут достойное место в нашем народном хозяйстве, — сказал Автандил Автандилович.

Через неделю в газете появился очерк под заголовком «Интересное начинание, между прочим». Очерк занимал половину газетной полосы и был снабжен двумя крупными фотографиями козлотура — анфас и профиль. В профиль морда козлотура была похожа на лицо вырождающегося аристократа со скептически оттянутой нижней губой. Анфас морда козлотура с мощными, великолепно загнутыми рогами выражала как бы некоторое недоумение. Казалось, козлотур сам не может понять, кто он в конце концов, козел или тур, и что лучше: становиться козлом или оставаться туром.

В очерке подробно рассказывалось о его дневном рационе, о его трогательной привязанности к человеку. Особенно много говорилось о его преимуществах перед обычной козой.

Во-первых, он в среднем в два раза тяжелее обычной козы (решение мясной проблемы), во-вторых, он отличается исключительной крепостью конституции, что делает в будущем выпас козлотуров на самых крутых горных склонах практи-

чески безопасным. В этом месте, кстати, отмечалось, что благодаря мягкому, спокойному характеру животного выпас козлотуров не представляет большого труда и один пастух может справиться с двумя тысячами козлотуров.

О шерстистости козлотура Платон Самсонович писал в игривых тонах. Он писал, что густая шерсть белой и пепельной окраски — дополнительный подарок нашей легкой промышленности. Оказывается, жена селекционера связала себе кофточку из шерсти козлотура, и выглядит эта кофточка, по мнению Платона Самсоновича, ничуть не хуже импортных. «Модницы будут довольны», — уверял он.

В очерке отмечалось, что козлотур сохранил высокую прыгучесть своего знаменитого предка, а также красоту рогов, которые после определенной обработки могут служить украшением или прекрасным сувениром для туристов и доброжелательно настроенных иностранных гостей.

Я перечитал все материалы, посвященные козлотуру, и должен сказать, что этот очерк был самым красочным. Платон Самсонович вложил в него всю свою душу.

Видимо, очерк вызвал большой приток читательских писем, потому что вскоре в газете появились две новые рубрики: «По тропе козлотура» и «Посмеемся над маловерами». В первой рубрике печатались положительные отклики и комментарии к ним. Во второй рубрике цитировались письма скептиков и тут же им давалась отповедь.

Под рубрикой «По тропе козлотура» было опубликовано письмо одного ученого, который писал, что лично его нис-

колько не удивляет появление козлотура, потому что все это давно предвидели последователи его агробииологии, тогда как некоторые ученые, находящиеся в плену у сомнительных теорий, не предвидели и, естественно, не могли предвидеть ничего такого.

В заключение великий ученый сообщил, что козлотур подтверждает правильность и его собственных опытов.

Это был знаменитый наш ученый. В свое время он выдвинул гипотезу, что современный баран — это не что иное, как первобытный ящер, видоизменившийся в борьбе за существование. Гипотезу он доказал на основании, кажется, сравнительного анализа лобных пазух современного барана и черепа ископаемого ассирийского ящера.

Отсюда великий ученый сделал естественный вывод, что курдюк барана как видоизменившийся хвост ящера должен был сохранить некоторую способность восстанавливаться.

Предстояло развить эту способность, с одной стороны, и приучить организм барана к безболезненному отрыву курдюка, с другой стороны. Этим он и был занят в последние годы. Судя по всему, опыты проходили успешно.

Правда, находились и завистники, которые жаловались, что гениальные эксперименты великого человека никто не может повторить. Жалобщикам вполне резонно отвечали, что эксперименты потому-то и гениальные, что их никто не может повторить.

Одним словом, поддержка великим ученым нашего козлотура была своевременна и благотворна.

Под этой же рубрикой было опубликовано письмо какой-то женщины. По-видимому, она ничего не поняла из статьи Платона Самсоновича или судила о ней понаслышке, потому что спрашивала, где можно купить кофточку из шерсти козлотура. Редакция вежливо разъяснила ей, что пока еще рано говорить о промышленном производстве кофточек, но само по себе ее письмо должно заставить призадуматься хозяйственные организации и уже сегодня начать подготовку к приему и обработке шерсти козлотура.

Здесь же было опубликовано письмо коллектива работников городской бойни, поздравлявшей тружеников сельского хозяйства с новым интересным начинанием. Работники бойни предлагали взять шефство над колхозом, который первым начнет выращивание козлотуров.

Под рубрикой «Посмеемся над маловерами» были опубликованы выдержки из писем какого-то зоотехника и агронома.

Зоотехник вежливо сомневался, что гибрид даст поколение, и, следовательно, вся затея с козлотурами не имеет будущего. По этому поводу редакция радостно сообщала, что козлотур уже покрыл восемь козематок и по всем признакам не собирается останавливаться на этом. Покрытые козы чувствуют себя хорошо, а покрытие продолжается.

Агроном оказался более желчным. Он высмеял все качества козлотура, вместе взятые и каждое в отдельности. Особенно досталось прыгучести. Тут он прямо-таки плясал на костях. Интересно, писал он, как в сельском хозяйстве можно ис-

пользовать высокую прыгучесть козлотура? Мы не знаем, писал он, как избавиться от прыгучести наших коз, потому что от нее страдают кукурузные поля, а тут еще прыгучесть козлотура. Кроме того, он пытался острить насчет того, что не собирается ли редакция выставить на следующих Олимпийских играх козлотура в качестве прыгуна.

Редакция дала ему достойную отповедь. Сначала в спокойных тонах Платон Самсонович ему разъяснил, что высокая прыгучесть козлотура — очень ценное качество, потому что в будущем стада козлотуров будут пастись на альпийских лугах, на склонах, недоступных для обыкновенных домашних коз. И там благодаря высокой прыгучести козлотур может сравнительно легко уходить от хищников, от которых все еще страдает общественный скот.

Что касается прыгучести колхозных коз, писал дальше Платон Самсонович, то редакция никакой ответственности за нее не несет, а несут ответственность колхозные пастухи, которые, вероятно, целыми днями спят или режутся в карты. Штрафовать надо таких пастухов, и не только пастухов, но и ответственных работников колхоза, начиная от председателя и кончая агрономом, который все еще путает альпийские луга с олимпийскими полями.

Желчный агроном после этого письма, видимо, больше не пытался спорить, зато вежливый зоотехник продолжал подавать голос.

Имя его снова появилось под рубрикой «Посмеемся над маловеерами».

Он писал, что ответ редакции его не удовлетворяет, потому что если гибрид и сохранил свою способность покрывать коз, то это еще не значит, что он способен давать потомство. Кроме того, он считал, что в животноводстве надо делать упор на крупный рогатый скот, в частности на буйволов, тогда как козлотур, хотя и крупнее козы, все-таки остается мелким рогатым скотом.

Редакция ему отвечала, что, напротив, высокая способность к покрытию как раз и доказывает, что козлотур будет давать потомство. В ближайшие месяцы все выяснится, время работает на нас, писала редакция. Что касается направления нашего животноводства, то, во-первых, козлотура никак не назовешь мелким рогатым скотом, хотя он и меньше, чем крупный рогатый скот, а во-вторых, исключительное внимание к крупному рогатому скоту ясно показывает, что зоотехник все еще страдает гигантоманией, характерной для невозвратных времен.

Через несколько месяцев газета целой полосой отметила праздничное событие — все козы, покрытые козлотуром, а их было тринадцать, дали приплод, причем четыре из них дали двойняшек, а одна коза родила трех козлотурят.

На огромном снимке через всю полосу было изображено многочисленное семейство козлотура вместе с юными козлотурятами. В центре стоял козлотур, и морда его теперь не выражала никакого недоумения. Казалось, он нашел себя — выглядел солидно и спокойно.

Ко времени моего появления в редакции «Красных субтропиков» Платон Самсонович стал первым газетчиком. Те-



перь он писал не только на сельскохозяйственные темы, но и на культурно-просветительные, а также передовые по отделе пропаганды. Его статья «Козлотур — оружие в антирелигиозной пропаганде» была отмечена на доске лучших материалов.

Целыми днями Платон Самсонович сидел за своим редакционным столом, окруженный учебниками по агробиологии, письмами селекционеров и всяческими диаграммами. Иногда он делался задумчивым и неожиданно вздрагивал.

— Что с вами, Платон Самсонович? — спрашивал я у него.

— Ты знаешь, — говорил Платон Самсонович, радостно приходя в себя и оживляясь, — я часто вспоминаю свою первую заметку. Ведь я тогда еще думал: давать эту информашку или нет? Чуть было не прошел мимо великого начинания.

— А что, если бы прошли? — говорил я.

— Не говори, — отвечал Платон Самсонович и снова вздрагивал.

Платон Самсонович отдавал газете все свое время. Он приходил в редакцию раньше всех и уходил поздно вечером, так что мне даже как-то бывало неудобно уходить домой после рабочего дня. Впрочем, он всегда радостно меня отпускал. Дома он не мог работать, потому что он жил в одной комнате, а семья у него была большая — жена и взрослые дети. Он уже много лет стоял в очереди горсовета, и в конце концов уже при мне ему выдали новую квартиру. Я думаю, тут не последнюю роль сыграло возвышение его имени посредством козлотура.

В день получения квартиры мы все его искренне поздравляли, намекали на новоселье, но он с каким-то непонятным упорством отклонял эти невинные намеки.

Истинный смысл его упорства мы поняли только через несколько дней, когда узнали, что он ушел из семьи и остался в старой квартире. Потом мне рассказывали, что и раньше он несколько раз порывался уйти из семьи. Но, во-первых, уйти было некуда, а во-вторых, жена приходила жаловаться редактору, и Автандил Автандилович водворял его обратно.

Она и на этот раз пришла в редакцию и сказала:

— Верните мне моего изобретателя.

Автандил Автандилович вызвал Платона Самсоновича к себе в кабинет и начал, как обычно, водворять его. Но тот наотрез отказался вернуться в семью, хотя помогать ей не отказывался.

— Теперь не те времена, — сказал ей Автандил Автандилович, — решайте сами свои семейные дела...

— Они смеются надо мной, — вставил, говорят, в этом месте Платон Самсонович.

— Как смеются? — удивился редактор. — Платон Самсонович занят большой государственной проблемой...

— Они мешают моей творческой мысли, — подсказал, говорят, Платон Самсонович.

— Верните мне моего изобретателя, — повторила жена.

— Она и сейчас смеется, — пожаловался Платон Самсонович.

— Он же не требует развода? — спросил у нее редактор.

— Еще этого не хватало, — сказала, говорят, она.

— Считайте, что он живет в отдельном кабинете, — заключил Автандил Автандилович.

— Перед людьми стыдно, — сказала, говорят, жена его, немного подумав.

На этом и решили. В сущности говоря, уходя от семьи, Платон Самсонович не собирался обзаводиться новой семьей или тем более любовницей. Он как бы удалялся от мирских сует, чтобы полностью отдаться любимому делу.

После его частичного ухода из семьи жена все-таки приходила менять ему белье и убирать квартиру. Платон Самсонович с удвоенной энергией продолжал заниматься своим детищем. Время от времени он выискивал новый угол зрения, под которым можно было рассматривать проблему разведения козлотуров.

Уже при мне, когда на берегу моря рядом с кофейней открыли павильон прохладительных напитков, он добился, чтоб его назвали «Водопой козлотура». Он любил посещать это заведение.

Иногда по вечерам, выходя из кофейни, я видел его в павильоне. Он пил нарзан, облокотившись о мраморную стойку с видом усталого, но довольного покровителя.

Хотя Платон Самсонович был за самые широкие и неожиданные формы пропаганды козлотура, никакого легкомыслия в этом отношении он не допускал.

Когда наш фельетонист сравнил одного многоженца, злостного неплательщика алиментов, с козлотуром, Платон Сам-

сонович выступил на летучке и заявил, что такое сравнение дискредитирует в глазах колхозников всенародное начинание.

— Наверяд ли здесь есть серьезная ошибка, но прислушаться к замечанию стоит, — примирительно заключил Автандил Автандилович.

Платон Самсонович разработал рацион кормления козлотуров и предлагал колхозникам придерживаться его. В то же время он открывал дорогу и личной инициативе колхозников, советуя им прикармливать козлотуров сверх рациона другими продуктами и о результатах писать в газету.

— Первая ласточка, — как-то сказал Платон Самсонович, с нежностью показывая на обложку иллюстрированного журнала, который он держал в руках.

Я посмотрел и увидел снимок козлотура со всем его семейством, тот самый, который был у нас в газете, только этот был исполнен в цвете и выглядел еще более празднично.

Вскоре одна из московских газет дала статью под заголовком «Интересное начинание, между прочим», где рассказывалось о нашем опыте по выращиванию козлотуров.

Газета рекомендовала колхозам центральных и черноземных областей нашей страны изучить этот опыт и без излишней паники, не забегая вперед и вместе с тем не теряя драгоценного времени, поддержать это новаторское начинание.

Предугадывая возражения насчет разницы климата, автор статьи напоминал, что козлотур не должен бояться холода, так как вырос по отцовской линии в суровых условиях высокогорной зоны альпийских лугов.

Платон Самсонович тихо торжествовал. На последней летучке он довольно неожиданно заявил, что пора объявить штату Айова, с которым мы соревновались по производству кукурузы, соревнование по разведению козлотуров.

— Но ведь они не разводят козлотуров? — сказал редактор не совсем уверенно.

— Пусть попробуют в условиях фермерского хозяйства, — ответил Платон Самсонович.

— Надо посоветоваться с товарищами, — сказал редактор и включил вентилятор в знак того, что летучка окончена.

Вентилятор стоял на столе напротив него, и каждый раз, начиная совещание, Автандил Автандилович выключал его, и голова его прямо возвышалась над жирными лопастями вентилятора, и он был похож на пилота, прилетевшего издалека. Кончая совещание, он включал вентилятор, лицо его каменело, и тогда казалось, что он неподвижно улетает в нужном направлении.

На следующий день он сказал Платону Самсоновичу, что со штатом Айова следует подождать.

— Между нами говоря, перестраховщик, — Платон Самсонович кивнул в сторону редакторского кабинета.

Однажды под рубрикой «По тропе козлотура» появилось письмо работников сельскохозяйственного научно-исследовательского института с Северного Кавказа. Они писали о том, что с интересом следят за нашим начинанием и сами уже скрестили северокавказского тура с козой. Первый туркоз, писали они, чувствует себя превосходно и быстро растет.

Комментируя письмо, Платон Самсонович от имени закавказских энтузиастов поздравил северокавказских коллег с большим успехом. При этом он добавил, что успех будет еще значительней, если они и в дальнейшем будут придерживаться разработанного им рациона кормления нового животного. Платон Самсонович писал, что всегда был уверен, что именно они, северокавказцы, как наши ближайшие соседи и братья, первыми подхватят передовой опыт.

Письмо пошло в номер без всяких изменений, кроме того, что Платон Самсонович слово «турокоз» заменил на принятое у нас «козлотур».

Почему-то авторы письма обиделись на это невинное исправление и прислали на имя редактора опровержение, где писали, что они и не думали в кормлении своего турокоза придерживаться нашего рациона, а кормили и будут в дальнейшем кормить его, строго придерживаясь метода, разработанного собственным научным аппаратом института. Кроме того, они сочли необходимым заявить, что название «козлотур» антинаучно, ибо сам факт (а факты упрямая вещь!) скрещивания именно тура с козой, а не козла с турицей, говорит о гегемонии тура над козой, что и должно быть отражено в названии животного, если к вопросу подходить с научной точностью. Только если вам удастся скрестить козла с турицей, писали они, название «козлотур» можно будет считать оправданным, и то с некоторой натяжкой. Но в этом случае наши разногласия сами по себе отпадут, потому что речь будет идти о двух новых животных, полученных принципиаль-

но различными способами, что, естественно, будет отражено в двух различных названиях. Таким образом, вы будете продолжать свои эксперименты со своими козлотурами, а мы как стояли, так и будем стоять на своих турокозах. Примерно так звучало письмо товарищей с Северного Кавказа.

— Придется поместить, все-таки научные работники, — сказал Автандил Автандилович, показывая письмо Платону Самсоновичу. Он сам его принес к нам в отдел как срочный материал.

Платон Самсонович пробежал его глазами и отбросил на стол.

— Только под рубрикой «Посмеемся над маловерами», — сказал он.

— Не имеем права, — возразил Автандил Автандилович. — Научные работники выражают свое мнение. К тому же в первой заметке вы допустили отсебятину...

— Страна знает козлотура, — твердо возразил Платон Самсонович, — а турокоза никто не знает.

— Это верно, — согласился Автандил Автандилович, — и в республиканской прессе принято наше название, но откуда вы взяли, что они пользовались нашим рационом?

— Каким же они могли пользоваться? — сказал Платон Самсонович и пожал плечами. — Пока что все пользуются нашим рационом...

— Ну хорошо, — согласился Автандил Автандилович, немного подумав, — приготовьте толковый ответ, и мы дадим оба материала в порядке дружеской дискуссии.

— Сегодня же подготовлю, — оживился Платон Самсонович и, достав красный карандаш, придвинул к себе письмо научных работников.

Автандил Автандилович вышел из кабинета.

— Яйцо курицу учит, — неопределенно кивнул головой Платон Самсонович, так что я не понял, то ли он имеет в виду редактора, то ли своих неожиданных оппонентов.

Через несколько дней обе статьи появились в газете. Ответ Платона Самсоновича назывался «Коллегам из-за хребта» и был выдержан в наступательном духе.

Он начал издаека. Подобно тому, писал Платон Самсонович, как Америку открыл Колумб, а названа она Америкой в честь авантюриста Америго Веспуччи, который, как известно, не открывал Америки, так и северокавказские коллеги пытаются дать свое название чужому детищу.

Когда в первом письме наших коллег мы исправили неблагозвучное и неточное название «турокоз» на благозвучное и общепринятое «козлотур», мы считали, что это просто описка, тем более само наивное и в известной мере незрелое содержание письма таило в себе возможность такого рода описки или даже ошибки. Все это мы видели с самого начала, но все-таки поместили письмо в газете, потому что считали своим долгом поддержать пусть еще робкое, слабое, но все-таки чистое в своей основе стремление быть на уровне передовых опытов нашего времени.

Но что же оказалось? Оказалось, то, что мы принимали за описку или даже ошибку, было ложной, вредной, но все-та-



ки системой взглядов, а с системой надо бороться, и мы поднимаем перчатку, брошенную из-за хребта.

Может быть, продолжал Платон Самсонович, название «турокоз», при всей своей бестактности, с научной точки зрения более точно отражает существо нового животного? Нет, и здесь промахнулись коллеги из-за хребта!

Именно в названии «козлотур» наиболее точно отражается существо нового животного, потому что в нем удачно подчеркивается первичность человека над дикой природой, ибо домашняя коза, прирученная еще древними греками, как более разумное начало, стоит в нашем варианте на первом месте, тем самым подтверждая, что именно человек завоевывает природу, а не наоборот, что было бы чудовищно.

Но, может быть, название «турокоз» соответствует хорошим традициям нашей мичуринской агробиологии? Опять же не получается, коллеги из-за хребта! Возьмем для примера новые сорта яблок, выведенные Мичуриным, такие, как бельфлер-китайка и кандиль-китайка, названия их давно приняты и одобрены народом. Здесь, как и в нашем случае, дикое китайское яблоко занимает достаточно почетное, подобающее ему второе место.

Что касается предложения скрестить турицу с козлом, то выглядит оно в устах научных работников довольно странно, писал дальше Платон Самсонович.

Во-первых, совершенно очевидно, что ввиду нежелательных и даже пугающих козла размеров турицы вероятность покрытия приближается к нулю.

Но допустим, такое покрытие произойдет. Что мы и наше хозяйство будет от этого иметь? На этот вопрос легко ответить, если мы обратимся к международному, а также отечественному мулопроизводству.

Многовековой опыт мулопроизводства ясно доказывает, что от скрещивания жеребца с ослицей получается лошак, тогда как от скрещивания осла с лошастью получается мул. Лошак, как известно, животное недоразвитое, болезненное, слабое, к тому же проявляет склонность кусаться, тогда как мул отличается хозяйственно полезными свойствами и высоко ценится в нашем народном хозяйстве, особенно в южных республиках. Вопрос о продвижении мула на север и выведении зимостойких пород сейчас нами не рассматривается. Хотя известный пробег мулов от Москвы до Ленинграда, запряженных в сани с полной кладью, проделанный ими за десять дней в условиях морозной зимы, о многом говорит каждому непредубежденному наблюдателю (см. БСЭ, т. 11, с. 206). Из сказанного становится совершенно ясно, что козлотур — это тот же лошак, если мы его будем выводить методом, предложенным северокавказскими коллегами, тогда как козлотура можно и нужно приравнять к мулу, если его выводить нашим уже неоднократно проверенным способом. Вот почему мы опровергаем предложение северокавказских коллег как попытку — пусть невольную, но все-таки попытку — направить наше животноводство по ложному идеалистическому пути.

По мнению коллег из-за хребта, получается, что все наши козлотуры шагают не в ногу и только единственный северокавказский турокоз шагает в ногу. Но с кем?

Таинственный лаконизм последней фразы звучал как грозное предупреждение.

Недели две после этого мы ждали ответа северокавказцев, но они почему-то замолчали, и это сильно обеспокоило редактора.

— А может, у них козлотур умер и они теперь стыдятся продолжать дискуссию? — предположил однажды Платон Самсонович.

— А вы позвоните в институт и все выясните, — приказал Автандил Автандилович.

— А не получится, что мы сдаем позиции, если первыми позвоним? — сказал Платон Самсонович.

— Наоборот, — возразил Автандил Автандилович, — это только подтвердит нашу уверенность в правоте.

Соединившись с институтом, Платон Самсонович узнал, что тукокоз жив и здоров, а дискуссию они прекратили, решив делом доказать, чьи тукокозы окажутся более жизненными.

— Чьи козлотуры, — поправил Платон Самсонович и положил трубку. — Проглотили, — подмигнул он мне и, потирая руки, сел на свое место.

Мне не терпелось наконец своими глазами увидеть настоящего живого козлотура, но Платон Самсонович, хотя и одобрял мой план, все же не спешил посылать меня в деревню. Наконец наступило время.

До этого только один раз я был в командировке, и то не совсем удачно.

На рассвете мы вышли в море с передовой бригадой рыболовческого колхоза, расположенного рядом с городом. Все было чудесно: и сиреневое море, и старый баркас, и ребята, ловкие, сильные, неутомимые. Они выбрали рыбу из ставника, но на обратном пути вместо того, чтобы идти на рыбозавод, свернули в сторону небольшого мыска, мимо которого мы должны были пройти. Со стороны берега к этому мыску тянулись женщины с ведрами и кошелками. Я понял, что роковой встречи не избежать.

— Ребята, может, не стоит, — сказал я, когда баркас уткнулся носом в песок. Возможно, я это сказал слишком поздно.

— Стоит, — радостно заверили они, и начался великий торг. Через пятнадцать минут всю рыбу выменяли на деньги и продукты натурального хозяйства. Мы снова вышли в море. Я пытался им что-то сказать. Рыбаки вежливо меня слушали, нарезая хлеб и раскладывая закуски. Трапеза была подготовлена, меня пригласили, и я понял, что отказаться было бы неслыханным пижонством.

Мы наелись, немного выпили и тут же уснули сладким, безмятежным сном.

Потом они мне объяснили, что рыбы было слишком мало и рыбозавод такое количество все равно не берет, а план они все равно перевыполняют.

Я понял, что очерк писать нельзя, и мне ничего не оставалось, как написать «Балладу о рыбном промысле», где я воспел труд рыбаков, не уточняя, как они воспользовались пло-

дами своих трудов. Баллада была хорошо принята в редакции, она прошла как новая, столичная форма очерка.

Однако пора возвратиться к козлотурам.

Готовилось областное совещание по обмену опытом разведения козлотуров. К этому времени их распределили между наиболее зажиточными колхозами, с тем чтобы приступить к массовому размножению. Некоторые председатели пытались увильнуть от этого нового дела под тем предлогом, что они и коз давно не держат, но их пристыдили и заставили купить соответствующее количество коз. Наконец, козы были куплены, но потом стали поступать жалобы, что некоторые козлотуры проявляют хладнокровие по отношению к козам.

По этому поводу редактор поставил вопрос об искусственном осеменении коз, но Платон Самсонович стал утверждать, что такой компромисс на руку нерадивым хозяйственникам. Он сказал, что хладнокровие козлотура есть отражение хладнокровия самих председателей ко всему новому.

Как раз в это время из села Ореховый Ключ пришло письмо, в котором безымянный колхозник жаловался, что их председатель нарочно травит козлотура собаками, держит под открытым небом и морит голодом. Колхозники, писал он, со слезами смотрят на мучения нового животного, но сказать не могут, потому что боятся председателя. Заметка была подписана псевдонимом «Обиженный, но Справедливый».

— Конечно, возможны преувеличения, — сказал Платон Самсонович, показывая мне письмо, — но сигнал есть сигнал. Поезжай в Ореховый Ключ и все посмотри своими глаза-

ми. — Платон Самсонович на минуту задумался и добавил: — Я знаю этого председателя, зовут его Илларион Максимович. Хозяин неплохой, но консерватор, кроме своего чая, ничего не видит. В общем, — сказал Платон Самсонович и, вытянув руку, стал щупать воздух растопыренными пальцами, словно пытаюсь нащупать очертания моей будущей статьи, — примерно так должна выглядеть твоя статья: «Чай хорошо, но мясо и шерсть козлотура еще лучше».

— Хорошо, — сказал я.

— Помни, — остановил он меня в дверях, — от этой командировки многое зависит.

— Конечно, — сказал я. Платон Самсонович задумался.

— Что-то я еще тебе хотел сказать... Да, не проспи утреннюю машину.

— Что вы! — воскликнул я и пошел оформлять командировку.

Я взял в отделе писем новый редакционный блокнот, купил два карандаша на случай, если потеряю ручку, и перочинный ножик, чтобы точить карандаши. Мне хотелось уберечь себя от любых случайностей.

Автобус мощно и мягко скользил по шоссе. Справа от дороги сквозь зелень садов и белые домики прорывалось море, теплое даже на вид. Оно казалось насыщенным и успокоенным обилием летнего тепла и купальщиц.

Слева проплывали зеленые взгорья, покрытые созревающей кукурузой и мандариновыми плантациями. Изредка от-

крывались тунговые плантации с лопухими деревцами, усеянными гроздьями плодов.

Во время войны солдаты строительного батальона, стоявшего в этих местах, срывали тунговые плоды, немного похожие на незрелые яблоки, но страшно ядовитые.

Пробовали, несмотря на строжайший запрет. Они, наверное, думали, что это им говорится так, для остротки, да и время было голодное. Обычно их откачивали, но бывали, говорят, и смертельные случаи. Порой ветерок, словно срезанный автобусом с поворота, так он был неожидан, доносил далекий запах прелого папоротника, прокаленного солнцем навоза, молочный дух зреющей кукурузы, и все это сладко и грустно напоминало детство, деревню, родину..

Почему так сильна над нами власть запахов? Почему воспоминание не может с такой силой расколыхнуть пережитое, как связанный с ним знакомый запах? Может, дело в его неповторимости, ведь запах нельзя вспоминать отдельно от него самого, так сказать, повторить воображением. И когда он повторяется натурально, он с первозданной свежестью выхлестывает наружу все, что было связано с ним. А зрительные и слуховые впечатления мы часто повторяем своими воспоминаниями, и может быть, потому они в конце концов притупляются...

Пассажиры, покачиваясь, сидели на мягких пружинящих сиденьях. Верх автобуса был застеклен каким-то необыкновенным голубым стеклом. Так что и без того голубое небо сквозь это стекло делалось неправдоподобно голубым. Стек-

ло это как бы показывало небу, каким оно должно быть, а пассажирам — каким его надо видеть.

Этот автобус только недавно передали транспортной конторе. До этого он развозил интуристов. Иногда я его встречал у нас в городе перед Ботаническим садом, или Старой крепостью, или еще где-нибудь.

Сейчас он был заполнен колхозницами, возвращающимися домой. Каждая при себе держала туго набитую корзину или кошелку, из которой торчала неизменная связка бубликов. Некоторые колхозницы не без горделивости держали в руках китайские термосы, похожие на спортивный кубок и на снаряд одновременно.

Цепи гор медленно проплывали на горизонте. Самые дальние из них и самые высокие были покрыты первым снегом, который, наверное, выпал сегодня ночью, потому что еще вчера его не было. Сейчас их вершины четко и чисто сверкали в небе.

Более близкая линия гор была темно-синяя от лесов — там еще до снега далеко.

Внезапно с какого-то поворота я увидел на уровне этой более близкой линии гор гряду голых утесов, и что-то в груди у меня толкнулось радостно и испуганно.

Под этими утесами лежало наше село. С детства они мне казались страшно загадочными, и хотя до них было недалеко, правда, дорога труднопроходимая, но я так и не поднялся туда ни разу. Сейчас я вдруг пожалел, что в стольких местах бывал, а там не был ни разу.



Каждое лето с самого раннего детства я жил несколько месяцев в доме дедушки. Помню, меня оттуда всегда тянуло назад домой. Даже не столько домой, сколько именно в город.

Как я скучал по нему, как сладко было вспоминать тот особый городской запах пыли, пропитанный запахом бензина и резины. Сейчас мне трудно это понять, но тогда я с нежностью смотрел в сторону заката: там за круглой и мягкой по своим очертаниям горой был наш город, и я подсчитывал дни, оставшиеся до конца каникул...

Потом, когда мы приезжали в город, помню первые шаги по асфальту, необыкновенную, радостную легкость в ногах, которую я приписывал удобствам гладкой городской дороги, а на самом деле, я думаю, этой легкостью я был обязан бесконечным хождениям по горным тропкам, чистому воздуху гор, простой и здоровой еде.

Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город. Наоборот, я все чаще и чаще чувствую, что мне не хватает дедушкиного дома.

Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет — старые умерли, а молодые переехали в город или поближе к нему. А когда он был, все не хватало времени бывать там чаще, я его все оставлял про запас. И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен.

Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. Я был поч-

ти неуязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильной располагает своей жизнью и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе.

Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором, со старой яблоней (обнимая ее ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зеленым шатром грецкого ореха, под которым, разостлав бычью или турью шкуру, мы валялись в самые жаркие часы.

Сколько недозрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони, сколько недозрелых орехов, покрытых толстой зеленой кожурой с еще нежной скорлупой, с еще не загустевшим ядрышком внутри!

Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с ее земляным полом, с большим жарким очагом, с длинной тяжелой скамьей, стоящей у очага. На ней мы сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы или рассказы о разрытых кладках в старых крепостях и о бесстрашных абреках. На этой скамье, бывало, дядя резал табак своим острым топориком, а потом, выхватив из очага горящий уголек, бросал его в горку нарезанного табака и медленно, с удовольствием копнил эту дымящуюся горку, чтобы она как следует просушилась и пропиталась ароматом древесного дыма.

Мне не хватает вечерней переключки женщин с холма на холм, или с котловины в гору, или с горы в ложбину.

Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе!

К вечеру куры вспоминают, что они все-таки родились птицами. И вот они начинают беспокойно кудахтать и, оглядывая ветки инжирного дерева, неожиданно взлетают, промахиваются, снова взлетают и, наконец, усаживаются на ветках во главе с гневно клекочущим золотистым петухом.

Тетка выходит из кухни с позвякивающим ведром в руке, пригнувшись, на ходу хватая какую-нибудь хворостинку, чтобы отгонять теленка, и легкой походкой переходит двор. А навстречу из загона вопросительно мычат коровы, детским садом заливаются козлята под кукурузным амбаром.

И вот уже дедушка или кто-нибудь другой пригоняет коз. Они шумной гурьбой вливаются во двор с животами, почему-то больше оттопыренными на одну сторону. Самцы поигрывают, встают на дыбы, медленно падают друг на друга и сталкиваются, застревая рогами в рогах. Играют — значит, хорошо выпаслись.

И вот уже выпустили козлят, и начинается дойка, и козлята бегут к матерям, а козы следят за ними с выражением глуповатой бдительности, потому что боятся спутать своих детенышей с чужими и все-таки путают, а детенышам все равно, тыкаются в первое попавшееся вымя. Я заметил, что козы понастоящему узнавали своих детенышей только после того, как козленок несколько раз жадно подергает за сосцы. Тут она или прогоняет его, или успокаивается, словно боль, кото-

рую козленок причиняет ей, дергая за сосцы, бывает разная — от своего одна, от чужого совсем другая.

Почему-то с годами этих коз становилось все меньше, и коров становилось все меньше, и уже в доме часто не хватало молока. Того самого молока, о котором дедушка говорил, что раньше летом они его не успевали обрабатывать, и было непонятно, куда все это делось.

Я вспоминаю горницу с домотканым ковром на стене, на котором вышит огромный бровастый олень с женским лицом и печальными глазами.

Позади оленя маленький человек, ссутулившись, с каким-то жестоким усердием целится в него из ружья. Мне кажется, этот маленький человек сердит на оленя за то, что олень такой большой, а он такой маленький, и я чувствую, что этот маленький человечек никогда не простит этой разницы, да ему и невозможно простить этой разницы, как невозможно сделать маленького человечка большим, а оленя маленьким.

И хотя олень на него не смотрит, по его печальным глазам видно, что он знает человека, который, ссутулившись, целится в него. И олень такой огромный, что промахнуться никак невозможно, и он, олень, об этом знает, что промахнуться никак невозможно, а бежать некуда, ведь он такой большой, что его отовсюду видно. Раньше он, наверное, пробовал бежать, но теперь понял, что от этого сутулого человека никуда не убежишь.

Я подолгу смотрел на этот домотканый ковер, и любил оленя, и ненавидел этого охотника, особенно мне была противна его ссутуленная в жестоком усердии спина:

Мне не хватает теплых летних простынь, весь день провисевших на веранде и теперь пахнувших чистотой, летним днем, солнцем.

Нас, детей, укладывали раньше, и мы лежали, прислушиваясь к говору взрослых из кухни, к страху внутри себя, таинственно связанному с темнотой комнаты, с задумчиво поскрипывающими стенами, со смутно сереющими на стенах портретами умерших родственников.

Мне не хватает самих стен дедушкиного дома из прочных каштановых досок, наивно оклеенных газетными и журнальными листами, плакатами, дешевыми картинками.

Среди газетных и журнальных страниц двадцатых и тридцатых годов попадались иногда очень интересные вещи, и так уютно было читать их, лежа на полу или влезая на стул, на кушетку. А иногда я не удерживался и срывал какой-нибудь лист, чтобы перевернуть его и посмотреть, что будет дальше. Я перечитал все стены дедушкиного дома. И чего только там не было!

Огромная олеография — Наполеон оставляет горящую Москву. Всадники в треуголках, кремлевская стена и вдали громадное зарево пожара.

Несколько дореволюционных картин с религиозным сюжетом, с Богом, рассевшимся на тучах, в сандалиях, перетянутых ремешком и чем-то похожих на наши горские чупяки из сыромятной кожи.

Архангел Гавриил, джигитую на коне, копьём пронзает отвратительного дракона, и рядом наши советские плакаты

с антирелигиозными и кооперативными сюжетами двадцатых и тридцатых годов. Один из них помню хорошо. Мужичок, горестно всплеснувший руками перед неожиданно, словно от библейского проклятья, разверзшимся мостом, в который провалилась его лошаденка вместе с телегой. Под этой поучительной картинкой была не менее поучительная подпись: «Поздно, братец, горевать, надо было страховать!»

Я не очень верю этому мужичку. Уж как-то слишком побабьи выражает он свое горе. Не успела лошадь провалиться, как он уже всплеснул руками и больше ничего не делает.

То, что я видел вокруг себя, подсказывало мне, что крестьянин навряд ли так легко расстанется со своей лошадкой, он до конца будет пытаться спасти ее, удержать если не за вожи, то хотя бы за хвост.

Однажды я долго глядел на этого мужичка, и вдруг мне показалось, что сквозь его усы и бородку проглядывает улыбка. Это было так неожиданно, что я даже испугался немного. Она проглядывала из щетины его лица, как маленький хищник из-за кустов. Конечно, мне это могло показаться, но, видно, могло показаться потому, что я чувствовал в нем какую-то фальшь.

Подпись под этой картинкой тоже вызывала недоумение. Я так до конца и не понял, что именно надо было страховать — лошадь или мост. Мне казалось, что все-таки лошадь. Но тогда получалось, что мост так и должен остаться проваливающимся, потому что, если он перестанет проваливаться, тогда и лошадь незачем будет страховать.

Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства — бессознательная вера в необходимость здравого смысла. Следовательно, раз в чем-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его или куда он затерялся. Детство верит, что мир разумен, а все неразумное — это помехи, которые можно устранить, стоит повернуть нужный рычаг. Может быть, дело в том, что в детстве мы еще слышим шум материнской крови, пронесившейся сквозь нас и вскормившей нас. Мир руками наших матерей делал нам добро и только добро, и разве не естественно, что доверие к его разумности у нас первично. А как же иначе?

Я думаю, что настоящие люди — это те, что с годами не утрачивают детской веры в разумность мира, ибо эта вера поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости.

Дом дедушки считался зажиточным и хлебосольным. На моей памяти там, кроме нас, близких, перебивали сотни разных людей, начиная от случайных пастухов, застигнутых непогодой во время перегона скота на летние пастбища, и кончая всякого рода уполномоченными и райкомовскими работниками.

В хозяйстве дяди было несколько коров и с полсотни коз. Помню, почти все коровы и большинство коз были записаны на кого-нибудь из родственников, в основном городских. Закон ограничивал поголовье скота в личной собственности крестьян, и в те годы в наших краях расцветал таинственный пустоцвет фиктивных дарений, продаж, покупок.

Только свиней, насколько я помню, разрешали держать в любом количестве. Может быть, учитывали, что слегка омусульманенные абхазцы свинину не едят, и это послужит естественной преградой к излишнему накопительству.

Каких только ни делали ухищрений, чтобы сохранить скот, но, видно, сделать это было не просто или все эти труды себя не оправдывали, потому что с годами скотины становилось все меньше и меньше.

Я вспомнил, что во время войны мне с полгода пришлось пасти дядиных коз.

Странно, подумал я, с тех пор прошло столько лет, я окончил школу, потом институт, потом работа, а вот теперь мне предстоит встретиться с козами, которые за это время, как и я, повысили свой уровень и превратились в козлотуров.

И вдруг я отчетливо вспомнил то время, когда я дольше всего жил в доме дедушки, когда я еще был совсем мальчиком, а козы были еще козами, а не козлотурами; я вспомнил те далекие дни, а точнее — один день или, скорее, один вечер с его приключениями, которые мне тогда пришлось пережить.

Одним словом, шел сорок второй год. Я жил в горах в доме дедушки. Боязнь бомбежки, а главное, военная голодуха забросили меня в этот относительно сытый и спокойный уголок Абхазии.

Город наш бомбили всего два раза. Скорее всего, немцы сбросили бомбы, предназначенные для более важных целей, но туда их, наверное, не подпустили.



После первой же бомбежки город опустел. Застольные ораторы из приморских кофеен благоразумно приостановили свои бесконечные беседы и удалились в окрестные деревни есть абхазскую мамалыгу, авторитет которой быстро поднялся.

В городе остались только необходимые и те, кому некуда было ехать. Мы не были необходимыми, и нам было куда ехать, поэтому мы уехали.

Наши деревенские родственники, посоветовавшись, распределили нас между собой, по-своему учитывая возможности каждого из нас.

Старший брат, как человек, уже отравленный городом, захотел остаться в ближайшей к нему деревне. Вскоре его оттуда взяли в армию.

Сестру отправили в семью дальнего, но богатого и поэтому казавшегося близким родственника. Меня, как самого младшего и бесполезного, отдали дяде в горы. Мама осталась где-то посередине — в доме своей старшей сестры.

К этому времени в доме дедушки оставалось два десятка коз и три овцы. Не успел я разобраться, что к чему, как оказался приставленным к ним.

Постепенно я научился подчинять своей воле это небольшое, но строптивое стадо. Нас связывали два древних магических восклицания: «Хейт! Ийо!» Они имели множество оттенков и смыслов, в зависимости от того, как их произносить. Козы их отлично понимали, но иногда, когда им было это выгодно, делали вид, что спутали оттенки.

Оттенков и в самом деле было много. Например, если произносить врасстяжку, вольно и широко: «Хейт! Хейт!» — это означало: паситесь спокойно, вам ничего не угрожает.

Эти же звуки можно было произносить с некоторым педагогическим укором, и тогда они означали: «Вижу, вижу, куда вы сворачиваете!» — или что-нибудь в этом роде. А если произносить резко и быстро: «Ийо! Ийо!» — надо было понимать: «Опасность! Назад!».

Козы обычно, услышав мой голос, подымали головы, как бы стараясь уяснить себе, что именно от них на этот раз требуется.

Паслись они всегда с каким-то брезгливым выражением на морде. Меня иногда раздражало, что они бросали начатую ветку и с неряшливой жадностью переходили к другой. Мы за обедом берегли каждую крошку, а они привередничали. Это было несправедливо. Обрывая листики с кустов, старались дотянуться до самых свежих и далеких, для чего приподнимались на задних ногах, и в это время в них было что-то бесстыжее, может быть, потому, что они становились похожими на людей. Гораздо позднее, когда я увидел на репродукциях козлоногих людей, кажется, Эль Греко, я подумал, что человеческое бесстыдство художник пытался передать через уродство козлоногих людей.

Пастись они любили на крутых, обрывистых склонах поблизости от горного потока. Я уверен, что шум воды возбуждал их аппетит, как, впрочем, и у людей. Недаром в пути останавливаются перекусить возле ручья или речки. Мне кажется,

ся, кроме прямой необходимости ее, шум воды делает еду сочнее, приятнее.

Овцы обычно шли позади коз, они паслись, низко наклонив голову, как бы вынюхивая траву. Выбирали открытые, по возможности ровные места. Зато, если они пугались чего-нибудь и пускались вскачь, их невозможно было остановить. Курдюки на ходу шлепали по задам, каждый шлепок еще больше пугал их и подталкивал вперед, и они летели сломя голову, подгоняемые многоступенчатым возбуждением. Набегавшись до одури, они забивались в кусты и отдыхали, пособачьи разинув рты и жарко дыша боками.

Козы для отдыха выбирали самые каменистые и возвышенные места. Укладывались где почище. Самый старый козел обычно на самой вершине. У него были устрашающие рога, клочья свалывшейся и желтой от старости шерсти свисали по бокам. Чувствовалось, что он понимает свою роль: двигался медленно, важно покачивая длинной бородой звездочета. Если молодой козел по забывчивости занимал его место, он спокойно подходил к нему и сталкивал боковым ударом рогов, при этом он даже не смотрел на него.

Однажды из стада исчезла коза. Я сбился с ног, бегая по кустам, разрывая одежду о колючки, крича до хрипоты. Так и не нашел. Возвращаясь, случайно поднял голову и вижу — она стоит на дереве, на толстой ветке дикой хурмы. Взобралась по кривому стволу. Наши взгляды встретились, она нагло смотрела на меня желтыми неузнаваемыми глазами и явно не собиралась слезать. Я огрел ее камнем, она ловко спрыгнула и побежала к своим.

Думаю, что козы — самые хитрые из всех четвероногих. Бывало, только зазеваешься, а их уж и след простыл, как будто растворились среди белых камней, ореховых зарослей, в папоротниках.

Как жарко, как тревожно было искать их, бегая по узким растрескавшимся тропкам, через которые вспыхивали зеленые молнийки ящериц. Случалось, что мелькнет у ног и змейка, взлетишь, как подброшенный, чувствуя подошвой ноги, которой чуть было не наступил на нее, упругий холод змеиного тела, и еще долго бежишь, ощущая ногами необоримую, почти радостную легкость страха.

А как странно было остановиться, прислушиваясь к шороху кустов: не там ли? Прислушиваясь к шелесту кузнечиков, к далекому в могучей синеве пенью жаворонков, случайному голосу человека на невидной отсюда проселочной дороге, прислушиваясь к медленным тугим ударам сердца, втягивая телесный запах разомлевшей на солнце зелени — сладкое томление летней тишины.

В хорошую погоду я лежал на траве в тени большой ольхи, прислушиваясь к привычному треску «кукурузников», летящих за перевал. Там шли бои.

Однажды из-за хребта с каким-то паническим грохотом вылетел «кукурузник» и почти камнем стал падать вниз, в провал Кодорской долины, и потом, уже опустившись совсем низко, так и летел до самого моря. Я всей шкурой почувствовал, с каким человеческим ужасом он перевалил через хребет, спасая себя, видимо, от немецкого истребителя. Тень

его, не по-земному быстрая, пробежала по лугу совсем близко от меня, чиркнула табачную плантацию, а через мгновенье летела далеко внизу рядом с дельгой Кодора.

Изредка высоко-высоко пролетал немецкий самолет. Мы его узнавали по замирающему вою, чем-то напоминающему писк малярийного комара. Обычно, когда он приближался к городу, начинали палить зенитки и видно было, как вокруг него вспыхивали одуванчики взрывов, а он шел и шел сквозь них, как замороженный. Так за всю войну и не увидел, чтобы подбили самолет.

Как-то один наш родственник приехал из города, куда гонял продавать свиней, и рассказал, что брат мой ранен, лежит в госпитале в Баку и ждет не дождется, когда к нему приедет мама. Весть всех всполошила, надо было как можно быстрее увидеться с мамой. Оказалось, что, кроме меня, послать было некого, и я стал собираться в дорогу.

Меня накормили сыром и мамалыгой, дед дал мне одну из своих палок, и я пустился в путь, хоть день шел на убыль и солнце стояло над горизонтом на высоте дерева. Дорогу я помнил довольно плохо, вернее, расположение дома, где жила мама, но объяснения не стал слушать, чтобы не передумали меня посылать.

Идти предстояло через лес по гребню горы, потом надо было спуститься вниз на дорогу, по которой свозили бревна, и дальше по ней до самого села.

Как только я вошел в лес, сразу стало прохладно, как будто вошел в воду, и летний день остался позади.

Я вдыхал чистую, сырую прохладу леса, слышал чем-то волнующий шелест зеленых вершин и быстро шел по тропе. Чем глубже я входил в лес, тем упорней и бодрей постукивала моя палка по твердой, упруго проплетенной корнями земле.

Краем глаза я замечал красоту мощных темно-серебристых стволов бука, неожиданно милых полянок с яркой пушистой травой, уютных подножий кряжистых каштанов, заваленных каленой прошлогодней листвой. Хотелось полежать на этой листве, положив голову на мощные, покрытые мхом корни. Иногда в просветах деревьев открывалась дымчато-зеленая долина с морем, стоявшим между землей и небом, как мираж. Вечерело.

Неожиданно из-за поворота появились две девочки, испуганные и обрадованные нашей встречей. Я их знал, они были из нашего села, но теперь казались странными, чем-то не похожими на себя. Разговаривали, опустив головы, тихими, почти виноватыми голосами. В них появилось что-то чуткое, лесное, застенчивое. Одна из них держала свои башмаки в кошелке и теперь стояла, длинной голой ногой смущенно почесывая другую. Я догадался, что она старается спрятать хоть одну босую ногу.

Постепенно мне передалось их смущение, я не знал, что говорить, и охотно распрощался с ними. Они тоже попрощались и тихо, даже как-то вкрадчиво пошли дальше.

Вскоре я увидел перед собой между потемневшими деревьями красновато-желтую проселочную дорогу, издали похожую на горный поток; я обрадовался, что могу идти по ров-

ному месту, и стал быстро спускаться, едва-едва притормаживая палкой, чтобы не сорваться в заросли сумрачного рододендрона.

Я почти выкатился на дорогу. Ноги мои дрожали от перенапряжения, я весь вспотел, но возбуждение усиливалось от запаха бензина и теплой, усталой за день пыли. Знакомый с детства, волнующий городской запах. Видно, я здорово соскучился по городу, по дому, и, хотя отсюда до нашего дома было еще дальше, чем от горной деревушки, проселочная дорога казалась дорогой к нему.

Я шел, стараясь в сумерках разглядеть под ногами следы автомобильных шин, и радовался, заметив особенно отчетливый рубчатый узор. Чем дальше я шел, тем светлее становилась дорога, потому что огромная рыжая луна вылезала над зубчатой полоской леса.

Ночью в горах мы часто смотрели на луну. Мне говорили, что на ней виден пастух со стадом белых коз, но я так и не мог разглядеть пастуха с его стадом. Видно, надо было с раннего детства видеть этого пастуха. Глядя на холодный диск луны, я видел очертания скалистых гор, и мне делалось грустно, может быть, оттого, что они были так страшно далеки от нас и так похожи на наши горы.

Сейчас луна напоминала большой закопченный круг горного сыра. С каким удовольствием я погрыз бы его острый, пропахший дымом ломоть, да еще с горячей мамалыгой!

Я ускорил шаги. По обе стороны дороги шел мелкий лесок, ольховая поросль, иногда расчищенная под кукурузное

поле или табачную плантацию. Было очень тихо, только стук моей палки оживлял тишину. Стали появляться крестьянские дома с чистенькими игрушечными двориками, с жарким светом очажного костра, уютно трепыхающегося из приоткрытых кухонных дверей.

Я жадно прислушивался к смутным, а иногда вдруг отчетливым голосам, доносившимся оттуда.

— Выгони собаку, — услышал я чей-то мужской голос.

Дверь кухни распахнулась, и сразу же в мою сторону залая собака. Я ускорил шаги и, оглянувшись, заметил в красном квадрате распахнутой двери темную фигуру девушки. Она неподвижно стояла, вглядываясь в темноту.

Боясь собак, я теперь старался бесшумно проходить мимо домов.

Наконец открылась широкая поляна с большим ореховым деревом посередине, со скамейками вокруг ствола.

Днем здесь обычно бывало шумно, народ толпился у правления колхоза, магазина, амбаров. Сейчас все выглядело нежилым, заброшенным и в свете луны страшноватым.

Я помнил, что недалеко от сельсовета надо было свернуть с дороги на тропинку влево. Но тропинок оказалось несколько, и я никак не мог припомнить, какая из них приведет меня к цели.

Я остановился перед одной из таких тропок, уходящих в заросли дикого орешника, не решаясь свернуть на нее. Та ли? Вроде орешника тогда не было. А может быть, был? Минутами мне казалось, что я вспоминаю тропу по множест-



ву мелких признаков: по извику ее, по канавке, отделяющей ее от улицы, по кустам орешника. А потом вдруг казалось, что и канавка не та, и орешник не тот, и тропа совсем незнакомая и враждебная.

Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, слушая верещанье цикад, глядя на замороженно-неподвижные кусты, на луну — уже высокую, бледную, почти слепящую, как зеркало.

Неожиданно на тропу выкатилось что-то черное, поблескивающее и побежало в мою сторону. Не успел я шевельнуться, как большая сильная собака бесцеремонно обнюхала меня, тыкаясь мне в ноги мокрым сопящим носом. Через мгновение на тропу вышел человек с легким топориком на плече. Он отогнал собаку. Теперь я понял, почему она так спешила обнюхать меня: боялась, не успеет. Собака отскочила, покружилась, повизгивая от желания угодить хозяину, потом замерла у кустов, внюхиваясь в какой-то след.

Человек, подпоясанный уздечкой, видно, искал лошадь, подошел ко мне, взглядываясь и удивляясь, что не узнает меня.

— Чей ты, что здесь делаешь? — спросил он сердито оттого, что не узнал. Я сказал, что ищу дом дяди Мексута, мужа маминой сестры.

— Зачем он тебе? — спросил он, теперь восторженно удивляясь.

Я понял, что крестьянское любопытство непобедимо, и выложил все. Пока я рассказывал ему, что и как, косясь на собаку и стараясь не упускать ее из виду, он качал головой,

прицокивал языком и поглядывал на меня, как бы жалея, что мне приходится заниматься такими недетскими делами.

— А Мексут живет совсем рядом, — сказал он, указывая топориком в сторону тропы, куда я собирался идти.

Он стал объяснять дорогу, то и дело обрывая самого себя, чтобы лишний раз удивиться, порадоваться, до чего он, этот Мексут, близко живет и до чего просто к нему пройти. Благодарный за встречу и за то, что Мексут так близко живет, я не стал ни о чем переспрашивать. Человек позвал собаку. Я услышал в тишине ее приближающееся дыхание. Мощное тело выметнулось из-за кустов. Она подбежала к хозяину, присела, шлепая хвостом по траве, мимоходом вспомнив обо мне, еще раз быстренько обнюхала: так проверяют документ, когда уверены, что он в порядке.

— Совсем близко, отсюда докричать можно, — сказал он уже на ходу, как бы думая вслух и радуясь, что мне так здорово повезло.

Собака рванулась вперед, шаги человека стихли, и я остался один.

Я пошел по тропе, густо обросшей диким орехом и кустами ежевики. Порой кусты смыкались над тропой, я отодвигал их палкой и быстро проходил под ними. Все же мокрые ветки иногда нахлестывали сзади, и я вздрагивал от возбуждающего холода росы. Так я шел некоторое время, потом кусты раздвинулись, стало гораздо светлее. Я вышел на открытое место и увидел белое кладбище, озаеренное белой луной.

Холодея от страха, я вспомнил, что когда-то проходил мимо него, но тогда это было днем и оно не произвело на меня никакого впечатления. Вспомнил, что сбил тогда с яблони несколько яблок. Я нашел глазами дерево, и, хотя оно сейчас казалось совсем другим, я старался вернуть себе то состояние беззаботности, когда сбивал с него яблоки. Но это не помогло. Дерево неподвижно стояло в свете луны с темно-синей листвой и бледно-голубыми яблоками. Я тихо прошел под ним.

Кладбище напоминало карликовый городок, с железными оградами, зелеными холмиками могил, игрушечными дворцами, скамеечками, деревянными и железными крышами. Казалось, люди, после смерти сильно уменьшившись и поэтому став злее и опаснее, продолжают жить тихой, недоброй жизнью.

Возле нескольких могил стояли табуретки с вином и закуской, на одной даже горела свеча, прикрытая стеклянной банкой с выбитым днищем. Я знал, что это такой обычай — приносить на могилу еду и питье, но все равно сделалось еще страшнее.

Пели сверчки, свет луны белил и без того белые надгробья, и от этого черные тени казались еще черней и лежали на земле, как тяжелые, неподвижные глыбы.

Я старался как можно тише пройти мимо могил, но палка моя глухо и страшно стучала о землю. Я ее взял под мышку, стало совсем тихо и еще страшней. Вдруг я заметил крышку гроба, прислоненную к могильной ограде рядом с еще не огороженной свежей могилой.

Я почувствовал, как по спине подымается к затылку тонкая струйка ледяного холода, как эта струйка подошла к голове и, больно сжав на затылке кожу, приподняла волосы. Я продолжал идти, все время глядя на эту крышку, красновато-блескивающую в лунном свете. Я тогда еще не знал, что по мусульманскому обычаю покойника хоронят без крышки, видимо, чтобы облегчить ему воскресение. Гроб накрывают досками наподобие крыши.

Я был уверен, что покойник вышел из своей могилы, прислонил крышку гроба к ограде и теперь ходит где-нибудь поблизости или, может быть, притаился за крышкой и ждет, чтобы я отвернулся или побежал.

Поэтому я шел, не шевелясь и не убыстряя шагов, чувствуя, что главное — не сводить глаз с крышки гроба. Под ногами зашумела трава, я понял, что сошел с тропы, но продолжал идти, не выпуская из виду крышку. Вдруг я ощутил, что проваливаюсь в какую-то яму.

Я успел увидеть полоснувшую небо луну и шлепнулся на что-то шерстистое, белое, рванувшееся из-под меня в сторону. Я упал на землю и лежал с закрытыми глазами, дожидаясь своей участи. Я чувствовал, что он или, вернее, оно где-то рядом и теперь я полностью в его власти. В голове мелькали картины из рассказов охотников и пастухов о таинственных встречах в лесу, о случаях на кладбищах.

Оно медлило и медлило, страх становился невыносимым, и я, собрав силы, распахнул глаза, как будто включил свет.

Сначала я никого не увидел, а потом в темноте заметил что-то белеющее, качающееся. Я чувствовал, что оно внимательно следит за мной. Особенно страшно было, что оно качалось.

Не знаю, сколько времени прошло. Я стал различать запах свежескопанной нагретой за день земли и какой-то очень знакомый, обнадеживающий, почти домашний запах. Оно, все еще покачиваясь, белело в углу. Но ужас, длящийся без конца, перестает быть ужасом. Я почувствовал боль в ноге. Падая, я ее сильно подвернул, и теперь мне очень хотелось ее вытянуть.

Я долго вглядывался в него. Расплывающееся белое пятно принимало знакомые очертания, в какое-то мгновение я понял, что призрак превратился в козла, и разглядел в темноте бородку и рога. Я давно знал, что дьявол принимает вид козла, и немного успокоился, потому что это было ясно. Я только не знал, что он при этом может пахнуть козлом.

Я осторожно вытянул ногу и заметил, что оно насторожилось, вернее, перестало жевать жвачку и только продолжало странно покачиваться.

Я замер, и оно снова зажевало губами. Я поднял голову и увидел край ямы, озаренной лунным светом, прозрачную полосу неба со светлой звездочкой посредине. Наверху прошелестело дерево, было странно снизу чувствовать, что там потянул ветерок. Я посмотрел на звездочку, и мне показалось, что и она покачнулась от ветра. Что-то глухо стукнуло: с яблони слетело яблоко. Я вздрогнул и почувствовал, что становится прохладно.

Мальчишеский инстинкт подсказывал, что бездействие не может быть признаком силы, и, так как оно продолжало жевать, бесплотно глядя сквозь меня, я решил попробовать выбраться.

Я осторожно встал и, вытянув руку, убедился, что, даже подпрыгнув, не мог бы достать руками до края. Палка моя осталась наверху, да и она вряд ли могла помочь.

Яма была довольно узкая, и я попробовал, упираясь руками и ногами в противоположные стенки, вскарабкаться наверх. Кряхтя от напряжения, я немного поднялся, но одна нога, та, которая подвернулась, соскользнула со стенки, и я шлепнулся снова.

Когда я упал, оно испуганно вскочило на ноги и шарханулось в сторону. Это было самое неосторожное с его стороны. Я осмелел и подошел к нему. Оно молча забилося в угол. Я осторожно протянул ладонь к его морде. Оно тронуло губами, тепло дохнуло на нее, понюхало и фыркнуло по-козлиному, упрямо мотнув головой.

Я окончательно убедился, что он никакой не дьявол, просто попал в беду, как и я. Во время моего пастушества, бывало, козлы забирались в такие места, что сами потом не могли выбраться.

Я сел с ним рядом на землю, обнял его за шею и стал греться, прижимаясь к его теплому животу. Я попытался уложить его, но он продолжал упрямо стоять. Зато он начал лизать мою руку, сначала осторожно, потом все смелее и смелее, и язык его, гибкий и крепкий, шершаво почесывал кисть мо-

ей руки, слизывая с нее соль. От этого колючего и щекочущего прикосновения было приятно, и я не отнимал руки. Козел мой совсем вошел во вкус и уже стал прихватывать острыми зубами край моей рубахи, но я закатал рукав и дал ему попасть на свежем месте.

Он долго лизал мою руку, а я чувствовал, что, даже если бы показалось над ямой голубое в свете луны лицо покойника, я бы только крепче прижался к моему козлу и мне было бы почти не страшно. Я впервые узнал, что значит живое существо рядом.

Наконец ему надоело лизать мою руку, и он неожиданно сам улегся рядом со мной и снова принялся за жвачку.

Было все так же тихо, только свет луны сделался прозрачней, а звездочка передвинулась на край полоски неба. Стало еще прохладней.

Вдруг я услышал приближающийся топот коня, сердце бешено забилося.

Топот делался все отчетливей и отчетливей, иногда раздавалось металлическое пощелкивание подков о камни. Я испугался, что всадник свернет в сторону, но топот приближался, твердый и сильный, и я уже слышал дыхание коня, поскрипывание седла. Я замер от волнения, топот прошел почти над самой головой, и тогда я вскочил и закричал:

— Эй! Эй! Я здесь!

Лошадь остановилась, в тишине я различил костяной звук лошадиных зубов, грызущих удила. Потом раздался нерешительный мужской голос:

— Кто там?

Я рванулся навстречу голосу и закричал:

— Это я! Мальчик!

Некоторое время человек молчал, потом я услышал:

— Что за мальчик?

Голос мужчины был твердым и недоверчивым. Он боялся ловушки.

— Я мальчик из города, — сказал я, стараясь говорить не покойническим, а живым голосом, отчего он сделался странным и противным.

— Зачем туда залез? — жестко спросил голос. Человек все еще боялся ловушки.

— Я упал, я шел к дяде Мексуту, — быстро сказал я, боясь, что он не дослушает меня и проедет.

— К Мексуту? Так и сказал бы.

Я услышал, как он слез с коня и закинул уздечку на могильную ограду. Потом шаги его приблизились, но он все же остановился, не доходя до ямы.

— Держи! — услышал я, и веревка, прошуршав в воздухе, соскользнула в яму.

Я взялся за нее, но тут же вспомнил про козла. Он молча и одиноко стоял в углу. Недолго думая, я обернул веревку вокруг его шеи, быстро затянул два узла и крикнул:

— Тяните!

Веревка натянулась, козел замотал головой и стал на дыбы. Чтобы помочь, я схватил его за задние ноги и стал изо всех сил поднимать вверх — веревка врезалась ему в шею.



Как только его рогатая голова, озаренная лунным светом, появилась над ямой, мужчина заорал, как мне показалось, козлиным голосом, бросил веревку и побежал. Козел рухнул возле меня, а я закричал от боли, потому что, падая, он отдал копытом мне ногу. Я заплакал от боли, огорчения и усталости. Видно, слезы были где-то близко, на уровне глаз. Они полились так обильно, что я в конце концов испугался их и перестал плакать. Я ругал себя, что не сказал ему про козла, а потом вспомнил о его лошади и решил, что так или иначе он за нею придет.

Минут через десять я уловил шаги крадущегося человека. Я знал, что он хочет отвязать лошадь и удрать.

— Это был козел, — сказал я громко и спокойно. Молчание. — Дядя, это был козел, — повторил я, стараясь не менять голоса.

Я почувствовал, что он остановился и слушает.

— Чей козел? — спросил он подозрительно.

— Не знаю, он сюда упал раньше меня, — ответил я, понимая, что слова мои не убеждают.

— Что-то ты ничего не знаешь, — сказал он, а потом спросил: — А Мексуту кем ты приходишься?

Я, сбиваясь от волнения, стал объяснять наше родство (в Абхазии все родственники). Я почувствовал, что он начинает мне верить, и старался не упускать это потепление. Сразу же я ему рассказал, зачем иду к дяде Мексуту. Я почувствовал, как трудно оправдываться, очутившись в могильной яме.

В конце концов он подошел к ней и осторожно наклонился. Я увидел его небритое лицо, брезгливое и странное в лунном свете. Было видно, что место, где он стоит и куда он смотрит, ему неприятно. Мне даже показалось, что он старается не дышать.

Я выкинул конец веревки, за которую был привязан козел. Он взялся за нее и потянул вверх. Я старался ему снизу помогать. Козел глупо упирался, но он, слегка подтянув его, схватил за рог и с яростным отвращением вытянул из ямы. Все-таки эта история ему не нравилась.

— Богом проклятая тварь, — сказал он, и я услышал, как он пнул ногой козла. Козел мекнул и, наверное, рванулся, потому что человек схватил веревку и дернул. Потом он низко наклонился над ямой, опершись одной рукой о землю, другой схватил меня за протянутую кисть и сердито вытащил наверх. Когда он тащил, я старался быть легким, потому что боялся, как бы и мне не досталось. Он поставил меня рядом с собой. Это был большой и грузный мужчина. Кисть руки, которую он держал, побаливала.

Он молча посмотрел на меня и, вдруг неожиданно улыбнувшись, потрепал по голове:

— Здорово ты меня напугал со своим козлом. Думал, человека тащу, а тут рогатый вылезает...

Мне стало сразу легко и хорошо. Мы подошли к лошади, четко и неподвижно стоявшей у ограды. Козел на веревке шел за ним.

От лошади вкусно пахло потом, кожей седла, кукурузой. Наверное, он оставил на мельнице кукурузу, подумал

я и вспомнил, что веревка тоже пахла кукурузой. Он подсадил меня, вернее, почти вбросил в седло. Я подумал про свою палку, но не решился возвращаться за нею. К тому же лошадь, когда я садился, мотнула головой, чтобы укусить меня за ногу. Я успел ее подобрать.

Хозяин отвернул морду лошади от ограды, закинул уздечку и, не выпуская из руки веревку с козлом, грузно уселся на седле. Я почувствовал, что лошадь прогибается под ним. Тело его придавило меня к луке седла. Мы тронулись.

Конь бодро пошел, стараясь перейти на рысь, раскорячиваясь от сдерживаемой силы и от раздражения, что сзади тащится козел.

Под глухой стук копыт, под легкое покачивание на седле я задремал. Неожиданно конь стал, и я проснулся. Мы были у плетня, за которым виднелся большой чистый двор и большой дом на высоких деревянных сваях. В окнах горел свет. Это был дом дяди Мексута.

— Эгей, хозяин! — крикнул мой спутник и стал закуривать. Веревку с козлом он намотал на кол изгороди, не привязывая ее.

Дверь в доме отворилась, и мы услышали:

— Кто там?

Голос был мужественный и резкий: так у нас по ночам отвечают на незнакомый крик, чтобы показать готовность к любой встрече.

Дядя Мексут — это был он, я сразу узнал его широкоплечую, низкорослую фигуру — спустился по лестнице и, отго-

няя собак, шел в нашу сторону, внимательно вглядываясь в темноту.

Помню удивление его и даже испуг, когда он узнал меня.

— Еще не то узнаешь, — сказал мой спаситель, ссаживая меня и стараясь передать через изгородь прямо в руки дяде Мексуту. Но я не дался ему в руки, а уцепился за кол изгороди и слез сам.

Спутник мой стал откручивать веревку с козлом.

— Козел откуда? — еще больше удивляясь, спросил дядя Мексут.

— Чудеса, чудеса! — весело и загадочно сказал всадник и посмотрел в мою сторону, как равный на равного.

— Зайди в дом, спешься! — сказал дядя Мексут, схватив коня за уздечку.

— Спасибо, Мексут, никак не могу, — ответил всадник и заспешил, хотя до этого почему-то не торопился.

По абхазскому обычаю, дядя Мексут долго уговаривал разделить с ним хлеб-соль, то обижаясь, то упрашивая, то издеваясь над его якобы важными делами, из-за которых он не может остаться. Все это время он поглядывал то на козла, то на меня, чувствуя, что между моим появлением и козлом есть какая-то связь, и никак не улавливал ее.

Наконец всадник уехал, волоча за собой козла, а дядя Мексут повел меня домой, удивленно цокая языком и покрикивая на собак.

В комнате, озаренной не столько лампой, сколько ярко пылавшим очагом, за столом, уставленным закусками

и фруктами, сидели гости. Я сразу увидел маму и заметил, несмотря на багровые отсветы пламени, как она медленно побледнела. Гости повскакали с мест, заохали, запричитали.

Одна из моих городских теток, узнав о цели моего прихода, стала тихо опрокидываться назад, как бы падая в обморок. Но так как в деревне этого не понимали и никто не собирался ее подхватывать, она остановилась на полпути и сделала вид, что у нее заломило поясницу. Дядя Мексут всячески успокаивал женщин, предлагая пить за победу, за сыновей, за то, чтобы все вернулись. Дядя Мексут был большой хлебо-сол, в доме у него всегда были гости, а здесь, в долине, уже собрали виноград, и сезон длинных тостов только начинался. Мама сидела молча, ни к чему не притрагиваясь. Мне было жалко ее, хотелось как-то успокоить, но роль, которую я взял на себя, не допускала такой слабости.

Мне подали горячей мамалыги, курятины и даже налили стакан вина.

Мама покачала головой, но дядя Мексут сказал, что ма-чарка еще не вино, а я уже не ребенок.

Я рассказал о своих приключениях и, уже досасывая последние косточки, почувствовал, как на меня навалился сон, сладкий и золотой, как первое вино ма-чарка. Я уснул за столом.

Дней через десять из Баку вернулась мама. Оказывается, брат не был ранен, а просто соскучился по своим и решил увидеться с ними перед отправкой на фронт.

И, конечно, добился своего. Он у нас всегда был с фокусами.

Часов в десять утра я вышел из автобуса в селе Ореховый Ключ.

Автобус запыхтел дальше, а я пошел в сторону правления колхоза, с удовольствием разминая ноги после долгого, неподвижного сидения. Становилось жарко.

Я чувствовал себя бодро и ощущал в своей душе неисчерпаемый запас репортерской проницательности. Рядом с правлением под могучим шатром орехового дерева в традиционной позе патриархов сидели два старика абхаза. Один из них держал в руке палку, другой — посох. Я заметил и радостно удивился тому, что крючковатый загиб рогатульки на посохе одного старика соответствовал крючковатому носу самого старика, тогда как другой старик был с прямым носом и держал палку без всяких ответвлений. Проходя мимо них, я поздоровался, вернее, почтительно кивнул им, на что они ответили вежливым движением, как бы приподымаясь навстречу.

— Сдается мне, что это новый доктор, — сказал один из них, когда я прошел.

— А по-моему, армянин, — сказал другой.

Правление колхоза находилось в деревянном двухэтажном здании. Внизу магазин и склады с большими висячими замками на дверях. Наверху служебные помещения. Из открытых дверей магазина доносился женский смех.

У самого крыльца стоял потрепанный «газик», и я понял, что председатель на месте.

К стене правления было приклеено объявление, написанное подтекающими буквами:

«Козлотур — это наша гордость».

Лекцию читает кандидат археологических наук, действительный член Общества по распространению научных и политических знаний Вахтанг Бочуа. После лекции кино «Железная маска».

Так, значит, Вахтанг здесь или должен приехать! Я обрадовался, предвкушая встречу с нашим прославленным балагуром и чангалистом. Я его не видел больше года. Я знал, что он процветает, но не думал, что он уже стал кандидатом археологических наук, да еще читающим лекции про козлотуров.

Кстати, слово чангалист, кажется, употребляется только у нас в Абхазии и означает — любитель выпить на чужой счет. Производное от него — зачангалить, то есть подцепить кого-нибудь, взять на бордаж, и не обязательно с тем, чтобы выпить, но и в более широком смысле.

Впрочем, Вахтанга, как правило, любили угощать, потому что в любую компанию он вносил шумливое, безудержное веселье. Сама внешность его полна комических противоречий. Тучная и мрачная голова Нерона — и добродушный, незлобивый характер, пронырливость и пробивная сила снабженца — и задумчивая профессия археолога, так сказать, листающего пласты веков.

После окончания историко-архивного института Вахтанг несколько лет работал экскурсоводом, а потом написал книж-

ку «Цветущие развалины». Она стала любимой книгой туристов. «И интуристов», — неизменно добавлял Вахтанг, когда разговор о ней заходил при нем. А разговор заходил почти всегда, потому что он сам же его и заводил.

Мы, земляки, в студенческие времена часто собирались вместе, и ни одна дружеская пирушка не обходилась без Вахтанга. В этом отношении, как, впрочем, и во многих других, он обладал необычайным чутьем, и если кто получал посылку, его не надо было звать. Он являлся в общежитие еще до того, как хозяин посылки успевал обрезать или оборвать шпагат, которым был перевязан ящик.

— Приостановить процедуру, — говорил он, открывая дверь и обрушивая на голову обладателя посылки водопад великолепного пустозвонства.

В нем и тогда чувствовался плут, но плут веселый, дерзкий, артистичный и, главное, безвредный для друзей, разве что впадал в меланхолию, когда приходило время расплачиваться с официанткой.

Вспоминая Вахтанга, я поднялся по деревянной лесенке на второй этаж и вошел в правление колхоза.

Это была длинная прохладная комната, перегороженная справа и слева деревянными перилами. Слева от меня, сидя за столом, дремал толстый небритый человек. Почувствовав, что кто-то вошел, он приоткрыл один глаз и некоторое время осознал мое появление и, очевидно осознав, прикрыл его. Так дремлющий кот, услышав звон посуды, приоткрывает



глаз, но, поняв, что этот звон не имеет отношения к началу трапезы, продолжает дремать.

Справа несколько счетных работников усердно щелкали костяшками счетов, и иногда, когда костяшка стучала слишком сильно, дремлющий человек приоткрывал все тот же глаз и снова благодушно закрывал его. Один из счетных работников встал, подошел к несгораемому шкафу и вынул оттуда какую-то папку, и вдруг я понял, что это девушка, одетая в мужской костюм. Меня поразило выражение ее лица, печального, как высохший колодец.

В конце комнаты над большим столом возвышалась председательская фигура самого председателя. Он говорил по телефону. Он оглядел меня с холодноватым любопытством и отвел глаза, прислушиваясь к трубке.

— Здравствуйте, — сказал я по-русски, не обращаясь ни к кому определенно.

— Здравствуйте, — ответила девушка тихо и приподняла свое печальное лицо.

Я не знал, с чего начать, потому что председателя прервать было неудобно, но и стоять так без дела тоже было неудобно.

— Лектор еще не приехал? — зачем-то спросил я у девушки, словно явился на лекцию.

— Товарищ Бочуа уже приехал, — сказала она тихим голосом, вскинув на меня свои большие глаза, — он поехал рассматривать старую крепость.

— Дорогой, за кукурузу не бойся, как львы стоят! — загремел председатель по-абхазски. — Как львы, говорю, только

напоминаю насчет одобрения... Давали, но не хватает... Если комиссия-чамиссия, есть что показать, ведите прямо к нам... Чтoб я кости отца откопал, если не выполним план, но, дорогой Андрей Шалвович, больше у нас земли нет. Какие залежные земли — бурку расстелить негде. Здесь агроном сидит, он скажет, если проснется, — добавил председатель игриво и посмотрел на дремлющего человека.

Не успел он договорить, как тот что-то сердито заклокотал в ответ, и, по-моему, заклокотал раньше, чем открыл глаза. Из того, что он сказал, я понял, что он не собирается ради каких-то сумасшедших выкорчевывать чайные плантации. Он замолчал так же неожиданно, как и начал, и закрыл глаза раньше, чем кончил говорить.

Пока он говорил, председатель плотно прикрывал трубку. Заметив, что я смотрю на него, он нахмурился и бросил по-абхазски в сторону девушки:

— Узнай у этого лоботряса, откуда он и что ему надо. — Он снова слился с трубкой и вдруг заурчал тоном гостеприимного хозяина:

— Совсем к нам дорогу забыли, Андрей Шалвович. Нехорошо получается, Андрей Шалвович. Не я прошу, народ просит, Андрей Шалвович.

Я несколько опешил, услышав про лоботряса. Очевидно, он решил, что я не абхазец, и мне ничего не оставалось, как согласиться с этим.

Председатель продолжал говорить. Теперь он заходил по второму кругу.

— ...Тонн сто суперфосфат-муперфосфат прошу, как родного брата, Андрей Шалвович.

Я смотрел, как работает девушка. Она что-то подсчитывала, изредка перекидывая костяшки на счетах, словно задумчиво перебирала большие деревянные бусы.

Наконец председатель положил трубку, и я подошел к нему.

— Здравствуйте, товарищ, вы из леспромхоза, — сказал он уверенно и протянул мне руку.

— Я из газеты, — ответил я.

— Добро пожаловать, — оживился он и, кажется, пожал мне руку сильнее, чем собирался.

— Вот командировка, — сказал я и полез в карман.

— Даже не хочу смотреть, — ответил он, делая рукой отстраняющий жест. — Человека видно, — добавил он с наглой серьезностью, глядя мне в глаза.

— Я насчет козлотура, — сказал я, внезапно почувствовав, что здесь слова мои прозвучат смешно. Так и получилось. Кто-то из счетоводов хихикнул.

— Чтоб я похоронил твой смех, — проурчал председатель по-абхазски и добавил по-русски: — С козлотуром мы провели большую работу.

— А что именно? — спросил я.

— Во-первых, широкая пропаганда среди населения, — председатель загнул мизинец на левой руке и вдобавок пристукнул его правой ладонью. — Сегодня у нас читает лекцию уважаемый товарищ Вахтанг Бочуа. Зоотехника командировали к селекционеру, — он загнул безымянный палец и опять пришлепнул его

ладонью. — А что, жалобы есть? — неожиданно прервал он себя и посмотрел на меня черными настороженными глазами.

— Нет, — сказал я, выдержав его взгляд.

— А то у нас есть один, бывший председатель примкнувшего колхоза.

— Нет-нет, — сказал я, — дело не в жалобе.

— Но он свою фамилию не пишет, — добавил он, словно раскрывая всю глубину его коварства, — другими словами подписывает, но мы знаем эти слова.

— Можно посмотреть на козлотура? — перебил я его, давая знать, что жалобщик меня не интересуется.

— Конечно, — сказал он, — пройдемте.

Председатель вышел из-за стола. Чувствовалось, как его большое, сильное тело свободно двигается под просторной одеждой.

Спящий агроном молча поднялся из-за стола и вышел вместе с нами на веранду.

— Сколько раз я этому болвану говорил, чтоб почистил загон, — сказал председатель про кого-то по-абхазски, когда мы спускались по лестнице.

— Валико! — крикнул председатель, обернувшись к дверям магазина. — Выйди на минуту, если тебя еще там не женили.

Из магазина раздался смех девушки и дерзкий голос парня:

— А что там случилось?

— Не случилось, а случится, если я запроу этот магазин и позову сюда твою тещу.

Снова раздался женский смех, и на пороге появился парень среднего роста с огромными девственно-голубыми глазами на смуглом лице.

— Поезжай к тете Нуце и привези огурцы для козлотура, — сказал председатель, — товарищ приехал из города, можем осрамиться.

— Не поеду, — сказал парень, — люди смеются.

— Плюнь на людей, — сказал председатель строго, — подьезжай прямо туда, мы будем там.

Я теперь понял, что это его шофер. Валико сел на «газик» и, сердито развернувшись, выехал на улицу.

Было жарко. В тени грецкого ореха все еще сидели два старика, и тот, что был с посохом, что-то рассказывал другому, время от времени постукивая своим посохом по земле, так что он уже продолбил порядочную лунку. Было похоже, что он собирается поставить здесь небольшую изгородь, чтоб отгородить свое место в тени орешника от летнего солнца и колхозной суеты.

Председатель поздоровался с ними, когда мы с ними поравнялись, и старики в знак приветствия сделали вид, что приподымаются.

— Сынок, — спросил тот, что был с посохом, — этот, что с тобой, новый доктор?

— Это козлотурский доктор, — сказал председатель.

— А я посмотрел и думаю: армянин, — вставил тот, что был с палкой.

— Чудеса, — сказал тот, что был с посохом, — я этих козлотуров в горах сотнями убивал, а теперь за одним доктора прислали.

— Большой чудак этот старик, — сказал председатель, когда мы вышли на улицу.

— Почему? — спросил я.

— Приезжал как-то секретарь райкома, остановился тут, а старик вот так сидел в тени, как сейчас. Пошел разговор, как раньше жили, как теперь. Старик ему говорит: «Раньше землю пахали деревянной сохой, а теперь железным плугом». — «Что это означает?» — спросил секретарь. — «От сохи земля падает в обе стороны одинаково, а железный плуг выворачивает в одну, — значит, и урожай себе». — «Правильно», — сказал секретарь райкома и уехал.

Мне захотелось в двух словах записать эту присказку, чтобы потом не забыть. Я вынул блокнот, но председатель не дал мне записать ее.

— Это не надо, — сказал он решительно.

— Почему? — удивился я.

— Не стоит, — сказал он, — это фантазия, я вам скажу, что надо записывать.

«Ничего, я и так запомню», — подумал я и спрятал блокнот.

Мы шли по горячей пыльной улице. Пыль так раскалилась, что даже сквозь подошвы туфель пекло.

По обе стороны деревенской улицы время от времени мелькали крестьянские дома с приусадебной кукурузой, с зелеными ковриками дворов, с лозами «изабеллы», вьющейся по веткам фруктовых деревьев. Сквозь курчавую виноградную лству проглядывали плотные, недозрелые виноградные кисти.

— Много вина будет в этом году, — сказал я.

— Да, виноград хороший, — сказал председатель задумчиво. — А на кукурузу обратили внимание?

Я посмотрел на кукурузу, но ничего особенного не заметил.

— А что? — спросил я.

— Как следует посмотрите, — сказал председатель, загадочно усмехнувшись.

Я присмотрелся и заметил, что с одной стороны приусадебного участка у каждого дома кукуруза была более рослая, с более мясистыми листьями, с цветными косичками завязи, с другой стороны зелень более бледная, кукуруза ниже ростом.

— Что, не одновременно сеяли? — спросил я у председателя, продолжавшего загадочно улыбаться.

— В один день, в один час сеяли, — сказал председатель, еще более загадочно улыбаясь.

— А в чем дело? — спросил я.

— В этом году отрезали приусадебные участки. Конечно, это нужное мероприятие, но не для нашего колхоза. У меня чай — я не могу на приусадебных клочках плантации разводить.

Я еще раз пригляделся к кукурузе. В самом деле, разница в силе и упитанности кукурузных стеблей была такая, какая изображается в наглядных пособиях, когда хотят показать рост урожайности в будущем.

— Крестьянское дело — очень хитрое дело, между прочим, — сказал председатель, продолжая загадочно улыбаться. Казалось, он своей улыбкой намекал на то, что эту хитрость

из городских еще никто не понял, да и навряд ли когда-нибудь поймет.

— В чем же хитрость? — спросил я.

— В чем хитрость? А ну скажи ты, — председатель неожиданно обернулся к агроному.

— Хитрость в том, что если крестьянин увидит коровью лепешку на этой улице, — он ее перебросит на свой участок, — засопел агроном. — И так во всем.

— Психология, — произнес важно председатель.

Мне захотелось записать этот пример с коровьей лепешкой, но председатель опять схватил меня за руку и заставил вложить блокнот в карман.

— В чем дело? — спросил я.

— Это так, разговор туда-сюда, об этом писать нельзя, — добавил он с убежденностью человека, который лучше меня знает, о чем можно писать, о чем нельзя.

— А разве это не правда? — удивился я.

— А разве всякую правду можно писать? — удивился он.

Тут мы оба удивились нашему удивлению и рассмеялись. Агроном сердито хмыкнул.

— Если я ему скажу, — председатель кивнул на приусадебный участок, мимо которого мы теперь проходили, — половина урожая тебе — совсем по-другому обработает землю и хороший урожай возьмет.

Я уже знал, что такие вещи делаются во многих колхозах, только не слишком гласно.

— А почему бы вам не сказать? — спросил я.



— Это проходит как нарушение устава, — строго заметил он и неопределенно добавил: — Иногда кое в чем позволяем сверх плана.

Густой аромат распаренного солнцем чайного листа ударил в ноздри раньше, чем открылась плантация. Темно-зеленые ряды кустов уходили справа от дороги и разливались до самой опушки леса. Они мягко огибали опушку, иногда, как бы образуя залив, входили в нее. Посреди плантации стоял огромный дуб, наверное, в жару под ним отдыхали сборщицы.

Так тихо, что кажется — на плантации пусто. Но вот у самой дороги мелькнула широкополая шляпа сборщицы, а там белый платок, а там еще кто-то в красном.

— Как дела, Гогола? — окликнул агроном широкополую шляпу.

Она обернулась в нашу сторону.

— Двадцать кило с утра, — сказала девушка, на миг приподняв худенькое миловидное лицо.

— Ай, молодец Гогола! — крикнул председатель радостно.

Агроном с удовольствием засопел.

Девушка гибко склоняется над чайным кустом. Пальцы рук легкими, как бы ласкающими движениями скользят по поверхности чайного куста. Цок! Цок! Цок! — слышится в тишине непрерывный сочный звук. Молодые побеги, кажется, сами впрыгивают в ладони юной сборщицы.

Она медленно продвигается вдоль ряда. К поясу, слегка оттягивая его, привязана корзина. Движения рук от куста к корзине, от куста к корзине. Иногда она наклоняется и вы-

дергивает из кустов стебель сорняка. На руках перчатки с прорезями для пальцев, вроде тех, что носят зимой кондукторши в Москве.

Зной, марево и упорная тихая работа почти невидимых сборщиц. Вид чайных плантаций оживляет председателя.

— Ай, молодец Гогола, Гогола, — напевает он с удовольствием.

Рядом, посапывая, шагает агроном.

— Вот про Гоголу запишите, все скажу, — говорит председатель. — За лето тысячу восемьсот килограммов собрала, почти две тонны.

Но теперь мне не хочется записывать, да и задание у меня совсем другое.

— В другой раз, — говорю я. — А вас давно объединили?

— Не говори, дорогой, нищих примкнули, — говорит он брезгливо и добавляет: — Конечно, хорошее мероприятие, но не для нашего колхоза: у них табак, у нас чай. Я готов лучше десять козлотуров воспитать, чем иметь дело с ними.

— Ай, молодец Гогола, Гогола, — напевает он, пытаясь вернуть хорошее настроение, но, видно, не получается. — Нищие! — сплевывает он с отвращением и замолкает.

\* \* \*

Мы подошли к ферме. Рядом с большим пустым коровником был расположен летний загон, отгороженный плетнем. К нему примыкал загон поменьше, там и сидел козлотур.

Мы подошли к загону. Я с любопытством стал оглядывать знаменитое животное. Козлотур сидел под легким брезентовым навесом. Увидев нас, он перестал жевать жвачку и уставился розовыми немигающими глазами. Потом он встал и потянулся, выпятив мощную грудь. Это было действительно довольно крупное животное с непомерно тяжелыми рогами, по форме напоминавшими хорошо выращенные казацкие усы.

— Он себя хорошо чувствует, только наших коз не любит, — сказал председатель.

— Как не любит?

— Не гуляет, — пояснил председатель, — у нас климат влажный. Он привык к горам.

— А вы что, его огурцами кормите? — спросил я и испугался, вспомнив, что про огурцы он говорил по-абхазски. Но председатель, слава Богу, ничего не заметил.

— Что вы, — сказал он, — мы ему даем полный рацион. Огурцы — это проходит как местная инициатива.

Председатель просунул руку в загон и поманил козлотура. Козлотур теперь уставился на его руку и стоял неподвижно, как изваяние.

Подъехал шофер. Он вышел из машины с плотно оттопыренными карманами. Агроном опустился под изгородью загона и тут же задремал в ее короткой тени. Председатель взял у шофера огурец и вытянул руку над забором. Козлотур встрепенулся и уставился на огурец. Потом он медленно, как загипнотизированный, двинулся на него. Когда он вплотную подошел к изгороди, председатель поднял руку так, что-

бы козлотур не смог достать огурец с той стороны. Козлотур привстал на задние ноги и, упершись передними в изгородь, вытянул шею, но председатель еще выше поднял огурец. Тогда козлотур одним легким звериным рывком перебросился через изгородь и чуть не свалился на голову агронома. Тот слегка приоткрыл глаза и снова задремал.

— Исключительная прыгучесть, — важно сказал председатель и отдал огурец козлотуру.

Тот завозился над ним, выскалив большие желтые резцы. Он возился с ним с таким же нервным нетерпением, с каким кошка возится с пузырьком из-под валерьянки.

— Зайди теперь с той стороны, — сказал председатель шоферу.

Валико, кряхтя, стал перелезть через изгородь. Из карманов у него посыпались огурцы. Козлотур ринулся было к ним, но председатель отогнал его и поднял их. Шофер с той стороны загона поманил козлотура огурцом. Председатель подал мне один огурец и надкусил другой, слегка обтерев его о рукав.

— Весь скот у нас на альпийских лугах, — сказал председатель, чмокая огурцом, — для него оставили десять лучших коз, но ничего не получается.

Козлотур опять стал передними ногами на изгородь и, не дотянувшись до огурца, еще более великолепным прыжком перебросился в загон. Шофер поднял над головой огурец. Козлотур замер перед ним, глядя на огурец розовыми дикими глазами. Потом подпрыгнул и, выдернув из руки шофера огурец, рухнул на землю.

— Чуть пальцы не отгрыз, — сказал шофер и, вынув из кармана еще один огурец, надкусил его.

Теперь все мы ели по огурцу, кроме агронома. Он все еще дремал, прислонившись к изгороди.

— Эй, — крикнул председатель, — может, очнешься, — и бросил ему огурец.

Агроном открыл глаза и взял огурец. Лениво очистил его о свой полотняный китель, но, не дотянув до рта, почему-то передумал есть и вложил огурец в карман кителя. Снова задремал.

К загону подошли девочка и мальчик лет по восьми. Девочка, как ребенка, держала на руке большой свежий кукурузный початок в зеленой кожуре, с еще не высохшей косичкой.

— Сейчас козлотур будет драться, — сказал мальчик.

— Пойдем домой, — сказала девочка.

— Посмотрим, как будет драться, а потом пойдем, — сказал мальчик рассудительно.

— Попробуйпусти коз, — сказал председатель.

Шофер пересек загон и, открыв дверцу-плетенку, вошел в большой загон. Я только теперь заметил, что в углу загона, сбившись в кучу, дремали козы.

— Хейт, хейт! — прикрикнул на них Валико и стал сгонять с места.

Козы неохотно поднялись. Козлотур тревожно вздернул голову и стал принюхиваться к тому, что происходит в загоне.

— Понимает, — сказал председатель восхищенно.

— Хейт, хейт! — сгонял коз Валико, но они стали бегать от него по всему загону. Он их пытался подогнать к открытой дверце, но они пробежали мимо.

— Боятся, — сказал председатель радостно.

Козлотур замер и не отрываясь смотрел в сторону большого загона. Он смотрел, вытянув шею, и принюхивался. Время от времени у него вздрагивала верхняя губа, и тогда казалось, что он скалит зубы.

— Нэнавидит, — сказал председатель почти восторженно.

— Пойдем, — сказала девочка, — я боюсь.

— Не бойся, — сказал мальчик, — он сейчас будет драться.

— Я боюсь, он дикий, — сказала девочка рассудительно и прижала початок к груди.

— Он один сильнее всех, — сказал мальчик.

Агроном неожиданно тихо засмеялся и вынул из кармана огурец. Он сломал его пополам и протянул детям. Девочка не сдвинулась с места, только крепче прижала свой початок к груди. Мальчик осторожно-осторожно, бочком подошел и взял обе половины.

— Пойдем, — сказала девочка и посмотрела на початок, — кукла тоже боится.

Видимо, она напоминала ему о старой игре, чтобы отвлечь от новой.

— Это не кукла, это кукуруза, — сказал мальчик поспешно, разрушая условия старой игры во имя новой. Теперь и он чмокал огурцом. Девочка от своей половины отказалась.

Наконец шофер, чертыхаясь, вогнал коз в загон и прикрыл дверцу. Козлотур в бешенстве ринулся на них. Козы рассыпались по загону. Козлотур догнал одну из коз и ударом рогов опрокинул ее. Она перевернулась через голову, крикнула, но тут же вскочила и пустилась наутек. Козы бежали вдоль плетня, то рассыпаясь, то вновь сбиваясь в кучу. Козлотур гнался за ними, ударами рогов разбрызгивая их по всему загону. Козы бежали, топоча и подымая пыль, а козлотур внешне резко тормозил и, некоторое время следя за ними розовыми глазами, бросался на них, выбрав угол для атаки.

— Нэнавидит! — снова воскликнул председатель, восторженно цокая.

— Ему царицу Тамару подавай! — крикнул шофер. Он стоял посреди загона в клубах пыли, как матадор на арене.

— Хорошее начинание, но не для нашего климата! — крикнул председатель, стараясь перекричать топотню и голоса блеющих коз.

Козлотур свирепел все больше и больше, козы метались по загону, то сливаясь, то рассыпаясь в стороны. Наконец одна коза прыгнула через плетень и свалилась в большой загон. Другие сейчас же ринулись за ней, но страх мешал им соразмерить прыжок, и они падали назад и снова бежали по кругу.

— Хватит! — крикнул председатель по-абхазски. — А то эта сволочь перекалечит наших коз.

— Чтоб я его съел на поминках того, кто это придумал! — крикнул шофер по-абхазски и ударом ноги распахнул дверцу загона.

Козы сейчас же ринулись туда и запрудили узкий проход, блея от страха и налезая друг на друга. Козлотур несколько раз с разгону налетел на это сцепившееся, рвущееся и застрявшее в узком проходе стадо и ударами рогов вколачивал их в большой загон.

Шофер с трудом отогнал его. Козлотур долго не мог успокоиться и бегал по загону, как разгоряченный лев.

— Ну, теперь пойдем, — сказала девочка мальчику.

— Он один всех победил, — объяснил ей мальчик, и они пошли по дороге, бесшумно перебирая пыльными загорелыми ногами.

— Нэнавидит, — повторил председатель, как бы восторгаясь надежным упорством козлотура.

Мы сели в машину и поехали назад, к правлению колхоза. Машина остановилась в тени грецкого ореха. Агроном остался в машине, а мы вылезли. Старики сидели на своем месте.

Вахтанг Бочуа, сияя белоснежным костюмом и розовым добродушным лицом, стоял возле новенького «газика».

Увидев меня, он пошел навстречу, шутовски растопырив руки, словно собираясь принять меня в свои объятия.

— Блудный сын вернулся, — воскликнул он, — в тени столетнего ореха его встречает Вахтанг Бочуа и сопровождающие его старейшины села Ореховый Ключ. Целуй край черкески, негодяй! — добавил он, сияя солнечной жизнерадостностью. Рядом с ним стоял молодой парень и восхищенно смотрел на него.

Вдруг я вспомнил, что он может со мной заговорить по-абхазски, и, схватив его за руку, отвел в сторону.



— Что такое, мой друг, интриги? — спросил он, радостно загораясь.

— Делай вид, что я не понимаю по-абхазски, — сказал я тихо, — так получилось.

— Понятно, — сказал Вахтанг, — ты приехал изучать тайные козни против козлотура. Но учти: после моей лекции в селе Ореховый Ключ будет обеспечена сплошная козлотуризация, — завелся он, как обычно. — Кстати, это неплохо сказано — козлотуризация. Не вздумай употреблять раньше меня.

— Не бойся, — сказал я, — только молчи.

— Вахтанг умеет молчать, хотя это ему недешево обходится, — заверил он меня, и мы подошли к председателю.

— Я надеюсь своей лекцией разбудить творческие силы вашего колхоза, если даже не удастся разбудить вашего агронома, — обратился Вахтанг к председателю, подмигивая мне и похохатывая.

— Конечно, это интересное начинание, товарищ Вахтанг, — сказал председатель уважительно.

— Что я и собираюсь доказать, — сказал Вахтанг.

— Какое ты имеешь к этому отношение, ты же историк, — сказал я.

— Вот именно, — воскликнул Вахтанг, — я рассматриваю проблему в ее историческом разрезе.

— Не понимаю, — сказал я.

— Пожалуйста, — он сделал широкий жест, — чем был горный тур на протяжении веков? Он был жертвой феодальных охотников и барствующей молодежи. Они истребляли его,

но гордое животное не покорялось и уходило все дальше и дальше на недоступные вершины Кавказа, хотя сердцем оно всегда тянулось к нашим плодородным долинам.

— Заткнись, — сказал я.

— Я продолжаю, — Вахтанг похлопал себя ладонями по животу и, любуясь своей неистощимостью, продолжал: — А чем была наша скромная, незаметная абхазская коза? Она была кормилицей беднейшего крестьянства.

Оба старика с уважением слушали Вахтанга, хотя явно ничего не понимали. Тот, что был с посохом, даже забыл про свою лунку и важно слушал его, слегка загнув ухо так, чтобы речь удобней вливалась в ушную раковину.

— С ума сойти, как говорит, — сказал тот, что был с палкой.

— Наверное, из тех, что в радио говорят, — сказал тот, что был с посохом.

— ...Но она, наша скромная коза, — продолжал Вахтанг, — мечтала о лучшей доле, скажем прямо: она мечтала встретиться с туром... И вот усилиями наших народных умельцев, — а талантами наша земля богата, — горный тур встречается с нашей скромной домовитой и в то же время прелестной в самой своей скромности абхазской козой.

Я заткнул уши.

— Видно, что-то неприятное напомнил, ишь как закрыл уши, — сказал старик с палкой.

— Наверное, ругает, что плохо лечит козлотура, — добавил старик с посохом, — я этих козлотуров в горах убивал сотнями, а теперь за одного ругают...

— У них тоже какие-то свои дела, — заключил старик с палкой.

— ...Интимным подробностям этой встречи и посвящена моя лекция, — закончил Вахтанг и, вынув платок, промокнул им повлажневшее лицо.

В это время к председателю подошли какие-то лохматые парни городского типа. Оказалось, что это монтажники, которые проводят сюда электричество. Они вступили с председателем в долгий, нескончаемый спор. Оказывается, какие-то виды работ не учтены в смете, и ребята отказывались работать до того, как правильно составят смету. Председатель старался доказать им, что не следует бросать работу.

Нельзя было не залюбоваться мастерством, с каким он вел спор. Разговор шел на трех языках, причем с наиболее задиристым он говорил по-русски, на языке законов. Тихого кахетинца, который почти ничего не говорил, он сразу же отсек от остальных и говорил, отчасти как бы ссылаясь на него.

Иногда он оборачивался в нашу сторону, может быть, призывая нас в свидетели. Во всяком случае, Вахтанг солидно кивал головой и бормотал что-то вроде: безусловно, вы погорячились, мои друзья, я это выясню в министерстве...

— Много ты лекций прочел? — спросил я у Вахтанга.

— Заказы сыплются, за последние два месяца восемьдесят лекций, из них десять шефских, остальные платные, — доложил он.

— Ну и что говорят люди?

— Народ слушает, народ осознает, — сказал Вахтанг туманно.

— А что ты сам об этом думаешь?

— Лично меня привлекает его шерстистость.

— Кроме шуток?

— Козлотура надо стричь, — сказал Вахтанг серьезно и внезапно расплываясь, добавил: — Что я и делаю.

— Ну ладно, — остановил я его, — мне пора ехать.

— Не будь дураком, оставайся, — сказал Вахтанг вполголоса, — после лекции предстоит хлеб-соль. Ради меня они зарежут последнего козлотура...

— С чего это они тебя так любят? — спросил я.

— А я обещал председателю устроить с удобрением, — сказал Вахтанг серьезно, — и я это действительно сделаю.

— Какое ты имеешь отношение к этому?

— Мой мальчик, — улыбнулся Вахтанг покровительственно, — в природе все связано. У Андрея Шалвовича племянник поступает в этом году в институт, а твой покорный слуга член приемной комиссии. Почему бы председателю райисполкома не помочь хорошему председателю? Почему бы мне не обратить внимание на юного абитуриента? Все бескорыстно, для людей.

Председатель уговорил ребят продолжать работу. Он обещал им сейчас же вызвать телеграммой из города инженера и установить истину.

Они понуро поплелись, видимо, не слишком довольные своей полупобедой. Председатель тоже заторопился. Я по-

прошались со всеми. Старики сделали вежливое движение, как бы приподымаясь проводить меня.

— Рейсовая машина уже прошла, но мой шофер довезет вас до шоссе, — сказал председатель.

— Мой тоже не откажется, — вставил Вахтанг. Председатель подозвал своего шофера. Мы сели в машину.

— Боюсь, как бы он против нас не написал какую-нибудь чушь, — сказал председатель Вахтангу по-абхазски.

— Не беспокойся, — ответил Вахтанг, — я ему уже дал указания, что писать и как писать.

— Спасибо, дорогой Вахтанг, — сказал председатель и добавил, обращаясь к шоферу: — Там на шоссе зайди и напои его как следует, а то журналисты, я знаю, без этого не могут.

— Хорошо, — ответил шофер по-абхазски. Вахтанг расхотался.

— Вы не одобряете, товарищ Вахтанг? — встревожился председатель.

— Всемерно одобряю, мой друг, — воскликнул Вахтанг, обнимая одной рукой председателя, и, обернувшись, крикнул мне через шум мотора: — Передай моему другу Автандилу Автандиловичу, что пропаганда козлотура в надежных руках.

Машина запыхала по дороге. Солнце клонилось к закату, но жара не спадала.

«Против нас какую-нибудь чушь...» — вспоминал я слова председателя. Получалось так, что я могу написать «за» или «против», но в обоих случаях для него не было сомнений

в том, что это будет чушь. Потом я с горечью убеждался много раз, что он, в общем, не слишком далек от истины.

Кстати, насчет травли козлотура шофер мне сообщил любопытную деталь. Оказывается, козлотур как-то сбежал на плантацию, где наелся чайного листа и временно сошел с ума, как сказал Валико. Он действительно бегал по всему селу, и за ним гнались собаки. Его даже хотели пристрелить, думали, что он взбесился, но потом он постепенно успокоился.

Машина выскочила на шоссе и остановилась возле голубой закуской. «Посмотрим, как ты меня заманишь туда», — подумал я и решил стойко защищать свою репутацию.

Валико посмотрел на меня голубым взглядом совратителя и сказал:

— Перекусим, что ли?

— Спасибо, в городе пообедаю.

— Туда еще ехать и ехать.

— Я все же поеду, — возразил я, стараясь быть помягче. Чем-то он мне понравился, этот парень с голубыми глазами всевозможных оттенков.

— Ничего такого не собираюсь, — сказал он и открыл дверцу. — Перекусим каждый за себя по русскому счету.

Чего я боюсь, подумал я, у меня преимущество в том, что я знаю о том, что он собирается меня напоить, а он не знает, что я знаю об этом.

— Хорошо, — сказал я, — быстренько перекусим, и я поеду.

— О чем говорить — зелень-мелень, лобиа-мобиа.

Валико закрыл машину, и мы вошли в закускую.

Помещение было почти пустое. Только в углу сидела компания, плотно облепив два сдвинутых стола. Видно, они уже порядочно поддали, потому что полдюжины бутылок стояли на полу, как отстрелянные гильзы. Среди пирующих сидела одна белокурая женщина северного типа. На ней был сарафан с широким вырезом, и она то и дело оглядывала свой загар. Было похоже, что он ей помогает самоутверждаться.

Валико занял столик в противоположном углу. Мне это понравилось. Две официантки, тихо переговариваясь, сидели за столиком у окна.

Валико, осторожно обходя столы, подошел к официанткам. Я понял, что он старается быть не замеченным компанией. Увидев его, официантки приветливо улыбнулись, особенно тепло улыбнулась одна из них, та, что была помоложе. Валико поздоровался с ними и стал что-то рассказывать, пригнувшись к той, что была помоложе. Она слушала его, не переставая улыбаться, и лицо ее постепенно оживлялось.

«Ну тебя, ну тебя», — казалось, говорила она, слабо отмахиваясь ладонью и с удовольствием слушая его.

У таких ребят, подумал я, всегда есть, что рассказать официантке. Потом по выражению ее лица я понял, что он стал ей заказывать. Я забеспокоился. Она посмотрела в мою сторону, и я неожиданно крикнул:

— Не вздумай заказать вино!

— Как можно, — сказал Валико, обернувшись, и развел руками.

Компания обратила на нас внимание, и кто-то крикнул оттуда:

— Валико, иди к нам!

— Никак не могу, дорогой, — сказал Валико и приложил руку к сердцу.

— На минуту, да?

— Извиняюсь перед всей компанией и перед прекрасной женщиной, но не могу, — проговорил Валико и, уважительно попятившись, отошел к нашему столику.

Через несколько минут на столе появилась огромная тарелка со свежим луком и пунцовыми редисками, проглядывавшими сквозь зеленый лук, как красные зверята. Рядом с зеленью официантка поставила две порции лобио и хлеб.

— Боржом не забудь, Лидочка, — сказал Валико, и я окончательно успокоился и почувствовал, как сильно проголодался за день. Мы налегли на лобио, холодное и невероятно наперченное.

Захрустели редиской и луком. Каждый раз, когда я перекусывал стрелчатый стебель лука, он, словно сопротивляясь, выбрызгивал из себя острую пахучую струйку сока.

Неожиданно подошла официантка и поставила на стол бутылку вина и бутылку боржома.

— Ни за что, — сказал я решительно и снова поставил бутылку с вином на поднос.

— Не дай Бог, — прошептал Валико и посмотрел на меня своими ясными и теперь уже испуганными глазами.

— В чем дело? — спросил я.



— Прислали, — сказала официантка и глазами показала в сторону компании.

Мы посмотрели туда и встретились глазами с парнем, который здоровался с Валико. Он смотрел в нашу сторону горделиво и добродушно. Валико кивком поблагодарил его и укоризненно покачал головой. Парень горделиво и скромно опустил глаза. Официантка отошла с пустым подносом.

— Я не буду пить, — сказал я.

— Не обязательно пить — пусть стоит, — ответил Валико.

Мы принялись за еду. Я почувствовал, что бутылка с вином как-то мешает.

Валико взял бутылку с боржомом и кротко спросил:

— Боржом можно налить?

— Боржом можно, — сказал я, чувствуя себя педантом. Выпив по стакану боржома, мы снова приступили к лобио.

— Очень острое, — заметил Валико, шумно втягивая воздух.

— Да, — согласился я. Лобио и в самом деле было как огонь.

— Интересно, почему в России перец не так любят? — отвлеченно заметил Валико и, потянувшись к бутылке с вином, добавил: — Наверно, от климата зависит?

— Наверно, — сказал я и посмотрел на него.

— Не обязательно пить — пусть стоит, — сказал Валико и разлил вино в стаканы.

Мягкий, душистый запах подымался из стаканов. Это была «изабелла», густо-пунцовая, как гранатовый сок. Валико

вытер руки салфеткой и, дожевывая редиску, медленно потянулся к своему стакану.

— Не обязательно пить — попробуй, — сказал он и посмотрел на меня своими ясными глазами.

— Я не хочу, — сказал я, чувствуя себя последним дураком.

— Чтоб я выкопал старые кости отца и бросил грязным, зловонным собакам, если не подымешь! — воскликнул он неожиданно и замолк. В его огромных голубых глазах застыл ужас неслыханного святотатства. Я слегка обалдел от этого внезапного взрыва родовой клятвы.

— Старые кости отца — грязным собакам! — конспективно напомнил он и безропотно склонился над столом. Мне стало страшно.

Ничего, подумал я, от этой бутылки мы не опьянеем, тем более, что у меня преимущество: я знал, что он меня хочет напоить, а он не знает, что я знаю.

Мы допивали по последнему стакану. Я чувствовал, что хорошо контролирую себя и обмануть меня невозможно, да и, в сущности, Валико приятный парень, и все получается, как надо.

Подошла официантка с двумя шипящими шашлыками на вертеле.

— Пошли им от нашего имени бутылку вина и плитку шоколада для женщины, — сказал Валико, с медлительностью районного гурмана освобождая от шампура все еще шипящее, всосавшееся в железо мясо.

«Братский обычай», подумал я и вдруг сказал:

— Две бутылки и две плитки пошлите...

— Гость сказал: две бутылки, — торжественно подтвердил Валико, и она отошла.

Через несколько минут парень из-за того стола укоризненно качал головой, а Валико горделиво и скромно опускал глаза. А потом он нам прислал две бутылки вина, а Валико укоризненно покачал головой и даже пригрозил ему пальцем, на что парень еще скромней и горделивей опустил голову.

Потом мы несколько раз подымались и важно пили за наших новых друзей, и за их старых родителей, и за прекрасную представительницу великого народа. Лучи заходящего солнца били ей в спину и просвечивались в ее волосах, а навстречу солнечным лучам лился поток комплиментов, обдавая ее лицо, шею и особенно открытые плечи.

— Выпьем за козлотура, — как-то интимно предложил Валико после того, как, взаимоистощившись, замолкли наши коллективные тосты.

— Выпьем, — сказал я, и мы выпили.

— Между прочим, хорошее начинание, — сказал Валико, и на губах у него появилась загадочная полуулыбка, значение которой я понял не сразу.

— Дай Бог, чтоб получилось, — сказал я.

— Говорят, в других районах тоже начинают. — Загадочная полуулыбка не сходила с его губ.

— Понемногу начинают, — сказал я.

— Имеет очень большое значение, — заметил Валико. Теперь его глаза блестели голубым загадочным блеском.

— Имеет, — подтвердил я.

— Интересно, что про козлотура говорят враги? — неожиданно спросил он.

— Пока, кажется, молчат, — сказал я.

— Пока, — многозначительно протянул он. — Козлотур — это не просто, — добавил он, немного подумав.

— Сначала все не просто, — сказал я, стараясь уловить, к чему он клонит.

— В другом смысле, — заметил он и, вдруг обдав меня голубым огнем своих глаз, быстро прибавил: — За рога выпьем отдельно?

— Выпьем, — сказал я, и мы выпили. Валико почему-то погрузнел и стал закусывать шашлыком.

— Дочка есть, — сказал он, подняв на меня свои погрузневшие глаза, — три года.

— Прекрасный возраст, — поддержал я, как мог, семейную тему.

— Все понимает, несмотря что девочка, — с обидой заметил он.

— Это большая редкость, — сказал я, — тебе просто повезло, Валико.

— Да, — согласился он, — для нее мучаюсь. Но не думай, что жалуюсь, с удовольствием мучаюсь, — добавил он.

— Понимаю, — сказал я, хотя уже ничего не понимал.

— Не понимаешь, — догадался Валико.

— Почему? — спросил я и вдруг заметил, что ясные голубые глаза Валико стекленеют.

— Чтоб я этого невинного ребенка сварил в котле для мамы...

— Не надо! — воскликнул я.

— Сварил в котле для мамалыги, — безжалостно продолжал он, — и съел ее детское мясо своими руками, если ты мне не скажешь, для чего козлотуры, хотя я и сам знаю! — произнес он с ужасающей страстью долго молчавшего правдоискателя.

— Как для чего? Мясо, шерсть, — пролепетал я.

— Сказки! Атом добывают из рогов, — уверенно произнес Валико.

— Атом?!

— Точно знаю, что добывают атом, но как добывают, пока еще не знаю, — сказал он убежденно. Теперь на губах его снова играла загадочная полуулыбка человека, который знает больше, чем говорит.

Я посмотрел в его добрые, голубые, ничего не понимающие глаза и понял, что переубедить его мне не под силу.

— Клянусь прахом моего деда, что я ничего такого не знаю! — воскликнул я.

— Значит, вам тоже не говорят, — удивился Валико, но удивился не тому, что нам тоже не говорят, а тому, что загадка оказалась еще глубже, чем он ожидал.

Мы вышли из закуской. Над нами темнело теплое звездное небо. Небосвод покачивался и то приближался, то отходил, но и когда отходил, он был гораздо ближе, чем обычно. Большие незнакомые звезды вспыхивали и мерцали. Странные, незнакомые мысли вспыхивали и мерцали в моей голове. Я подумал, что, может быть, мы сами приблизились к небу по-

сле такой дружеской выпивки. Какое-то созвездие упрямо мерцало над моей головой. И вдруг я почувствовал, что эти светящиеся точки напоминают что-то знакомое. Голова козлотура, радостно подумал я, только один глаз совсем маленький, подслеповатый, а другой большой и все время подмигивает.

— Созвездие Козлотура, — сказал я.

— Где? — спросил Валико.

— Вон, — сказал я и, обняв его одной рукой, показал на созвездие.

— Значит, уже переименовали? — спросил Валико, глядя на небо.

— Да, — подтвердил я, продолжая глядеть на небо. Это была настоящая голова козлотура, только один глаз его все время подмигивал, и я никак не мог понять, что означает его подмигивание.

— Если что не так, прости, — сказал Валико.

— Это ты меня прости, — сказал я.

— Если хочешь посмотреть, как спит козлотур, поедем, — сказал Валико.

— Нет, — сказал я, — у меня срочное задание.

— Если ты меня простишь, я уеду, — сказал он, — потому что еще успею в кино.

Мы обнялись, как братья по козлотуру. Валико влез в машину.

— Никуда не уходи и жди зугдидскую машину, — сказал он.

Я почему-то надеялся, что у него не сразу заведется мотор. Но он сразу его завел и еще раз крикнул мне:

— На другую не садись, жди зугдидскую!

Шум мотора несколько минут доносился из темноты, а потом смолк. Звезды, одиночество и теплая летняя ночь.

По ту сторону шоссе темнел парк, а за ним было море, откуда раздавался приглушенный зеленью парка шум прибоя.

Мне захотелось к морю. Я встал и пошел через шоссе. Я вспомнил, что мне надо дождаться автобуса, но почему-то казалось, что автобуса можно подождать и у моря.

Я пошел по парковой дорожке, окруженной черными силуэтами кипарисов и светлыми призраками эвкалиптов. С моря потягивало прохладой, листья эвкалиптов издавали еле слышный звон. Время от времени я поглядывал на небо. Созвездие Козлотура прочно стояло на месте.

Я был не настолько пьян, чтобы ничего не соображать, но все же настолько пьян, что думал: все соображаю.

На скамейке у самого моря сидели двое. Я немедленно подошел к ним. Они молча уставили на меня голубоватые лица.

— Подвиньтесь, — сказал я парню и, не дожидаясь приглашения, уселся между ними. Девушка кротко засмеялась.

— Не бойтесь, — сказал я мирно, — я вам что-то покажу.

— А мы и не боимся, — сказал парень, по-моему, не слишком уверенно. Я оставил его слова без внимания.

— Посмотрите на небо, — сказал я девушке нормальным голосом. — Что вы там видите?

Девушка посмотрела на небо, потом на меня, пытаясь определить, пьяный я или сумасшедший.

— Звезды, — сказала она преувеличенно естественным голосом.

— Нет, вы сюда посмотрите, — терпеливо возразил я и, пытаясь точнее направить ее взгляд на созвездие Козлотура, слегка придержал ее за плечо.

— Пойдем, а то закроют, — угрюмо напомнил парень, стараясь избежать катастрофы.

— Что закроют? — вежливо повернулся я к нему. Мне приятно было чувствовать, что он боится меня, и в то же время сознавать, что я предельно корректен.

— Турбазу закроют, — сказал он.

Я почувствовал, что между созвездием Козлотура и турбазой есть какое-то таинственное созвучие, как бы опасная связь.

— Интересно, почему вы вспомнили турбазу? — спросил я у парня, кажется, строже, чем надо.

Парень молчал. Я посмотрел на девушку. Она зябко закуталась в шерстяную кофту, накинутую на плечи, словно от меня исходил космический холод.

Я посмотрел на небо: морда козлотура, очерченная светящимися точками, покачивалась, то приближаясь, то удаляясь. Большой глаз время от времени подмигивал. Я понимал, что подмигивание что-то означает, но никак не мог догадаться, что именно.

— Козлотуризм — лучший отдых, — сказал я.

— Можно, мы пойдем? — тихо сказала девушка.

— Идите, — ответил я спокойно, но все-таки давая знать, что я в них разочарован.

Через мгновенье они куда-то провалились. Я закрыл глаза и стал обдумывать, что означает подмигиванье козлотура.



Равномерные удары волн обдавали меня свежей прохладой и на миг заволакивали сознание, а потом оно высывалось из забытья, как обломок скалы из пены прибоя.

Внезапно я открыл глаза и увидел перед собой двух милиционеров.

— Документы, — сказал один из них.

Я автоматически вынул из кармана паспорт, протянул его и снова закрыл глаза. Потом я открыл глаза и удивился, что они все еще тут. Мне показалось, что прошло много времени.

— Здесь спать нельзя, — сказал один из них и вернул мне паспорт.

— Жду зугдидскую машину, — сказал я и снова закрыл глаза, вернее, прекратил усилия удержать их открытыми. Милиционеры тихо рассмеялись.

— А вы знаете, который час? — сказал один из них. Я почувствовал неприятную ненормальность в левой руке, вскинул ее и увидел, что на ней нет часов.

— Часы! — воскликнул я и вскочил. — Украли часы!

Я окончательно проснулся и отрезвел. Было уже совсем светло. Из ущелья со стороны гор дул сырой ветер, в море работал сильный накат. На берегу напротив нас стоял отдыхающий старик и делал физзарядку. Он медленно, страшно медленно присел на длинных тонких ногах. Он так трудно присел, что сделалось тревожно — сможет ли встать. Но старик, передохнув на корточках, пошатываясь, медленно поднялся и, вытянув руки, застыл, не то устанавливая равновесие, не то прислушиваясь к тому, что произошло внутри него после упражнения.

Милиционеры, так же как и я, следили за стариком. Теперь, успокоившись за него, один из них спросил:

— Какие часы — «Победа»?

— «Докса», — ответил я с горечью и в то же время гордясь ценностью потери, — швейцарские часы.

— С кем были? — спросил другой милиционер.

— Сам был, — сказал я на всякий случай.

— Пройдем в отделение, составим акт, — сказал тот, что брал паспорт, — если найдутся — известим.

— Пойдемте, — сказал я, и мы пошли.

Мне было очень жалко своих часов, я к ним привык, как к живому существу. Мне их подарил дядя после окончания школы, и я их носил столько лет, и с ними ничего не случилось. Водонепроницаемые, антимагнитные, небьющиеся, с черным светящимся циферблатом, похожим на маленькое ночное небо. В общежитии института я их иногда забывал в умывалке, и мне их приносила уборщица или кто-нибудь из ребят, и я как-то поверил про себя, что они ко всем своим достоинствам еще и нетеряющиеся.

— Паспорт есть на часы? — спросил один из милиционеров.

— Откуда, — сказал я, — они трофейные, дядя привез с войны.

— Номер помните? — спросил он снова.

— Нет, — сказал я, — я их и так узнаю, если увижу.

Мы наискосок пересекли парк и вышли на тихую незнакомую улицу. На этой улице, как и во всем этом городке, стояли одноэтажные дома на длинных рахитичных сваях.

Жители этого городка только тем и заняты, что строят вот такие дома. Построив, тут же начинают продавать или менять с приплатой в ту или другую сторону за какие-то никому не понятные преимущества, — ведь все они похожи друг на друга, как курятники. Причем сами они в этих домах почти не живут, потому что на полгода отдают их курортникам, чтобы накопить деньги и яростно приняться за строительство нового дома с еще более длинными и более рахитичными ножками. Достоинство человека здесь определяется одной фразой: «Строит дом».

Строит дом — значит, порядочный человек, приличный человек, достойный человек. Строит дом — значит, человек при деле, независимо от службы, значит, человек пустил корень, то есть в случае чего никуда не убежит, а стало быть, пользуется доверием, а раз уж пользуется доверием, можно его приглашать на свадьбы, на поминки, выдать за него дочь или жениться на его дочери и вообще иметь с ним дело.

Я об этом говорю не потому, что у меня здесь украли часы, я и до этого так думал. Причем тут даже нет какой-то особой личной корысти, потому что дом — это только символ, и даже не сам дом, а процесс его строительства. И если бы, скажем, условиться, что отныне достоинство человека будет измеряться количеством павлинов, которых он у себя развел, они бы все бросились разводиться павлинов, менять их, щупать хвосты и хвататься величиной павлиньих яиц. Страсть к самоутверждению принимает любые, самые неожиданные сим-

волы, лишь бы они были достаточно наглядны и за ними стоял золотой запас истраченной энергии.

Скрипнула калитка, и мы вошли в зеленый дворик милиции. Траву, видно, здесь тщательно выращивали, она была густая, курчавая и высокая. Посреди двора стояла развесистая шелковица, под которой уютно расположились скамейки и столик для нардов или домино, намертво вбитый в землю. Вдоль штакетника в ряд росли юные яблони. Они были густо усеяны плодами. Это был самый гостеприимный дворик милиции из всех, которые я когда-либо видел. Легко было представить, что в таком дворе осенью начальник милиции варит варенье, окруженный смирившимися преступниками.

К помещению милиции вела хорошо утоптанная тропа.

В комнате, куда мы вошли, за барьером сидел милиционер, а у входа на длинной скамье парень и девушка. Девушка мне показалась похожей на вчерашнюю, но на этой не было кофточки. Я пытливо посмотрел ей в глаза.

Один из моих милиционеров куда-то вышел, а второй сел на скамью и сказал мне:

— Пишите заявление.

Потом он оглядел парня и девушку и посмотрел на того, что сидел за барьером.

— Гуляющие без документов, — скучно пояснил тот. Девушка отвернулась и теперь смотрела в открытую дверь. Мне она опять показалась похожей на вчерашнюю.

— А где ваша кофточка? — спросил я у нее неожиданно, почувствовав в себе трепет детективного безумия.

— Какая еще кофта? — сказала она, окинув меня высокомерным взглядом, и снова отвернулась к дверям. Парень тревожно посмотрел на меня.

— Извините, — пробормотал я, — я спутал с одной знакомой.

По голосу я понял, что это не она. На лица-то у меня плохая память, но голоса я помню хорошо. Я вынул блокнот, подошел к барьеру и стал обдумывать, как писать заявление.

— На этой нельзя, — сказал сидевший за барьером и подал мне чистый лист.

Я смирился, окончательно поняв, что мне все равно не дадут использовать свой блокнот.

— Отпустите, товарищ милиционер, — невнятно заканючил парень, — большое дело, что ли...

— Придет товарищ капитан и разберется, — сказал тот, что сидел за барьером, ясным миротворческим голосом.

Парень замолчал. В открытые окна милиции доносилось далекое шарканье дворничьей метлы и чириканье птиц.

— Сколько можно ждать, — сказала девушка сердито, — мы уже здесь полтора часа.

— Не грубите, девушка, — сказал милиционер, не повышая голоса и не меняя позы. Он сидел за столиком, подперев щеку рукой и сонно пригорюнившись. — Товарищ капитан делает обход. Имеются факты изнасилования, — добавил он, немного подумав, — а вы гуляете без документов.

— Не говорите глупости, — строго сказала девушка.

— Чересчур ученая, а скромности не хватает, — не повышая голоса, грустно сказал милиционер. Он сидел все так же, не меняя позы, сонно пригорюнившись.

Я написал заявление, и он глазами показал, чтоб я положил его на стол.

В это время за барьером открылась дверь и оттуда вышел, пожевываясь и поглаживая красивое полное лицо, высокий плотный человек.

— А вот и товарищ капитан! — радостно воскликнул сидевший за барьером и, бодро вскочив, уступил место капитану.

— Что-то я не слышала машины, — сказала девушка дерзко и снова отвернулась к дверям.

— В чем дело? — спросил капитан, усаживаясь и хмуро оглядывая девушку.

— Гуляющие без документов, — доложил звонким голосом тот, что был за барьером. — Около четырех часов были обнаружены в прибрежной полосе. Она говорит, что не хочет будить хозяйку, а кавалер на том конце города живет.

— Товарищ капитан... — начал было парень.

— Сбегаешь за паспортом, а она останется под залог, — перебил его капитан.

— Но ведь сейчас машины не ходят, — начал было парень.

— Ничего, молодой, сбегаешь, — сказал капитан и вопросительно посмотрел на меня.

— Вот заявление, товарищ капитан, — показал на стол тот, что стоял за барьером.

Капитан склонился над моим заявлением. Милиционер, тот, что пришел со мной, теперь стоял в бодрой позе, готовый внести нужные дополнения.

— Ты не волнуйся, я мигом, — шепнул парень девушке и быстро вышел.

Девушка ничего не ответила.

Из открытых окон доносилось равномерно приближающееся шарканье метлы и неистовое пенье птиц. Губы капитана слегка шевелились.

— Паспорт есть? — спросил он, подняв голову.

— Они трофейные, — ответил я, — мне дядя подарил.

— При чем дядя? — поморщился капитан. — Ваш паспорт покажите.

— А, — сказал я и подал ему паспорт.

— Спал на берегу моря, — вставил тот, что привел меня, — когда мы его разбудили, сказал, что украли часы.

— Интересно получается, — сказал капитан, с любопытством оглядывая меня, — вы пишете, что ждали зугдидскую машину, а разбудили вас на берегу. Вы что, с моря ее ждали?

Оба милиционера сдержанно засмеялись.

— Зугдидская машина проходит в одиннадцать вечера, а мы его разбудили в шесть утра, — заметил тот, что привел меня, как бы раскрывая новые грани проницательности капитана.

— Может, вы ждали ее обратным рейсом? — высказал капитан неожиданную догадку. Чувствовалось, что он страдает, стараясь извлечь из меня смысл.

— Да, обратным рейсом в Зугдиди, — неизвестно зачем сказал я, может быть, чтобы успокоить капитана.

— Тогда другое дело, — сказал капитан и, протягивая мне паспорт, спросил: — А где вы работаете?

— В газете «Красные субтропики», — сказал я и протянул руку за паспортом.

— Тогда почему не взяли номер в гостинице? — снова удивился капитан и опять раскрыл мой паспорт. — Нехорошо получается, — сказал капитан и зацокал. — Что я теперь скажу Автандилу Автандиловичу...

Господи, подумал я, здесь все друг друга знают.

— А зачем вам ему что-то говорить? — спросил я. Этого еще не хватало, чтобы редактор узнал о моей потере. Начнутся расспросы, да и вообще неудачников не любят.

— Нехорошо получается, — задумчиво проговорил капитан, — приехали к нам в город, потеряли часы... Что подумает Автандил Автандилович...

— Вы знаете, — сказал я, — мне кажется, я их оставил в Ореховом Ключе...

— Ореховый Ключ? — встрепенулся капитан.

— Да, я был там в командировке по вопросу о козлотурах...

— Знаю, интересное начинание, — заметил капитан, внимательно слушая меня.

— Мне кажется, я там оставил часы.

— Так мы сейчас позвоним туда, — обрадовался капитан и схватил трубку.

— Не надо! — закричал я и шагнул к нему.



— А-а, — капитан хлопнул в ладоши, и лицо его озарилось лукавой догадкой, — теперь все понимаю, вам устроили хлеб-соль...

— Да, да, хлеб-соль, — подтвердил я.

— Между прочим, туда проехал Вахтанг Бочуа, — вставил тот, что пришел со мной.

— Вам устроили хлеб-соль, — продолжал свою лукавую догадку капитан, — и вы подарили кому-то часы, а вам подарили портсигар, — закончил он радостно и победно оглядел меня.

— Какой портсигар? — не сразу уловил я ход его мысли.

— Серебряный, — добродушно пояснил капитан.

— Нет, я так подарил, — сказал я.

— Так не бывает, — добродушно опроверг капитан, — значит, вам что-то обещали подарить. Почему стоите, садитесь, — добавил он и вынул из кармана пачку «Казбека». — Курите?

— Да, — сказал я и взял папиросу. Капитан дал мне прикурить и закурил сам.

Милиционер, тот, что был за барьером, вышел во внутреннюю дверь, как только капитан закурил. Тот, что привел меня, стоял, незаметно прислонившись к подоконнику.

— В прошлом году был в Сванетии, — сказал капитан, пуская в потолок струю дыма, — местный начальник отделения устроил хлеб-соль. Ели-пили, а потом дарят мне оленя. Хотя зачем мне олень? Не взять — смертельно обидятся. Я принял подарок и в свою очередь обещал местному отделению два ящика патронов. Как только приехал — отослал.

— А оленя взяли? — спросил я.

— Конечно, — сказал он. — Неделю жил дома, а потом сын отвел его в школу. Мы, говорит, из него козлотура сделаем. Пожалуйста, говорю, делайте, все равно в городских условиях оленя негде держать.

Капитан крепко затынулся. На его круглом лице было написано спокойствие и благодущие. Я был рад, что он забыл про часы. Все-таки было бы неприятно, если б об этом узнал мой редактор.

— У сванов отличный стол, — продолжал вспоминать капитан, — но все портит арака. — Он посмотрел на меня и сморщился. — Неприятный напиток, хотя, — примирительно добавил он, — дело в привычке...

— Конечно, — сказал я.

— Но в Ореховом Ключе «изабелла», как орлиная кровь. — «У вас тоже неплохая», — подумал я. Капитан тихо рассмеялся и вдруг спросил:

— А этого спящего агронома видели?

— Видел, — сказал я. — Отчего он спит?

— Чудак человек, — снова рассмеялся капитан, — у него болезнь такая. Несмотря на то, что спит, первый специалист по чаю. В районе такого нет.

— Да, плантации у них чудесные, — сказал я и вспомнил девушку Гоголу над зелеными курчавыми кустами.

— В прошлом году у них в колхозе «чепе» произошло. Кто-то несгораемый шкаф украл.

— Несгораемый шкаф?

— Да, несгораемый шкаф, — сказал капитан. — Я выезжал сам. Украсть украли, но открыть не смогли. Спящий агроном помог нам найти. Очень умный человек... Но, между прочим, «изабелла» коварное вино, — продолжал капитан, не давая далеко уходить от главной темы. — Пьешь, как лимонад, и только потом дает знать.

Он посмотрел на меня, потом на девушку и сказал ей:

— Идите, девушка, только больше так поздно не гуляйте.

— Я подожду его, — сказала она и сурово отвернулась к выходу.

— Во дворе подождите, там птички поют. — И строго добавил: — Избегайте случайных знакомств, а теперь идите.

Девушка молча вышла. Капитан кивнул в ее сторону и сказал:

— Обижаются за профилактику, а потом сами прибегают и жалуются: «Изнасиловал! Ограбил!» Кто — не знает, где прописан — никакого представления. Как с ним оказалась? Молчит. — Капитан посмотрел на меня обиженными глазами.

— Молодо-зелено, — сказал я.

— В том-то и дело, — согласился капитан. Птицы во дворе милиции заливались на все голоса. Метла дворника теперь шаркала у самых ворот.

— Костя, — обратился капитан к милиционеру, — полей тротуар и двор, пока не жарко.

— Хорошо, товарищ капитан, — сказал милиционер.

— Завтра пойдешь в цирк, — остановил он его в дверях.

— Хорошо, товарищ капитан, — радостно повторил милиционер и вышел.

— Что за цирк? — спросил я и тут же подумал, что задаю бестактный вопрос, если это какой-то условный знак.

— Цирк приехал, — просто сказал капитан, — отличников службы для поощрения посылаем дежурить в цирк.

— А-а, — понял я.

— Исполнительный и толковый работник, — капитан кивнул на дверь и прибавил: — Двадцать три года, уже дом строит.

— Пожалуй, я тоже пойду, — сказал я.

— Куда спешите, — остановил меня капитан и посмотрел на часы, — до зугдидской машины еще ровно час и сорок три минуты...

Я снова сел.

— Но лучшая закуска для «изабеллы» знаете какая? — Он посмотрел на меня с добродушным коварством.

— Шашлык, — сказал я.

— Извините, дорогой товарищ, — с удовольствием возразил капитан и даже вышел из-за барьера, словно почувствовал во мне дилетанта, с которым надо работать и работать. — «Изабелла» любит вареное мясо с аджикой. Особенно со спины — филейная часть называется, — пояснил он, притронувшись к затылку. — Но ляжка тоже неплохо, — добавил он, немного помедлив, как человек, который прежде всего озабочен справедливостью или, во всяком случае, не собирается проявлять узость взгляда. — Мясо с аджикой вызывает жажду, — сказал капитан и остановился передо мной. — Ты уже не хочешь пить, но организм сам требует! — Капитан радостно развел руками в том смысле, что ничего не поделаешь — раз уж

организм сам требует. Он снова зашагал по комнате. — Но белое вино мясо не любит, — неожиданно предостерег он меня и, остановившись, тревожно посмотрел на меня.

— А что любит белое вино? — спросил я озабоченно.

— Белое вино любит рыбу, — сказал он просто. — Ставрида, — капитан загнул палец, — барабулька, кефаль или горная рыба — форель. Иф, иф, иф, — присвистнул от удовольствия капитан. — А к рыбе, кроме алычовой подливки и зелени, ничего не надо! — И, как бы оглядев с гримасой отвращения остальные закуски, энергичным движением руки отбросил их в сторону.

Так мы поговорили с дежурным капитаном некоторое время, и наконец, убедившись, что он достаточно далеко ушел от моих часов, я попрощался с ним и вышел. Но тут он снова окликнул меня.

— Заявление возьмите, — сказал он и подал мне его. — Не беспокойтесь, — добавил он, заметив, видимо, что возвращаться к этой теме мне неприятно, — добровольный подарок проходит как местный национальный обычай.

После этой небольшой юридической консультации я окончательно попрощался с ним и вышел.

Мокрый дворик милиции сверкал на еще нежарком утреннем солнце. Милиционер деловито поливал из шланга молодую яблоню. Когда струя попадала в листья, раздавался глухой шелест, и по листве пробегал мощный, благодарный трепет, и радужная пыль отлетала от мокрой, упруго вздрагивающей листвы.

Девушка сидела под шелковицей и, глядя на ворота милиции, ждала своего возлюбленного.

На улице я изорвал свое заявление и бросил его в урну. Я едва успел на свой автобус. Всю дорогу я обдумывал свою будущую статью о козлотуре из Орехового Ключа. Мне казалось, что горечь потери часов внесет в мою статью тайный лиризм, и это в какой-то мере меня утешало.

Дома я решил сказать, что часы у меня украли в гостинице. Дядя, который, как я думал, давно забыл о подаренных часах, воспринял эту новость болезненно. Кстати говоря, он широко известен в нашем городе как один из лучших таксистов. Дня через два после моего приезда он прикатил к нам прямо с клиентами и стал расспрашивать, что и как.

— Мне дали номер с одним человеком, утром встаю — ни человека, ни часов, — сказал я горестно.

— А как он выглядел? — спросил дядя, загораясь мстительным азартом.

— Когда я вошел, он спал, — сказал я.

— Дуралей, — сказал дядя, — во-первых, не спал, а притворялся, что спит. Ну а дальше?

— Утром встаю — ни человека, ни часов...

— Заладил, — перебил он меня нетерпеливо, — неужели не заметил, какой он был с виду?

— Он был укрыт одеялом, — сказал я твердо. Я боялся говорить ему что-нибудь определенное. Я боялся, что при его решительном характере он начнет мне привозить всех заподозренных клиентов, да еще прямо в редакцию.

— В такую жару укрылся с головой! — воскликнул дядя. — Умного человека уже одно это должно было насторожить. А часы где были?

— Часы лежали под подушкой, — сказал я твердо.

— Зачем? — сморщился он. — Не надо было снимать, они же небьющиеся.

А я и не снимал, чуть было не сказал я, но вовремя спохватился.

— А что сказала администрация? — не унимался дядя.

— Они сказали, что надо было отдать им на хранение, — ответил я, вспомнив инструкцию общественной бани.

Я думаю, он бы меня запутал своими вопросами, если бы пассажиры не подняли шум под нашими окнами. Они сначала гудели в клаксон, а потом стали стучать в окно.

— С попутным рейсом заеду и устрою им веселую жизнь! — пообещал он на ходу, выскакивая на улицу.

Он был так огорчен потерей, что я сначала подумал: не собирался ли он отобрать их у меня по истечении какого-то срока? Но потом я догадался, что потеря подарка вообще воспринимается подарившими как проявление неблагодарности. Когда нам что-нибудь дарят, в нас делают вклад, как в сберкассу, чтобы получать маленький (как и в сберкассе), но вечный процент благодарности. А тут тебе сразу две неприятности: и вклад потерян, и благодарность иссякла.

К счастью, попутного рейса в ближайшее время не оказалось, и дядя постепенно успокоился. Но я заскочил вперед, а мне надо вернуться ко дню моего приезда из командировки.

По правде говоря, мне неохота возвращаться к нему, потому что приятного в нем мало, но это необходимо для ясности изложения.

Ровно в девять часов (по городским башенным часам) я вошел в редакцию. Платон Самсонович уже сидел за своим столом. Увидев меня, он встрепенулся, и его свеженакрахмаленная сорочка издала треск, словно она наэлектризовывалась от соприкосновения с его ссохшимся телом энтузиаста.

Я понял, что у него появилась новая идея, потому что он каждый свой творческий всплеск отмечал свежей сорочкой. Так что если с точки зрения гигиены он их менял не так уж часто, то с точки зрения развития новых идей он находился в состоянии непрерывного творческого горения. Так оно и оказалось.

— Можешь меня поздравить, — воскликнул он, — у меня оригинальная идея.

— Какая? — спросил я.

— Слушай, — сказал он, сдержанно сияя, — сейчас все поймешь. — Он придвинул к себе листок бумаги и стал писать какую-то формулу, одновременно поясняя ее: — Я предлагаю козлотура скрестить с таджикской шерстяной козой, и мы получаем:

Коза x Тур = Козлотур.

Козлотур x Коза (тадж.) = Козлотур<sup>2</sup>.

Козлотур в квадрате будет проигрывать в прыгучести, зато в два раза выигрывать в шерстистости. Здорово? — спросил он и, отбросив карандаш, посмотрел на меня блестящими глазами.



— А где вы возьмете таджикскую козу? — спросил я, стараясь подавить в себе ощущение какой-то опасности, которую излучали его глаза.

— Иду в сельхозуправление, — сказал он и встал, — нас должны поддержать. Ну, как ты съездил?

— Ничего, — ответил я, чувствуя, что он сейчас далек от меня и спрашивает просто так, из вежливости.

Он ринулся к двери, но потом вернулся и вложил листок с новой формулой в ящик стола. Закрыв ящик ключом, подергал его для проверки и вложил ключ в карман.

— Пока про это молчи, — сказал он на прощанье, — а ты пиши очерк, сегодня сдадим.

В его голосе прозвучало сознание превосходства думающего инженера над рядовым исполнителем. Я сел за стол, пододвинул пачку чистых листов, вынул ручку и приготовился писать. Я не знал, с чего начать. Вынул блокнот, зачем-то стал его перелистывать, хотя и знал, что он так и остался незаполненным.

Если судить по нашей газете, было похоже, что колхозники, за исключением самых несознательных, только и заняты козлотурами. Но в селе Ореховый Ключ все выглядело гораздо скромней. Я понимал, что прямо посягнуть на козлотура было бы наивностью, и решил действовать методом Иллариона Максимовича — то есть поддерживать идею в целом с некоторой отрицательной поправкой на местные условия. Пока я раздумывал, как начать, открылась дверь, и вошла девушка из отдела писем.

— Вам письмо, — сказала она и странно посмотрела на меня.

Я взял письмо и вскрыл его. Девушка продолжала стоять в дверях. Я посмотрел на нее. Она неохотно повернулась и медленно закрыла дверь.

Это было письмо оттуда, от моего товарища. Он писал, что до них дошли известия о нашем интересном начинании с козлотурами и редактор просит меня написать очерк, потому что хотя я и ушел от них, но они по-прежнему считают меня своим товарищем по перу, которого они выпестовали. Товарищ мой иронически цитировал его слова. Кстати сказать, письма — это единственный вид корреспонденции, где он позволял себе иронизировать.

Выходит, сначала меня выпестовали, а потом я сам ушел.

Не могу сказать, что остальная часть письма мне больше понравилась. В ней сообщалось, что он ее видит иногда в обществе майора. Поговаривают, что она вышла за него замуж, хотя это еще не точно, добавлял он в конце.

Конечно, точно, подумал я и отложил письмо. Я заметил, что иногда люди смягчают неприятные известия не из жалости к нам, а скорее, из жалости к себе, чтобы не говорить приличные по такому поводу слова сочувствия, призывать к суровому мужеству или тем более бежать за водой.

Не буду преувеличивать. У меня не хлынула горлом кровь и не открылась старая рана. Скорее, я почувствовал некоторую тупую боль, какая бывает у ревматиков перед плохой погодой. Я решил ее тоже каким-то боком приспособить к своему очерку, чтобы она помогла мне вместе с потерянными часами. У меня такая теория, что всякая неудача способствует

удаче, только надо умело пользоваться своими неудачами. У меня есть опыт по части неудач, так что я научился ими хорошо пользоваться.

Только нельзя использование неудач принимать примитивно. Например, если у вас украли часы, то это не значит, что вы тут же научитесь определять время по солнечным часам. Или немедленно сделаетесь счастливым, и вам, согласно пословице, будет просто незачем наблюдать часы.

Но главное даже не это. Главное — та праведная, но бесплодная ярость, которая вас охватывает при неудаче. Ярость эта предстает в чистом виде, ее как бы исторгает сама неудача, и, пока она бурлит в вашей крови, спешите ее использовать в нужном направлении.

Но при этом нельзя отвлекаться на мелочи, что, к сожалению, бывает со многими.

Иной в состоянии благородной ярости, скажем, решил позвонить и хотя бы по телефону-автомату сделать самый смелый, самый значительный поступок в своей жизни — и вдруг автомат, ни с кем его не соединив, проглатывает монету. Неожиданно человек начинает биться в судорогах, он конвульсивно дергает рычаг трубки, словно это кольцо никак не раскрывающегося парашюта. А потом, что еще более нелогично, старается просунуть лицо в выем для монет, который обычно не больше спичечной коробки, и, следовательно, просунуть голову туда никак невозможно. Ну хорошо, положим, он просунет голову в этот несчастный выем, что он там увидит? И даже если увидит свою монету, ведь не слизнет же он ее оттуда языком?

В конце концов, опустошив свою ярость в этих бессмысленных ковыряниях, он выходит из телефонной будки и неожиданно, может быть, даже для себя садится в кресло чистильщика обуви, словно и не было никакой благородной ярости, а так, вышел на прогулку и решил попутно навести блеск на свои туфли, а уже заодно и купить у чистильщика пару запасных шнурков. И вот он сидит в кресле чистильщика и, что особенно возмутительно, бесконечно возится с этими шнурками, то проверяя наконечники, то сравнивая их длину, сидит, слегка оттопырив губы, как бы издавая бесшумный свист, и при этом на лице его деловитая безмятежность рыбака, распутывающего сети, или крестьянина, собирающегося на мельницу и прощупывающего старый мешок.

Где ты, благородная ярость?

А иной, находясь в этом высоком состоянии, неожиданно бросается за мальчишкой, который случайно попал в него снежком. Ну ладно, пусть не случайно, но зачем взрослому человеку сворачивать со своей благородной стези и гнаться за мальчишкой, тем более что гнаться за ним бесполезно, потому что он знает все эти проходные дворы, как собственный пенал и даже лучше, он и бежит от него нарочно не слишком быстро, чтобы ему было интересней. А человек в этой непредвиденной пробежке растряс всю свою ярость и внезапно останавливается перед продуктовым складом и смотрит, как грузчики скатывают огромные бочки с грузовика, словно именно для этого он и бежал сюда целый квартал. Отдышавшись, он даже начинает давать им советы, хотя советов его никто не

слушает, однако никто и не пресекает их, так что издали, со стороны, можно подумать, что грузчики работали под его руководством и, не успей он прибежать сюда вовремя, неизвестно, чего бы натворили эти грузчики со своими бочками. В конце концов бочки вкатывают в подвал, и он умиротворенно уходит, словно все, что он делал, было предусмотрено еще утром. Где ты, благородная ярость?

Пока я так думал, открылась дверь, и снова вошла девушка из отдела писем.

— Я вам бумагу принесла, — сказала она и положила стопку бумаги на стол Платона Самсоновича.

— Хорошо, — сказал я. На этот раз я был рад ее приходу. Она меня вывела из задумчивости.

— Ну, что пишут? — спросила она как бы между прочим.

— Просят статью о козлотуре, — ответил я как бы между прочим.

Она пытливо посмотрела мне в глаза и вышла.

Я снова взялся за свой очерк. Козлотур стоял в центре очерка и выглядел великолепно. Село Ореховый Ключ ликовало вокруг него, хотя по условиям микроклимата козлотур, к сожалению, невзлюбил местных коз. Я уже кончил очерк, когда раздался телефонный звонок. Звонил Платон Самсонович.

— Послушай, — сказал он, — не мог бы ты намекнуть в своем очерке, что колхозники поговаривают о таджикской шерстяной козе?

— В каком смысле? — спросил я.

— В том смысле, что они довольны козлотуром, но не хотят останавливаться на достигнутом, а то тут некоторые осторожничают...

— Но это же ваша личная идея? — сказал я.

— Ничего. — Платон Самсонович вздохнул в трубку. — Сочтемся славою... Сейчас лучше, чтобы эта идея шла снизу, это их подстегнет...

— Я подумаю, — сказал я и положил трубку.

Я знал, что некоторые места в моей статье ему не понравятся. Чтобы отвоевать эти места, я решил поддержать его новую идею, но это оказалось не так просто. Я перебрал в уме всех, с кем виделся в колхозе, и понял, что никто ничего подобного не мог сказать, кроме разве Вахтанга Бочуа, но он не подходил для этой цели. В конце концов я решил этот намек поставить в конце очерка, как вывод, который сам напрашивается в поступательном ходе развития животноводства. «Не за горами время, — писал я, — когда наш козлотур встретится с таджикской шерстяной козой, и это будет новым завоеванием нашей мичуринской агробиологии».

Я перечитал свой очерк, расставил запятые, где только мог, и отдал машинистке. Я просидел над ним около трех часов и теперь чувствовал настоящую усталость и даже опустошенность. Я чувствовал себя опытным дипломатом, сумевшим срезать все острые углы: и козлотуры сыты, и председатель цел.

Я вышел из редакции и зашел в приморскую кофейню, расположенную во дворе летнего ресторана под открытым

небом. Я сел за столик под пальмой и заказал себе бутылку боржома, пару чебуреков и две чашки кофе по-турецки. Съев чебуреки, я потихоньку вытер руки о мохнатый ствол пальмы, потому что салфеток, как всегда, не оказалось. После этого я стал потягивать крепкий густой кофе и снова почувствовал себя дипломатом, но теперь не только опытным, но пожившим дипломатом.

Гипнотический шорох пальмовых листьев, горячий кофе, прохладная тень, мирное шелканье четок старожил... Постепенно козлотуры уходили куда-то далеко-далеко, я погрузился в блаженное оцепенение.

За одним из соседних столиков, окруженный старожилками, витийствовал Соломон Маркович, опустившийся зубной врач. Когда-то, еще до войны, его бросила и оклеветала жена. С тех пор он запил. Его здесь любят и угощают. И хотя его любят, я думаю, бескорыстно, все же людям приятно видеть человека, которому еще больше не повезло, чем им. Сейчас он рассказывал мусульманским старикам библейские притчи, перемежая их примерами из своей жизни.

— ...И они мне говорят: «Соломон Маркович, мы тебя посадим на бутылку». А я им отвечаю: «Зачем я сяду на бутылку, лучше я сяду прямо на пол».

Увидев меня, он неизменно говорит:

— Молодой человек, я тебе дам такой сюжет, такой сюжет, я тебе расскажу свою жизнь от рожденья до смерти.

После этого обычно ничего не остается, как поставить ему коньяк и чашку кофе по-турецки, но иногда это надоедает,

особенно когда нет времени или настроения выслушивать чужие горести.

Вернувшись в редакцию, я зашел в машинное бюро за своим очерком. Машинистка сказала, что его забрал редактор.

— Что, сам взял? — спросил я, чувствуя безотчетную тревогу и, как всегда, интересуясь ненужными подробностями.

— Прислал секретаршу, — ответила она, не отрываясь от клавиш.

Я зашел в наш кабинет, сел за свой стол и стал ждать. Мне не очень понравилась поспешность нашего редактора. Я вспомнил, что в очерке остались две-три формулировки, по-моему, недостаточно отточенные. Кроме того, мне хотелось, чтобы его сначала прочел Платон Самсонович.

Я ждал вызова. Наконец прибежала секретарша и испуганно сказала, что меня ждет редактор. Хотя она обо всяком вызове редактора сообщала испуганным голосом, все-таки теперь это было неприятно.

Я открыл дверь кабинета. Рядом с Автандилом Автандиловичем сидел Платон Самсонович.

Редактор сидел в обычной для него позе пилота, уже выключившего мотор, но все еще находящегося в кабине. Жирные лопасти вентилятора были похожи на гигантские лепестки тропического цветка. Скорее всего, ядовитого.

Казалось, Автандил Автандилович только что облетел места моей командировки и теперь сравнивает то, что видел, с тем, что я написал.



Рядом с его крупной, породистой фигурой сухошавый Платон Самсонович выглядел в лучшем случае как дежурный механик. Сейчас он выглядел как провинившийся механик. Когда я подошел к столу Автандила Автандиловича, я почувствовал даже физически, как от его облика повеяло холодом, словно он еще был окружен атмосферой заоблачных высот, откуда только что прилетел.

Я почувствовал, что меня начинает сковывать этот заоблачный холод, и постарался стряхнуть с себя унизительное оцепенение, но ничего не получилось, может быть, потому, что он молчал. Мне вдруг показалось, что я в очерке все перепутал, причем я даже отчетливо увидел всю эту бредовую путаницу и удивился, как я этого не заметил, когда его перечитывал. Мне даже показалось, что я везде Иллариона Максимова назвал почему-то Максимом Илларионовичем, и это было особенно неприятно.

Наконец, почувствовав, что я дошел до определенной, нужной ему точки замерзания, он проговорил голосом, поддерживающим эту точку:

— Вы написали вредную для нас статью. — Я посмотрел на Платона Самсоновича. Платон Самсонович отвернулся к стене.

— Причем вы замаскировали ее вред, — добавил Автандил Автандилович, любуясь моим замерзанием. — Сначала она меня даже подкупила, — добавил он, — есть удачные сравнения... Но все-таки это ревизия нашей основной линии.

— Почему ревизия? — сказал я. Голос мой подымался откуда-то из самой глубины, где осталось небольшое незамерзшее пространство.

— И потом, что вы за чепуху пишете насчет микроклимата? Козлотур — и микроклимат. Что это — апельсин, грейпфрут?

— Но ведь он не хочет жить с местными козами, — сказал я взволнованно, стараясь обезоружить его самой бесспорностью факта, и вдруг вспомнил и уверился, что в очерке ничего не напутано, а Илларион Максимович назван именно Илларионом Максимовичем.

— Значит, не сумели настроить его, не мобилизовали всех возможностей, а вы пошли на поводу...

— Это председатель его запутал, — вставил Платон Самсонович. — Я же предупреждал: основная идея твоего очерка — это «чай хорошо, но мясо и шерсть — еще лучше».

— Да вы знаете, — перебил его редактор, — если мы сейчас дадим лазейку насчет микроклимата, они все будут кричать, что у них микроклимат неподходящий... и это теперь, когда нашим начинанием заинтересовались повсюду?

— А разве мы и они — не одно и то же? — сорвалось у меня с губ, хотя я этого и не собирался говорить. Ну, теперь все, подумал я.

— Вот это и есть в плену отсталых настроений, — неожиданно спокойно ответил Автандил Автандилович и добавил: — Кстати, что это за ерундистика с таджикской шерстяной козой, что за фантазия, откуда вы это взяли?

Я заметил, что он сразу успокоился, — мое поведение объяснилось отчетливо найденной формулировкой.

Платон Самсонович поджал губы, на скулах у него выступили пятна румянца. Я промолчал. Автандил Автандилович покосился на Платона Самсоновича, но ничего не сказал. Несколько секунд он молчал, давая нам обоим осознать значительность моего падения. И тут я опять подумал, что все кончено, и в то же время я подумал, что если он решил меня изгонять, то должен был ухватиться за мои последние слова, но он почему-то за них не ухватился.

— Переработать в духе полной козлотуризации, — сказал он значительно и перекинул рукопись Платону Самсоновичу.

Откуда он знает это слово, подумал я и стал ждать.

— Вас я перевожу в отдел культуры, — сказал он голосом человека, выполняющего свой долг до конца, хотя это и не так легко. — Писать можете, но знания жизни нет. Сейчас мы решили провести конкурс на лучшее художественное произведение о козлотуре. Проведите его на хорошем столичном уровне... У меня все.

Автандил Автандилович включил вентилятор, и лицо его начало постепенно каменеть. Пока мы с Платоном Самсоновичем выходили из кабинета, я боялся, что его кружащийся самолет пустит нам вслед пулеметную очередь, и успокоился только после того, как за нами закрылась тяжелая дверь кабинета.

— Сорвалось, — сказал Платон Самсонович, когда мы вышли в коридор.

— Что сорвалось? — спросил я.

— С таджикской козой, — проговорил он, выходя из глубокой задумчивости, — ты не совсем так написал, надо было от имени колхозника...

— Да ладно, — сказал я. Мне как-то все это надоело.

— Козлотуризация... бросается словами, — кивнул он в сторону кабинета Автандила Автандиловича, когда мы вошли в свой отдел.

Я стал собирать бумаги из ящика своего стола.

— Не унывай, я тебя потом возьму снова в свой отдел, — пообещал Платон Самсонович. — Кстати, правда, что тебе заказали статью из газеты, где ты работал?

— Правда, — сказал я.

— Если у тебя нет настроения, я могу им написать, — оживился он.

— Конечно, пишите, — сказал я.

— Сегодня же вечером напишу. — Он окончательно стрянул с себя уныние и снова кивнул в сторону редакторского кабинета: — Козлотуризация... Одни бросаются словами, другие дело делают.

Когда я проходил по нашей главной улице, со мной случилась жуткая вещь. На той стороне тротуара возле витрины универсального магазина стоял человек, одетый в новенький костюм и в шляпе. Он смотрел в витрину, в которой стояло несколько манекенов, точно так же одетых, как и он. Увидев его, я подумал: до чего они похожи друг на друга, то есть он и манекены. Не успел я додумать эту

мыслишку, как один из манекенов, стоявших в витрине, зашевелился. Я как-то похолодел, но у меня хватило здравого смысла сказать себе, что это бред, что манекен не может шевелиться, до этого еще не додумались.

Только я так подумал, как манекен, который до этого зашевелился, теперь в какой-то злобной насмешке над моим здравым смыслом спокойно повернулся и стал выходить из витрины. Не успел я очнуться, как через мгновение зашевелились и остальные манекены, именно зашевелились сначала и только потом двинулись вслед за первым. И только когда все они вышли на улицу, я понял: этот заговор манекенов — просто какая-то ошибка зрения, помноженная на усталость, волнение и еще что-то. То, что я принял за витрину универсального магазина, было стеклянной перегородкой, и люди, которых я принял за манекенов, просто стояли по ту сторону стеклянной стены.

Надодохнуть свежим воздухом, иначе так с ума сойдешь, подумал я и поскорей повернул в сторону моря.

Я с детства ненавижу манекены. Я до сих пор не пойму, как эту дикость можно разрешить. Манекен — это совсем не то, что чучело. Чучело человечно. Это игра, которая может некоторое время пугать детей или более долгое время птиц, потому что они еще более дети. На манекен я не могу смотреть без ненависти и отвращения. Это наглое, это подлое, это циничное сходство с человеком.

Вы думаете, он, манекен, демонстрирует вам костюм новейшего покроя? Черта с два! Он хочет доказать, что можно

быть человеком и без души. Он призывает нас брать с него пример. И в том, что он всегда представляет новейшую моду, есть дьявольский намек на то, что он из будущего.

Но мы не принимаем его завтрашний день, потому что мы хотим свой, человеческий завтрашний день.

Когда я гляжу в глаза собаки, я нахожу в них сходство с человеческим взглядом, и я уважаю это сходство. Я вижу миллионы лет, которые нас разделяют, и вижу, что, несмотря на миллионы лет, которые нас разделяют, ее душа уже оплодотворена человечностью, чувствует ее, как след, и идет за ней.

Собака талантлива. Меня трогает ее стремление к человеческому, и рука моя бессознательно тянется погладить ее, она рождает во мне отзывчивость. Значит, она не только стремится к человеческому, но и во мне усиливает человеческое. Наверное, в этом и заключается человеческая сущность — в духовной отзывчивости, которая порождает в людях ответную отзывчивость. Радостный визг собаки при виде человека — это проявление ее духовности.

Я удивляюсь способностям попугая, его голосовым связкам и механической памяти, но до собаки попугая далеко. Попугай — это любопытно. Собака — это прекрасно.

Мы часто удовлетворяемся, обозначая сущность приблизительным словом. Но даже если мы ее точно обозначим — сущность меняется, а ее обозначение, слово, еще долго остается, сохраняя форму сущности, как пустой стручок сохраняет выпуклости давно выпавших горошин. Любая из этих

ошибок, чаще всего двойная, в конце концов приводит к путанице понятий. Путаница в понятиях в конечном счете отражает наше равнодушие, или недостаточную заинтересованность, или недостаточную любовь к сущности понятия, ибо любовь — это высшая форма заинтересованности.

И за это приходится рано или поздно расплачиваться. И только тогда, шупая синяки, мы начинаем подбирать к сущности точное обозначение. А до этого мы путаем попу-гая с пророком, потому что мало или недостаточно задумывались над тем, в чем заключается величие человека. Мало задумывались, потому что мало уважали себя, и своих товарищей, и свою жизнь.

Дня через три в обеденный перерыв я сидел в той же кофейне. Вошел Вахтанг Бочуа — в белоснежном костюме, сияющий апофеоз белых и розовых тонов. Он был в обществе старого человека и женщины, одетой с элегантно-неряшливостью гадалки. Увидев меня, Вахтанг остановился.

— Ну как лекция? — спросил я.

— Колхозники рыдали, — ответил Вахтанг, улыбаясь, — а с тебя бутылка шампанского.

— За что? — спросил я.

— Разве ты не знаешь? — удивился Вахтанг. — Я же тебя спас из-под колеса истории. Автандил Автандилович хотел с тобой расстаться, но я ему сказал: только через мой труп.

— А он что? — спросил я.

— Понял, что даже колесо истории увязнет здесь. — Вахтанг любовно похлопал по своему мощному животу. — Экзекуция отменена.

Он стоял передо мной розовый, дородный, улыбающийся, неуязвимый, как бы сам удивленный беспредельностью своих возможностей и одновременно обдумывающий, чем бы меня еще удивить.

— А ты знаешь, кто это такие? — Он слегка кивнул в сторону своих спутников. Спутники уже заняли столик и оттуда любовно поглядывали на Вахтанга.

— Нет, — сказал я.

— Мой друг, профессор (он назвал его фамилию), известнейший в мире минералог, и его любимая ученица. Между прочим, подарил мне коллекцию кавказских минералов.

— За что? — спросил я.

— Сам не знает. — Вахтанг радостно развел руками. — Просто полюбил меня. Я его вожу по разным историческим местам.

— Вахта-а-анг, мы случаем, — капризно протянула любимая ученица.

Сам профессор, ласково улыбаясь, смотрел в нашу сторону. Из-под столика высовывались его длинные ноги, прикрытые полотняными брюками и лениво вдетые в сандалии. Такие ноги бывают у долговязых рассеянных подростков.

— И это еще не все, — сказал Вахтанг, продолжая улыбаться и пожимая плечами в том смысле, что чудачествам в этом мире нет предела, — он завещал мне свою библиотеку.

— Смотри не отрави его, — сказал я.



— Что ты, — улыбнулся Вахтанг, — я его, как родного отца...

— Приветствую нашу замечательную молодежь. — Откуда-то появился Соломон Маркович. Он стоял маленький, морщинистый, навек заспиртованный, во всяком случае изнутри, в своей тихой, но упорной скорби.

— Уважаемый Вахтанг, — обратился Соломон Маркович к нему, — я старый человек, мне не нужно ста грамм, мне нужно только пятьдесят.

— И вы их получите, — сказал Вахтанг и, вельможено взяв его под руку, направился к своему столику.

— Еще одна местная археологическая достопримечательность, — представил его Вахтанг своим друзьям и пододвинул стул. — Прошу любить: мудрый Соломон Маркович.

Соломон Маркович сел. Он держался спокойно и с достоинством.

— Я вчера прочел одну книжку, называется «Библия», — начал он. Он всегда так начинал. Я подумал, что он опять, согласно моей теории, из большой неудачи своей жизни извлекает маленькие удачи ежедневных выпивок.

С месяц я спокойно работал в отделе культуры. Шум кампании не смолкал, но теперь он мне не мешал. Я к нему привык, как привыкаешь к шуму прибора. Областное совещание по козлотуризации колхозов нашей республики прошло на высоком уровне. Хотя и раздавались некоторые критические голоса, но они потонули в общем победном хоре.

В конкурсе на лучшее произведение о козлотуре победил бухгалтер Лыхнинского колхоза. Он написал песню о козлотуре. Вот ее текст:

*Жил гордый тур в горах Кавказа.  
По нем турицы сохли все,  
Но он мечтал о желтоглазой,  
О милой маленькой козе.*

*Но отвергали злые люди,  
Пролить пытаясь его кровь,  
Его альпийскую, по сути,  
Высокогорную любовь.*

*Тур уходил за перевалы,  
Колючки жесткие грызя,  
Его теснили феодалы,  
Мелкопоместные князья.*

*Паленой шерстью дело пахло,  
А также пахло шашлыком...  
А козочка в долине чахла  
В разлуке с гордым женихом.*

*И только в наши дни впервые  
Нашелся добрый чародей,  
Что снял преграды видовые  
Рукой мичуринской своей.*

*И с туrom козочка любовно  
Сплела рога под звон чонгур.  
От этой ласки безусловно  
Родился первый козлотур.*

*В нем навсегда, как говорится,  
Соединились две черты:  
Прыгучесть славного альпийца  
И домовитый нрав козы.*

*Назло любому самодуру  
Теперь мы славим на века  
Не только мясо козлотура,  
Но и прекрасные рога.*

Чтобы понять ядовитый смысл последней строфы, надо знать предысторию всего стихотворения. В основу ее был положен реальный случай.

В одном колхозе козлотур чуть не забодал маленького сына председателя, который, как потом выяснилось (я имею в виду, конечно, сына), часто дразнил и даже, как утверждал Платон Самсонович, издевался над беззащитным животным, пользуясь служебным положением своего отца.

Ребенок сильно испугался, но, как выяснилось, никаких серьезных увечий козлотур ему не нанес. Тем не менее пред-

седатель под влиянием своей разъяренной жены приказал местному кузнецу спилить рога козлотуру. Об этом написал секретарь сельсовета. Платон Самсонович пришел в неистовство. Он поехал в колхоз, чтобы лично убедиться во всем. Все оказалось правдой. Платон Самсонович даже привез один рог козлотура, другой рог, как смущенно сообщил ему председатель колхоза, утащила собака. Все работники редакции приходили смотреть рог козлотура, даже невозмутимый метранпаж специально пришел из типографии посмотреть на рог. Платон Самсонович охотно показывал его, обращая внимание на следы варварской пилы кузнеца. Рог был тяжелый и коричневый, как бивень допотопного носорога. Заведующий отделом информации, он же председатель месткома, предложил отдать мастеру отделать его, чтобы потом ввести в употребление для коллективных редакционных пикников.

— Литра три войдет свободно, — сказал он, рассматривая его со всех сторон.

Платон Самсонович с негодованием отверг это предложение.

По этому поводу он написал фельетон под названием «Козлотур и самодур», где сурово и беспощадно карал председателя. Он даже предлагал поместить в газете снимок обесчещенного животного, но Автандил Автандилович после некоторых раздумий решил ограничиться фельетоном.

— Это могут не так понять, — сказал он по поводу снимка. Кто именно может не так понять, он не стал объяснять.

Вот почему, когда на конкурс пришло стихотворение лыхнинского бухгалтера под тем же названием, Платон Самсонович стал за него горой как самый влиятельный член жюри и его единственный технический эксперт. Редактор не имел ничего против, он только заметил, что надо немного изменить две последние строчки так, чтобы автор славил не только мясо и рога, но и шерсть козлотура.

— Еще неизвестно, что важнее, — сказал он и неожиданно сам исправил последние строчки. Теперь стихотворение кончалось так:

*Назло любому самодуру  
Я буду славить на века  
И шерсть и мясо козлотура,  
А также пышные рога.*

— Может, пышные не совсем точно? — сказал я.

— Пышные, то есть красивые, очень даже точно, — твердо возразил Автандил Автандилович.

В нем проснулось извечное упорство поэта, отстаивающего оригинал. Автор был доволен. Вскоре на это стихотворение была написана музыка, и притом довольно удачная. Во всяком случае, ее неоднократно исполняли по радио и со сцены. Со сцены ее исполнял хор самодеятельности табачной фабрики под руководством ныне реабилитированного, известного в тридцатых годах исполнителя кавказских танцев Пата Патарая.

Рог так и остался в кабинете Платона Самсоновича. Он возлежал на кипе старых подшивок как напоминание о бдительности.

Основное время в отделе культуры у меня уходило на обработку читательских писем — обычно жалобы на плохую работу сельских клубов — и стихи — творчество трудящихся.

После окончания конкурса на лучшее произведение о козлотуре стихи на эту тему посыпались с удвоенной силой. Причем многие из них были помечены грифом: «К следующему конкурсу», хотя редакция нигде не объявляла, что будет еще один конкурс.

Интересно, что многие авторы, в основном пенсионеры, в сопроводительном письме упоминали, что государство их хорошо обеспечило и они не нуждаются в гонораре, и если какой-нибудь молодой сотрудник редакции кое-что подправит в их стихах для напечатания, то его скромный труд не останется без вознаграждения, ибо всякий труд и т. д. Сначала меня возмущало, почему именно молодой сотрудник, но потом я к этому привык и не обращал внимания.

Первое время я вежливо намекал авторам, что сочинительство требует некоторых природных способностей и даже грамотности. Но однажды Автандил Автандилович вызвал меня и, подчеркнув красным карандашом наиболее откровенные строчки моего ответа, посоветовал быть доброжелательней.

— Нельзя говорить, что у человека нет таланта. Мы обязаны воспитывать таланты, тем более когда речь идет о творчестве трудящихся, — заметил он.

К этому времени я окончательно уяснил слабость Автандила Автандиловича. Этот мощный человек цепенел, как кролик, под гипнозом формулы. Если он выдвигал какую-нибудь формулу, переспорить его было невозможно. Зато можно было перезарядить его другой формулой, более свежей. Когда он заговорил насчет творчества трудящихся и воспитания талантов, мне пришла в голову формула относительно заигрывания с массами, но я ее не решился высказать. Все-таки сюда она не слишком подходила.

Вот почему, сжав зубы, я отвечал на письма стихотворцев, злорадно советуя им учиться у классиков, в особенности у Маяковского.

Несколько раз за это время я выезжал в командировки и, когда готовил материал к печати, уже заранее знал те места, которые редактору не понравятся и будут обязательно вычеркнуты.

Для мест, подлежащих уничтожению, я делал единственное, что мог: старался их писать как можно лучше.

Одним словом, все шло нормально, но тут случилось событие, которое в какой-то мере повлияло на мою жизнь, хотя и не имело отношения к теме моего повествования, то есть к козлотурам.

В тот вечер мы сидели с ребятами на приморском парапете и поглядывали на улицу, по которой все время двигались навстречу друг другу два потока. Толпа нарядных, возбужденных своим процеживающим движением людей.

Белоснежная рубашка, черные брюки, узконосые туфли, пачка «Казбека», заложенная за пояс на манер ковбойского пистолета, — летняя боевая форма южного щеголя.

Вечер не предвещал ничего особенного. Да мы ничего особенного и не ожидали. Просто отдыхали, сидя на парапете, лениво поглядывая на гуляющих, и говорили о том, о чем говорят все мужчины в таких случаях. А говорят они в таких случаях всякую ерунду.

Тогда-то она и появилась. Девушка была в обществе двух пожилых женщин. Они прошли по тротуару мимо нас. Я успел заметить нежный профиль и пышные золотистые волосы. Это была очень приятная девушка, только талия ее мне показалась слишком узкой. Что-то старинное, от корсетных времен.

Она покорно и прилично слушала то, что говорила одна из женщин. Но я не очень поверил в эту покорность. Мне подумалось, что девушка с такими пухлыми губами может быть и не такой уж покорной.

Я следил за ней, пока она со своими спутницами не скрылась из глаз. Слава Богу, ребята ничего не заметили. Они держали под прицелом улицу, а девушка как бы прошла над ними. Я посидел еще немного и почувствовал, что разговоры товарищей как-то до меня не доходят. Я уже нырнул куда-то и слышал их через толщу воды.

Девушка не выходила у меня из головы. Мне захотелось ее снова увидеть. Не то чтобы я боялся, что ее увлекут щеголи в белых рубашках, с томной походкой. Нет, я был уверен, что их дурацкие патронташи с полупустыми гильзами казбе-



чин не представляют для нее опасности. Слишком мелкая дробь. К тому же я понимал: вынуть ее из такой плотной шершавой обертки, как две пожилые женщины, задача дай Бог.

Как бы там ни было, я распрощался с ребятами и ушел. Найти ее в такой толчее казалось невероятным. Но она мне уже мерещилась. Чуть-чуть, но все-таки. А раз человек мерещится, можно быть спокойным — сам найдется. Раз так, подумал я, значит, я излечился от старой болезни. Майор оказался неплохим врачом. Я почувствовал в себе вернейший признак выздоровления, желание снова заболеть. Я стал ее искать.

Я знал, что ее увижу, а что дальше будет — понятия не имел. Просто надо было убедиться — в самом деле она мерещится или только показалось?

И вот я вижу — она стоит на маленьком причале для местных катеров. Наклонилась над барьером и смотрит в воду. На ней какая-то детская рубашонка и широченная юбка на недоразвитой талии. Про таких девушек у нас говорят: ножницами можно перерезать.

Рядом с девушкой на скамейке сидели обе женщины, с которыми она так покорно проходила по набережной.

Надо сказать, что о наших краях болтают всякую чепуху. Вроде того, что девушек воруют, увозят в горы, и тому подобную чушь. В основном все это бред, но многие верят.

Во всяком случае, спутницы девушки сейчас сидели от нее так близко, что в случае неожиданного умыкания могли бы, не вставая со скамейки, удержать ее хотя бы за юбку. Юбка

эта сейчас плескалась вокруг ее ног широко и свободно, как флаг независимой, хотя и вполне миролюбивой державы.

Раздумывая, как быть дальше, я прошел до конца причала и, возвращаясь, решил во что бы то ни стало остановиться возле нее. Я решил использовать единственную ошибку, допущенную охраной, — фланг, обращенный к морю, был открыт.

Море было на моей стороне. И вот я подхожу, а легкий ветерок дует мне в спину, как дружеская рука, подталкивающая на преступление. Неожиданно порыв так раздул ее юбку, что мне показалось — она вот-вот взлетит, прежде чем я успею подойти. Я даже немного ускорил шаги. Но девушка, не глядя на юбку, прихлопнула ее рукой. Так прикрывают окно, чтобы устранить сквознячок. А может быть, так гасят парашют. Хотя я сам с парашютом не прыгал и, разумеется, не собираюсь, но почему-то образ парашюта, особенно нераскрывающегося, меня преследует...

Но как к ней все-таки подойти? И вдруг меня осенило. Надо притвориться приезжим. Обычно они друг другу почему-то больше доверяют. То, что она не из наших краев, было видно сразу.

И вот я подошел и стал рядом с ней. Стою себе солидно и скромно. Бродит человек гулял, а потом решил: дай я посмотрю на это Черное море, с чего оно плещется тут без всякой пользы для отдыхающих. Чтобы не было никаких подозрений, я даже не смотрел в ее сторону.

Внизу, прямо под нами, у железной лесенки, болталась шлюпка с рыбацкого баркаса. Сам баркас стоял на рейде. На эту шлюпку она и смотрела. Теперь-то можно сказать, что она смот-

рела прямо в глаза судьбе. Но тогда я этого не понимал. Я только заметил, что она как-то задумчиво смотрела на нее. Может быть, она решила удрать на этой шлюпке от своих спутниц. Я бы с удовольствием помог ей, хотя бы в качестве гребца.

Я стоял рядом с ней, медленно чугуня и чувствуя: чем дольше буду молчать, тем труднее мне будет заговорить.

— Интересно, что это за лодка? — наконец пробубнил я, обращаясь к ней, но не прямо, а так, под углом в сорок пять градусов.

Более глупый вопрос трудно было придумать. Девушка слегка пожала плечами.

— Странно, — сказал я, продолжая гнуть ту же дурацкую линию, как будто увидеть шлюпку у причала Бог весть какое чудо. — Ведь говорят, здесь граница близко, — нервно проговорил я, мысленно колотя себя головой о поручни.

— А что, может, контрабандисты? — обрадовалась она.

— У нас в санатории рассказывали, — начал я бодро, еще сам не зная о чем.

Как раз в это время, грохоча сапогами, по железной лесенке спустились два человека. Первый нес большую плетеную корзину, прикрытую полотенцем, у второго за плечами лежал мешок.

Я замолк и приложил палец к губам.

— Как интересно, — прошептала девушка. — Что они будут делать?

Я слегка покачал головой, давая знать, что ничего хорошего от них ожидать не следует. Девушка закусила губу и еще ниже наклонилась над поручнями.

Тот, что шел с корзиной, вскочил на пляшущую лодку и, пробежав по банкам, уселся на корму, поставив корзину между ног. Не успел я опомниться, как он поднял свое румяное до черноты лицо и, улыбаясь, кивнул мне. Это был один из тех рыбаков, с которыми я когда-то выходил в море. Звали его Спиро.

— Приветствую работников печати! — закричал он, сверкнув зубами.

Я почувствовал, что неудержимо краснею, и незаметно кивнул ему головой. Но ему дай только рот раскрыть.

— Закусываете рыбкой, а пишете про козлотуров, — крикнул он и добавил, оглядев меня и девушку: — Интересное начинание, между прочим...

— Как дела? — вяло спросил я, понимая, что маскироваться дальше было бы еще глупей.

— Видишь, везу премиальные.

Он сдернул с корзины полотенце. В ней стояли винные бутылки.

— План перевыполняем, но золотая рыбка пока еще не попалась, — добавил он, глядя на девушку своими прозрачными, бесстыжими глазами. — Калон карица (хорошая девушка)! — вдруг закричал он, откидываясь и хохоча. Видно было, что, прежде чем купить вино, он основательно его отдегустировал. — Девушка, пусть он вам споет песню про козлотура, — вдруг вспомнил он и снова завелся: — Он хорошо поет песню про козлотура, они все там поют песню про козлотура, они чокнулись на этой песне...

Наконец товарищ его оттолкнулся и сел на весла. Спирос еще долго дурачился, делая вид, что хочет утопиться на глазах у некоторых глупых людей, не понимающих, с каким сожровищем рядом они стоят.

— Подписчики волнуются! — закричал он издали, и лодка растворилась в колеблющейся темноте моря.

Все это время девушка держалась хорошо. Она дружелюбно улыбалась, и я постепенно успокоился.

— Что это за козлотуры? — спросила она, как только мы остались одни.

— Да так, новое животное, — сказал я небрежно.

— Странно, почему же я о нем не слыхала?

— Скоро услышите, — сказал я.

— И вы поете песню о новом животном?

— Скорее, подпеваю.

— А в Москве ее уже поют?

— Кажется, еще нет, — сказал я.

— Нам пора, — неожиданно раздалось за спиной.

Мы обернулись. Обе женщины стояли перед нами, откровенно враждебно оглядывая меня. Девушка мягко отошла к ним.

— Мы целыми днями на пляже, — сказала она, как бы договаривая фразу, и взяла под руку своих спутниц.

Я очень вежливо попрощался со всеми и отошел. Я пересек приморскую улицу и отправился домой малолюдным переулком, чтобы не встречаться с друзьями и не расплескать того хорошего, что осталось от встречи с этой девушкой. По дороге до-

мой я с удовольствием обдумывал ее последние слова. Мне ничего не мешало истолковать их как намек на встречу.

Весь следующий день в редакции меня распирала радость предстоящего свидания. Чтобы погасить неприличные излишки этой радости, чтобы не слишком оттопыривались от нее карманы, я решил все свое рабочее время посвятить читательским письмам.

Ровно в пять часов я запер дверь нашего отдела, сел в потный, битком набитый автобус и поехал на пляж.

И вот я на пляже. Из репродуктора лилась обволакивающая, тихая музыка. Она помогала раздеваться. Она была как плавный переход от земли к морю.

Немного волнуясь, я стал обходить пляж, заглядывая под тенты и зонты. Разноцветные купальные костюмы, загары всех оттенков, ярмарка летнего здоровья, древнегреческие позы лени и благодущия.

Я вдруг почувствовал, что не спешу ее увидеть. Поиски ее давали право быть внимательным ко всем.

Мне показалось, что я не слишком связан вчерашними впечатлениями. Карнавал пляжных красок ослаблял его. Я знал, что слишком сильное чувство мешает самому себе, и был рад, что этого сейчас как будто нет.

У меня была глуповатая привычка при первом же удобном случае обрушивать на понравившуюся девушку лавину своих самых высоких чувств. Обычно это пугало их или даже оскорбляло. Возможно, им казалось, что раз человек так волнуется, значит, они сами недооценивали своих чар, не замети-

ли, так сказать, золотоносной жилы на своем участке и надо его первым делом переоценить, тщательно огородить, во всяком случае, не допускать первооткрывателя.

Так или иначе, как только я обрушивал на них эту дурацкую лавину, я немедленно переводился в запасные игроки. В конце концов мне это надоело, а потом нравилась какая-нибудь другая девушка, и хоть я понимал, что надо быть посдержанней, лавина как-то сама по себе обрушивалась, и девушка каждый раз выскакивала из-под нее, в лучшем случае для меня слегка помяв прическу.

Думая об этом и радуясь своему спокойствию, я обошел пляж, но нигде ее не заметил. Настроение начинало портиться. Я прошел вдоль кромки прибоя, вглядываясь в тех, кто купался. Но и здесь ее не было.

Я почувствовал, как все вокруг потускнело почти на глазах. Я медленно разделся. Раз уж пришел на пляж — надо купаться. Возле меня остановился фотограф в коротких белых штанах, с мощными бронзовыми ногами пилигрима. Он снимал женщину, вытягивавшую голову из пены прибоя.

— Еще один снимок, мадам.

Отходящая волна обнажила тело пенорожденной и руки, крепко упершиеся в песок растопыренными ладонями.

— Фотографирую...

Он так тщательно, с видом старого петербуржца, програсировал, что компания молодых туристов, расположившаяся рядом, дружно засмеялась.

Пилигрим снова навел свой фотоаппарат, а компания приготавливалась смеяться. Женщина попыталась изобразить блаженство, но выражение тусклой озабоченности не сходило с ее лица. Пена прибора вокруг нее казалась будничной, как мыльная.

— Снимаю, — неожиданно сказал фотограф и посмотрел на ребят.

Но они все равно засмеялись. Фотограф сам теперь улыбался. Он улыбался долгой, выжженной солнцем улыбкой. Улыбка его означала, что он понимает, какие эти ребята еще глупые и молодые, и что в жизни вообще много не менее смешного, чем его профессия, только надо иметь терпение пожить, чтобы понять кое-что.

Я выкупался, но море меня не освежило. Я только почувствовал голод и раздражение. Я вспомнил, что забыл пообедать, что вообще-то со мной редко случалось.

Пляж начинал меня злить. Все эти дряблые преферансисты с тонкими, подагрическими ногами, спортсмены, туго набитые никому не нужными мышцами, местные сердцееды с выражением дурацкой, ничем не оправданной горделивости на лице, и женщины, нагло выставившие якобы на солнце свои якобы бесспорные прелести.

Я быстро оделся и вышел. Доехал до города и пошел домой — голодный, усталый, злой. Только хотел открыть дверь, как обнаружил, что потерял ключ. Перерыл все карманы, но ключа нигде не было. Я понял, что попал в полосу невезения. У меня всегда так. Или все идет хорошо, или все валится



из рук. Видимо, ключ у меня выпал из кармана, когда я одевался на пляже. Скорее всего, я так решил потому, что это было единственное место, где его можно было хотя бы поискать.

Проклиная все на свете, я дошел до автобусной остановки и снова поехал на пляж. Теперь в автобусе людей было гораздо меньше. В такое время на пляж уже почти никто не ездит.

На одной из остановок шофер сошел с автобуса и минут через пять возвратился с целым кульком горячих пирожков, просвечивающих через промасленный кулек. Пожевывая пирожки, он не спеша проехал две остановки и снова вышел из автобуса. Напротив остановки был пивной ларек. Теперь он свои пирожки запивал пивом. Пассажиры покорно ворчали. Рядом с пивным ларьком высилось дощатое здание — филиал народного суда. Я испугался, как бы он туда не вошел послушать какое-нибудь дело. Я думаю, у него хватило бы нахальства войти туда, не выпуская из рук пивной кружки. Но пока он спокойно пил пиво.

Я сидел напротив дверей, машинально скатывая на пальцах свой билетик. Наконец, когда терпение дошло до предела, я его выщелкнул в дверь. В ту же секунду с передней площадки вошел контролер и стал проверять билеты. Мне надо было выйти из машины и найти свой билет, но сделать это теперь было неудобно — люди могли подумать, что я удираю.

Когда контролер подошел ко мне, я стал объяснять, как потерял билет, сам чувствуя глупость своего объяснения. По лицу контролера было видно, что он озабочен только одной мыслью: как бы я не подумал, что он мне верит.

Тогда я вышел из автобуса и стал искать билет под поощрительный хохоток ближайших пассажиров. Билет не находился. Я взял себя в руки и пытался осмыслить возможную траекторию его полета. Но там, где он должен был упасть, ничего не было. Наверное, его снесло ветром. Контролер стоял у входа, и взгляд его печально-умудренный (терпеть не могу этот печально-умудренный взгляд) выражал, что нельзя найти того, чего не терял.

Наконец пассажиры, видимо, решив, что я свое отработал, дружно вступились за меня и стали уверять, что видели, как я бросил билет. Перед общественным мнением контролеру пришлось отступить, и он вышел из машины, сделав мне небольшое внушение.

Наконец шофер допил свое пиво, и, когда он хлопнул дверцей и бодро включил мотор, все почувствовали к нему прилив благодарности, которого, конечно, не было бы, если бы он ехал, как положено.

Я утешал себя мыслью, что раз попал в полосу невезения — ничего не поделаешь. Главное — проскочить эту полосу с наименьшими потерями.

И вот я выхожу из автобуса, подхожу к пляжной кассе и обнаруживаю, что у меня нет десяти копеек. Всего семь копеек. Еще утром забыл захватить деньги из дому.

Мне всегда не нравилось, что за вход на пляж нужно платить, как будто море соорудил наш местный муниципалитет.

— Проходите, вы же выходили, — сказала билетерша, заметив, что я мнусь у кассы.

Я посмотрел на нее. Доброе, улыбающееся лицо пожилой женщины. Удивительно, что она меня запомнила.

Я прошел на пляж. Эта небольшая удача так меня взбодрила, что я почувствовал, как во мне заработала какая-то энергия. Может быть, мотор удачи. И хотя я до этого почти не надеялся, что найду свой ключ: ведь даже если я его потерял на пляже, тут проходят сотни людей, — теперь я был уверен — найду.

Я его не только нашел — я его издали заметил. Да, маленький, почти чемоданный ключик лежал, поблескивая, на песке, на том самом месте, где я раздевался. Никто его не заметил, не подобрал или просто не втоптал в песок. Я поднял ключ, и, когда, разогнувшись, посмотрел на море, неожиданное, непередаваемое ощущение захлестнуло меня. Я увидел теплую синеву моря, озаренного заходящим солнцем, смеющееся лицо девушки, которая, оглядываясь, входила в воду, парня на спасательной лодке с сильными загорелыми руками, отдыхающими на веслах, берег, усеянный людьми, и все это было так мягко и четко освещено и столько было вокруг доброты и покоя, что я замер от счастья.

Это было не то счастье, которое мы осознаем, вспоминая, а другое, высшее, наиредчайшее, когда мы чувствуем, что оно сейчас струится в крови, и мы ощущаем самый вкус его, хотя передать или объяснить это почти невозможно.

Казалось, люди пришли к своему морю, и прийти к нему было трудно, и шли они к нему издалека, с незапамятных времен, всю жизнь, и теперь хорошо морю со своими людьми и людям со своим морем.

Странное чудное состояние длилось несколько минут, а потом оно постепенно прошло, вернее, острота прошла, но остался привкус того, что оно было, как остается легкое головокружение после первой утренней затяжки.

Я не знаю, откуда оно берется, но такое состояние я переживал много раз, хотя если вспомнить всю жизнь, то бывало оно не так уж часто. Чаще всего оно приходит в одиночестве, где-нибудь в горах, в лесу или на море. Может быть, это предчувствие жизни, которая могла быть или будет? Думая обо всем этом, я сел в автобус и приехал домой, кстати говоря, забыв взять билет.

Вечером я шатался по городу, надеясь случайно встретить ее где-нибудь. Мне очень хотелось увидеть ее, хотя я и начал страшиться этой встречи. Несколько раз я замечал, что во мне что-то неприятно обрывается, как в самолете, когда он попадает в воздушную яму, но потом оказывалось, что это не она, что я ошибся.

...Я вышел на причал для местных катеров и увидел ее. Искать ее здесь мне почему-то не приходило в голову. Она стояла почти на том же месте. Как только я увидел ее, мне захотелось удрать, но я взял себя в руки и не сделал этого.

Я шел по хорошо освещенному причалу, но она меня не заметила. Было похоже, что она о чем-то задумалась, но потом мне показалось, что она просто не хочет меня узнавать. Я поравнялся с ней и уже было повернул назад, но наши взгляды встретились, и она улыбнулась. Верней, лицо ее озарилось вспышкой радости.

Эта улыбка, словно порыв ветра, сдунула с меня усталость и напряжение этого дня.

Люди не так часто нам радуются, во всяком случае, не так часто, как нам хотелось бы. А если и случается, что радуются при виде нас, все же чаще скрывают свою радость, чтобы не показаться сентиментальными или чтобы не обидеть других, при виде которых они не могут радоваться. Так что иногда и не поймешь, рад тебе человек или не рад...

...Подошел прогулочный катер, и мы, словно сговорившись, вошли в него. Не помню, о чем мы говорили. Мы стояли, облокотившись о поручни, и смотрели в море. Как тогда над барьером причала. Но теперь, казалось, этот причал отделился от берега и мчался в открытое море. Я смотрел на ее лицо, и нежность его странно проступала сквозь крепкий грубоватый загар.

Потом ей захотелось пить, и мы прошли на корму в буфет по узкому и темному проходу.

Лимонад оказался холодным и тугим, как шампанское. Я вспомнил, что давно не пил лимонада, и подумал, что никогда шампанское не бывало таким вкусным, как этот лимонад.

Позже, когда мне приходилось пить шампанское и оно не казалось безвкусным, как выдохшийся лимонад, я вспоминал этот вечер и думал о великой и в то же время немного скуперднейской мудрости природы, стремящейся к равновесию, ибо за все надо платить по цене. И если ты пьешь лимонад, который тебе кажется шампанским, значит, рано или поздно ты будешь пить шампанское, похожее на лимонад.

Такова грустная, но, по-видимому, необходимая логика жизни. И то, что она необходима, пожалуй, грустней, чем сама грустная логика жизни.

Говорят, капля камень точит. Тем более Платон Самсонович. И уже в сельхозуправлении согласились выделить средства на приобретение таджикских коз, и уже Платон Самсонович, не дожидаясь официального хода событий, написал таджикским товарищам об этом, и уже они ответили, что слышали о нашем интересном начинании и сами собираются приобрести козлотуров. и уже они договорились обменяться животными и произвести опыты одновременно, и уже Платон Самсонович уехал к селекционеру, чтобы уговорить его принять партию таджикских шерстяных коз, но тут грянул гром. И грянул он именно в тот день, когда Платон Самсонович должен был возвратиться.

В этот день в одной из центральных газет появилась статья, высмеивающая необоснованные нововведения в сельском хозяйстве. Особенно досталось нам за бездумную проповедь козлотура, как писал автор. Кстати, в этой же статье делался смутный намек на то, что опыты знаменитого московского ученого навряд ли можно назвать вполне удачными, во всяком случае, гениальность их ставилась под сомнение.

О статье мы узнали утром, хотя газету никто не видел. К нам центральные газеты приходят к вечеру или на следующий день. Но такие вещи узнаются очень быстро.

-Автандил Автандилович был взволнован, как никогда. Он несколько раз в этот день ходил в обком партии, потом

позвонил в райком того района, куда уехал Платон Самсонович. Оттуда ему ответили, что Платон Самсонович уже выехал с рейсовой машиной в город. Машина должна была подойти к трем часам. На это время редактор назначил общее собрание работников редакции.

В три часа мы собрались в кабинете редактора. Рейсовый автобус останавливался напротив редакции, поэтому сотрудники старались занять места у окон. Почему-то всем было интересно посмотреть, как он будет выходить из автобуса.

Все испытывали почти радостное нервное возбуждение. По-настоящему за козлотура болел только Платон Самсонович, и все понимали, что основной удар придется по нему. Поэтому остальные сотрудники чувствовали себя так, как чувствует себя человек, когда ждет большой грозы, находясь под надежным укрытием. Сладостное ощущение уюта, собственной безопасности.

Автандил Автандилович сидел, отрешенный от всех, глядя куда-то вперед, в пространство. Перед ним лежал машинописный текст статьи, кажется, полученный им по телетайпу.

Он впервые забыл выключить вентилятор, и страницы грозной статьи под струей воздуха, казалось, вздрагивали и закипали от нетерпения.

Фельетонист два раза заходил за спину редактора — якобы для того, чтобы посмотреть на карту нашей республики, висевшую над редакторским столом. И хотя на вскипающей поверхности бумаги навряд ли что-нибудь можно было прочесть, особенно из-за спины Автандила Автандиловича, и все

это понимали, но все-таки гримасами спрашивали у фельетониста: мол, что там? В ответ он гримасой же отвечал, что, мол, такого разгрома еще не бывало.

Автандил Автандилович, не глядя, кивком головы водворил его на место.

Наконец машина подъехала, и все столпились у окон посмотреть, как он будет выходить. Почему-то нам показалось, что он первый выйдет из машины, но из дверцы неожиданно выскочила охотничья собака, а за ней появился и сам охотник. На поясе у него густо струились перепелки. Он шел от машины с тяжелой бодростью в походке, шел, как бы отягощенный удачей. Я почувствовал тоскливую зависть к нему и даже к его собаке.

Пожилая крестьянка с корзиной, наполненной грецкими орехами, вышла из машины и тут же стала переходить улицу в непопозволенном месте. Постовой свистнул, и она побежала, рассыпая орехи. Все-таки побежала в ту сторону, куда она собиралась переходить.

Платон Самсонович вышел из машины одним из последних. Секунду он постоял возле машины, придерживая одной рукой пиджак, устало переброшенный через плечо, и вдруг пошел в противоположную от редакции сторону.

— Он уходит, — очнулся кто-то первый.

— Как уходит? — грозно переспросил Автандил Автандилович.

— Я его верну! — крикнул фельетонист и ринулся к дверям.

— Только ничего не говорите! — бросил ему вслед редактор.



Мы стояли у окон и следили за Платоном Самсоновичем. Он медленно перешел улицу, все так же держа свой пиджачок, переброшенный за спину. Перейдя улицу, он неожиданно подошел к киоску с газированной водой.

— Воду пьет, — удивился кто-то, и все рассмеялись.

Фельетонист выскочил на улицу, подошел к перекрестку и бдительно стал глядеть по сторонам, заслоняясь ладонью от солнца. Он не замечал Платона Самсоновича, потому что к киоску подошел человек и заслонил его. Фельетонист, беспокойно озираясь, стоял несколько мгновений, а потом с панической быстротой перебежал улицу и отправился в сторону моря. Мы с интересом следили за ним, потому что сейчас он должен был пройти мимо киоска, но он так целенаправленно смотрел вперед, что не заметил Платона Самсоновича. Он прошел киоск, и снова все рассмеялись. Но тут он неожиданно оглянулся и развел руками, — видно, Платон Самсонович его окликнул сам.

Фельетонист что-то сказал и, махнув рукой в сторону редакции, быстро удалился. Чувствовалось, что он знал, что за ним наблюдают из окон, и старался показать, что соприкасается с Платоном Самсоновичем только по вынужденному поводу.

...Когда пассажиры разошлись, шофер рейсовой машины неожиданно выскочил на улицу и стал подбирать рассыпанные орехи. Подобрал все до одного, он влез в машину и уехал.

Наконец Платон Самсонович открыл дверь кабинета и вошел. Он кивком поздоровался со всеми и присел на стул.

Вид у него был сумрачно-сосредоточенный. Мне кажется, уже по тому, как он сел на краешек стула, было видно, что он все знает. Впрочем, возможно, я это уже потом так подумал.

— Ну как, договорились с селекционером? — спросил Автандил Автандилович безмятежным голосом.

Плотно сомкнутые губы Платона Самсоновича слегка задергались.

— Автандил Автандилович, — сказал он глухим голосом и, как-то не вполне разогнувшись, встал со стула. — Я все знаю...

— Интересно, кто вам сказал? — спросил тот и посмотрел на фельетониста.

Фельетонист ударил ладонью в грудь и застыл, как бы покоряясь судьбе.

— Утром по радио передавали, — сказал Платон Самсонович, продолжая стоять в той же позе, не вполне разогнувшись.

— И тут первый, — мрачно пошутил редактор, стараясь скрыть разочарование.

Автандил Автандилович несколько мгновений смотрел на Платона Самсоновича холодеющим взглядом, словно расстояние между ними увеличивалось и он переставал его узнавать. Мне показалось, что под этим взглядом Платон Самсонович еще больше согнулся.

— Садитесь, — сказал Автандил Автандилович тоном, каким говорят со случайным посетителем редакции.

И вот он прочел статью. Он ее прочел зычным, хорошо поставленным голосом. Он читал, постепенно загораясь и иногда поглядывая в сторону Платона Самсоновича.

Сначала казалось, что он, читая статью, нам всем и себе раскрывает допущенные нами ошибки и перегибы. Но пафос в его голосе все время нарастал, и вдруг стало казаться, что он лично вместе с другими товарищами обнаружил эту ошибку. К концу статьи он так слился с ее стилем, с внезапными переходами от гнева к иронии, что стало казаться — именно он, и притом без всяких товарищей, первым заметил и смело вскрыл все наши ошибки.

Началось обсуждение статьи. Тут надо сказать, что Автандил Автандилович держался самокритично. Он заявил, что, хотя и пытался приостановить безумную проповедь козлотура, именно с этой целью он и печатал, хотя и под рубрикой «Посмеемся над маловеерами», критические заметки зоотехника, но, делал это недостаточно энергично и в этом смысле берет часть вины на себя.

Фельетонист, который все это время нетерпеливо ерзал, выступил сразу же после редактора и напомнил, что и он в фельетоне о неплательщике алиментов в замаскированной форме пытался критиковать бездумную проповедь козлотура, но Платон Самсонович не только не внял его голосу, но даже пытался пришить ему ярлык.

— Ярлык? — неожиданно выдал Платон Самсонович и сумрачно посмотрел на фельетониста.

— Да, ярлык! — повторил тот решительно и посмотрел на Платона Самсоновича взглядом человека, навсегда разорвавшего цепи рабства.

— Вы преувеличиваете, — примирительно сказал Автандил Автандилович. Он не любил слишком широких обобщений, если эти обобщения делал не он сам.

В связи с бездумной проповедью козлотура Автандил Автандилович поднял вопрос о семейных делах Платона Самсоновича.

— Отрыв от хозяйственных нужд наших колхозов постепенно привел к отрыву от семьи, — подытожил он свое выступление, — и это закономерно, ибо человек потерял критерий истины и зазнался.

После того как критика Автандила Автандиловича была поддержана сотрудниками, он выступил еще раз и сказал, что все-таки нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Платон Самсонович старый, опытный газетчик и, несмотря на ошибки, до последней капли крови предан нашему общему делу. Редактор и в этой части был поддержан сотрудниками. Кто-то даже сказал, что старый конь борозды не портит.

Но тут фельетонист опять не удержался и напомнил, что загибы вообще характерны для работы Платона Самсоновича. Он напомнил, что Платон Самсонович несколько лет назад пытался установить новый метод рыбной ловли, пропуская через воду токи высоких частот. В результате рыба якобы должна была собираться в одном месте, тогда как на самом деле она ушла из бухты и могла совсем не приходиться, если б опыты продолжались.

— Не в этом дело, вы не так поняли, — вставил было Платон Самсонович, но к этому времени все устали и никому не охота было выслушивать технологию старого опыта.

Заведующим отделом сельского хозяйства был назначен заведующий отделом пропаганды, как человек, имеющий

наиболее острое чутье к новому. Платона Самсоновича оставили при нем литсотрудником, с тем, чтобы он, как старый опытный работник, помогал освоиться новому заведующему. Ему объявили строгий выговор по служебной линии. Редактор решил пока ограничиться этим при условии, что он вернется в семью и с нового учебного года поступит в вечерний университет. У Платона Самсоновича не было высшего образования.

— Кстати, заберите этот самый рог козлотура, — сказал Автандил Автандилович, когда мы уже расходились.

— Рог? — как эхо, повторил Платон Самсонович, и я заметил, как на его худой шее судорожно задвигался кадык.

— Да, рог, — повторил Автандил Автандилович, — чтобы его духу здесь не было.

Когда Платон Самсонович уходил из редакции с рогом, небрежно завернутым в газету, мне стало почему-то жалко его. Я представил, как он возвращается в свою одинокую квартиру с этим одиноким рогом (все, что осталось от его великого замысла). Мне стало совсем не по себе. Но что было делать, утешить я его не мог, да и навряд ли это было возможно.

Статья из центральной газеты была перепечатана в нашей, причем то место, где говорилось о бездумной проповеди козлотура, было набрано жирным шрифтом, с замечанием в скобках: «Курсив наш». В том же номере была помещена передовая под заголовком «Бездумная проповедь козлотура», где давалась критическая оценка всей работе газеты и в особенности отдела сельского хозяйства.

В передовой упоминалось о некоторых лекторах, которые, не дав себе труда разобраться в этом новом деле, легкомысленно примкнули к пропаганде малоизученного опыта.

Одним словом, имелся в виду Вахтанг Бочуа. Но прямо писать о нем не решились, потому что неделей раньше он подарил местному краеведческому музею ценную коллекцию кавказских минералов.

Он, разумеется, позаботился, чтобы это мероприятие не осталось безгласным. Он сам позвонил в редакцию и попросил, чтобы кого-нибудь прислали на церемонию дарения. Прислали фотокора, который и запечатлел ее. Вахтанг с видом смирившегося пирата вручал свои сокровища застенчивому директору музея.

Так что теперь, через неделю после триумфа бескорыстия, упоминать его в газете было как-то неловко.

В следующих номерах печатались организованные отклики на критику козлотура. Кстати, к упрямому зоотехнику поехал один из наших сотрудников, с тем чтобы он теперь выступил с большой статьей против козлотуризации животноводства. Но упрямый зоотехник остался верен себе и наотрез отказался писать, заявив, что теперь это ему неинтересно.

После появления статьи в редакцию много звонили. Так, например, из торгова позвонили, чтобы посоветоваться, как быть с названием павильона прохладительных напитков «Водопой козлотура». Кстати, к нам стали поступать сигналы о том, что в некоторых колхозах начали забивать козлотуров. По этому поводу мы давали разъяснение в том смысле, что не

нужно шарахаться из стороны в сторону, а нужно ввести козлотуров в колхозное стадо на общих основаниях.

С этой же целью Автандил Автандилович, посоветовавшись с нами, предложил товарищам из торгога не уничтожать вывеску целиком, но незаметно ликвидировать в слове «козлотур» первые два слога. Так что теперь получалось «Водопой тура», что звучит, как мне кажется, еще романтичней. Вывеску на самом павильоне быстро привели в порядок, но над павильоном еще целый месяц по ночам светилось, нагло вато подмигивая электрическими лампочками, старое название «Водопой козлотура».

Получалось так, что днем на водопой приходят туры, а по ночам все еще упорствуют козлотуры.

Некоторые местные интеллигенты нарочно приходили смотреть по вечерам на эту электрическую вывеску: они в ней находили как бы противоборствующий чему-то либеральный намек и одновременно злобное упорство догматиков.

Как-то, проходя в кафе, я сам видел небольшую группу подобных вольнодумцев, внушительно, но незаметно толпившихся напротив павильона.

— Это неспроста, — произнес один из них, слегка кивнув на вывеску.

— Плюньте мне в глаза, если все это просто так кончится, — добавил другой.

— Друзья мои, — прервал их благоразумный голос, — все это верно, но не надо слишком глазеть на нее. Посмотрел — и проходи. Посмотрел — и дальше.

— А что тут такого! — возразил первый. — Вот захотел и буду смотреть. Не те времена.

— Да, но могут не так понять, — сказал благоразумный, озираясь. Заметив меня, он мгновенно осекся и добавил: — Вот я и говорю, что критика прозвучала своевременно.

Тут все, как по команде, посмотрели в мою сторону, после чего компания отправилась в кафе, глухо споря и шумно жестикулируя.

В один из этих дней мне лично позвонил директор филармонии и спросил, как быть с песней о козлотуре, которую исполняет хор табачников, а также некоторые солисты.

— Понимаете, — сказал он извиняющимся голосом, — у меня ведь финансовый план, а песня пользуется большим успехом, хотя и не вполне здоровым, как я теперь понимаю, но все же...

Я решил, что по такому вопросу не мешает посоветоваться с Автандилом Автандиловичем.

— Подождите, — сказал я директору филармонии и отправился к редактору.

Автандил Автандилович выслушал меня и сказал, что о хоровом выступлении с песней о козлотуре не может быть и речи.

— Да и хор у них липоватый, — неожиданно добавил он. — Но солисты, я думаю, могут выступать, если словам придать правильный смысл. Одним словом, — заключил он, нажимая кнопку вентилятора, — главное сейчас — не шарахаться из стороны в сторону. Так и передай.



Я передал суть нашего разговора попечителю филармонии, после чего он задумчиво, как мне показалось, повесил трубку.

В этот день Платон Самсонович не пришел на работу, а на следующий явилась его жена и прошла прямо в кабинет редактора. Через несколько минут редактор вызвал к себе председателя профкома. Потом тот рассказал, что там было. Оказывается, Платон Самсонович заболел — не то нервное расстройство на почве переутомления, не то переутомление на почве нервного расстройства. Жена его, как только узнала о судьбе козлотуров, пришла к нему в его одинокую квартиру и застала его в постели. Они, кажется, окончательно примирились и, оставив новую квартиру детям, будут жить в старой.

— Вот видите, — сказал Автандил Автандилович, — здоровая критика укрепляет семью.

— Критика-то здоровая, да он у меня совсем расхворался, — ответила она.

— А это мы поможем, — заверил Автандил Автандилович и велел председателю профкома сейчас же достать ему пуховку.

По иронии судьбы, или даже самого председателя профкома, Платон Самсонович был отправлен в горный санаторий имени бывшего Козлотура. Впрочем, это одна из лучших здравниц в нашей республике, и попасть туда не так-то просто.

Недели через две, когда замолкли последние залпы контрпропаганды и нашествие козлотуров было полностью подав-

лено, а их рассеянные, одиночные экземпляры, смирившись, вошли в колхозные стада, в нашем городе проводилось областное совещание передовиков сельского хозяйства. Дело в том, что наша республика перевыполнила план заготовки чая — основной сельскохозяйственной культуры нашего края. Колхоз Иллариона Максимовича назывался среди самых лучших.

В перерыве, после официальной части, я увидел в буфете самого Иллариона Максимовича. Он сидел за столиком вместе с агрономом и девушкой Гоголой. Девушка ела пирожное, оглядывая посетительниц буфета. Председатель и агроном пили пиво.

Накануне у нас в газете был очерк о чаеводах колхоза «Ореховый Ключ». Поэтому я смело подошел к ним. Мы поздоровались, и я присел за столик.

Агроном выглядел как обычно. У председателя выражение лица было иронически-торжественное. Такое лицо бывает у крестьян, когда они из вежливости выслушивают рассуждения городских людей о сельском хозяйстве. Только когда он обращался к девушке, в глазах у него появлялось что-то живое.

— Еще одно пирожное, Гогола?

— Не хочу, — рассеянно отвечала она, рассматривая наряды женщин, входящих и выходящих из буфета.

— Давай, да? Еще одно, — продолжал уговаривать председатель.

— Пирожное не хочу, луманад хочу, — наконец согласилась она.

— Бутылку луманада, — заказал Илларион Максимович официантке.

— Рады, что козлотура отменили? — спросил я его, когда он разлил пиво по стаканам.

— Очень хорошее начинание, — согласился Илларион Максимович, — только за одно боюсь...

— Чего боитесь? — спросил я и взглянул на него.

Он выпил свое пиво и ответил только после того, как поставил стакан.

— Если козлотура отменили, — проговорил он задумчиво, как бы вглядываясь в будущее, — значит, что-то новое будет, но в условиях нашего климата...

— Знаю, — перебил я его, — в условиях вашего климата это вам не подойдет.

— Вот именно! — подтвердил Илларион Максимович и серьезно посмотрел на меня.

— По-моему, напрасно боитесь, — сказал я, стараясь придать голосу уверенность.

— Дай Бог! — протянул Илларион Максимович. — Но если козлотура отменили, что-то, наверное, будет, но что — пока не знаю.

— А где ваш козлотур? — спросил я.

— В стаде, на общих условиях, — сказал председатель, как о чем-то далеком, уже не представляющем опасности.

Прозвенел звонок, и мы прошли в зал. Тут я распрощался с ними, а сам остался у дверей. Мне надо было прослушать концерт и быстро вернуться, с тем чтобы написать отчет.

Первым номером выступали танцоры Пата Патарая. Как всегда, ловкие, легкие, исполнители кавказских танцев были встречены шумным одобрением.

Их несколько раз вызывали на «бис», и вместе с ними выходил сам Пата Патарая — тонкий, с пружинистой походкой, пожилой человек. Постепенно загораюсь от аплодисментов, он в конце концов сам вылетел на сцену со своим знаменитым еще с тридцатых годов па «полет на коленях».

После сильного разгона он вылетел на сцену и, рухнув на колени, скользил по диагонали в сторону правительственной ложи, свободно раскинув руки и гордо вскинув голову. В последнее мгновение, когда зал, замирая, ждал, что он вот-вот вывалится в оркестр, Пата Патарая вскакивал, как подброшенный пружиной, и кружился, как черный смерч.

Зрители приходили в неистовство.

— Трио чонгуристок исполняет песню без слов, — объявила ведущая.

На ярко освещенную сцену вышли три девушки в длинных белых платьях и в белых косынках. Они застенчиво уселись на стульях и стали настраивать свои чонгури, прислушиваясь и отрешенно поглядывая друг на друга.

Потом по знаку одной из них они ударили по струнам — и полилась мелодия, которую они тут же подхватили голосами и запели на манер старинных горских песен без слов.

Мелодия мне показалась чем-то знакомой, и вдруг я догадался, что это бывшая песня о козлотуре, только совсем в другом, замедленном ритме. По залу пробежал шелест узнавания.

Я наклонился и посмотрел в сторону Иллариона Максимовича. На его крупном лице все еще оставалось выражение насмешливой торжественности. Возможно, подумал я, он в город приезжает с таким выражением, и оно у него остается до самого отъезда. Гогола, вытянув свою аккуратную головку, замороженно глядела на сцену. Спящий агроном сидел, грузно откинувшись, и дремал, как Кутузов на военном совете.

Трио чонгуристок аплодировали еще больше, чем Пата Патарая. Их дважды заставили повторить песню без слов, потому что все почувствовали в ней сладость запретного плода.

И хотя сам плод был горек и никто об этом так хорошо не знал, как сидящие в этом зале, и хотя все были рады его запрету, но вкушать сладость даже его запретности было приятно, — видимо, такова природа человека, и с этим ничего не поделаешь.

Жизнь редакции вошла в свою нормальную колею. Платон Самсонович вернулся из горного санатория вполне здоровым. На следующий день после своего возвращения он сам предложил мне пойти с ним на рыбалку. Это было лестное для меня предложение, и я, разумеется, с радостью согласился.

Я уже говорил, что Платон Самсонович — один из самых опытных рыбаков на нашем побережье. Если рыба не ловится в одном месте, он говорит:

— Я знаю другое место...

И я гребу к другому месту. А если и там не ловится рыба, он говорит:

— Я знаю совсем другое место...

И я гребу к совсем другому месту. Но если уж рыба не ловится и там, он ложится на корму и говорит:

— Гребни к берегу, рыба ушла на глубину...

И я гребу к берегу, потому что в море слово Платона Самсоновича закон.

Но так бывает редко. И на этот раз у нас был хороший улов, особенно у Платона Самсоновича, потому что он первый рыбак и сразу забрасывает в море по десять шнуров, привязывая их к гибким прутьям. Прутья торчат над бортом лодки, и он по ним следит за клевом, ухитряясь не перепутать шнуры. И когда он их пробует, слегка приподымая и прислушиваясь к тому, что происходит на глубине, кажется, что он управляет сказочным пультом или дирижирует подводным царством.

Когда мы загнали лодку в речку, привязали ее к причалу и вышли на берег, я еще раз с завистью оглядел его улов. Кроме обычной рыбы, в его сачке трепыхался черноморский красавец — морской петух, которого я так и не поймал ни разу.

— Мало того что вы мастер, вам еще везет, — сказал я.

— Между прочим, через рыбалку я сделал в горах интересное открытие, — ответил он, немного помолчав.

Мы шли по берегу моря вдоль парапета. Он со своим тяжелым сачком, набитым мокрой рыбой, и я со своим скромным уловом в сетке.

— Какое открытие? — спросил я без особого интереса.

— Понимаешь, искал форельные места в верховьях Кодора и набрел на удивительную пещеру...

Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Я незаметно взглянул в его глаза и увидел в них знакомый неприятный блеск.

— Таких пещер в горах тысячи, — жестко прервал я его.

— Ничего подобного, — быстро и горячо ответил он, при этом глаза его так и полыхнули сухим неприятным блеском, — в этой пещере оригинальная расцветка сталактитов и сталагмитов... Я привез целый чемодан образцов...

— Ну и что? — спросил я, на всякий случай отчуждаясь.

— Надо заинтересовать вышестоящих товарищей... Это не пещера, а подземный дворец, сказка Шехерезады...

Я посмотрел на его посвежевшее лицо и понял, что теперь накопленные им в горах силы уйдут на эту пещеру.

— Таких пещер у нас в горах тысячи, — тупо повторил я.

— Если туда провести канатную дорогу, туристы могли бы прямо с теплохода перелетать в подземный дворец, по дороге любуясь дельтой Кодора и окрестными горами...

— Туда километров сто будет, — сказал я, — кто же вам даст такие деньги?

— Окупится! Тут же окупится! — радостно перебил он меня и, бросив сачок на парапет, продолжал: — Туристы будут тысячами валить со всего мира. Прямо с корабля в пещеру...

— Не говоря уже о том, что один пастух справится с двумя тысячами козлотуров, — попытался я состричь.

— При чем тут козлотуры? — удивился Платон Самсонович. — Сейчас туризм поощряется. А ты знаешь, что Италия живет за счет туристов?

— Ну ладно, — сказал я, — я пошел пить кофе, а вы как хотите.

— Постой, — окликнул он меня, как только я стал уходить. Я почувствовал, что он вовлекает меня, и решил не поддаваться.

— Понимаешь, я чемодан с образцами оставил в камере хранения, — сказал он застенчиво.

— Не понимаю, — ответил я безразличным голосом.

— Ну, сам знаешь, жена сейчас, если увидит эти сталактиты и сталагмиты, начнет пилить...

— Что я должен сделать? — спросил я, начиная догадываться об истинном смысле его приглашения на рыбалку.

— Мы пойдем с тобой и получим чемодан. Я у тебя его оставлю на время...

Сейчас после моря и рыбалки тащиться через весь город на вокзал...

— Хорошо, — сказал я, — только завтра. Надеюсь, до завтра ваши сталактиты не испортятся?

— Что ты! — воскликнул он. — Они держатся тысячелетия, а эти редкой оригинальной окраски. Ты завтра сам увидишь.

— Ну ладно, до завтра, — сказал я.

— До свидания, — пробормотал он задумчиво и небрежно приподнял свой сачок, полный прекрасной морской рыбы,

Только я сделал несколько шагов, как он снова окликнул меня. Я оглянулся.

— Про пещеру пока молчи, — сказал он и приложил палец к губам.



— Хорошо, — ответил я и быстро пошел в сторону кофейни.

Был чудесный тихий вечер, какие бывают в наших краях в начале осени. Солнце медленно погружалось в воду, и бухта со стороны заката золотилась и пламенела, постепенно угасая к востоку, где она становилась сначала сиреновой, потом пепельной, а дальше вода и берег уже окунались в сизую дымку.

Я подумал о Платоне Самсоновиче. Я думал о том, что наше время создало странный тип новатора, или изобретателя, или предпринимателя, как там его ни называй, все равно, который может много раз прогорать, но не может до конца разориться, ибо финансируется государством. Поэтому энтузиазм его практически неисчерпаем.

Кофейня была заполнена обычными посетителями — старожилками, которые пили кофе бережными глотками, тихо смакуя свои воспоминания. В углу за сдвинутыми столами юнцы скучно шумели порожняком своей молодости.

Я присел за столик и повесил сетку на спинку стула.

— Сладкий или средний? — спросил кофевар, наклоняя свою выжженную солнцем и кофе голову восточного миротворца. Он некоторое время с удовольствием рассматривал мой улов.

— Средний, — сказал я привычно.

После моря и гребли приятно пошатывало, и я думал о том, что сейчас в мире нет ничего прекрасней чашечки горячего турецкого кофе с коричневой пенкой на поверхности.

На этом мне хочется закончить правдивую историю козлотура, и я намеренно ничего не говорю о девушке, с которой

познакомился на причале, проявив при этом немало ловкости и самообладания. Во-первых, потому что у нее окончились летние каникулы и она уехала учиться, а во-вторых, это совсем другая история, которая к козлотурам, как я надеюсь, не имеет ни малейшего отношения.

Быстро наступила южная ночь. Я смотрел на небо, пытаюсь угадать то созвездие, которое когда-то напомнило мне голову козлотура, но, как я с тех пор ни смотрел, никак не мог уловить ничего подобного. Созвездия Козлотура не было видно, хотя на небе было много других созвездий.

Я сидел за столиком и пил кофе из горячей дымящейся чашечки. И каждый раз, когда я ее подносил ко рту и втягивал губами густой горячий глоток, я чувствовал локтем осторожное прикосновение сетки с рыбой.

Это было похоже, как если б за мной сидела моя собака и, тычась мокрым, холодным носом мне в локоть, сдержанно напоминала о себе. Прикосновение было приятно, и я не менял позы, пока не выпил весь кофе.

## школьный вальс, или энергия стыда

Я пошел в школу на год раньше, чем это было положено мне по возрасту, и дней на двадцать позже, чем это было положено по учебному календарю. Думаю, что в том и другом сказалось раненое честолюбие нашего семейства, требовавшее скорейшего возмездия за все неудачи нашей жизни.

Простейшей формой фамильного невезения была учеба моего старшего брата. Мой старший брат, обладая многими более скрытыми достоинствами, имел один откровенный недостаток — он плохо учился. Но сказать, что он плохо учился, — почти ничего не сказать. Он как-то сказочно, феерически плохо учился. Он попадал в каждую историю, которая случалась в школе и ее ближайших окрестностях.

С учителем немецкого языка, антифашистом, в свое время бежавшим из Германии, он (разумеется, не один) проделывал такие штучки, что тот иногда в ближайшем окружении признавался, что хочет бросить все и вернуться на родину, хотя целиком и полностью одобряет политику Советского Союза.

Примерно раз в неделю учителя с выражением суховатой скорби горевестников на лице входили в наш двор. И хотя в те времена с полдюжины ребят возраста моего брата учились в той же школе, завидев учителя, соседи по дому, а иногда даже и по улице, с каким-то тайным сладострастием спешили окликнуть маму:

— Опять к тебе!

Так и вижу маму, бледную, выпрямляющуюся с примусной иглой в руке, при помощи которой она пыталась укротить примус, этого маленького, вечно бунтующего коммунального хулиганчика. Вот она бросает иглу рядом с примусом, вытирает тряпкой руки и обреченно приглашает учителя в дом:

— Заходите...

Учитель проходит в дом, а соседи, притихшие было с тем, чтобы послушать, о чем будет говорить учитель, снова берут-

ся за свои дела. Они всегда надеялись, что она как-нибудь забудется и начнет разговаривать с учителем во дворе. Но мама никогда не забывалась и никогда не доставляла им этого удовольствия. Зато в тех редких случаях, когда они ошибались, то есть окликали маму, а учителя просто проходили мимо нашего дома или входили во двор, но шли к родителям другого ученика, мама, обрушиваясь на их скоропалительные выводы, частично утоляла свою душу, жаждущую возмездия.

Один из моих дядей, а именно дядя Самад, опустившийся юрист, который на базаре из столика в кофейне устроил себе конторку для писания прошений крестьянам и, получавший за это свой гонорар в виде непосредственной выпивки, обычно к вечеру возвращался домой пошатываясь.

Если он задерживался, бабушка посылала меня за угол, квартала за два от нашего дома. Там проходила улица, ведущая с базара, и дядя Самад обычно по ней возвращался домой. Бабушка меня посылала туда подежурить с тем, чтобы он не попал под машину или вовремя перехватить его, если другие пьянчуги попытаются его куда-нибудь увлечь.

Кроме того, а может быть, главным образом, потому ей казалось приличней перед соседями, если дядюшка будет идти по нашей улице не один, а с племянником, что, вероятно, как-то скрадывало не столько его пьяное состояние, сколько облик одинокого, опустившегося человека.

В свое время бабушка изгоняла нескольких женщин, которых он приводил домой в качестве жен, по-видимому, находя их в обозримых из кофейни окрестностях базара. Может

быть, в глубине души она чувствовала некоторую вину за суровую расправу с этими женщинами, хотя вслух никогда в этом не признавалась.

Должен сказать, что я с удовольствием шел встречать дядюшку, потому что он приносил мне в кармане горсть конфет, а то и просто деньги дарил, жалкие остатки своего дневного заработка. Разумеется, тогда они мне не казались жалкими.

Обычно, отдавая мне остатки своего дневного заработка, он говорил:

— Тот, кто был богатым и обнищал, еще тридцать лет чувствует себя богатым. Тот, кто был нищим и разбогател, еще тридцать лет чувствует себя нищим.

Правда, иногда он меня раздражал совершенно непонятным, бессмысленным бормотаньем, в котором я пытался уловить смысл и никак не мог. Может, именно в те годы я неосознанно полюбил ясность и четкость образа мыслей, то дополнительное удовольствие, которое они доставляют сами по себе, независимо от своего содержания, более того, придают ей, мысли, какую-то аппетитность, как бы она ни была мала, облагораживают ее отсветом божественной гармонии и в конце концов делают ее частью всеобщего стремления человечества к ясности как единственной в конечном счете задаче разума. Люди, не стремящиеся к ясности мышления, разумеется, в данных им скромных пределах или, тем более, стремящиеся к туманности, могут рассматриваться как генетически поврежденные, увеличивающие мировой хаос вместо того, чтобы уменьшать его, что является прямой обязанностью каждого че-

ловека. ...И вот, значит, я шел встречать дядюшку в конце второго квартала от нашего дома. Как раз в этом месте находилась наша школа. Иногда я заставал своего дядюшку, стоящего перед школой, к счастью, в это время пустующей. Он стоял перед зданием школы и произносил небольшой реваншистский монолог, который ему казался диалогом со всем школьным начальством, а может быть, и с самой судьбой.

— Посмотрим, — говорил он, глядя в разинутые окна пустой школы, — что вы скажете, когда следующего пришьлем... Живы будем, посмотрим...

— А-а, вот он, — добавлял он, увидев меня, — скажи, как называется французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление в первую мировую войну?

— Верден! — говорил я и добавлял: — Дядя, пойдем, бабушка ждет!

— Верден! — повторял дядя и бросал грозный взгляд на школу. — А теперь что скажете?

— Бабушка ждет, — повторял я и тянул его за руку.

— А как называется вторая французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление? — спрашивал он у меня.

— Дуомон! — говорил я, потому что читал книгу под названием «Рассказы о мировой войне» и мог ее в то время пересказать довольно близко к тексту.

— Дуомон! — повторял дядюшка и пальцем грозил школе, как бы обещая повернуть против нее все пушки Вердена и Дуомона.

Его легкая фигура, его удлиненное лицо с артистической копной редких волос почему-то напоминали, особенно сейчас, облик Суворова.

Иногда, прежде чем уйти домой, он заставлял меня ответить еще на несколько вопросов или прочесть стихи Пушкина, или басни Крылова. Среди вопросов, на которые я давал четкие ответы, почему-то чаще всего повторялись два: «На какой остров сослали Наполеона?» и «Какой главный город в Абиссинии?»

Обычно после этого он успокаивался и мы шли домой. Иногда он слегка на меня опирался, и я чувствовал высушенную алкоголем легкую тяжесть его тела. Если я успевал перехватить его еще до того, как он вышел к школе, я его протаскивал мимо нее, не останавливаясь, и он только успевал ей бросить через плечо:

— Посмотрим!

Реваншистские надежды моего дядюшки основывались на двух фактах: во-первых, я уже довольно свободно читал, а во-вторых, я однажды ответил на задачу, которую задавал ребятам нашего двора шапошник Самуил, в то время проявлявший неукротимое стремление к самообразованию и просветительским парадоксам.

Однажды, собрав ребят нашего двора, тех, что были постарше, он задал им один из своих вопросов-ловушек:

— А теперь, ребята, повесьте уши на гвоздь внимания. Сколько будет, если от тысячи отнять девятьсот девяносто девять?

Воцарилась тишина, терпеливо ждущая явление нового Архимеда. Нас, самых маленьких, никто не принимал всерьез, и тем сладостней я, во всяком случае, старался найти ответ на его хитроумный вопрос.

Помню, по самому его голосу было ясно, что ответ должен быть самый неожиданный из всех возможных. Я знал, что тысяча — огромная цифра, хотя смутно представлял границу ее огромности. Кроме того, я был уверен, что девятьсот девяносто девять тоже цифра немалая, хотя, конечно, значительно уступающая тысяче.

Я представил себе обе цифры в виде войска. Я представил, что на несметное войско в тысячу человек напало другое войско числом в девятьсот девяносто девять человек, и хотя нападающих было несколько меньше, но они оказались более храбрыми. Кстати, поэтому-то они и напали.

Так чем же закончилась эта битва? Что осталось от войска в тысячу человек? Конечно, нападающие разгромили несметное войско, но не так, чтобы ничего не оставалось, а так, чтобы остался самый предел, когда меньше уже просто невозможно. Какой же это предел?

— Один, — проговорил я под напором ясновидящей силы вдохновения, глядя на последнего воина из несметной тысячи, с поникшей головой стоящего на поле боя.

Удивленные головы всех ребят повернулись в мою сторону.

— Правильно, — подтвердил мою догадку дядя Самуил и неожиданно добавил, — ленинская голова...



Это был высший взлет моих математических способностей, но об этом тогда никто, разумеется, не мог догадаться.

Кстати, дядя Самуил был владельцем нескольких томов Большой Советской Энциклопедии, которую он читал почти каждый день, приходя с работы. Судя по характеру его чтения (читал он обычно сидя на деревянных ступеньках своего крыльца), знания сами по себе, независимо от области их применения, давали ему ощущение удовольствия. По-видимому, научные факты радовали его, как некая могучая воспитывающая сила. Так, однажды он сообщил, листая энциклопедию, что, оказывается, Токио — самый большой город в мире.

Он об этом сказал с восхищением, и, конечно, нельзя было не восхититься тем, что Токио — самый большой город в мире. И хотя было ясно, что японский империализм ничем не заслужил иметь самый большой город в мире, по-видимому, японский пролетариат рано или поздно должен был догадаться, что нельзя оставлять в его руках этот рекордный по численности населения город, то есть совершить революцию. По-видимому, и дядя Самуил, и мы именно так понимали воспитательный смысл размеров Токио, иначе как мы могли этому радоваться? Это все равно, что было бы радоваться большому количеству вражеских пушек или танков.

Между прочим, у дяди Самада время от времени происходили споры с дядей Самуилом. Споры эти всегда начинал мой дядя, но удивительно было, с каким терпением и охотой вступал в них дядя Самуил и как твердо, ни разу не дрогнув, он отстаивал свои позиции.

Накал спора обычно зависел от силы похмельного раздражения моего дядюшки. Так и вижу его, как он входит, пошатываясь, во двор, потом подымается по лестнице и где-то на первой лестничной площадке начинает, даже если Самуила не видно на крыльце:

— Нехорошо, Самуил, отрекаться от нации, — начинал дядюшка с горестных интонаций, постепенно переходя на гневное раздражение, — лучше быть падшей женщиной, чем отречься от нации!

Если дяди Самуила не было дома, дядя проходил к себе в комнату, бросив еще одну-две фразы в таком же духе. Но если дядя Самуил был дома, то не успевал мой дядя дойти до верхней лестничной площадки, как тот появлялся в дверях своей квартиры и, отбросив марлеву занавеску от дверей, принимал бой.

— А я и не отрекаюсь, — спокойно отвечал он ему, — я родился караимом и караимом буду до смерти.

— Нет, дорогой мой, — отвечал дядя с брезгливой горечью, — ты отрекаешься от своей нации, потому что караимы — это крымские евреи, так называемые крымчаки...

— Неправда, — настаивал на своем дядя Самуил, — мы, караимы — потомки древних хазар. Так сказано в Большой Советской Энциклопедии.

О том, что это сказано в Большой Советской Энциклопедии, он говорил с таким видом, как если бы, будь то же самое сказано в Малой Советской Энциклопедии, еще кое-как можно было подвергнуть сомнению, но если уж об этом говорится в Большой, то тут уж никто не должен сомневаться.

— Глупая голова! — продолжал дядя, останавливаясь на лестнице и стараясь принаравливать свою речь к таинственному ритму опьянения, — караимы — это остатки вавилонского пленения древних евреев.

— Во-первых, не остатки, а потомки, — спокойно отвечал дядя Самуил, — а во-вторых, не евреев, а хазаров...

— Ну, подумаешь, Самуил, признай, — иногда выглядывая из окна или стирая во дворе, вмешивалась в спор его жена, одесская еврейка. Но он и тут ни на шаг не сдавал своих позиций.

— У нас с вами ничего общего, — твердо отвечал он ей и как бы для полноты правдивой картины добавлял: — кроме некоторых религиозных обрядов...

Он это добавлял с некоторым оттенком раздражения в голосе, по-видимому, имея в виду, что эта ничтожная общность обрядов будет еще долгое время смущать головы недалеких людей.

— Тогда зачем ты на меня женился, Самуил? — спрашивала жена его с выражением какой-то дурацкой тревожности в голосе.

— По глупой молодости, — отвечал дядя Самуил, стараясь отстранить ее от спора.

Интересно, что иногда, когда он начинал ссылаться на Большую Советскую Энциклопедию, спор принимал совершенно неожиданный для меня оборот.

— Энциклопедия, — иронически повторял дядюшка, — а что Ленин про нэп говорил, в энциклопедии не сказано?

— Новая экономическая политика, — твердо разъяснял дядя Самуил, но и после его разъяснения эти слова оставались непонятными. А то, что случалось после его слов, не только не вносило никакой ясности, но окончательно запутывало все.

Дело в том, что как только раздавался голос дядюшки, вступившего в спор с Самуилом, бабушка в сопровождении моего сумасшедшего дяди Коли появлялась на лестничной площадке. Вид дяди Коли говорил, с одной стороны, о желании мирно уладить спор, а с другой стороны — о готовности в случае необходимости прервать его силой. Все-таки сам он склонялся мирно уладить этот спор, разумеется, не имея даже самого отдаленного представления о его содержании. С этой целью он, обращаясь к дяде, говорил, дескать, выпил, дескать, расшумелся, ну и хватит, надо дать людям отдохнуть. Бабушка тоже увещевала дядю; стыдила его и всячески уговаривала его войти в дом. Но он ни на дядю Колю, ни на бабушку ни малейшего внимания не обращал, не устаивал их даже взглядом, а только иногда отмахивался.

Но как только он заворачивал в сторону нэпа, бабушка мгновенно преображалась и приказывала ему тут же замолчать, разумеется, он от этого не только не умолкал, а как бы еще больше взвивался.

Тут бабушка прикрикивала на дядю Колю в том смысле, что он не для того сюда приведен, чтобы слушать спор, а для того, чтобы принимать энергичные мужские меры.

Но дядя Коля в таких случаях никогда не мог сразу преобразиться решительным образом, ведь он не понимал, что дя-

дя перешел на нэп, он думал, что идет все еще обыкновенная пьяная болтовня. Но тут, видя, что бабушка требует от него решительных мер, а поведение дяди внешне никак не изменилось, он приходил в большое волнение и уже нарочно раздражал себя, чтобы перейти к решительным мерам. И тут любое действие дяди Самада воспринималось им с каким-то наигранным преувеличением. Так, например, обыкновенную отмашку рукой, мол, отстаньте, он выдавал за попытку дяди ударить бабушку или его и тут же, возбудив себя, легко переходил к карательным мерам. Он его обхватывал руками, подымал и уносил в его комнату.

— Всерьез и надолго, надолго! вот что сказал Ленин! — кричал бедный дядя, барахтаясь в могучих объятиях дяди Коли.

Как только наверху подымался этот в известной мере междоусобный шум, снизу раздавались в виде какого-то физиологического отклика сочувственные голоса. Это одновременно начинали галдеть жена дяди Самуила и Алихан, если он бывал свидетелем спора.

— Потомок хазар! — кричала на дядю Самуила его жена, — знаем мы вас, керченских хазаров!

А дядя Алихан, в это время сидевший на своем стульчике у порога, выбалтывал какую-то совершенно несусветную чушь:

— Кафе-кондитерски мешайт?! — спрашивал он, размахивая руками и приходя во все большее и большее возбуждение и, как мне кажется, стараясь свой монолог произнести под прикрытием шума, идущего сверху.

— Алихан — ататюрк?! Гиде Алихан — гиде ататюрк?! Гю-  
знак мешайт?! Шербет мешайт?! Сирут на голова — не мешайт?!!

Среди этого шума дядя Самуил стоял спокойно со вздвухшейся, как плащ полководца, марлевой занавеской за спиной и всем своим видом говорил: как ни шумите, как ни кричите, а я буду до конца отстаивать свое право считать себя караимом. Право, подтвержденное всеми красными томами Большой Советской Энциклопедии.

Интересно, что за этим скандалом из окон трехэтажного дома сумрачно следили старейшины огромного клана грузинских евреев, живших в соседнем дворе.

Эти старцы, чьи мощные бороды не могли скрыть нежного пастушеского румянца их лиц, были вывезены в наш город из центральной Грузии их более предприимчивыми потомками.

Гривастые и кудлатобородые, они следили за этим скандалом с выражением сумрачной обиды на лице, хотя понимали по-русски чуть больше, чем жители древнего Вавилона. И все-таки я уверен, что они интуитивно чувствовали суть спора и, грустно следя за дядей Самадом, уносимым моим сумасшедшим дядюшкой, горько обижались на дядю Самуила.

Слегка шевельнувшись в окне, они обменивались между собой несколькими фразами и снова замирали, надолго сохранив на лице выражение стойкой обиды.

...Но мы отклонились от нашего повествования. Так или иначе, именно дядя Самуил во время одного из своих просветительских опытов выявил мою якобы математическую сме-

калку, а читать я научился сам. Ко времени, о котором я рассказываю, я уже прочел с дюжину книг, начав сразу с «Гадкого утенка» и «Рассказов о мировой войне». Это была самая толстая и самая интересная из прочитанных мною книг.

Именно по этим причинам я был выделен в нашем вечно взбудораженном, но, в сущности, неопасном фамильном рое, как пчелка, готовая приносить в дом чернильный мед школьных премудростей.

И вот в начале учебного года, помешкав примерно дней двадцать, меня бросили в бой. То, что за это взялись с некоторым опозданием, могло быть следствием слабых, впрочем, никем и не обещанных надежд, что в новом учебном году брат мой наконец возьмется за учебу.

В тот прекрасный сентябрьский день мы с мамой бодро направились в школу. Мы вошли во двор, поднялись по каменной лестнице на обширную веранду с каменными колоннами и скамьями вдоль стены. Дверь из веранды вела в канцелярию, а из канцелярии — в кабинет директора. Одно из окон директорского кабинета выходило на веранду, так что директор во время перемены мог следить за учителями, гулявшими по веранде. Из своего окна он также мог видеть весь школьный двор и часть улицы, прилегающей к школе.

Именно из окна своего кабинета он однажды заметил маму, идущую на базар, и не поленился выскочить из кабинета, остановить ее и подойти к воротам школы. Узнав, что она идет на базар за продуктами, он выразил крайнее удивление, что она покупает какие-то там продукты, хотя в ее положении

было бы гораздо проще купить пару хороших кирпичей и крепкую веревку. Когда мама спросила его, почему она должна покупать вместо продуктов пару кирпичей и веревку, он ей прямо сказал:

— Привяжись вместе с сыном и прыгай с конца причала!

При этом, по словам мамы, он заклокотал горлом, довольно натурально изобразив тот надежный булькающий звук, который послужит залогом нормальной педагогической работы в школе.

Об этом случае мама, когда у нее бывало хорошее настроение, много раз рассказывала дома. Особенно смешно было то, что, по ее словам, он после этой встречи много раз видел ее, стоя на веранде, а то и прямо из окна своего директорского кабинета, но уже больше не спускался к ней, хотя знаками давал ей понять, что предложение приобрести веревку и два кирпича все еще остается в силе.

И уже совсем смешным нам, детям, казалось то, что она, рассказывая об этом, пыталась восстановить его ужасный мингрельский акцент, с которым он говорил по-русски. А так как мама сама говорила по-русски с ужасным абхазским акцентом, над которым мы довольно часто потешались, и теперь, рассказывая о смешном выговоре директора, исходила из своего выговора, как правильного, тем самым вдвойне искажая достаточно искаженный язык директора, все это получалось довольно весело. Дополнительную порцию юмора мы получали уже в процессе смеха, кивая на брата, который смеялся вместе с нами над всей этой историей, как бы забыв,



а может, и в самом деле забыв за путаницей обстоятельств, что он сам и есть первопричина всего этого.

Вся эта история имела еще одну забавную грань, о которой я тогда не подозревал. Дело в том, что, оказываясь, ко всем своим странностям директор школы еще и преподавал русский язык, о чем я узнал где-то в пятом или шестом классе, когда он появился у нас и, стараясь вдолбить нам правила русской грамматики, года два писал их на доске в зарифмованном виде.

Но тогда я обо всем этом не знал, хотя, конечно, видел директора и знал, что у него смешная внешность и смешное имя Акакий Македонович. Конечно, мне имя могло казаться смешным, потому что я уже воспринимал его как смешного человека, хотя бы из-за маминого рассказа. Но он и в самом деле был смешной человек, и внешность у него была смешная. Он был высокого роста, имел мягкие покатые плечи, а главное, на его бледном лбу лежал совершенно детский, ну прямо как у меня, оваловидный чубчик. Когда я его впервые увидел с этим чубчиком, я был как громом поражен. Это было все равно, что увидеть взрослого человека в коротких штанишках. И потом уже, когда я поступил в школу, я думал, что он долго не продержится со своим чубчиком, что рано или поздно его вызовут в горно и заставят зачесать куда-нибудь волосы — или вбок, или наверх — как носили взрослые в те времена, а так, с детским чубчиком, не позволят.

А вот оказалось, что позволили. Он так и ходил с этим чубчиком, и никто ему ничего не говорил, а только чубчик сам редел и редел, и в конце концов вывелся, и вопрос сам по себе отпал, если, конечно, он вообще возникал где-нибудь

в недрах горно. Донеси он его до нашего времени, когда взрослые, как древние римляне, начали снова носить эти оваловидные чубчики, можно было бы подумать, что он все предвидел, но чубчик его постепенно вывелся сам между двумя эпохами, так что только в нашей памяти он все еще ходит с этим чубчиком стареющего дитяти.

Но оставим в покое чубчик директора. Я думаю, что он был человеком странным помимо своей детской прически. Помнится, уже потом, во время моей учебы, у него долго болела жена, а потом умерла. Когда педагоги стали обращаться к нему с выражением соболезнования, он им нравоучительно отвечал: «Гнилой зуб лучше всего вырвать...»

Так что выражающие сострадание несколько смутились, не вполне понимая смысл его образа. На самом деле он очень любил свою жену и хотел сказать, что, мол, бедняжка отстрадалась, но уж такой он был недотепистый. Впрочем, возможно, он находил утешение, стараясь усмотреть в смерти жены нечто разумное, рациональное, раз уж она не могла выздороветь.

И вот к этому-то директору мы с мамой и пришли. Мы вошли в канцелярию, но дальше нас не пустили. Маленький человек, весь красный, с красными глазами, с выражением лица, какое бывает у измотанных драками, но, однако, всегда готовых к новым дракам петухов, оттеснил нас от директорской двери и постепенно вывел на веранду. Это был завуч.

— Одного не хватит? — говорил он маме, глядя на нее красными глазами измотанного, но готового драться петуха, — второго привела?!

— Нет, этот совсем не такой, — отвечала мама, горестно усмехаясь с таким видом, словно завуч не может не знать о моих успехах, но пользуется поводом, чтобы придраться. — Владимир Варламович тоже обещал позвонить.

— Ничего не знаю, — отвечал завуч и, показывая на скамью, добавил: — Там посидите. Надо будет — вызовем... Одного еле держим, уже другого привела, и тем более в середине года.

— Да, но Владимир Варламович...

— Ох! — вдруг вскрикнул он, словно наступил на колючку голой ногой. Он заметил в метрике мой недостаточный возраст. Этого мы больше всего боялись.

— Это что? Это матрикул? — повторял завуч, возмущенно тыча пальцем в мою метрику.

— Владимир Варламович все знает, он должен директору позвонить, — утешала его мать, но завуч все никак не мог успокоиться.

— Ничего не знаю, — наконец сказал он и быстро покинул веранду.

Мы с мамой уселись на скамью и стали ждать. В самом деле Владимир Варламович, работник горно, бывший житель нашего двора, обещал маме позвонить в школу, что считалось достаточным для моего поступления.

Владимир Варламович, а для меня дядя Володя, занимал квартиру рядом с нашей. По-видимому, от бездетности он и жена его меня баловали, и я часто бывал у них дома. Мне нравилась его внушительная атлетическая фигура,

а также, когда он, разговаривая со взрослыми, переходил на могучее оперное похохатывание, означавшее смехотворность того или иного утверждения собеседника. Я тогда не знал, что это оперное похохатывание, и думал, что он его сам изобрел.

Так мы жили достаточно дружески и мирно, пока незадолго до их переезда на новую квартиру не случилось событие, заставившее меня сторониться наших соседей.

Однажды на улице я услышал затейливую песенку, зарифмовывающую начало таблицы умножения:

*Одиножды один — приехал господин.  
Одиножды два — пришла его жена.  
Одиножды три — в комнату вошли.*

И так дальше. Картина супружеской жизни, совершенно лишенная какого-либо чувственного содержания, двигалась согласно цифровому нарастанию к своему суровому, бессловесному завершению и на счете, кажется, десять должна была завершиться отъездом этого таинственного господина.

Придя домой, я несколько раз в ритме марша и, даже маршируя, пропел эту песенку, ничего не испытывая, кроме абстрактного восторга конструктивными возможностями человечества. Хотя восторг мой был именно конструктивным и я не испытывал ни малейшего удовольствия от этой картины, все-таки я, безусловно, понимал, что взрослые не так ее воспримут, что при них ее никак нельзя исполнять.

Именно поэтому, убедившись, что дома никого нет, я ходил по комнатам и громко повторял эти стихи, как бы убеждаясь в прочности всего сооружения.

К несчастью, увлекшись конструктивными возможностями человечества, я забыл, что наша квартира представляет из себя половину бывшей четырехкомнатной квартиры, теперь разделенной забитыми, но все еще хорошо пропускающими звук дверьми. Много раз повторяя стихи и маршируя под их ритм, я полностью исчерпал к ним любопытство, так и не заподозрив, что за дверьми педагогическая пара слушает меня и корчится от смеха. Несколько дней после этого случая, встречаясь с супружеской парой, я чувствовал, что они владеют какой-то моей тайной, что эта тайна унижительна и постыдна и что он, дядя Володя, порывается мне рассказать о том, что он знает, а жена его останавливает.

Все это сопровождалось подмигиванием, поощрительными кивками и густым оперным похохатыванием. И все это мне страшно не нравилось, я как-то чувствовал, что все это грозит каким-то разоблачением, а каким — я не знал. Интересно, что, перебирая в уме все возможности постыдного разоблачения, я целиком выпустил из виду эти стишки. Конструктивный восторг, не поддержанный живостью поэзии, очень быстро себя исчерпал. На десять оборотов арифметического ключа супружеская пара отвечала десятью механическими движениями. Это было как заводная игрушка, а стадию интереса к заводным игрушкам я все-таки к тому времени прошел. Именно по-

этому я совершенно забыл, что они могли подслушать мою песню, когда я ее громко пел, маршируя по комнатам.

И все-таки дядя Володя ухитрился однажды, выбрав удобное мгновение, наклониться ко мне и спросить:

— Что же «одинойды четыре»? Все помню, только это... ха, ха, ха, забыл!

Я вздрогнул от его могучего хохота и отпрянул. Волна стыда плеснула в лицо, как горячий воздух из внезапно распахнутой печки. Я прошел мимо него в ужасе. Я сразу вспомнил, что пел эту песенку у нас в квартире и пел ее очень громко. В то же время какое-то инстинктивное чувство самосохранения выдавило на моем лице (я это чувствовал) выражение идиотской невинности.

С тех пор каждый раз, когда он начинал намекать или шутить по этому поводу, а намекал он почти при каждой встрече до самого своего отъезда, мое лицо само принимало (уже одобренное сознанием) выражение идиотской невинности. Это выражение нужно было расшифровать так: может быть, я что-нибудь такое и пел, хотя сейчас и не помню, но я и тогда не знал и сейчас не знаю, что это означало.

Между тем я прекрасно все понимал, то есть испытывал невероятной силы стыд от того, что он слышал эту песню. Ужас охватывал меня, когда я вспоминал свою идиотскую громогласность и мысленно представлял, как за тонкой перегородкой забитой (и, к сожалению, забытой) двери супруги корчатся от смеха. Мне даже вспомнилось, что я вроде бы слышал тогда в соседней квартире какие-то подозрительные шорохи, но не придал им значения.

Сложность моего теперешнего положения состояла в том, что, с одной стороны, мне хотелось крикнуть ему: — Ну сколько можно намекать и портить человеку настроение, отстаньте от меня! А с другой стороны, я никак не мог показать, что меня все это очень волнует, ведь я, выдавив на своем лице выражение идиотской невинности, дал знать, что ни за что не отвечаю и ничего не понимаю по причине своей тупости, по крайней мере, в этом вопросе.

Я стал задумываться над таинственной природой стыда.

Почему мое пение само по себе не внушало мне никакого стыда, а когда я узнал, что его слышали взрослые соседи, оно стало внушать стыд, хотя в нем ничего не изменилось. Почему?..

По-видимому, имелось в виду, что дети не должны знать об этом, а я своим пением нарушил это неписаное правило? Но я-то знал, что все дети в нашем окружении знают об этом, и взрослые не могли не знать, что, по крайней мере, некоторые дети знают об этом. Значит, правило состояло не в том, чтобы дети не знали об этом, а в том, чтобы опрятно делали вид, что этого не знают. В самом деле, до этого я довольно аккуратно делал вид, что этого не знаю, а тут как бы проговорился. Я вдруг поразился, как это я до сих пор удерживался и не выдавал себя.

Я еще не знал, что жизнь полна негласных правил, к которым человек легко привыкает. Я еще не знал, что миллионы взрослых людей могут делать одни и те же глупости, потому что это так принято. Но удивительно даже не то, что тысячи и миллионы взрослых людей, выполняя условия той или иной принятой игры, делают одни и те же глупости, удивительно то, что они, де-

лая эти заведомые глупости, практически почти не спотыкаются, не проговариваются, хотя естественное чувство должно было заставить, хотя бы какое-то достаточно заметное количество людей, зазеваться и выйти за рамки принятой глупости.

А между тем наш жизнерадостный инспектор гороно не давал мне прохода. Чуть он встречал меня без жены, как сразу же спрашивал одно и то же:

— Так как же «одиножды четыре»?

— Забыл, — говорил я, если был приперт к стене нашего коридора или был пойман у выхода из уборной, или убежал, если была возможность, не забыв выдавить на лице выражение идиотской невинности.

Кстати, в те годы, уже начиная принимать некоторые условия взрослых игр, я еще не понимал, что внутри этих условий могут быть те или иные исключения. Так однажды, будучи с тетушкой в кино на вечернем сеансе, я вдруг увидел на экране целующихся мужчину и женщину. Никакого сомнения в том, что это любовный, а не родственный поцелуй, у меня не возникало.

— Поцеловались! Поцеловались! — заорал я на весь зал, обращая внимание зала на грубое нарушение условий игры, по которому любовный поцелуй должен быть скрыт от свидетелей. В ответ на мои возгласы зал разразился, как мне показалось, правильным хохотом в адрес нарушителей, но потом, увы, выяснилось, что люди смеялись надо мной.

Оказывается, хоть и существует правило, по которому любовный поцелуй должен проходить без свидетелей, но это пра-



вило делает исключение для произведений искусств. Я тогда этого не знал, как не знал и того, что в некоторых странах, например во Франции, это правило почти отменено и никто не прерывает поцелуя, даже если вдруг появляется свидетель.

А между тем дядя Володя, которого я теперь всеми возможными способами избегал, все-таки ухитрился как-то ловить меня один на один, чтобы в конце концов попытаться, какая картинка соответствует счету «одинойды четыре».

И вот в день отъезда на новую квартиру, когда все его вещи были погружены на грузовик и жители нашего двора прощались, подходили и целовались с инспектором и его женой, а я стоял, тайно ликуя, что он наконец уезжает и никто больше не будет меня допекать, и в то же время, суеверно боясь, что обязательно что-нибудь случится, если я выдам чем-нибудь свою радость, я старался делать вид, что и меня печалит их отъезд.

Когда подошла моя очередь прощаться с ним, я бросился в его объятия с немалой силой искренности и он, наклонившись, чтобы поцеловать меня, и в самом деле поцеловав в щеку, шепнул:

— В последний раз умоляю: «одинойды четыре»?

— «Свет потушили», — ответил я, тронутый не столько его упорством, сколько его отъездом.

— Точно! Ха! Ха! Ха! — пропел он, подымаясь в кузов и прощаясь, потряс всем рукой, каким-то образом показывая этой трясущейся рукой, что он не просто переезжает на другую квартиру, а подымается вверх по жизни.

Завуч ушел с моей метрикой, а мы с мамой остались ждать на веранде. Прошло, как мне показалось, немало времени, как вдруг завуч выскочил на веранду и криками стал прогонять продавщиц семечек, которые уселись перед школой на каменных перилах мосточка. Старушечки со своими мешочками неохотно встали и ушли, но по их походке было видно, что они далеко уходить не собираются. В самом деле, через некоторое время, когда прозвенел звонок на перемену, они снова пришли и стали продавать семечки ученикам.

Когда завуч, прогнав старушек, повернулся, чтобы войти в канцелярию, мама, привстав, обратила его внимание на себя.

— Не звонил, — сказал он бегло, не давая себя остановить, но, поравнявшись с дверью, внезапно остановился сам и повернул к нам лицо, на котором промелькнуло объяснение его внезапной остановки: одно дело, когда ты меня останавливаешь, и совсем другое дело, когда я сам по своей воле останавливаюсь.

— Откуда знаешь Владимира Варламовича? — внезапно спросил он.

— Как откуда? — горестно усмехнулась мать, — шесть лет прожили рядом, как родственники... На его глазах вырос мой мальчик...

Это прозвучало как намек, что на глазах дяди Володи плохой мальчик не мог вырасти.

— Не знаю... Пока не звонил... Середина года, — сказал маленький завуч, мельком взглянув на меня с некоторым брезгливым недоверием к моим наследственным качествам.

Бормоча насчет середины года и того, что один уже учится, он вошел в канцелярию. Прозвенел звонок. Учителя стали входить в канцелярию и выходить оттуда. Некоторые из них прогуливались по веранде. Иногда я слышал обрывки их разговоров и удивлялся, что они совсем обычные, особенно у женщин. Учительницы говорили то же самое, что и женщины нашего двора: базар, стирка, дети.

Некоторые молодые учителя и учительницы стояли возле колонн, облокотившись на балюстраду веранды с таким видом, как будто их собираются фотографировать.

Я раскрыл книгу, которую принес с собой. Это был какой-то хрестоматийный учебник для второго или третьего класса с небольшими отрывками из классических рассказов и повестей. Я стал громко читать эти отрывки исключительно для того, чтобы обратить внимание учителей на беглость своего чтения.

Замысел был такой. Они обращают внимание на беглость моего чтения. Они интересуются, почему я читаю здесь на полуоткрытой веранде, а не в классе. Узнают, что я не только еще не учусь, но меня и не принимают в школу. Шумной делегацией входят к директору, и меня определяют в первый класс.

Надо сказать честно, что мы с матерью не обсуждали этого замысла. Он возник стихийно. Книгу я взял для того, что-

бы в случае необходимости показать, как я хорошо читаю. Я думал, будет все просто. Я думал, директор спросит:

— А что он умеет?

И тут я небрежно раскрою книгу на любой странице и начну читать.

— А, молодец, — думал я, скажет он, — посадим его в первый класс...

Но после того как нас не пустили к директору и наступили довольно нудные минуты ожидания, я от скуки раскрыл ее и стал перечитывать знакомые тексты. А когда прозвенел звонок и на веранде появилось много молодых и доброжелательных, как мне показалось, учителей, я решил — дай я им почтиаю вслух — не может быть, чтобы они не заметили, как я хорошо читаю. Вот я и начал читать вслух, краем глаза заметив, что мама меня одобряет.

Я это заметил по усилившемуся выражению горестности на ее лице. Это выражение у нее появлялось, когда она говорила про отца или входила в какое-нибудь официальное учреждение, ну, там справку какую-нибудь получить, что-то заверить или что-то подписать.

Сейчас усилившееся выражение горестности должно было служить траурным фоном блеску моего чтения. Выражение это не было в прямом смысле лицемерным, но это было, как я теперь понимаю, входением в привычную колею, рефлекторным сжатием лицевых мускулов, оставляющих на лице гладкую пустыню безнадежности, невольным дорисовыванием пейзажа этой пустыни.

Вообще, такого рода доигрывание свойственно людям. Помню, однажды я оказался свидетелем, а потом и участником одной сцены. Сначала я за этой сценой наблюдал с острой смесью любопытства к чужой жизни и готовности в любой миг бежать от опасных неожиданностей, заключенных в ней, подобно заблудшей собачонке, которая вдруг с интересом останавливается и смотрит, смотрит, ни на мгновение не забывая, что в этих чужих местах опасность надо ожидать в любой миг и с любой стороны.

Вместе со многими ребятами моего возраста, женщинами и мужчинами я наблюдал, стоя на одной стороне тротуара, за пьяным дебоширом, который на другой стороне тротуара бушевал возле своего дома. И вот мы стоим на достаточно безопасном расстоянии и следим за ним.

У нас, у свидетелей этой сцены, какая-то двойственная роль, и я это смутно чувствую. С одной стороны, мы его безусловно осуждаем, что ясно из отдельных слов и восклицаний, которые издают женщины. С другой стороны, наша реальная сила — мужчины — в основном враждебно молчат, по-видимому, интуитивно чувствуя, что как только они начнут высказывать осуждающие слова, от них немедленно и вполне справедливо потребуют действий, а действовать, то есть связываться с пьяным, они не хотели.

Пьяный время от времени мощным ударом ноги проламывал забор своего дома, ругал своих домочадцев всеми непо-

требными словами, отчасти эти непотребные слова обрушивались на редких прохожих и на нас, глазающую толпу.

Время от времени он прерывал поток ругани, чтобы достать из внутреннего кармана пиджака поллитровку хлебной водки, сделать из нее несколько глотков, вертикально вверх подняв бутылку над головой, с какой-то уважительной трезвостью заткнуть ее пробкой, вложить в карман и снова — эх! — с бешеной силой, словно влив в усталый мотор горячее, начать выламывать ударами ноги штaketник своего забора, захлебываясь всеми вариантами русского мата.

Двойственность нашей роли заключалась в том, что мы, с одной стороны, как я говорил, осуждали его, с другой стороны, служили достаточно внимательными зрителями его выкрутасов и в этом качестве мы безусловно подхлестывали его, как бы говоря: — А ну, давай! А ну, еще что-нибудь разедакое, а то это ты уже показывал...

Вот что мы ему говорили своими присосавшимися взглядами, а главное, каким-то терпеливым ожиданием, что самое интересное, самое неслыханное еще предстоит.

В конце концов, видимо, ему это надоело, и он, схватив камень, свирепо замахнулся на нас, и тут вся толпа ахнула, и некоторые, в том числе и я, отбежали на еще большее расстояние. Женские крики, раздававшиеся при этом, можно было понять так, что вот, наконец, он сделал то ужасное, что все мы от него ожидали, что это ужасное будет повернуто против нас.

Некоторые мужчины, наиболее стойкие, остались на месте, и по комической неестественности позы каждого из них

было ясно, что они замерли в тех позах, в каких застал их пьяный, замахнувшийся на них камнем. Вернее, в тех позах, в каких они решили дальше не отпрядывать, осознав это свое решение уже во время замаха.

Они как бы говорили своими позами: вот мы остались стоять так, как стояли, мы ничего не делаем, чтобы укрыться от камня, а также ничего не делаем, чтобы этот камень в нас попал. Как видишь, у нас все честно. Но если уж теперь камень, брошенный тобой, попадет в кого-нибудь из нас, тогда не сердчай, тогда мы с тобой справимся.

Но оказалось, что замах этот был ложным. Замахнувшись, он остановил руку за спиной, несколько секунд любуясь всеобщим переполохом, то есть нами, отбежавшими, а также мужчи́нами, которые своими замершими позами выражали крайнюю степень истощенности своего миролюбия.

И тут уж, увидев все это, он никак не мог удержаться, чтобы не кинуть свой камень. Снова раздались женские визги, камень упал возле меня, тяжело отщелкнулся от булыжной мостовой и ударил меня в голову.

Он ударил меня по голове, по-видимому, только-только возвращаясь с высшей точки своего отскока, то есть успев потерять алкогольную ярость метателя и не успев набрать безответную ярость притяжения земли. Во всяком случае, не смотря на то, что это был камень величиной с хороший бильярдный шар, он ударил меня по голове не очень больно. Во всяком случае, я с удивлением обнаружил, что мне не очень больно, и тут же услышал страшный крик женщин

и понял, что для них, посторонних наблюдателей, огромный булыжник, брошенный пьяным, которого они так дружно осуждали, именно ожидая от него чего-нибудь преступного, наконец, совершил свое преступление, и мне теперь почему-то необходимо удовлетворить их драматические ожидания. В какую-то долю секунды все это повернулось в моей слегка сотрясенной тяжестью булыжника голове и я упал.

Мало того, что я упал, хотя совершенно никакой физической необходимости падать у меня не было, я упал с некоторой замедленностью, отчасти имитируя потерю сознания, а главное, подчиняясь чувству необходимости придать всей этой сцене некую ритмическую законченность, хотя никто меня об этом не просил.

— Убили мальчика! — услышал я возгласы женщин и опять же, подчиняясь чувству правдоподобия всей сцены, вернее, принятым представлениям (конечно, через кино) о правдоподобии, слегка поднял голову, что должно было означать похвальность предсмертного поведения, то есть не пренебрег последней попыткой вернуться к жизни.

Подняв голову, я успел увидеть все тех же стойких мужчин, так и не изменивших свою мужественную позу, но в то же время искоса поглядывающих в мою сторону, опять же не решаясь вступить за меня, поскольку камень все-таки упал достаточно далеко от них и от первоначального расположения всей группы.

А ведь позы их с самого начала выражали одну достаточно ясную мысль: вот только попади в нас, и тогда мы тебе покажем. А теперь получалось, что вроде бы он и переступил гра-



ницы дозволенного, но, если быть до конца честным, он ведь и направил свой камень не в их сторону, а в мою, это явно. (На самом деле так оно и было. Я отбежал дальше всех и от этого стоял как бы в стороне, что, может быть, было замечено им и использовано.) Вот если бы, продолжали стойкие мужчины говорить своими косыми взглядами, он, направив камень в их сторону, просто случайно не попал, ну там, скажем, камень сорвался бы с его руки, тогда можно было бы усмотреть в его действиях попытку выступить против них, а сейчас вроде бы трудноато увидеть в его действиях попытку изувечить именно кого-нибудь из них.

Их взоры, осторожно направленные на меня, выражали позднее сожаление по поводу того, что они с самого начала не обозначили более широкую площадь запретной зоны для его хулиганских выкрутасов, одновременно эти осторожные взоры одобряли мою попытку поднять голову, подразумевая, что я в дальнейшем, окончательно поднявшись, сведу на нет это неприятное происшествие, и уж тогда они обязательно найдут способ защиты всеобщей, включающей даже таких случайных людей, как я, безопасности.

Все это было написано на их дурашливых лицах. И все-таки, даже поняв это все, я уже было собирался снова опустить голову на мостовую, подчиняясь более мощному, более заразительному стремлению женщин увидеть драму законченной, как вдруг я заметил, что пьяный, которому, видимо, окончательно надоели все эти тонкости, схватил увесистую доску сломанного забора и ринулся через улицу.

Я услышал дружный вопль женщин, меня словно подбросило этим воплем, и я дал стрекача. Я бежал до самого дома с той быстротой и легкостью, которая иногда наяву удается детям и очень редко взрослым в самых счастливых снах.

Теперь, вспоминая этот случай, я думаю, что он с некоторой комической точностью повторил положение Европы тех времен, когда все пытались ублажить Гитлера, одновременно разжигая его своим политическим любопытством к его кровавым делишкам.

\* \* \*

Одним словом, мы с мамой сидим на широкой школьной веранде, и я своим громким чтением с молчаливого одобрения мамы, которое я чувствую по усилению выражения горестности на ее лице, пытаюсь привлечь внимание учителей. Но учителя почему-то никакого внимания на нас не обращают.

Прозвенел звонок, учителя разошлись, и мы опять остались одни. Иногда завуч, выбегая из канцелярии, пронесился мимо нас, и тогда я начинал громко читать, но он никакого внимания на меня не обращал, даже, как мне кажется, пробежал от этого несколько быстрее.

— Шесть лет рядом, как родственники прожили! — вздохнув, бросала ему вслед моя мама, но и на это он ничего не отвечал, а пробежал вниз куда-то. Иногда, возвращаясь, он, словно думая вслух, проговаривал: — За старшего спасибо не говорит... Еще младшего привела...

Мама не успевала ему ответить, как он снова исчезал в канцелярии. Однажды он возвратился, слегка подгоняя впереди себя двух мальчиков пионерского возраста и приговаривая: — Посмотрим, как там посмеетесь... Посмотрим...

— Эх, Владимир Варламович! — проговорила мама, сокрушенно вздохнув, когда он проходил мимо.

— А почему не позвонил, если такой близкий человек? — не выдержал завуч, на мгновение остановившись возле нас. Но тут оба мальчика почему-то фыркнули, видно, их распирал смех, и завуч, не дождавшись ответа мамы, втолкнул их в канцелярию и закрыл за собой дверь.

Мама не успела ничего сказать и на всякий случай по-абхазски пожелала ему столько язв в организме, сколько правды в том, что Владимир Варламович не позвонил.

Во время этого урока, пользуясь долгим отсутствием завуча, она мне рассказала притчу о возе сена. Суть ее заключалась в том, что, оказывается, мой отец был когда-то управляющим какого-то сказочного сада, и в том году отец этого завуча, державший в городе корову, попросил у моего отца накосить сена для своей коровы. Отец ему дал накосить сена, и тот впоследствии вывез из сада огромный воз сена, так и не заплатив отцу ни копейки. Почему-то считалось само собой разумеющимся, что деньги за воз сена он должен был заплатить не государству, которому принадлежал сад, а отцу. Притча эта, рассказанная сквозь зубы, с одинаковой силой была направлена и против завуча, и против отца. Мать считала, что отец слишком много времени проводит в кофейнях и слишком мало зарабатывает на семью.

Сейчас я думаю, что брат мой, может быть, держался в школе отчасти за счет этого воза сена, но ко времени моего поступления он использовал его до последней травинки, так что на меня ничего не осталось.

За время нашего ожидания мама несколько раз возвращалась к этому возу сена с затейливым пожеланием в духе наших деревенских заклятий, чтобы этот воз сена клоками по-вылезал у него изо рта, раз он не помнит сделанное ему добро, словно отец завуча не корову кормил этим сеном, а собственного сына.

Надо сказать, что во время выходов завуча на веранду он оглядывался на директорское окно и посылал туда тайнственные и даже раздраженные знаки, означавшие, что Эти все еще сидят и он ничего с Этими не может поделать.

Между прочим, именно мама, несмотря на непроходящее выражение горестности на ее лице, первая обратила внимание на юмор, заключенный в оглядках и недоуменных жестах, которые завуч украдкой бросал в окно директорского кабинета. Возможно, именно эти жесты и оглядки укрепили маму в мысли, что нам надо терпеливо ждать, пока ворота сами не откроются.

— Неужели хоть в уборную не захочет, — сказала она, удивляясь упорству, с которым директор отсиживался у себя в кабинете.

Только она это сказала, как директор вдруг выскочил из канцелярии и, слегка отвернув от нас голову, быстро пересек веранду и исчез на лестнице. Я едва успел поднять книгу и пустить ему вслед небольшой абзац хрестоматийного текста.

Не знаю, шел ли он в уборную или по каким-то другим делам, но теперь мы были начеку. Как только голова его высунулась из-за поворота лестницы, я затараторил дальше. Я хоть и читал, но краем глаза все-таки заметил, что он, проходя по веранде, слегка прикрыл ухо, обращенное в нашу сторону.

Внешне это выглядело как желание не то потерять его, не то почесать, но я-то понял, что это попытка отстраниться от моего чтения. Я почему-то не обиделся на эту попытку. Скорее всего потому и не обиделся, что в этой попытке отстраниться от моего чтения было признание его силы. Кроме признания силы моего чтения, в этом желании отстраниться было, по-видимому, и смутное проявление слабых характеристик директора.

Дети при встрече с незнакомыми людьми почти безошибочно определяют общий настрой того или иного человека. Так, увидев завуча, я сразу подумал: «Злой». Увидев свою будущую учительницу Александру Ивановну, я сразу подумал: «Добрая». Увидев директора, я почувствовал, что маме с ним справиться будет гораздо легче, чем с завучем, хотя ему-то никакого воза сена мы сроду не дарили.

Так оно и оказалось. Минуты через три вдруг выскочил завуч и, не говоря ни слова, жестами показал нам, что надо, и при этом как можно быстрее, входить к директору. Он посмотрел на маму с некоторой обидой, может быть, жалуюсь на то, что ему всю жизнь приходится отрабатывать этот воз сена, и этим самым давая знать, что именно ему мы обязаны вызовом директора.

Мы прошли сквозь канцелярию и вошли в кабинет директора. Директор сидел за письменным столом и говорил по телефону. Он бросил на нас болезненный взгляд, и я вдруг услышал, что в трубке дребезжит веселый голос дяди Володи.

— Все-таки в середине года, — проговорил Акакий Македонович, глядя на меня и сквозь меня болезненными глазами. А я смотрю на детскую челку на широком лбу, и мне как-то неловко, что он может догадаться, что я заметил нелепость его прически.

В трубке дребезжит веселый голос дяди Володи. Я чувствую, что если как следует напрячь слух, то можно разобрать слова. Я в самом деле напрягаю слух, и кажется, директор это замечает. Во всяком случае, он почему-то ковшиком левой ладони прикрывает чашечку трубки, откуда дребезжа выщелкивается голос инспектора.

— Да, но брат уже учится, — говорит директор и теперь, окинув меня болезненным взглядом, переводит его дальше, словно рассеянно припоминая еще один неприятный предмет, с которым ему предстоит иметь дело.

Оказывается, в углу директорского кабинета стоят те два мальчика, которых привел завуч. Стоя в углу кабинета, два румяных пионера медленно приподымали свои опущенные головы и, взглянув друг на друга, начинали корчиться от неуправляемых приступов смеха. Иногда струйки этого смеха выбрызгивали в кабинет, как вода из колонки, когда сильный напор ее удерживаешь прижатой к отверстию крана ладонью.

Директор в такие мгновенья качал головой, дескать, смейтесь, посмотрим, кто будет смеяться последним. Одновремен-

но с этим покачиванием головой он еще плотнее прикрыл ковшиком ладони отверстие трубки, откуда доносился голос инспектора, словно боялся, что брызги смеха и в самом деле долетят до инспектора.

Сконфуженные покачиванием директорской головы, пионеры смолкали и опускали головы, но я видел, как их щеки постепенно наливаются кровью, созревая для очередного взрыва смеха.

В трубке весело дребезжит голос дяди Володи. И чем веселее дребезжит голос инспектора, тем болезненнее вглядывается в меня директор, словно пытаюсь определить, каким количеством здоровья я ему обойдусь.

— Хорошо, но старшего тогда переведите, — вдруг говорит директор, как-то слегка заурчав и блудливо посмотрев в сторону мамы.

Выражение горестной безответности на лице у мамы принимает самую невиданную степень. Она даже слегка наклоняется вперед, словно пытаюсь услышать, неужели и дядя Володя, почти родственник, шесть лет проживший рядом с нашей квартирой, ответит согласием на это предательское предложение.

Но, видно, дядя Володя отвечает что-то другое, потому что директор перестает смотреть на маму блудливым взглядом, а смотрит, как бы говоря, ну, подумаешь, я что-то предложил, он что-то отверг, обыкновенный научный разговор.

Выражение горестной безответности на лице у мамы уменьшается, но все еще достаточно заметно. Сама некоторая назойливость его как бы содержит в себе и рецепт, как от не-

го избавиться: вам надоело это выражение? Сделайте так, как я вас прошу, и вы его не увидите.

Вдруг лицо директора оживает. Он вглядывается в меня с каким-то живым любопытством.

— Песенки поет, говорите, — переспрашивает он, и кровь ударяет мне в голову, — тогда, может, в музыкальную школу?

Выражение горестной безответности на лице моей мамы бдительно доходит до крайней степени и сопровождается саркастической полуулыбкой, означающей: они меня хотят провести какой-то музыкальной школой?! Вот уж не ожидала!

— Хорошо, — говорит наконец Акакий Македонович и кладет трубку. Выражение горестной безответности исчезает с лица моей матери и почти полностью переходит на лицо Акакия Македоновича. Я чувствую, что наша взяла. Тут ребята, стоявшие в углу кабинета, снова посмотрели друг на друга и фыркнули.

— Сквозь слезы родителей смеется, — говорит Акакий Македонович, небрежно махнув рукой в сторону ребят в том смысле, что их-то судьба ему вполне известна, просто ими сейчас некогда заниматься. — Песни поет, говорит, — повторяет директор с недоумением, — при чем тут песни...

— Нет, он читает хорошо, — тихо проговаривает мама с тем, чтобы, не разрушив победы, достигнутой при помощи инспектора, слегка подправить его, может быть, чисто механическую ошибку.

— Придется взять, — после глубокой задумчивости директор обращается к завучу, — старший половину печенки съел,



теперь этого привели... К Александре Ивановне попробуем, — говорит наконец директор завучу.

— Да, больше некуда, — отвечает завуч и бодро выпроваживает нас из кабинета.

Мы выходим из кабинета директора и спускаемся вниз. Слегка подталкивая в спину, завуч ведет меня, очевидно, в один из флигельков, окружающих здание школы. Мама едва попевает за нами.

— Ты иди домой, — говорит ей завуч, не глядя на нее.

Но мама упрямо идет за нами.

Вдруг завуч перестал подталкивать меня в спину, весь сжался, присел, поднял камень и, так и не разогнувшись до конца, стал подкрадываться к бродячей собаке, которая, привстав на задние лапы, рылась в урне, стоявшей у глухой стены, с одной стороны отделявшей школьный двор от жилого дома.

Как и у всякого пацана такого возраста, у меня была повышенная любовь к животным и, конечно, особенно к собакам. Поэтому я, замерев от волнения, следил за завучем. Я бы очень хотел спугнуть ее, но боялся, что он меня за это не ответит в класс.

Он довольно близко подкрался к собаке, но его подвел азарт. Вместо того, чтобы кинуть камень, он решил подойти еще ближе, и, уже когда он был от нее шагах в десяти, она вдруг (умница! умница!) оторвала морду от урны и прямо посмотрела на него. Завуч довольно наивно спрятал руку с камнем за спину, но собака в одно мгновение бросилась к забору и быстро прошмыгнула в пролом.

Собака перебежала улицу и с противоположного тротуара, приподняв голову, продолжала смотреть в нашу сторону. Завуч пригрозил ей камнем, но она не изменила позы, как бы давая знать, что на эту сторону тротуара он никаких прав не имеет. Завуч опустил руку, камень выпал из его ладони, словно ладонь бессознательно разжалась из-за ненадобности камня. Он оглянулся и, заметив маму, видимо, устыдился своего неуспеха.

— Ты еще не ушла? — сказал он, и мне показалось, что он жалеет, что выпустил камень.

— Я только до дверей, — сказала мама.

— Или ты, или я! — резко сказал завуч, все еще злой на собаку, и, быстро подойдя ко мне, слегка подтолкнул меня, чтобы я шел быстрее. Я убыстрил шаг и оглянулся. Мама стояла и смотрела на меня немного растерянно. Никакого страха или одиночества я не испытывал от того, что остался один. Ведь школа эта была расположена в двух кварталах от нашего дома, и я, играя возле дома, иногда прихватывал и школьный двор.

Мы вошли в один из флигельков и пошли по коридору. Вдруг завуч, оставив меня, наклонился возле одной из дверей и стал смотреть в замочную скважину. Перестав слышать его шаги, я оглянулся и увидел его маленькую фигурку, хищно склоненную у дверей.

Мне показалось странным, что он это сделал, провожая меня в класс, и главное — не стыдясь моего присутствия. Я вспомнил, что именно так мой сумасшедший дядюшка наблюдал сквозь щелки в кухонной пристройке за одной женщиной из нашего двора, в которую он был влюблен. Но он

этого никогда не делал, если знал, что кто-то за ним следит. А этот прямо при мне подглядывает.

Наконец, отделившись от замочной скважины и нисколько не стыдясь того, что я это заметил, он подошел ко мне и мы пошли дальше. Мне казалось, что на лице его плавало подобие блаженного выражения, какое бывало у дядюшки после того, как он насмотрится на свою возлюбленную и выходит во двор. Ненормальность дядюшки как бы проявлялась в этой неряшливости, а может быть, доверчивости сознания, которое не спешит или забывает убрать с лица выражение, вызванное чувством, испытанным до этого. Так, выпив воду с сиропом, которую он очень любил, он некоторое время сохранял на лице выражение человека, утоляющего жажду.

Между прочим, мое предположение оправдалось. В этом классе работала юная учительница, очень хорошенькая, может быть, даже красивая. Именно к ней часто приходили расфранченные молодые люди, и она на переменах бегала к ним своей трепещущей походкой, время от времени вскидывая голову, как бы стараясь высунуться из курчавого кустарника густых золотистых волос.

Интересно, что в детстве, если уж женская красота воспринималась как красота, то это восприятие для меня лично сопровождалось каким-то ощущением стыда за ее обнаженность. Наряду с любопытством и приятностью вида красивого лица было еще какое-то не до конца уловимое ощущение, но оно было. Отчасти это ощущение можно назвать чувством неловкости, неподготовленностью окружающей среды, ее недостаточ-

ной праздничной настроенностью для восприятия красоты, словно красивые женщины должны появляться на улицах только в большие праздники — 1 мая, 7 ноября, в Новый год.

Отчасти это было ощущение некоторой ранимости красивого женского лица, словно оно сделано из другого материала, чем обычные лица, и связанное с этим желание как-то прикрыть его, накинуть что-нибудь на него вроде платка (уж не чадролюбивые ли гены моих предков тосковали во мне). Но еще один оттенок, по-видимому, связанный с моими чадролюбивыми стремлениями и, может быть, этот оттенок и был главным, а именно — ощущение того, что красота связана с какой-то великой тайной, которую нельзя обнажать.

Разумеется, все это представлялось тогда совершенно смутно, но я уверен, что сейчас проращиваю зерна именно тех ощущений, а не каких-нибудь других. Точно так же, как я уверен, что завуч подглядывал в замочную скважину именно за этой молодой учительницей, хотя теперь уже не помню, видел ли я ее выходящей из этого класса или не видел. То, что она в нашем флигеле работала, это я помню точно.

Но вот завуч подвел меня к нужной двери, открыл ее хозяйским жестом и, пропустив меня вперед, вошел сам. Грохнув крышками парт, дети вскочили, что было для меня такой неожиданностью, что я еле удержался от желания броситься за дверь.

— Садитесь, — сказала учительница ребятам, и они с таким же грохотом сели. Она повернула к нам лицо. Это было лицо пожилой женщины в пенсне, блестящем золотистой

оправой, с коротко остриженными, местами серебриющимися волосами. Она вопросительно оглядела нас.

— Македонович прислал, — сказал завуч тоном человека, который полностью снимает с себя всякую ответственность.

— Но у меня... — начала было она, но, взглянув на меня, вдруг добавила: — Хорошо. — Приподняв голову, она оглядела класс и, показав мне глазами на свободное место, сказала: — Пока вон туда садись...

Завуч закрыл дверь. Ребята радостно вскочили, приветствуя его уход, я, не подозревая, что уход тоже надо приветствовать, опоздал вскочить, что вызвало у некоторых учеников усмешки, показавшиеся мне обидными. Я чувствовал, что у мальчиков, которые здесь учились, сейчас возникло ко мне любопытство, скорее всего враждебное, какое бывает ко всякому чужаку, который входит в среду привыкших друг к другу людей.

Учительница продолжала урок. Я сейчас не помню, о чем она говорила, зато хорошо помню, что она, говоря то, что она говорила, старалась отвлечь это враждебное любопытство, которое я ощущал у себя на затылке. И в самом деле, я чувствовал, что от ее голоса враждебное любопытство ослабляется и уходит. Возможно, это происходило отчасти за счет усиления моего собственного любопытства к тому, что она говорила.

Во время перемены, когда я выбежал на школьный двор, где встретил несколько ребят с нашей улицы и только начал с ними осваиваться в новой для меня роли школьника, как вдруг прозвенел звонок, призывающий всех в класс. Тогда

меня поразила смехотворная несправедливость длины перемены по сравнению с длиной урока.

Потом помню себя после уроков идущим домой. Я часто прислушиваюсь к себе и удивляюсь впечатлению первого дня пребывания в школе, надоело — вот это впечатление.

А ведь до этого у нас дома не только хвастались моей будущей учебой, но я и сам делал вид, что страшно тоскую без школы, что только и мечтаю, как бы поскорее туда попасть, чтобы утолить сжигающую меня жажду познания. Отчасти я в эту роль, видимо, выгрался, чувствуя, что от меня ждут чего-то такого, чтобы я вызвал у моего брата завистливый аппетит к учебе. Мало того, что у брата аппетита к учебе я так и не вызвал, я сам потерял этот свой хваленый аппетит в первый же день учебы.

В то же время я понимал, как взволнованно и празднично дома ждут моего возвращения из школы и как все будут разочарованы, если я им скажу, что в первый же день мне надоело учиться в школе. У меня хватило выдержки (или чего-то похуже, чем выдержки) скрыть свое разочарование школой, но все-таки изъявлять восторги по поводу моего принятия в школу я не мог, просто сил не хватило.

Да и не надо было, потому что в этот день случилось несчастье: на дядю Самада наехал автомобиль, вернее, не наехал, а сбил его с ног. Как раз, когда я возвращался из школы, машина «скорой помощи» остановилась возле нашего дома и санитары вынесли его на носилках и внесли во двор. Весь двор высыпал наружу, а один из санитаров, по-видимому, зна-

комый моей тети, кричал во всю глотку, что ничего особенно-го не случилось, пусть, мол, бабушка не волнуется.

Когда санитары стали подниматься по лестнице и я увидел удлинённую голову дяди, слегка сползшую к углу носилок, и вынужденно, из-за осторожности, торжественный ход санитаров вверх по лестнице, я вдруг подумал, что мой дядя никогда не достигал такого сходства с Суворовым, как сейчас на носилках.

Когда санитары стали поворачиваться на первой лестничной площадке, дядя приоткрыл глаза и, как обычно, посмотрел в сторону дверей Самуила. Но на этот раз из-за марлевой занавески испуганно выглядывала его жена. И вдруг рука дяди поднялась над простыней и вяло опустилась, он прикрыл глаза.

Между прочим, за носилками оставался густой спиртовой запах, словно из дяди вытекал и вытекал многолетний алкогольный дух. Дядя Самад после этого еще месяца два лежал дома со сломанной ногой, и в доме стоял густой спиртовой запах, и в конце концов тетушка, ссылаясь на нестерпимость этого запаха, выселила его на верхнюю площадку парадной лестницы, которой почти никогда не пользовались. Комнату его тетушка сдала квартирантам.

Так как я стал учиться в школе с двухнедельным опозданием, многих вещей, уже освоенных другими учениками, я не понимал, что вызывало у моих товарищей улыбки, а то и откровенный смех класса. Так, например, я не знал, что разговаривать в классе вообще нельзя, а если уж говоришь, то надо стараться говорить потише и как-то сообразовывая свой го-

лос с расстоянием, на котором находится от тебя учительница, с тем, куда она смотрит, и так далее. А между прочим, голос у меня от природы был достаточно громким.

В ответ на неоднократные нарушения правил Александра Ивановна мне несколько раз предлагала выйти из класса, с чем я, оказывается, соглашался с неприличной поспешностью. Эта неприличная поспешность вызывала тайное веселье Александры Ивановны, я это замечал по ее глазам, скрытым под стеклами пенсне. А между прочим, поспешность моя объяснялась не тем, что я радовался освобождению от занятий, а просто я старался как можно быстрее выполнить то, что мне сказала учительница. Впрочем, может быть, кроме этого, на моем лице было написано еще что-то такое, что вызывало ее тайное веселье.

Но что уж вызывало всеобщее, никем не скрываемое веселье, это то, как я выходил из класса. Как только мне предлагали выйти из класса, я начинал впихивать в портфель свои школьные пожитки.

— Портфель пусть остается — ты выходи! — говорила Александра Ивановна, стараясь не смеяться и руками показывая, чтобы я оставил в покое портфель. Я неохотно оставлял портфель и выходил из класса.

Сейчас я думаю, что в этом маленьком эпизоде сказалось некое коренное свойство моей натуры, которое заключается в склонности уходя уходить целиком. Это очень неудобное и для меня и для окружающих свойство. Зная, что я, уходя, буду стремиться уходить целиком, я в отношении с людьми



проявляю слишком большую терпимость, что поощряет некоторых из них выращивать свое вкрадчивое хамство в сторону моей терпимости. Нет, чтобы сразу же приостановить вкрадчивое хамство или, во всяком случае, отвернуть его от моей терпимости и дать ему расти в свободном направлении, я долго терплю, что воспринимается хамством как награда за высокое качество своей вкрадчивости.

Но в один прекрасный день, когда вкрадчивое хамство уже успело вырастить на подпорках моей терпимости неплохой урожай баклажанов, помидоров и других не менее полезных огородных культур, я неожиданно для хамства, привыкшего к оседлости (от слова оседлать) возле моих подпорок, я, значит, неожиданно для хамства трогаюсь с места, забирая с собой все свои подпорки, и устраиваюсь в безопасной для этого хамства местности.

— Подожди, объяснись! — кричит мне вслед покинутое хамство, но я не останавливаюсь, а оно не может бросить свое хозяйство, отчасти обрушившееся и осевшее после моего ухода.

— Подожди, объяснись! — кричит хамство, но в том-то и удовольствие — уйти от хамства, не объясняясь. Мне даже кажется, что сама сила моей терпимости долгое время питалась надеждой дать хамству достаточно раскуститься, обвиснуть плодами, а потом неожиданно покинуть его, не объясняясь.

Некоторое время я благодушно наслаждаюсь сиротскими стенаниями покинутого хамства. Но, видно, я слишком затягиваю это наслаждение. Никогда не надо слишком затягивать удовольствие, потому что тот, кто его нам отпускает, тоже

следит за этим. И если иногда нам удастся продлить его, пользуясь тем, что и тот, кто следит за правилами пользования отпущенного нам удовольствия, тоже иногда зазевывается, доставляя себе непозволительное для следящего удовольствие поротозейничать, то и он за это рано или поздно получает взбучку, потому что и над следящим за нами есть следящий за всеми следящими. Так вот, следящий за нами, получив от него взбучку, в свою очередь, обрушивает свой гнев на нас и прерывает наше неправомерно затянувшееся удовольствие соответствующим наказанием.

Во всяком случае, я, мысленно наслаждаясь сиротскими стенаниями покинутого хамства, иногда, очнувшись, обнаруживаю, что по посоху моей терпимости уже вьются робкие плети нового растения с нежными антенками усиков, с мохнатенькими листиками, в сущности, так непохожими на позднейшие плоды хамства, как желтенькие звездочки весенней завязи непохожи на осенние, тяжелозадые тыквы. Ну, как отщелкнешь эту робкую плеть! Подождем, посмотрим, а вдруг что-нибудь хорошее получится...

\*\*\*

Конечно, я быстро усвоил все эти гласные и негласные школьные правила. Так что теперь, если приходилось покидать класс, я доверчиво оставлял свой портфель. Надо сказать, что наказание это я испытывал очень редко и всегда тоскливо переносил.

Учился я хорошо. Мне ничего не оставалось. Сокрушить всеобщую семейную уверенность в том, что с моим приходом в школу будет полностью восстановлено не только благонравие семьи, но в виде более отдаленного, но вполне мыслимого будущего достаток и процветание, — сокрушить все это было бы дороже и утомительней.

Иногда я бывал отличником, но чаще бывал среди тех, кто близок к тому, чтобы стать отличником. Во всяком случае, в кругах отличников я проходил за своего человека. Но истинные отличники, то есть отличники по призванию, нередко обращаясь ко мне, едва скрывали насмешку в глубине своих умных глазок, как бы уверенные, что рано или поздно мое тайное дилетантство должно будет меня подвести. Так оно и случилось.

\*\*\*

Случилось это, видимо, в третьем или четвертом классе, в начале учебного года. В тот удивительный промежуток своей жизни я почти каждый вечер ходил с тетушкой в кино. Я думаю, что началось это хождение по кинотеатрам с лета, а потом незаметно для тетушки (погода-то у нас еще долго в начале осени стоит почти летняя) перекинулось на осень.

У меня такое впечатление, что мое детство прошло под странным знаком заколдованного времени — моя тетушка за все это время никак не могла выскочить из тридцатипятилетнего возраста.

В ту осень она почему-то особенно часто говорила, что ей тридцать пять лет и что я отличник. Может быть, где-то в первом классе оба эти сведения совпадали, но потом они совпадать никак не могли, с тем более странным упорством она утверждала, что я отличник, а ей тридцать пять лет. После первого класса я иногда и бывал отличником, но ей, конечно, больше никогда не бывало тридцать пять лет. А именно в эту осень я был так же далек от отличника, как она от полюбившегося ей возраста. Но она об этом не знала. То есть я хочу сказать, что она не знала не то, что ей больше тридцати пяти лет, а не знала то, что сведения о моей учебе так же преувеличены, как преуменьшен ее возраст.

И вот тетушка каждый вечер ходит со мной в кино, говорит своим знакомым, что ей тридцать пять лет и что я отличник. Не то, чтобы она прямо так связывала эти два обстоятельства, мол, вот он, мой племянник-отличник, а что, мол, касается меня, то мне тридцать пять лет. Но все-таки какая-то связь была. Каким-то образом, выдавая меня за отличника, она помогала версии о том, что ей всего тридцать пять лет.

Иногда я пытался протестовать, но из этого ничего не получалось или получался еще больший конфуз. Мои протесты она относила к числу как раз тех достоинств, которые делают человека отличником.

— Круглый, — говорила она, махнув на меня рукой, — круглый отличник...

Вот это махание рукой особенно меня выводило из себя. Оно означало, что тут и разговаривать не о чем, тут этого ве-

щества, которое делает человека отличником, столько, что можно было бы и отряхнуть меня слегка, как ветку, чересчур отягченную плодами.

— Одного боюсь, — говаривала она, вздохнув, — слишком много читает...

Тут рассказывался случай, и в самом деле имевший место один раз в жизни, но поданный с таким видом, как будто это обычная картина. Я и в самом деле однажды читал книгу, а именно «Детство» Горького, и вдруг погас свет, что было в те годы обычным явлением. Дело происходило у тетушки на кухне.

Пока все ожидали, не зажжется ли свет, или готовили керосиновую лампу, я прилег на пол тетушкиной кухни и стал читать при свете, льющемся из экрана керосинки.

Свет, конечно, слабый, но по-своему очень уютный и приятный. Читал я так, наверное, с полчаса, не подозревая, что вокруг меня и этой закоптелой керосинки уже слегка миражирует контур легенды о маленьком мученике ученья. К сожалению, в последующие годы, да и до сих пор горячка чтения сменяется долгими промежутками равнодушия к книге.

...Почти каждый раз, когда мы шли с тетушкой в кино, она по дороге заходила на работу к своему мужу дяде Мише. Она заходила в магазин с тем, чтобы забрать его с собою, но это редко удавалось, потому что дядя бывал занят, и тетушка некоторое время нудно упрекала его в загубленной молодости, а он сидел над грудой накладных, шелкал счетами и что-то молча записывал.

Мне как-то неприятно было слушать эти упреки, как-то неловко было оттого, что не тот, кто работает, упрекает того, кто развлекается, а тот, кто развлекается, наскакивает на того, кто работает.

Обычно мы уходили вдвоем, и тетушка торопилась, как бы стараясь наверстать упущенное за время загубленной молодости, потом успокаивалась и примерно через квартал каблуки ее от быстрой сердитой дроби переходили на веселый легкий перестук. Иногда мне кажется, что она этими бесконечными упреками освобождала душу от небольших угрызений совести за наше кинообжорство.

— Ах, так! — как бы говорила она себе после этих попреков. — Вы с нами не желаете пойти погулять! Так мы в таком случае не будем вылезать из кино!

Дядя очень добросовестно относился к своим обязанностям директора гастронома. У нас в доме до сих пор сохранился огромный снимок, где он стоит в окружении своих продавцов под переходящим знаменем торгового двора, которое он держал в течение нескольких лет, покамест во время войны его не забрали в армию. Даже на этом снимке его могучая фигура и сильное, правильное лицо не могут скрыть тайной унылости, которая, видимо, стала к этому времени хроническим состоянием его души. И как бы в противовес дяде один из продавцов на этом снимке, а именно дядя Раф, так и лучится жульническим весельем. Тетушка с большой симпатией относилась к этому продавцу, отчасти потому, что у него был веселый, легкий характер, отчасти потому, что он снабжал тетушку не вполне оплаченными покупками.

Обычно она за продуктами посылала дядю Колю, вручив ему деньги и список того, что ей нужно. Когда дядя Коля возвращался домой, она с каким-то повышенным азартом заглядывала в корзину, после чего или расцветала, или явно гасла. Если лицо ее гасло — это означало, что дядя был на месте и Раф отпустил продуктов ровно столько, на сколько хватило денег.

— Отец был там? — спрашивала она на всякий случай дядю Колю.

— Там, там, — радостно отвечал тот, не подозревая, чем вызван ее вопрос.

— Ну, конечно, — говорила тетушка неизменно, — я так и знала...

Хотя тетушка часто ворчала на мужа, что другие на его месте особняки строят, а он семье отказывает в куске хлеба, все-таки она в этих делах дядю побаивалась и свои симпатии к Рафу объясняла целиком его веселостью и отзывчивостью. Если мы с тетушкой приходили за продуктами и заставляли дядю в гастрономе, то он сам отпускал нам продукты и с некоторой комической дотошностью вынимал из кармана деньги и клал их в кассу, пока Раф перемигивался с другими продавцами.

Однажды, не замечая, что я стою поблизости и рассматриваю витрины с конфетами, этот Раф рассказал, видимо, своему близкому другу, стоявшему по эту сторону прилавка, такой случай.

Оказывается, под праздник в гастрономе продавали кулич, и один любитель кулича, купив его и убедившись, еще не доходя до дому, что кулич совершенно невкусный, вернулся

в гастроном и устроил скандал. Но так как было совершенно ясно, что продавцы в этом не виноваты, ему пришлось успокоиться и уйти домой с этим невкусным куличом.

— А как же он будет вкусным, — продолжал Рафик, посмеиваясь и плутовато кивая на кондитерскую фабрику, которая была расположена недалеко от гастронома, — если яйца мне принесли, сахар мне принесли, масло тоже...

Тут они оба расхохотались, и взгляд Рафика упал на меня. Я это почувствовал.

— Не дай Бог, дядя Миша узнает, убьет, — сказал он своему другу, и они слегка приглушили свой смех.

— Почему невкусный, спрашивает, да? — напоминал время от времени его товарищ.

— Да, — соглашался Рафик, и они снова начинали смеяться.

Я сделал вид, что ничего не понимаю, хотя мне было очень неприятно, что он так обдуривает дядю, которого я считал умным человеком.

Вообще-то я думаю, что в глубине души дядя знал, что его обманывают, но уже сделать ничего не мог. С одной стороны, невозможно было уследить за всеми, с другой стороны, он уже слишком прославился как руководитель образцового коллектива, получающий ежегодно переходящее знамя. Торгу он был выгоден, как надежный чудака, на которого во всех случаях можно положиться, и его гастроном снабжали лучше, чем остальные магазины, что давало ему возможность намного перевыполнять план и получать приличную зарплату.



Сейчас я думаю, что он чувствовал эту липоватость своего образцового положения, но не мог ни привыкнуть к ней, ни набраться сил и уйти от всего этого, а заодно и от тетушки. И это состояние придавало его облику некоторую заторможенность, сумрачную тяжеловатость, которая так не соответствовала щедрому, легкомысленному, эгоистически-ненасытному темпераменту тетушки.

Они довольно часто ссорились, и ссоры эти из-за ее вздорной страстности проходили слишком бурно. Однажды во время ссоры тетушка крикнула, что она больше так не может, и выбежала из кухни. Все поняли, что она сейчас же закончит жизнь самоубийством, и даже поняли, как именно: бросится со второго этажа внутренней парадной лестницы на цементный пол прихожей нижнего этажа. Все, кто был в кухне, включая бабушку и моего сумасшедшего дядю, бросились ее останавливать. Все, кроме меня и дяди.

Мне почему-то было совершенно ясно, что этого не может быть, что она ни за что этого не сделает.

— А ты чего тут сидишь?! — вдруг заорал дядя, когда погоня слегка замолкла в глубине дома. До этого он на меня никогда не кричал. Сконфуженный, я вышел из кухни. Я был особенно смущен, потому что, оставшись вместе с дядей на кухне, считал, что я его этим поддерживаю, как бы своим поведением доказываю вздорность ее угрозы.

Теперь-то я понимаю, что он очень волновался и только из гордости не сдвинулся с места. Моя детская рациональность правильно мне подсказывала, что человек не может по-

кончить самоубийством из-за всякой ерунды. Но взрослый опыт сильно расшатывает чистоту детских представлений о логических соответствиях. Взрослый человек понимает, что хотя все это и так, а все-таки человек может сделать роковой шаг помимо всякого смысла, а может быть, и назло всякому смыслу, особенно если этот человек женщина...

Вот почему дядя тогда так закричал на меня. Видимо, я ему был противен и тем, что, оставшись, как бы напрашивался ему в напарники в слишком личном деле, а моя незаполненная душевной болью выдержанность должна была привести его в бешенство, что и произошло. Разумеется, из всего этого не следует, что я был равнодушен к этим стычкам, но, конечно, чувствовать и сотой доли его страданий я не мог.

Интересно, что после больших ссор между ними, по крайней мере на несколько дней, устанавливались изумительные отношения, и тетушка целыми вечерами, когда он приходил с работы, как бы осыпала его кроткими перышками голубиной нежности.

И вот, значит, в тот несколько фантастический период моей жизни мы с тетушкой почти каждый вечер ходим в кино и почти каждый вечер смотрим по две картины. Первую, как правило, смотрим в одном из клубов, а вторую в нашем центральном кинотеатре «Апсны», где директором тогда работала тетушкина давняя приятельница, тетя Медея. Разумеется, у тети Медеи мы ее смотрим бесплатно, и чаще всего на третьем сеансе.

Помню маленькую фанерную пристроечку внутри помещения кинотеатра под лестницей, ведущей на галерку. Убо-

гость этой фанерной пристройки взрывается (чуть откроешь дверь) сокровищами ее внутреннего убранства — сочетание ярчайшего электрического света и волшебных цветных афиш, которыми оклеено все стенное пространство помещеньца. Одни афиши славны как бы сказочностью невозвратимого прошлого, они говорят о фильмах, которые я уже никогда не увижу, но ребята, те, что постарше лет на пять, знают их и с восхищением рассказывают о них как ветераны: — «Знак Зеро», «Месс Менд», «Красные дьяволята»!

Другие афиши, снабженные легким, пьянящим словом «Анонс», мягко утешают, улыбаются, как бы говоря, не все счастье в прошлом, кое-что будет и в будущем, например, «Ошибка инженера Кочина», «Граница на замке».

Афиши вообще сами по себе почему-то волнуют, словно несут на себе мгновенный жар пронесшейся кометы праздника, рассматривать их доставляет огромное удовольствие.

Пока тетушка разговаривает с тетей Медеей, сидящей за маленьким столиком, скорее напоминающим туалетный, чем учрежденческий, я впиваю и впиваю в себя аромат этих афиш.

Иногда в кабинетик тети Медеи всовывается голова одной из работниц кинотеатра:

— Звонок давать? — спрашивает она.

— Подожди, я скажу! — отмахивается от нее тетя Медея и, затягиваясь бесконечной папироской, продолжает свой бесконечный, как тетушкины тридцать пять лет, рассказ о своей жизни. Его нехитрую суть, как мне казалось, я сразу уловил: она была замужем за одним человеком, но потом он

ушел к этой Негодяйке. Иногда она его самого тоже называла Негодям, и тогда мне казалось вполне естественным, что Негодям ушел к Негодяйке, и я никак не мог понять, о чем тут жалеть и зачем это все переживать тысячу раз.

Тетушка обычно слушала ее, глядя в ее бледное, по-видимому, когда-то привлекательное лицо, так же жадно курия и пуская изо рта воинственные струи дыма. Так как расстояние между ними было небольшое, они обе, выдыхая дым, приподымали головы, чтобы не дымить друг другу в лицо, и иногда струи дыма перекрещивались в воздухе, как бы пронзая призрак Негодяйки.

Тетушка слушала ее рассказы, все время давала ей советы, которые сводились к тому, что этой Негодяйке непременно надо отомстить, опозорить, унижить ее.

Рассматривая афиши, я краем уха слушал эту болтовню и прекрасно понимал, что все это вздор, что само предложение отомстить Негодяйке никак не выполнимо, потому что она жила в Тбилиси, а мы жили в Мухусе, так что все это было пустыми словами. Я также чувствовал, что сама энергичность предлагаемых тетушкой мер идет от их невыполнимости, но в то же время они взбадривают тетю Медею, как бы показывают ей, насколько эта Негодяйка мерзка и каких она достойна кар, даже если эти кары не достигнут ее. В конечном итоге все эти свирепые советы, предлагаемые тетушкой, как-то полностью оправдывали наше бесплатное посещение кино.

Иногда дверь кабинета отворялась каким-нибудь посетителем кино, возмущенным то ли билетом, выданным ему на про-

данное уже место, то ли еще чем-нибудь. В таких случаях тетя Медея прерывалась с большой неохотой или даже откровенным раздражением в зависимости от общественного положения посетителя и, нередко от возмущения закашлявшись (она и так все время покашливала), начинала стыдить этого жалобщика или, указывая на тетушку, просила его подождать, пока она поговорит с предыдущим посетителем. При этом тетушка неизменно выражала всем своим видом, что вот она в кои века вошла к директору по важному делу, а ей и пару слов не дают сказать.

Некоторые посетители, у которых вообще никакого билета не было, тут же направлялись в правительственную ложу, и они с важностью следовали туда чаще всего целыми семьями. Интересно, что как только дверь за ними закрывалась, они награждались каким-нибудь презрительным замечанием, как я понимал, за то, что они, не будучи правительством, лезут в правительственную ложу.

Вообще правительства я никогда в кинотеатре не видел, этим, видимо, и пользовались такого рода люди. Судя по всему, они занимали в обществе такое положение, что сидеть на обычных местах они уже не хотели, а до правительственного места не дотягивали, вот им и приходилось просить тетю Медею.

— Подумаешь, в АБСОЮЗе работает, — говорила тетя Медея, или что-нибудь в этом роде, — забыл, как его отец петрушку на базаре продавал.

— Эта гальская кекелка тоже себя дамой почувствовала, — добавляла тетушка в адрес жены этого работника непонятного АБСОЮЗа.

Если мест в кинозале не было, тетя Медея усаживала нас в распахнутых дверях кинозала, куда мы перетаскивали стулья из кабинета. Обычно она усаживалась рядом с нами, и, если картина была им не очень интересна, они полушепотом продолжали свои разговоры про эту Негодяйку.

Если мы попадали на последний сеанс, я время от времени засыпал, потом просыпался, силясь понять, что делается на экране, и снова засыпал. Таким образом, именно в дверях переполненного зала мы смотрели картину «Петр Первый», и я все время мучительно старался продрать глаза и понять, чего этот Петр Первый все время кричит, дерется палкой и прыгает, кажется, из окна, во время наводнения. Помню, он мне не понравился своими кошачьими усами, а главное, чувством опасности этого человека, от которого не знаешь, чего ожидать.

Помню такой длинный киножурнал с речью товарища Сталина, которую он произносил на каком-то собрании. Он стоял на трибуне и, по-видимому, чувствовал себя очень свободно, громко звякал бутылкой о стакан, наливая себе воду, чуть-чуть отпивая и продолжая говорить.

Так как я тогда был слишком мал, чтобы оценить величавость его движений, я их воспринимал как странную замедленность. То, что окружающие меня взрослые его речь понимали не больше меня, было ясно из того, что все они обсуждали одну-единственную фразу из всей речи, которая и мне именно тогда же в кино показалась живой, ясной и мудрой.

— Семья не без урода, — сказал тогда вождь в своей речи, и я тут же стал мысленно подыскивать в знакомых семьях ка-

кого-нибудь уroda, а в некоторых семьях я находил по несколько уродов.

Интересно, что в семьях, которые мне казались до этого идеальными, я, подумав как следует, начинал находить урода. При этом меня поражало, как они ловко маскировались, скрывая свое уродство, и именно те вдруг мне представлялись уродами, которые меньше всего до этого казались подозрительными.

Мысленно просматривая их поведение, я вдруг обнаруживал трещинку странности, которая соединялась с другими трещинками странностей, и все это вместе складывалось в картину скрытого и потому еще более уродливого уродства. Полное отсутствие каких-либо странностей воспринималось как особо изощренная странность, так что ни одна семья не могла рассчитывать на исключение. Ведь сказано: «Семья не без урода». Значит, надо искать и находить.

Из разговоров взрослых по поводу этих мудрых слов я понял что, оказывается, у великого отца есть сын Вася, который очень плохо учится. И вот, исчерпав все доступные средства, а ему, разумеется, были доступны все существующие в мире средства, и, убедившись, что сын Вася упорно продолжает плохо учиться, он пришел к неотвратимому выводу, что, оказывается, тут ничего нельзя поделать, что, оказывается, — это такой закон природы: в каждой семье должен быть урод.

Интересно, что, узнав про сына Васю, который, несмотря на все старания великого отца, плохо учится, я почувствовал к вождю какое-то теплое чувство. Должен со всей определен-

ностью сказать, что этого теплого чувства у меня к нему никогда не было. Иногда это меня мучило как-то, но я ничего с этим поделать не мог. Несколько позже, уже будучи подростком, я узнал, что и у некоторых моих сверстников тоже не было этого теплого чувства...

У меня по поводу многих картин, которые я тогда смотрел, были свои недоумения, как я теперь понимаю, довольно здравые. Так, например, бесконечные шпионские картины, которые сами по себе мне очень нравились, были все-таки недостаточно убедительными.

В каждой картине, кишмя кишевшей шпионами, все они к концу оказывались выловленными. То, что наш отважный чекист, в которого многие из них стреляли и вполне могли убить, все-таки оставался живым, в худшем случае раненным в руку, так что он по крайней мере мог обнять и вдумчиво поцеловать свою жену или невесту, пришедшую к нему в больницу, меня не очень смущало. Ну ладно, думал я, хотя это выглядит немного по-детски, все-таки приятно, что такой смелый, симпатичный парень остался живым.

Неубедительным было другое, а именно то, что в каждой картине вылавливали всех до самого последнего шпиончика. Ни одному не удавалось удрасть. Я даже часто себя ловил на постоянной мысли, что хотел бы, чтобы хоть один шпион сумел утаиться. Для чего я это хотел? Прежде всего для того, чтобы сделать убедительными остальные картины про шпионов. Уцелел один, стало быть, он завербует растратчиков, доверчивых ротозеев, вызовет по приемнику новых шпионов



из-за границы. Ведь будут другие картины про шпионов, и тогда будет ясно, откуда они взялись.

А так после каждой картины получалось, что все шпионы выловлены и любимый город, как поется в песне, может спать спокойно. А потом оказывается, что все равно полным-полно шпионов и незачем было уверять любимый город, чтобы он спал спокойно.

Помню еще одно недоумение. Показ фашистов сопровождался такой страшной музыкой, от их облика исходила такая беспощадная свирепость, что я иногда в ужасе поворачивал голову, чтобы, увидев рядом горбоносый профилек тетушки, кстати, невозмутимый, убедиться, что мне лично ничего не угрожает, что я далеко от всего этого и в полной безопасности.

Хотя это отчасти успокаивало, вернее, успокаивало как-то физически, нравственно я испытывал немалые терзания. Мой трепещущий организм явно отказывался совершать подвиг в таких условиях. Например, в картине про испанского мальчика Педро, который, каким-то образом оказавшись на фашистском корабле, обнаруживает в трюме ящики с бомбами, на которых для маскировки (нет предела их коварству) написано «Шоколад».

И вот этот отважный мальчик решил взорвать корабль и, набрав в кочегарке полное ведро жару, проносит его в трюм. И вот он идет с этим ведром (ужас!), и каждую секунду его могут обнаружить фашисты, и музыка своей назойливой тревогой подтверждает это. Я смотрю, я слушаю, я чувствую всем телом ледяющий душу страх, с унижающим, растапты-

вающим стыдом чувствую, глядя на Педро, что нет, я этого не мог бы сделать...

Правда, на следующий день среди дневного сияния, вспоминая картину, уже отделенную хотя бы от этой ужасающей музыки, и успокоенный знанием счастливого конца этой истории, я как-то снова начинаю храбриться и верить, что, пожалуй, и я смог бы повторить подвиг республиканского мальчика Педро.

Между тем время шло. Мама ворчала, потому что по утрам ей стоило невероятных трудов поднять меня с постели, но тетюшка в нашем доме главенствовала над всеми, тем более я сам с огромным удовольствием окунался в этот киношный разгул.

Иногда тетюшка по какой-то неожиданной причине охладевала к своей подруге, и мы прерывали на несколько дней свои кинопоходы или ограничивались просмотром одной картины в каком-нибудь из клубов. Я как-то никогда не мог понять, почему она к ней охладевала, потому что внешне их отношения как будто никак не менялись. Но иногда, возвращаясь после кино домой, она вдруг начинала говорить о муже своей подруги с какой-то предательской теплотой, и получалось, что ему ничего не оставалось делать, как уйти от этой несносной женщины.

— Не давай ей себя целовать, — советовала она мне, хотя я и сам терпеть не мог все эти взрослые поцелуи. А тут при встрече они сами чмокались, и подружки ее меня чмокали, и как-то получалось, что стыдно увертываться от близкого

человека, да еще, пользуясь этой близостью, бесплатно смотреть кино.

— Все-таки легочница, — добавляла она, выговаривая последнее слово с каким-то презрительным украинским придыханием, — говори, что родители тебе не разрешают.

Вот глупая, думал я, злясь на тетушку, как же это я скажу, когда ты же всех уверяешь, что ты меня воспитала и поэтому ты и есть истинная родительница.

Но вот однажды вечером наступил час расплаты. Тетушка, поругав брата за плохие отметки, по-видимому, решила показать ему пример хорошей учебы и самой отдохнуть на моих хороших отметках. С этой целью она вдруг попросила меня принести мою домашнюю тетрадь. Обычно она в мои домашние тетради никогда не заглядывала, а только смотрела табель и лично у себя держала мою уже слегка пожелтевшую похвальную грамоту за первый класс, как маленькое знамя наших фамильных побед.

Мне ничего не оставалось, как пойти домой за тетрадь, о плачевном состоянии которой я один знал. На меня нашло какое-то отупение. Я почему-то не пытался ни улизнуть от ответственности, ни схитрить, скажем, сказать, что тетрадь у учительницы, а дневников у нас тогда не было.

В общем, в состоянии какого-то отупения я спустился вниз к себе домой, вытащил из портфеля тетрадь и обреченно понес ее наверх. Не знаю, на что я надеялся. В этой тетради сначала шла отличная отметка, потом две хорошие, а потом уже оценки, выражающие всевозрастающее недоумение учительницы, переходящее в ужас.

Смутно помню, что какая-то надежда была, но на что я надеялся, никак не могу вспомнить. На то, что тетушка посмотрит первые три отметки и захлопнет тетрадь? Нет, зная ее ненасытность, чрезмерность во всем, я никак не надеялся на это.

На что же я все-таки надеялся? Трезвый анализ воспоминаний не оставляет никаких признаков надежды, кроме надежды на чудо.

Да, по-видимому, оставалась слабая надежда на чудо. Разумеется, необязательно какое-то сверхъестественное чудо. Я мог надеяться на вполне реальное чудо. Например, гости нагрязнули! А такое бывало частенько. В таком случае, конечно, казнь пришлось бы отменить. То, что в тетушкиной кухне сидели дядя Алихан и дядя Самуил, не принималось в расчет. Они были соседями по двору, и тетушка не постеснялась бы при них опозорить меня.

И вот я снова вхожу в тетушкину кухню, как бы с особой нарочитой силой, чтобы ярче меня опозорить, озаренную электрической лампой. Вижу бабушку, сидящую возле печки, она там всегда сидит независимо от времени года. Рядом с ней мой сумасшедший дядюшка, потому что ей приятно всегда держать его под рукой: ну, там подать что-нибудь, принести, унести. А еще для того, чтобы, если ему кто-нибудь из остальных предложит что-нибудь сделать, ей легче было бы отменить или поддержать эту просьбу.

Дело в том, что бабушка была для дяди высшей властью. Он, конечно, в основном делал все, что ему говорила тетя, но, если это происходило на глазах у бабушки, он всегда огля-

дывался на нее, и она движением головы или руки подтверждала, что это надо сделать, или, наоборот, не советовала.

Иногда во время уборок, а они происходили очень часто, учитывая яростную чистоплотность тетушки, бабушка, жалея дядю, которому приходилось таскать и сливать грязную воду, давала тайный приказ бастовать или, чтобы смягчить столкновение с тетушкой, притвориться больным. Пожалуй, самое смешное во всем этом была быстрота понимания дядюшкой того, что от него требуется. Намек на то, что ему надо отказаться от работы, он понимал гораздо быстрее, чем самое толковое разъяснение того, что надо сделать.

Впрочем, тогда мне было не до всего этого. И вот я, значит, вхожу в кухню, где за столом сидит тетушка, во главе стола на кушетке, напротив нее дядя Алихан, ждущий моего дядю, чтобы сыграть с ним пару партий в нарды. Рядом с Алиханом мой брат, несколько не смущенный предстоящей педагогической пыткой. От избытка темперамента он все время ерзает, озирается на дядю Колю, чтобы выбрать момент и подразнить его, но выбрать момент трудно, потому что с одной стороны бабушка, а с другой тетушка перекрестно просматривают его кругозор. И, наконец, рядом с тетушкой дядя Самуил, бдительно подтянутый, в любую минуту готовый отстаивать свое маленькое, но неотъемлемое право считать себя караимом.

Я подаю тетушке тетрадь через стол. Тупость моего поведения еще в том, что я никак не обнаруживаю, что ее надежды на мою блестящую учебу не оправданы. Это, конечно, худшит мое положение, как дополнительная ложь. Я это

чувствую, но ничего не могу с собой поделать. Единственное, в чем проявляется мое понимание моей будущей судьбы, это то, что я пытаюсь остаться за этой стороной стола, где сидит мой старший брат. Но тетушка, протягивая руку за тетрадь, ясно мне указывает, что мое место рядом с ней.

Ничего не поделаешь, я протискиваюсь мимо дяди Самуила, который, и привстав и пропуская меня, не теряет выражения готовности отстаивать свое маленькое, но неотъемлемое право.

Наконец, я усаживаюсь рядом с тетушкой, она гасит в глазах легкую досаду на мое мешканье, досаду, как бы означающую: нельзя же быть отличником в школе, а дома таким уж недотепой.

Она медленно раскрывает тетрадь, ставит плоскость ее перпендикулярно к электрическому свету, хотя и так прекрасно видит, и на первой же странице замечает отличную оценку.

— Отлично, — читает она, как бы не вполне доверяя глазам и пробуя слово на звук, как пробуют ноту: да, да, та самая нота, которую мы ожидали...

Она многозначительно смотрит на брата, потом на меня, отдаленно, но уже без всякой досады вспоминая, что я при такой учебе мог бы и дома проявлять большую понятливость и не заставлять ее по десять раз предлагать усесться рядом с ней.

— Я это еще до школы знал, — напоминает дядя Самуил о своей давней математической загадке, которую я первым разгадал.

Тетушка листает страницу. На следующем развороте сразу две оценки ниже на балл.

— «Хор», «хор», — несколько разочарованно произносит тетушка, последовательно на обеих страницах прочитав оценки. Она смотрит на меня с легким укором, как бы говоря: конечно, «хор» неплохая оценка, но нельзя же считать себя отличником и получать подряд две хорошие оценки.

Вдруг она переводит взгляд на моего приободрившегося брата и взглядом говорит ему: а ты не радуйся, тебе до этого, знаешь, как далеко?

Я с ужасом жду третьей страницы. Там, на третьей и четвертой страницах, идут две оценки — «посредственно» и «хорошо», именно в такой последовательности.

— «Пос», — читает тетушка и тут подключается к работе, до этого слабо подыгрывавшая, ее артистическая жилка. Она смотрит на меня, потом на брата, потом снова на меня, как бы с тайным содроганием начиная находить между нами черты духовного сходства.

— Дье, — произносит она ненавистное мне междометие, означающее горестное недоумение. Тетушка говорит по-русски совершенно чисто, она еще знает и абхазский, и грузинский, и турецкий, и персидский языки. Так что иногда она вставляет в свою русскую речь какие-то неизвестные мне междометия, которые помогают ей выразиться острее, чем позволяют привычные языковые средства.

— Дье, — повторяет она и беспомощным движением протягивает тетрадь моему соседу, словно внезапно проявившаяся слабость зрения заставила ее увидеть такую невероятную оценку, — Самуил, наверное, я плохо вижу, что здесь написано?

— «Пос», — отчетливо и без каких-либо личных чувств произносит Самуил, на миг заглянув в тетрадь. Он это произносит с той давней своей интонацией человека, который раз и навсегда решил держаться в скромной, но зато всегда чистоплотной близости к фактам.

— Следующая «хор», — добавляет он, сухо вато утешая тетушку, но опять же только за счет возможностей самих фактов.

— «Хор», — горестно повторяет тетушка и смотрит на меня, слегка покачивая головой, в том смысле, что и отличная оценка была бы после такого падения довольно слабым утешением, а что же может сделать это малокровное «хор»?

Слегка послунявив палец, тетушка медленно, увы, якобы не ожидая ничего хорошего, а на самом деле именно ожидая, но только для меня делает вид, что особенно мне сейчас неприятно, потому что я-то знаю, что дальше никакого просвета нет. И вот она наконец печальным движением перелистывает страницу, как книгу горестной судьбы. Что я чувствую? Я чувствую, что заполнен позором, у меня такое ощущение, словно у меня поднялась большая температура, отупляющая все восприятия, но и сквозь свои притупленные восприятия я все еще почему-то думаю, что хорошо бы все это закончить до прихода дяди с работы. Хотя теперь это не имеет большого значения, мне почему-то хочется выиграть эту маленькую ставку.

Сам я в тетрадь не смотрю. Я смотрю на своего сумасшедшего дядюшку. И так как я смотрю на него довольно пристально, он начинает слегка нервничать. Сначала пожимает плечами в том смысле, что он лично к этой проверке тетрадней



никакого отношения не имеет и не понимает, почему моя укоризна направлена на него. Он чувствует, что происходит какая-то проверка моей учебы и что эта проверка для меня неблагоприятна.

Он сидит, положив ладони на колени, и смотрит перед собой немигающим взглядом своих зеленых глаз. Он как бы говорит мне своим взглядом: я в твоих учебных делах не разобрался, не разбираюсь и не хочу разбираться... Вот придет время пить чай, я его с удовольствием выпью и пойду с бабушкой спать, а остальные меня мало интересуют...

Но дядюшка ошибается, думая, что я на него смотрю с обычной целью подразнить его. Нет, на этот раз я на него смотрю с тоскливой завистью. Хорошо жить, как он, думаю я, ни за что не отвечать, ничего не стыдиться, не ведать, что делается вокруг.

А между тем эта моя страница в кровотокающих рубцах красных чернил. Это следы гневных ударов пера Александры Ивановны.

— Пло-хо, — читает тетушка по слогам и растерянно оглядывает окружающих, — но вот эти восклицательные знаки для чего?

После оценки Александра Ивановна поставила три восклицательных знака, барабанные палочки, выбивающие тревожную дробь по поводу ухудшения работы моей головы. Наверное, тетушка и в самом деле не может понять, для чего эти восклицательные знаки в таком количестве, но нет, скорее всего ее артистизм доигрывает, дополняет мою катастрофу,

она как бы внушает окружающим истолковать эти восклицательные знаки, как признак утроенности моей плохой оценки.

— Подумаешь, большое дело, да?! — говорит дядя Алихан, по доброте своей пытаюсь отвлечь внимание тетушки от моих оценок. — Я кофейни-кондитерские терял и то жив-здоров?!

Он смотрит на тетю своими круглыми глазами, потом на остальных, как бы говоря: ну-ка, напрягите свое воображение и попробуйте представить, что страшнее: временное ухудшение учебы этого мальчика или же полная потеря прекрасной кофейни-кондитерской. Представьте, какая разница?

Но никто не хочет напрягать воображение и сравнивать его кофейню-кондитерскую с моей учебой. Тем более этого не хочет тетушка. Тетушка обращает свой взор, выражающий задрывленность доброй женщины бесчувственными племянниками, на дядю Самуила:

— О, помогите несчастной!

— Восклицательный знак означает усиление интонации! — говорит дядя Самуил несколько хмуро. Он показывает своим голосом неизменность своего желания не отходить от фактов и в то же время самой хмуростью своей интонации как бы признает некоторую неуместную поспешность, проявленную им много лет назад, когда он похвалил мои математические способности. Дело в том, что именно эта моя домашняя работа была связана с неправильным решением арифметической задачи.

— Но почему три, Самуил? — умоляет тетушка.

— Усиление интонации! — повторяет дядя Самуил, упрямо давая знать, что расшифровывать усиление интонации не будет.

— С тремя восклицательными знаками даже брат твой не приносил, — говорит тетушка и смотрит на брата.

— Никогда! — подтверждает брат.

Я понимаю, что восклицательные знаки означают степень тревоги Александры Ивановны, а не что-нибудь другое. Но стоит ли сейчас оправдываться? Тем более, что это займет лишнее время и тетушкин разбор может затянуться до прихода дяди.

— Пос! — читает тетушка следующую оценку, и так как спектакль ужаса уже прошел эту степень, уже сцена удивления посредством оценки была продемонстрирована, она не знает, что сказать, и листает тетрадь дальше. Но дальше ничего нет.

— Дье, — говорит она, глядя на чистый разворот, как бы осознавая еще одну форму обмана, которую я ей неожиданно под-сунул. Она несколько растеряна. Она хотела бы еще несколько новых сцен ужасов показать, а тут сама пьеса оборвалась. Она в растерянной задумчивости отворачивает назад последнюю страницу, словно взвешивая, не разыграть ли ее по-новому, но, видно, так и не решив, повторяет с выражением брезгливости:

— Пос...

Сейчас в ее произношении эта оценка приобретает оттенок какого-то особого позора, какой-то жалкой бездарности. Словно я и не утонул в болоте, но и не вырвался на чистый берег, а так, все еще барахтаюсь в мерзостной тине возле берега. Уж лучше бы совсем утонул!

Тетушка, подпершись ладонью, сидит в горемычной позе.

— Хватит, отстань от мальчика, — говорит бабушка по-абхазски, чтобы дядя Алихан и дядя Самуил не поняли ее. Те-

тушка на ее слова не обращает никакого внимания. Она молча сидит за столом, подпершись ладонью, и голова ее слегка подрагивает, как бы подтверждая бесконечный, как жизнь, список разочарований, и одновременно это подрагивание головы означает старческую слабость.

— И вот на кого сгубила я свои лучшие годы, — говорит она, не меняя позы и только слегка усиливая подрагивание головы. Имеет в виду она меня и моего старшего брата.

— Я не согласен, — твердо возражает дядя Самуил и кивает на меня, — этого еще можно исправить... А старшего надо ремеслу учить...

Я сижу, опустив голову, искоса следя за происходящим. Мне очень стыдно, но и стыдясь, я помню, что будет еще стыдней, если дядя мой все это застанет. Поэтому никакого оправдания, ни одной щепки в этот костер.

— Нет, Самуил, не утешай меня, — говорит тетушка, не меняя позы и меланхолично взглядываясь в свою напрасно прожитую жизнь, — лучше бы я сюда совсем не возвращалась... Лучшие годы сгубила...

Тетушка была замужем за каким-то провинциальным персидским консулом, который в свое время жил в нашем городе, а потом увез ее в Персию. Потом она оттуда приехала без консула, одна. Об этом с детства говорили в нашем доме. И о том, что она, бросив консула, вернулась на родину, тоже говорили как-то естественно, словно консул этот от старости развалился, и ей ничего не оставалось, как приехать домой.

Судя по легенде, похожей на правду, учитывая тетушкин темперамент, на свадьбе моей мамы, которая состоялась после ее приезда из Персии, тетушка танцевала целые сутки. И теперь я, вспоминая рассказы об этом, думаю все с той же рациональностью, как же она могла из-за нас покинуть Персию, когда нас, а среди нас в особенности меня, потому что я младший, когда нас тогда на свете не было?!

— Тетя, — говорю я, подымая голову, — но ведь когда ты возвращалась из Персии, нас не было на свете!

— Дье, — произносит тетушка и, протянув в мою сторону бессильную длань, замирает, как бы удивляясь, что я в моем положении еще смею разговаривать. Но вот она отводит бессильную руку и потухший взгляд в сторону бабушки и дяди Коли.

— А эти инвалиды? — говорит она устало. Получается, что никакой разницы между нами нет, все мы одна цепь, которую она тащит, надрываясь. Все оглядываются на бабушку и дядю Колю, словно впервые их замечая.

Дядюшка приосанивается, как бы подчеркивая правую полноценность своего пребывания на кухне. Он не совсем понимает причину всеобщего внимания к нему и бабушке. Дело в том, что иногда он задерживается, уже выпив вечерний чай, и тогда (как он думает, — с полным основанием) тетушка гонит его в постель.

Но сейчас-то он чаю не пил?! Вот напьюсь чаю, и мы с бабушкой пойдем спать, говорит он всем своим видом, а какого черта вы все на нас уставились, я не понимаю...

— Отстань от нас, — говорит бабушка несколько раздраженно. Скорей всего она не слышала, что тетушка сказала, но сам жест ее руки, выражающий, мол, вот они, мои гири, делает понятными ее слова.

— Отстань! — повторяет дядя, видя, что бабушка действует примерно в таком направлении. В то же время он более целенаправленно и сердито начинает смотреть на моего брата, потому что брат, воспользовавшись тем, что все обернулись в сторону бабушки и дяди, успел пригрозить ему, на что дядюшка быстро и охотно откликнулся. Все-таки это общее и расплывчатое внимание всех хотя и неприятно ему, но как-то слишком безадресно. Другое дело — вот этот мальчик пригрозил ему, вот отчетливо выявилась точка зла, и с ней он готов скрестить оружие. Он уставился на моего брата, взглядом предлагая вместо скрытой угрозы попробовать какое-нибудь открытое враждебное действие.

Но тут в кухонном окне, выходящем на веранду, мелькнула чья-то тень.

— Гости! — крикнул мой брат и вскочил. Дядя Коля отвел от него глаза.

Дверь в кухню отворилась. В дверях стояла тетя Медея. Тетушка мгновенно преобразилась и расцвела, превратившись из трясушей головой старухи, загубившей свою молодость на двух балбесов, в цветущую тридцатипятилетнюю царевну-лебедь.

— Сколько лет, сколько зим! — говорит она, улыбаясь и подходя к тете Медее.

— Золотая моя, — отвечает ей тетя Медея, все еще щурясь от света, а тетушка смачно целует ее в губы.

— Как это ты догадалась, кто тебе подсказал зайти к нам, — говорит тетушка с певучей грузинской растяжкой слов, потому что тетя Медея грузинка. Я знаю, что тетушка это делает не из лести, а опять же из-за артистичности натуры, из наслаждения самой гибкостью своих возможностей. С кубанцами она говорит, незаметно впадая в гаканье, а с грузинскими евреями, очень плохо знающими русский язык, она говорит на такой тарабарщине, что сама запутывается и для простоты переходит на грузинский язык.

— Сейчас почаяевничаем, скоро хозяин придет, — говорит тетушка, усаживая гостью на свое место, вытряхивает раковину пепельницы и подставляет ей. Тетя Медея закуривает и, несколько поерзав, усаживается в очень уютной скульптурной позе.

— Самовар, — показывает тетушка дяде Коле на самовар. Тот радостно вскакивает.

— Су, су, — по-турецки объясняет ему тетушка, чтобы он не только вынес на веранду и разжег самовар, но и принес из колодца (напротив через улицу) свежей воды.

— Вода? — перекрестно по-русски переспрашивает он у нее, чтобы не спутать чего-нибудь там.

— Да, да, воду, — кивает тетушка, и дядя хватается за самовар и вытаскивает его на веранду. Потом он со звоном схватывает ведра, стоящие на веранде, и бежит вниз по лестнице.

— Собаки! — раздается его яростный голос с лестницы. Это он гонит нашу собаку Белку.

В сущности говоря, чай у тетушки на кухне с небольшими перерывами пьется с самого обеда. Зайдет кто-нибудь, тетушка его угощает чаем и сама заодно пьет. Но самовар — это большое вечернее чаепитие. Вдруг тетушка, пошарив на кухонной полке, обнаруживает, что в железной коробке для чая нету чая.

— А где же чай? — спрашивает она, растерянно озираясь.

— Я только заварила свежий, — ворчливо замечает бабушка по-абхазски, — хватит на вечер.

— Чтобы я этими помоями поила лучшую из моих подруг?! — отвечает ей тетушка по-русски и потому несколько предательски по отношению к бабушке. Она с размаху выливает в помойное ведро всю заварку.

— Пойду на сон энциклопедию почитаю, — говорит дядя Самуил и непреклонно, словно сейчас все на нем повиснут, встает.

— Хорошо, Самуил, — говорит тетушка, как я думаю, с тайным удовольствием. Дядя Самуил, попрощавшись, выходит. Мне кажется, что тетушка с таким же удовольствием сейчас рассталась бы и с дядей Алиханом, но тот не собирается читать энциклопедию и продолжает сидеть. Он даже пытается остановить дядю Самуила, но тот непреклонно выходит.

— Сходишь к Мисропу, — говорит мне тетушка и сует деньги, — две пачки цейлонского чая и две пачки папирос «Рица». Если у Мисропа не будет, сбегашь возле почты, а если там не будет, сбегашь возле аптеки...

— Хорошо, — отвечаю я, стараясь не взбаламутить воспоминаниями о моей учебе ее ясной деятельной радости по поводу прихода тети Меден.



Тетушка быстро протирает тряпкой стол, на котором все еще лежит моя тетрадь. Я боюсь, как бы она при виде тетради снова не вспомнила обо всем, и с тайным трепетом и явным смирением тихо приподымаю тетрадь, как бы для того, чтобы освободить пространство для ее тряпки, ерзающей по клеенке. Нет, кажется, она прочно забыла про меня и про мои отметки.

Дядя Алихан подымает руки, чтобы дать ее тряпке поерзать возле него, и по тому, как она яростно действует возле него, я чувствую, что она не прочь была бы и его смести, как крошки со стола, потому что сейчас начинается другая жизнь и нужны совсем другие декорации.

— Если бы ты знала, что мне рассказали об этой Негодяйке, — говорит тетя Медея с каким-то горестным торжеством и, выпустив клуб дыма в потолок, складывает руки на груди, красиво отодвинув ладонь с дымящейся папиросой, зажатой между длинными худыми пальцами.

— Потом расскажешь, — почти воркует тетушка и достает с кухонной полки банку с айвовым вареньем. Тетя Медея любит айвовое варенье.

Я хватаю деньги и тетрадь и бегу вниз. Оставляю тетрадь дома и бегу на улицу.

— Ты куда? — успеваешь окликнуть меня мама.

— За чаем послали, — кричу я, не останавливаясь, и бегу дальше.

На миг, вспомнив одинокую фигуру мамы, сидящей под лампой и штопающей носок, я чувствую укол стыда: мама вечно дома одна, а мы почти каждый вечер собираемся

у тетушки на кухне, как в клубе. Но это мгновенное озарение быстро проходит. Я бегу по теплой вечерней улице, с уютно по-южному распахнутыми окнами с зажженным светом в окнах, с уютными кучками соседей, сидящих на порожках своих домов.

Какая-то сила заставляет меня бежать все быстрее и быстрее, не останавливаясь. Я мечтаю, чтобы у Мисропа, это ближайшая к нам лавка, не оказалось цейлонского чая или папирос «Рица», чтобы мне пришлось обежать весь город, и еще я мечтаю, жарко, сладостно, с завтрашнего дня начать новую жизнь: не засиживаться у тетки, не ходить с ней в кино на поздние сеансы, высыпаться и хорошо делать уроки, чтобы никогда, никогда не повторялся этот позорный кошмар.

Встречный ветер выдувает из меня остатки испытанного стыда, промывает меня свежестью. Именно потому, что я твердо решил с завтрашнего дня начать новую жизнь, я с какой-то жадной яркостью представляю, как будет приятно сегодня допоздна засидеться на тетушкиной кухне и вбирать в себя разговоры взрослых, из которых встают странные, соблазнительные, подлинные в своей глуповатости картины взрослой жизни. А потом уже где-то в первом часу, если мать не загонит домой раньше, спуститься вниз, с головой, разгоряченной и опухшей от табачного дыма, и потихоньку лечь спать.

Здесь внизу у мамы — суховатая необходимость, долг. Там — сладость излишка, страсть. Моя детская душа бьется между этими двумя полюсами, еще не ведая, что они — полюса. Мать — долг. Тетушка — страсть.

Теперь поговорим о времени.

Но прежде чем говорить о времени историческом, я должен сказать, что у меня со временем обычным сложились в свое время сложные, запутанные взаимоотношения. Вернее, не со временем, а с часами.

Как это ни стыдно (в сущности, сейчас это не стыдно, тогда было стыдно), должен признаться, что, научившись читать еще до школы, я уже в школьные годы ухитрился пронести, по крайней мере в течение трех лет, полное непонимание того, что происходит на циферблате.

Вернее, было понимание общего направления времени, то есть я догадывался, что если стрелка часов приближается к цифре двенадцать, то она неожиданно назад не пойдет, а будет пересекать эту цифру и идти дальше. Примерно я даже мог определить, насколько она приблизилась к такому-то часу, но точно сказать не мог.

Кроме того, я понимал, что если большая стрелка находится на правой половине циферблата, то будут говорить, что сейчас столько-то минут такого-то, а если на левой половине — то будут говорить без столькох-то минут столько-то. И еще я знал, что если обе стрелки сошлись на двенадцати, то значит так оно и есть — ровно двенадцать часов. В сущности, это последнее знание даже как-то мешало, тормозило угадывание механики общей картины жизни циферблата, было непонятно, почему такое исключение для двенадцати часов.

Могут подумать, что я кокетничаю тупостью. Но, во-первых, чтобы кокетничать тупостью, тоже немало смелости надо иметь, а во-вторых, признание в тупости есть все-таки хотя бы частичное ее одоление. Но дело в том, что я и в самом деле не мог определить время по часам, хотя по возрасту должен был это уметь, и некоторые терзания по этому поводу оставили след в моей памяти, который я теперь и воспроизвожу.

Просто так получилось, что вовремя мне никто не показал, как узнается время по часам, а потом все были уверены, что я это и так знаю, а мне уже было стыдно спросить.

В нашем дворе часов в доме ни у кого не было. Некоторые мужчины имели часы, но они носили их на руке или в кармане, как мой отец. И те и другие с утра уходили из дому со своими часами. Двор же, насколько я помню, со всеми своими обитателями, то есть женщинами, детьми, моим сумасшедшим дядей (отношение его ко времени так и не удалось установить), собаками, кошками, курами не испытывал ни малейшей нужды иметь при себе свое точное время.

В хорошие дни женщины ориентировались по солнцу, а в остальное время по пароходным гудкам. Пароходы шли из Одессы в Батуми и обратно, попутно заходя в наш порт.

Пароходные гудки почему-то вызывали у Богатого Портного иногда добродушные, иногда ворчливые, иногда насмешливые, иногда раздраженные, но всегда осуждающие замечания.

— Этот пароход тоже так гудит, как будто мне золото привез, — говорил он с усмешкой, кивая в сторону порта, как бы обращая внимание на глупость самой идеи гудка. Что зна-

чит «тоже»? Частица эта казалась особенно бессмысленной и потому смешной.

В сущности говоря, сейчас анализ этой фразы мог бы раскрыть бесконечное богатство ее содержания. Опять же эта частица. Формально получается, что пароход тоже надоел, как надоели ему другие бессмысленно гудящие явления жизни. Но никаких других гудящих явлений жизни поблизости от Богатого Портного явно не было, следовательно, эта частица своей уместной неуместностью отсылает нас к более отдаленному смыслу. И мы его поймем, если снова прислушаемся к фразе в целом.

— Этот пароход, — стало быть, говорил Богатый Портной, — тоже так гудит, как будто бы мне золото привез.

Охватывая фразу в целом, мы нащупываем ее главную тему, а именно: «Я и пароход». Оказывается, эта тема внутри этой фразы в сжатом виде заключает в себе целый сюжет. Повидимому, кем-то было обещано, что однажды пароход, который гудком, чтобы Богатый Портной его услышал в любой точке города, известив о своем приходе, привезет ему золото. Но он уже давно знает, что никакого золота этот гудящий пароход не привезет. Более того, еще до парохода было немало других движущихся сооружений, которые тоже о своем приближении извещали гудками и тоже обещали привезти ему золото. Но оказалось, что все они морочили голову, и у него теперь нет ни малейшего желания слушать эти гудки и ждать это фантастическое золото. И конечный вывод: нечего надеяться на какой-то пароход, который якобы привезет тебе зо-

лото, а надо надеяться на самого себя, что он, Богатый Портной, и делает.

Другие его восклицания по поводу пароходного гудка были, можно сказать, дочерними предприятиями той же темы. Так, например, в ответ на гудок он иногда замечал:

— Сейчас, сейчас прибегу с чемоданом.

То есть не в том смысле, что он собирается уехать с чемоданом на прибывшем пароходе, а в том, что он якобы поспешит с чемоданом для получения причитающегося ему золота или бриллианта, как он иногда говорил.

С пароходными гудками по-настоящему был связан только дядя Алихан, потому что он продавал жареные каштаны пассажирам пароходов, идущих из Одессы. Они хорошо брали наши каштаны, может быть, потому, что Одесса богата несъедобными конскими каштанами, которые развивают в одесситах тоску по съедобным каштанам. Возможно, они набрасывались на наши каштаны из ревливой любознательности — вот, мол, тоже каштаны, а дают съедобные плоды, не то что наши дармоеды.

Иногда пароход из-за штормовой погоды опаздывал, и Алихан, принарядившись, с готовой корзиной ждал гудка у своего порога. Ожидание его нередко сопровождалось шутками Богатого Портного в том духе, что, мол, пропал теперь Алихан, что, мол, по радио сообщили, что рейс отменяется, и тому подобное.

Алихан на эти шутки никогда не отвечал, а солидно стоял возле своей корзины, прикрывая ее, чтобы сохранить тепло,

мешковиной, а то и старым одеялом. Как только раздавался гудок, он сбрасывал это тряпье и, бодро ухватив корзину, отправлялся в путь. Женщины нашего двора в то время в основном все-таки ориентировались по солнцу.

— Где солнце, а я еще на базар не ходила! — вдруг спохватывалась какая-нибудь из них. — Где солнце, а где ты?! — раздражалась другая, увидев во дворе свою запаздывающую подругу.

В четвертом классе, когда нас неожиданно перевели во вторую смену, у меня начался разлад со временем. Сначала я приспособился определять его по солнцу. Я заметил, что когда тень от края крыши соседского дома, попавшая на стену, покрытую в верхней своей части двумя рядами листового железа, проходит первый ряд, самое время идти в школу. Так длилось с неделю, а потом с неделю была пасмурная погода, шли дожди и мне приходилось выглядывать из окна на улицу, пытаясь узнать время у прохожих, что было не всегда удобно. Потом погода опять улучшилась, и я, дождавшись, когда тень от солнца покрыла верхний пояс листового железа, отправился в школу и опоздал.

Я был не только огорчен, но и изумлен этим астрономическим коварством. Разумеется, я понимал, что солнце на небе в зависимости от времени года подымается выше или ниже и от этого тень может менять свою длину, но я был уверен, что все это происходит в течение нескольких месяцев. А тут всего неделя, ну, от силы дней десять прошло, но никак не больше.

Было впечатление чуда, словно я поймал природу за смелой вывески, словно зеленый летний лист на моих глазах

слегка пожелтел по краям. Кстати, в ответ на мой рассказ об этом бабушка сказала, что точно так же она была поражена, когда однажды в девичестве у нее была бессонница и она заметила, что звездочка, светившая в ее окно, за ночь заметно переместилась. До этого она считала, что на небе днем движется солнце, а ночью луна, а то, что и звезды передвигаются, она и понятия не имела, как простая деревенская девушка. Правда, сказала она, это было давно, а то, что сейчас делается на небесах, она не знает. Я из этого ее замечания заключил, что бабушка со времен девичества не знала бессонницы.

Открытие мое (насчет солнца, а не бабушкиных звезд), хотя меня и поразило, но не обескуражило. Я стал приспосабливаться к длине тени, довольно правильно угадывая время, когда надо было идти в школу.

Глядя на этот пояс из листового железа, я мысленно набавлял чуть-чуть тени, и получалось довольно правильно. Кстати говоря, ржавчина на этих железных листах расползлась в самые причудливые рисунки, напоминающие то географическую карту, то сражения каких-то мифологических существ, то еще что-то.

Однажды на одном из квадратов, как в раме, я отчетливо увидел известный портрет Ленина, читающего газету «Правда». Ну, разумеется, в отличие от подлинника и его репродукции на этом творении природы нельзя было догадаться, что это именно газета «Правда», но в остальном было удивительное сходство, особенно этот лобастый, как бы таранящий наклон головы.

Интересно отметить, что потом с годами многие рисунки, которые я угадывал на этих железных листах, то ли под влия-



нием погоды, то ли возраста, а скорее всего и того и другого, менялись. Так, однажды, уже кончая школу, на одном из листов я заметил смутный, но совершенно прелестный силуэт уходящей девушки. Особенное удовольствие доставляла живая теплота и необыкновенная точность движения ноги, еще не шагнувшей (нельзя же сказать, задней ноги? или можно?), но уже расслабленно приподнятой, в мгновение отделившаяся от земли. Мне кажется, впоследствии произведения живописи редко доставляли мне такое удовольствие. Я думаю, тут дело в сочетании точности с таинственностью, дело во включенности нашего воображения. Из хаоса каких-то цветовых пятен мы извлекли какой-то рисунок, то есть какой-то смысл. Прелесть его еще в том, что он не только вызван к жизни некоторыми усилиями воображения, но и удерживается за счет воображения и, главное, дорисовывается за счет того же воображения.

Здесь два главных момента следует отметить, — скажем мы голосом лектора. Первое — это то, что, видимо, в самой природе человека заложена склонность извлекать смысл из хаоса бессмыслицы. Кстати, отчасти в этом, вероятно, удовольствие рыбалки: из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть отчасти как бы создать ее.

Второе — искусство недосказанности. В данном случае недосказанность — это недорисованность той девушки, то есть возможность, нет, благодарная возможность дорисовать ее за счет своего идеала.

Искусство недосказанности — одно из самых неподвластных разуму: интуитивных. Недосказывая, надо недосказать

так, чтобы воображение, перепрыгивая с камня на камень, не бултыхнулось в реку. Но и расстояние между камнями должно быть достаточно большим, чтобы прыжок ощущался как истинно захватывающий дух, истинно рискованный, и тогда он по-настоящему встряхнет, взбодрит нас.

Иными словами, можно сказать, что недосказанность в искусстве — это не река, уходящая в песок, а река, впадающая в Лету.

Кстати, что может быть пошлее басни, которая вместо морали в конце предлагает подумать и сделать якобы собственный вывод, то есть предлагает прыжок там, где можно спокойно перешагнуть.

Я вижу, что, взволнованный воспоминаниями о чудном силуэте уходящей девушки, я почти пропел гимн недосказанности в искусстве. Тем не менее должен для полноты своего истинного отношения к предмету сказать, что самые великие произведения искусства, такие, скажем, как «Война и мир» Толстого или «Возвращение блудного сына» Рембрандта, сильны прежде всего прямой радиацией художественной мощи, хотя и в них есть элементы недосказанности, дополняющие ясную, очевидную, но от этого ничуть не менее потрясающую картину жизни.

И последнее, что хотелось бы сказать по этому поводу. Я могу подолгу любоваться прекрасной картиной Врубеля «Демон», могу и равнодушно пройти мимо. Ну, постоять мгновение и пройти. Зависит от настроения. От совпадения двух настроений, смотрящего и картины. Вероятность попадания велика, потому что и настроение крупное, и передано за-

мечательно. Но, увидев картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», я не могу не остановиться, потому что картина смыкает мое личное настроение и погружает меня в ровный и могучий поток своего настроения. Наверное, в этом разница между талантливым и великим. Из этого не следует, что талантливое должно приспосабливаться к моему настроению, это я, если хочу понять его, должен войти в его настроение.

Но о чем я? Прошлым летом я был дома и видел все ту же стену, опоясанную теми же железными листами, но ни одного рисунка я не узнал, кроме — представьте себе! — Ленина, все еще читающего газету. А где же моя милая девушка, я почему-то тогда же нарек ее пионервожатой, хотя в едва намеченных очертаниях одежды никак нельзя было уловить такой малой детали, как пионерский галстук на шее.

Одним словом, в плохую погоду я время узнавал у прохожих. Разумеется, часы бывали не у всех прохожих. Более того, не все прохожие из тех, что явно имели часы, отвечали мне на ясный вопрос:

— Дяденька, который час?

Некоторых пугала неожиданность вопроса или раздражала его оголенная упрощенность: вот так вот прямо и скажи ему!

Я, конечно, старался не вызывать у них раздражения, что иногда, в свою очередь, то есть именно мои старания и вызывали неожиданные взрывы гнева. Так, чтобы не пугать прохожих неожиданностью вопроса, я, прижавшись лицом к оконной решетке, старался еще издали переглянуться

с прохожим, с тем чтобы, подготовив его этим переглядыванием, спросить, который час, когда он поравняется со мной.

Но некоторые из них, по-видимому, обладая повышенной телепатической чуткостью, увидев вопрошающий взгляд, уже не спуская с меня глаз, с чрезмерно повышенным интересом к моему еще не заданному вопросу подходили к окну и, остановившись в пределах допустимого риска, осторожно спрашивали:

— В чем дело?

— Дяденька, который час? — спрашивал я, чувствуя, что простота моего вопроса оскорбительна, как и то, что я его не остановил, когда он направился в мою сторону.

— Ты смотри, что за нахал! — вскидывался иной из этих прохожих и, ворча на испорченную молодежь, продолжал свой путь. А то еще, остановив другого прохожего, идущего навстречу, рассказывал ему о том, что, мол, он проходил себе по улице, как вдруг этот шкет позвал его, и так далее. Разумеется, я ни одного из них не звал, хотя и бросал на них выразительные взгляды с тем, чтобы они потом не вздрагивали, когда я у них буду спрашивать время.

Обрывки этих жалоб я слышал, стоя у окна, а иногда встречал и укоризненный взгляд того прохожего, которого остановил мой прохожий. Взгляд этот вменял мне в вину не только то, что я остановил на дороге солидного взрослого человека, но и то, что этот человек остановил его, уже вовсе ни в чем не повинного взрослого человека, не имевшего ни малейшего желания входить в историю взаимоотношений того взрослого человека со мной.

Все-таки, справедливости ради, я должен сказать, что большинство прохожих, даже вздрогнув и выдержав неожиданность вопроса, отвечали мне дружелюбно и нередко даже с улыбкой.

Иногда, ожидая прохожего с часами, я слышал далекий звонок из нашей школы, но доверять ему было опасно: неизвестно было, с какого урока или на какой урок он звонит.

Именно в эту осень к нам во двор переселилась семья, у которой были домашние часы. И какие! Это были не часы, а скорее маленькая часовня из красного дерева, время от времени издающая звон, подобно нашей греческой церкви, и до того грозно показывающая мечами своих стрелок на цифры, что каждое время, на которое они указывали, казалось, в чем-то провинилось.

Часы эти принадлежали семье, которая переехала к нам откуда-то из России. В то время у нас в горах строили новую ГЭС, и глава семьи на этом строительстве был каким-то начальником.

Жена его — подвижная, легкая, довольно остроумная, но почему-то и глуповатая, как я впоследствии заметил, женщина. Звали ее тетя Женя. У них было двое детей — взрослая девушка Лиза с миловидной белокурой головкой, очень близорукими васильковыми глазами и тяжеловато стекающей к ногам фигурой. Сына звали Эрик. Помню тот первый день, когда тетя Женя пришла к моей тетушке вместе с этим незнакомым тогда еще мальчиком. Слушая краем уха болтовню женщин, я наблюдал за ним.

Он стоял возле своей матери в вельветовой курточке и таких же штанишках, чем-то похожий на изображение дореволюционных мальчишек из зажиточных домов. Но меня поразила не столько его одежда, сколько его военизированной-смиренная поза, в которой он стоял возле своей матери. Такая поза в нашей разгильдяйской семье была возможна только в виде пародии на благонравие, и я все ждал, когда же этот мальчик подмигнет мне или рассмеется.

В ответ на мои взгляды мальчик с комическим спокойствием продолжал сохранять свою военизированной-смиренную позу и смотрел на меня своими большими зелеными глазами с выражением грустной невозмутимости. В конце концов я понял, что он так может стоять до бесконечности, и почему-то представил его с пионерским горном, в который он трубит, уставившись в небо своими грустными, невозмутимыми глазами.

— Мама, носик течет, — вдруг сказал он, не меняя позы и продолжая смотреть на меня своими грустными, невозмутимыми глазами.

Всех, кто был в кухне, а там, кроме тетки, были и другие женщины, поразила этот спокойный интеллигентный возглас. Тетушка посмотрела на меня с каким-то смешанным чувством упрека (я в его возрасте этого не говорил) и сожаления (примером этим ввиду его опоздания уже невозможно было воспользоваться).

В нашем окружении дети в этом возрасте или утирались рукавом, или второпях втягивали содержимое носа в более безопасные глубины. В лучшем случае, если в руках оказывался платок, пользовались им без всякой консультации

с кем-либо. А этот мальчик предпочел поставить в известность свою маму о состоянии своего носа с тем, чтобы ей как более опытному человеку дать полную свободу решать, каким способом справиться с подступившей опасностью.

Все, кто был в кухне, крайне удивились этому. Все, кроме матери и сына. По-видимому, это была обычная фраза в их обиходе. Мать его, не переставая разговаривать с тетушкой, поднесла платок, и мальчик, кстати, не переставая глядеть на меня своими большими грустными глазами, несколько раз вежливо высморкался.

Постепенно мы с ним разговорились. Он сказал, что умеет читать, что у него самый большой из всех конструкторов, которые выпускались в нашей стране, и что он может определять время по часам, а страны света — по компасу. Упоминание о часах вызывало у меня в груди глухую боль, сальерианское сжатие сердечной мышцы. Даже такие дети умеют определять время, думал я, что же я никак не научусь? Я был года на три старше его. Я предложил ему выйти на балкон, как мы называли длинную застекленную тетушкину галерею.

— Мама, можно мы поиграем на этой галерее? — спросил он, не подхватывая, как я заметил, принятого нами слова, а с некоторым, как мне показалось, жестким своенравием, употребляя свое, более точное слово.

— Только недолго, — ответила его мама, продолжая оживленно разговаривать с тетушкой.

Мы вышли на балкон (именно на балкон!) и только прошли несколько шагов, как он обратил свой оживившийся

взор на ремень, висевший на стене. Здесь обычно по утрам дядя правил бритву.

— Это тебе? — спросил он с каким-то радостным любопытством.

— Как мне? — не понял я.

— Ну, тебя колотят ремнем? — спросил он, удивляясь моему непониманию. У нас в самом деле никого не били ремнем.

— Нет, — сказал я. — А тебя?

— Бывает, — вдруг вздохнул он, как-то сразу запутав представление о себе. — Ну, во что мы будем играть? Хочешь в Чапаева?

— Давай, — сказал я, не подумав.

— Я буду Чапаев, а ты будешь чапаевская лошадь, — пояснил он. Из чувства гостеприимства я вынужден был согласиться. Не наоборот же, не садиться же мне на этого чистенького мальчуганчика, да к тому же я был старше, хоть и ненамного крупней.

Я встаю на четвереньки. Он ловко взгромоздился на мою спину и с криком — «Вперед!» — стал гнать меня на воображаемые позиции врагов. Время от времени он прищпоривал меня ударами ног, обутых в крепкие новенькие ботиночки. Я чувствовал, что игра его возбуждает, и он по мере возбуждения все крепче и крепче бьет меня по бокам.

Через десять минут мы уже барахтались на полу, потому что он, неожиданно вжавшись ногами мне в шею, с ненавистью прошипел, что я белый офицер, которому он поклялся отомстить за поруганную жизнь.



Как-то чувствуя, что даже белого офицера надо было бы за мгновение перед тем, как вцепиться в его шею, предупредить, я старался слегка разжать его руки, ослабить закруты его щипков и в то же время делал вид, что охотно принимаю участие в игре. Я почему-то все время помнил, что он — гость и что его обижать нельзя. Во время нашей возни я вдруг почувствовал, что этот мальчик пахнет не так, как наши мальчики. От него исходил какой-то другой, северный запах. Так мне казалось. На самом деле, конечно, это был запах хорошо ухоженного мальчика. И тем более была неприятна жестокость его азарта, переходящего всякие границы.

Обычно ребята во время такой щенячьей возни чувствуют какой-то порог, дальше которого нельзя идти. Этот же, возбуждаясь, пытался как можно глубже проникнуть в мою боль, пытался доковыряться до ее корней, до ее последнего сладостного нерва. Ну я, разумеется, старался не давать ему доковыряться до самых глубоких корней, отвлекая и стараясь подставлять ему более грубые, сравнительно боленепроницаемые участки тела. Наконец мы встали.

— Я сильно покраснел? — спросил он у меня.

— Не очень, — ответил я, глядя на его все еще возбужденную мордочку с пылающими глазами. Он тщательно оглядел себя, поправил чулки, расправил складки на вельветовых штанишках и вдруг стал трясти головой.

— Чтобы кровь отхлынула от головы, — объяснил он свое странное поведение.

Мы вошли в кухню. Он снова стал рядом с матерью, глядя перед собой большими печальными глазами, и легкий наклон тела говорил о неустанной готовности выполнять любые мамины приказы.

\* \* \*

Вот у них-то время от времени я и стал спрашивать, который час. Чаще всего мне отвечала его мать, иногда сестра, иногда этот маленький разбойник.

— Зайди, посмотри, — говорила мне его мать, если я обращался к ней во дворе.

В таких случаях мне приходилось действовать с огромной осторожностью и хитростью. Я знал, что если Эрик дома, то он меня обязательно поймает, потому что дома ему бывало скучно одному, а гулять его часто не выпускали за тихое бешенство его характера, которое не все соглашались терпеть. Происходили столкновения, после которых он получал порядочную порцию ремня от своей мамы.

— Мамочка, родная, я больше не буду! — раздавался его голос, сопровождаемый дикими взвизгиваниями. Двор, притихнув, прислушивался, жалея его и в то же время проявляя понимание необходимости таких экзекуций.

— Наши дети золотые, — покачивая головой, резюмировала тетушка сверху, — только мы не умеем их ценить...

После такой порки он обычно несколько дней не выпускался из квартиры, подолгу сидел у окна, сооружая там вся-

кие машины из своего конструктора. В эти дни он был особенно опасен, пропитываясь ядом злости, как скорпион в брачный период.

Таким образом, когда я входил к ним в дом, а мамы его там не было, я должен был проявлять особую осторожность и хитрость. Смысл моей тактики заключался в том, чтобы с наименьшим количеством болевых ощущений, но ценой этих ощущений, узнать время и выбраться из квартиры. Поэтому, когда я входил в дом, а он мне предлагал поиграть, у меня не было возможности отказать ему.

Совершенно бессознательно я использовал довольно тонкий психологический прием, при помощи которого заставлял его сообщать мне время. Увидев меня, он бросался ко мне с просьбой поиграть, что в конечном счете означало разрешить ему пощипать меня, покусать или даже слегка придушить.

— Хорошо, — соглашался я, — минут десять поиграем, и я пойду.

И вот я уже нарушитель границы, ползущий на советскую территорию, то есть в комнату, в которой стоят часы, а он знаменитый пограничник Карацупа и одновременно его собака.

— Фас! — приказывает он самому себе и бросается на меня. Осторожно держа на спине собаку, грызущую мне затылок, я делаю героический переход в комнату с часами. Я ползу, стараясь не думать о боли, а думать о его приятном запахе, что мне почему-то плохо удается. Наконец я проползаю в заветную комнату и тут уже под влиянием боли, а также тактической хитрости вскакиваю.

— Все! Прошло десять минут!

— Нечестно! Нечестно! — кричит он, показывая на часы. — Сейчас только пятнадцать минут первого.

Он кричит что-нибудь вроде этого, с горящими глазами, весь — трепет, весь — возбуждение, весь — праведный гнев. И я знаю, что он не врет, что это правда.

Интересно, используют ли этот прием следователи во время допроса? Слабое знание детективной литературы не дает мне возможности ответить на этот вопрос. Например, хулигану, избившему человека, может быть, даже убившему его, но не знающему об этом, следователь мог бы предъявить обвинение в убийстве, скажем, оружием, которым этот хулиган явно не пользовался.

Не исключено в таком случае, что в ужасе перед клеветой человек ищет прочной опоры, и оказывается, что нет никакой прочной опоры, кроме правды, которую он схватывает с такой инстинктивной силой, с какой тонуший обнимает внезапно попавшееся ему бревно, и в силу невозможности, во всяком случае сразу, дозировать свою тяжесть, он идет вместе с ним ко дну, тогда как ему надо было только часть своей тяжести отдать этому разбухшему в воде бревну, а остальную часть удерживать за счет работы собственных рук и ног. Возможно, после нескольких погружений тонуший и догадывается, как себя вести, но, возможно, и не догадывается.

Конечно, все может быть. Может быть, я, по мнению некоторых осторожных людей, и не должен был здесь излагать этот хитроумный прием, чтобы им не воспользовались уго-

ловные элементы. Но ведь я из чего исхожу? Я исхожу из того, что уголовные элементы меня не читают. Ну, а если вдруг прочтет кто-нибудь из них по ошибке, то он в процессе чтения обязательно исправится и, следовательно, ему незачем будет использовать этот прием в преступных целях. Такова нравственная сила нашей литературы, иначе, как говорится, и быть не может.

Но вернемся к нашему жизнеописанию. Кроме этого милого садиста, бросив которому кусок мяса, можно было узнать время, еще одно препятствие стояло на моем почти сказочном пути к познанию времени.

Это была его сестра. Правда, непосредственное препятствие это возникало довольно редко. Но по силе душевных терзаний оно не уступало физическим страданиям, которые я испытывал от ее брата. Хотя в отличие от брата она была доброй девушкой.

Лиза была студенткой педагогического института и, видимо, впервые попала на Кавказ. Все ее тут приводило в восторг, а особенно ей нравились наши местные молодые люди, а из местных молодых людей те, которые были армянского происхождения.

Сейчас, думая о причине ее влюбчивости и своеобразной избирательности, я нахожу этому такое объяснение. Как я говорил, она была близорука и при этом не носила очков. По-видимому, для такой девушки все мужчины должны проходить как расплывчатые контуры с лицами, покрытыми чадрой, которая как бы распахивается на близком расстоянии.

Но среди этих загадочных чадроносителей выгодно выделялись лица с наиболее контрастными чертами: белозубые, чернобровые, черноглазые. А такими лицами, как правило, хотя и не без исключения, в нашем городе обладали армяне.

Вот я и думаю, что сначала она видела эти лица как наименее расплывчатые, вызывающие желание приглядеться, а потом, приглядевшись, влюблялась в них, потому что невидение (как и неведение в области идей) делало каждое (наконец-то!) рассмотренное лицо свежим и оригинальным. Одним словом, она влюблялась в армян. Это было ясно хотя бы по именам ее поклонников. Первым был Аветик, потом Вазген, потом Акоп, потом Мелик.

Короче говоря, она в них влюблялась, а влюбившись, писала о них рассказы. Каждый рассказ вмещался в одну ученическую тетрадь или был на несколько страничек поменьше. Эти рассказы она читала мне, если я попадался на ее пути, но чаще моей старшей сестре и ее подружкам.

За первый год пребывания в нашем дворе она написала около десяти рассказов, где были выведены молодые люди, в которых она влюблялась.

По общему признанию, лучшим рассказом был самый первый, то есть рассказ про Аветика. Время от времени у нас дома сестра моя вместе со своими подружками устраивала громкие чтения ее рассказов, и чаще всего читался рассказ про Аветика. И хотя обычно читали его в другой комнате, все-таки сквозь однообразное журчание то и дело доносилось: «Аветик, Аветик, Аветик...» От частого употребления многие

места этого рассказа, особенно его начало, запомнились мне наизусть.

«...Аветик, высокий молодой человек, с мягкими, темными, волнистыми волосами, шел по прибрежной улице. На нем белоснежный костюм, который так шел его спортивной, праздничной фигуре.

— Привет Аветику! — окликнул его кто-то с бульварной скамейки. Аветик посмотрел в ту сторону и уже хотел пройти дальше, поприветствовав знакомых студентов, но что-то его остановило и заставило к ним подойти. Среди знакомых студентов он заметил незнакомую девушку, которая поразила его своей оригинальной внешностью.

— Аветик, — просто сказал Аветик, когда их представили друг другу, и он пожал руку девушки крепким спортивным рукопожатием.

— Кажется, я вас где-то видел, — сказал Аветик, обращая внимание на ее волнующую привычку щурить глаза.

— Вполне возможно, — просто сказала девушка и улыбнулась ему той беспомощной улыбкой, которая всегда обезоруживает мужчин, — ведь я была на вашем последнем волейбольном матче... Вы играли бесподобно.

— Если бы я знал, что вы смотрите, — сказал Аветик, и на лице его проступила краска, заметная даже сквозь густой оливковый загар, — поверьте, я бы играл намного лучше...»

Это место меня всегда раздражало своей нелогичностью. Ведь если он подумал, что где-то ее видел, а потом выяснилось, что видел он ее именно на этой игре, то какого черта он несет

всю эту чепуху: смотрите, не смотрите?! Кроме того, мне казалось, что фраза насчет волнующей привычки щурить глаза звучит нахально. Я считал, что в этой фразе должно было быть ясно, что привычка щурить глаза волнует именно Аветика, а не всех. Меня, например, ее привычка щурить глаза совсем не волновала. Дальше шло описание встреч, танцев на вечеринке и тому подобная ерунда. Кстати, описание кофточки, в которой героиня пришла на вечеринку, во время первого авторского чтения рассказа сопровождалось бесподобным по своей глупости движением головы в сторону этой же кофточки, сейчас висевшей на спинке кровати. Движение это, якобы незаметное для других, что делало его еще более глупым, предназначалось моей сестре, как посвященной, хотя я сам видел этого Аветика, и никакого там оливкового загара на его лице не было, обыкновенный чернявый парень, каких у нас полным-полно.

Кстати, во всех сценах этого рассказа он неизменно появлялся в своем белоснежном костюме, и так как явно нескольких белоснежных костюмов у него быть не могло, я представлял, что этот Аветик каждую ночь стирал свой костюм, а утром гладил его и выходил на улицу. В последней сцене описывался вечер на берегу моря, завершившийся первым поцелуем. «...Кажется, для спортсмена я слишком сентиментален, — тихо сказал Аветик и склонился к ней. — Как странно, — прошептала она и глаза ее закрылись. Из теплохода, стоявшего на пристани, доносилась дивная музыка».

Мать ее, слушавшая вместе с нами этот рассказ и впервые показавшаяся мне идиоткой, почему-то хвалила описание



природы, хотя там никакой природы, кроме вздохов волн и пьянящего запаха магнолий, не было.

Я все думал, откуда она взяла этот пьянящий запах магнолий, хотя на всем побережье Абхазии нигде не растет ни одна магнолия. Они растут в парках и во дворах, а на самом берегу не растут.

После этого самого большого рассказа пошли другие рассказы про других армянских парней, потом в середине зимы вдруг снова выскочил Аветик, на этот раз в белоснежном свитере, что соответствовало нашей зимней погоде, но никак не соответствовало другим поклонникам, существование которых делало его появление скандальным. Он появился так, словно надолго уезжал на какие-нибудь соревнования, а она все это время здесь ждала его, хотя и он никуда не уезжал, и поклонники тут же шныряли. Просто они поссорились, а потом, видно, помирились, но ненадолго, и рассказец этот с Аветиком в белоснежном свитере оказался коротким, на полтетрадки.

Так вот слушание этих рассказов тоже было связано с необходимостью узнавать время, иногда прямо. То есть, скажем, я, измученный ее братом, выхожу из другой комнаты, а она в это время, низко-низко склонившись над тетрадью, строчит очередной рассказ.

— Подожди, сейчас кончаю, — говорит она, лежа щекой на тетради, и я вынужден дожидаться ее рассказа, где обязательно откуда-нибудь, если не с парохода, так с катера, если не с катера, так из зелени парка будет доноситься дивная музыка.

Кроме того, я на правах человека, близкого дому, должен был выслушивать их во время коллективных чтений у нас или

у нее. Кончилось все это тем, что в тетради с первым рассказом об Аветике, который пользовался наибольшим успехом у подружек моей сестры (им было по тринадцать-четырнадцать лет), так вот, в этой тетради, в том месте, где было написано, что среди знакомых студентов его поразила незнакомая девушка с оригинальной внешностью, кто-то приписал сверху: «и ногами, толстенькими, как бильярдные ножки».

Сестра моя, отдавая ей эту зачитанную ее подружками тетрадь, не заметила приписку, но та ее заметила и обиделась на меня. И напрасно, потому что я никогда не видел настоящего бильярдного стола, кроме детского бильярда, стоявшего в парке, кстати, на тоненьких ножках с металлическими шарами, и все равно недоступного из-за ребят постарше, вечно толпившихся вокруг него.

Скорее всего, эту приписку сделал мой брат, к тому времени уже околачивавшийся возле городских бильярдных, или кто-нибудь из старших братьев подружек моей сестры, которые, по всей вероятности, тоже околачивались возле приморских бильярдных.

Таким образом, я продолжал узнавать время по более или менее сходной цене болевых ощущений. Иногда, правда, Эрик вдруг превышал пределы терпимости, но и я иногда делал вид, что испытываю невыносимые страдания, когда страдания были вполне выносимы. Один раз он так сдавил мне горло, что я на мгновение потерял сознание. Помню, тогда меня больше всего поразила легкость, с которой можно лишить человека сознания. Оказывается, для этого достаточно

более или менее одновременно сдавить сонные артерии, и ты вдруг так запросто теряешь сознание.

Вообще в детстве я отличался некоторой повышенной терпимостью к боли. Помню, когда я ходил в диспансер, где мне делали хинные (вечный малярик) очень болезненные уколы, я часто, дожидаясь очереди, слышал душераздирающие крики детей и иногда даже стоны взрослых. Я же переносил эту боль, не проронив ни звука, что вызывало удовольствие сестер и врачей. Меня ставили в пример.

Сначала мне было стыдно стонать или кричать из сознательных этических соображений, по-видимому, сказывались осколки абхазского воспитания. У абхазцев, как, вероятно, у всех горцев, довольно сильно развит в народном творчестве и в народных обычаях мотив превозмогания боли. Таким образом, этический мотив (стыд), подкрепляясь эстетическим примером (песня, легенда), помогал создавать тот духовный подъем, который отчасти заменял отсутствие наркотических средств в народной медицине. Так «Песня ранения» прямо адресовалась раненому, чтобы помочь ему переносить страдания.

Возможно, в какой-то мере осколки этого сознания во мне жили и мне помогали, а потом меня стали ставить в пример, так что стало еще стыдней проявлять признаки слабости.

Но, видно, всякая боль и терпение имеют свой порог, свои нервные пределы. Помню, однажды, когда я лежал дома после нескольких изнурительных приступов малярии и к нам домой пришла медсестра, чтобы взять у меня из пальца кровь

на анализ, я долго и нудно сопротивлялся, никак не мог решиться протянуть ей палец.

Видимо, нервно ослабленный и изнеженный повышенной лаской к больному, я не мог силой стыда преодолеть эту, сравнительно с хинным уколом, маленькую неприятность. Хотя ослабление силы стыда отчасти и было вызвано, как я думаю, общим физическим ослаблением организма, что привело к ослаблению нервной силы, все же главное, я думаю, не в этом. Главное, ослабление силы стыда было вызвано именно повышенным вниманием ко мне как к больному. Это повышенное внимание ко мне выражалось в желании близких свести на нет мнимые и истинные неудобства, которые испытывает больной. Причем сам больной, то есть я, воспринимал это повышенное внимание как справедливую плату за страдание. Это и снижало силу стыда, но воспринималось не как снижение силы стыда, а как одна из форм платы за страдание.

— Мне и так плохо, — как бы говорил я медсестре (а может, и на самом деле говорил), — так что же вы мне еще больно делаете?

Кстати, насколько я помню, повышенное внимание я не только воспринимал как справедливую плату за страдание, но, помнится, было какое-то ощущение недоплаты за эти страдания, что выражалось в капризах, доставлявших хмурое удовольствие.

Каприз — хромой призрак власти.

Кстати, механизм капризов женщины примерно такой же. Ощущение недоплаты, недооцененности. Это ощущение особен-

но свойственно замужним женщинам. И если вы хотите добиться у них признания, вам надо сделать следующее: вам надо с важным видом отвести такую женщину в сторону и под тем или иным предлогом сказать, что хотя ее муж вообще человек неглупый, имеет хороший вкус (намек: знал, кого выбрать), но при этом вы удивлены одним его поразительным недостатком.

— Каким? — интересуется заинтригованная женщина.

— Мне кажется, — говорите вы, — он вас недооценивает.

Какой проникательный человек, думает о вас женщина, уже склонная отблагодарить вашу проникательность за признание своей недооцененности.

Но шутки в сторону.

Вернемся к нашему, изрядно поднадоевшему сюжету.

В конце концов однажды я попался. В тот день я вышел во двор и увидел тетю Женю, развешивавшую белье. Я дождался, когда она его развесит, и, думая, что она сейчас пойдет домой, спросил, который час.

— А ты зайди и посмотри, — сказала она как-то странно и стала натягивать через двор вторую веревку. Приготовившись получить привычную порцию пыток, я взошел на крыльцо и открыл дверь в их комнату. Бамбуковая палка, при помощи которой поддерживают сохнувшее белье на веревке, рухнула мне на голову с каким-то надтреснутым звоном. Из приоткрытых дверей следующей комнаты раздался воркующий смех юного экспериментатора. Палка эта, привязанная к шпагату, была подтянута к крюку, вбитому над дверью. Как только я открыл дверь в первую комнату, он, выгля-

дывая из-за приоткрытой двери второй комнаты, вовремя отпустил конец шпагата.

— Эрик, палку! — раздался в это время голос его матери со двора.

— Сейчас, мамочка, — крикнул он ей в ответ и, исполнив передо мной небольшой танец индейца с копьем, сорвал шпагат с палки и убежал вниз.

Контуженный не столько силой удара, сколько мистической точностью коварного расчета, то есть опять проявившимся лучшим умением обращаться со временем (а что если бы его мама чуть раньше попросила бы палку?), я вошел во вторую комнату, тупо посмотрел на часы, мерцающие золотой бляхой маятника, взглянул на грозное в своей непонятности лицо циферблата и вышел из квартиры, стараясь поне-заметней проскочить двор.

Но не тут-то было. Моя собственная тетушка, высунувшись из окна, спросила:

— Сколько?

Я посмотрел на тетушку, а потом вдруг заметил, что и некоторые другие обитательницы нашего двора прислушиваются к моему предстоящему ответу.

— Без двадцати, — крикнул я, нахальством голоса заглушая стыд, и, обрушившись с крыльца во двор, силой инерции взбежал на свое крыльцо, как лыжник с холма на холм.

Схватив портфель, я убежал из дома. Оказалось, что в школу пришел впритык, и это какой-то занозой застряло у меня в груди. Я-то знал, что добежать от нашего дома до школы

можно было за две-три минуты. Так что если Эрик и его мама захотели бы проверить после меня время, стало бы ясно, что я его не умею определять.

В тот день, придя из школы домой, я заметил, что маленький негодяй, несколько раз попадавшийся мне во дворе, как будто затаил какое-то ехидство. Он все знает, уныло думал я, но, может, все-таки он об этом не рассказал своей маме? Мало того, что я не умею узнавать время, думал я с ужасом, я уже несколько месяцев морочу им голову, делая вид, что умею. Это придавало возможному разоблачению особую гнусность.

На следующее утро, когда я выходил во двор, мне показалось, что тетя Женя, отряхивавшая на крыльце мокрый веник, посмотрела на меня долгим насмешливым взглядом. Я не знал, что думать.

Приближалось время идти в школу, и я решил прибегнуть к старому способу. Я открыл окно и, упершись головой в железные прутья решетки, смотрел на улицу с тем, чтобы не прозевать прохожего с часами. Как назло, ни один прохожий из тех, кто, по моим соображениям, мог иметь часы, на улице не появлялся.

Через некоторое время из нашего двора вышел дядя Алихан с дымящейся корзиной, наполненной вареными каштанами. Для города он обычно продавал вареные каштаны. Он поставил корзину почти под моим окном и, не замечая меня, стоял, раздумывая, куда идти — направо или налево. Обычно только к пароходу он шел целенаправленно, а так он и сам не знал, где ему лучше продавать каштаны.

Как раз в это время на улице появилось двое бодрых, уверенных в себе мужчин. Только я подумал, что у них на руках могут быть часы, как один из них окликнул Алихана:

— Что это у тебя?

— Каштаны, — ответил Алихан, радостно вздрагивая и делая движение, выражающее готовность гребануть из корзины порцию каштанов.

— О, каштаны! — воскликнул первый бодрячок, и оба они быстро пошли к Алихану.

— Жареные? — спросил второй бодрячок, и по тону его видно было, что хоть и он бодрячок, а до первого ему в бодрости не дотянуться.

— Вареные, — сказал Алихан. Словно смягчая удар, он откинул марлю, и из корзины дохнуло парным запахом горячих, взбухших от варки и потрескавшихся каштанов.

— Жареные лучше, — важно сказал второй бодрячок и, оттопырив карман пиджака, подставил его Алихану. Алихан гребанул стаканом из корзины и, придерживая переполненный стакан ладонью другой руки, перевернул его в карман.

— А сырые еще лучше, — добавил первый бодрячок еще более пенно и тоже оттопырил карман пиджака. Казалось, все, что надо знать о каштанах и о жизни вообще, эти двое знают лучше всех, а из двоих — первый.

— Дяденька, который час? — спросил я, стараясь обращаться к первому.



Все трое разом подняли на меня глаза. Первый как раз оттопыривал карман для каштанов и второй поэтому его опередил.

— Без четверти час, — сказал он, вскидывая руку.

— А точнее, без шестнадцати! — добавил первый бодрячок, справившись с каштанами, и теперь большей точностью как бы снова подтверждая свою большую бодрость.

Раздавливая в зубах горячие каштаны, они быстро пошли дальше, и кто-то из них пошутил насчет решетки, из-за которой я с ними говорил и которая напоминала им что-то смешное, но что именно, я не смог ухватить. Они ушли, веселые, бодрые, как бы хозяева жизни и окружающего пейзажа. Они ушли, внушая какое-то странное чувство зависти и снисходительного удивления к своей психической простоте, которую, разумеется, я формулирую сейчас, но почувствовал тогда же. И не только почувствовал, но и с грустью осознал, что все должно было бы быть наоборот, то есть я, маленький, должен был жить весело, беззаботно, а они, большие, должны были быть озабочены сложными взрослыми делами.

Унылый Алихан посмотрел им вслед всей своей длинной согбенной фигурой и, словно только теперь поняв, куда ему идти, поднял корзину и пошел в противоположную сторону. Тут и я догадался, что мне делать.

Я выскочил во двор, поднялся на крыльцо наших новых жильцов и крикнул:

— Тетя Женя, который час?

— А ты зайди и сам посмотри, — услышал я ответ, который ожидал.

Я вошел в квартиру. В первой комнате у стола стояла тетя Женя и гладила редким тогда в наших краях электрическим утюгом. Сын ее, сидя на полу, создавал из своего конструктора индустриальный пейзаж. Пока я проходил во вторую комнату, Эрик провожал меня спокойным взглядом провокатора. Я зашел в другую комнату, посмотрел на ничего не говорящий мне мавзолей времени и вышел.

— Сколько? — спросила тетя Женя.

— Без пятнадцати, — сказал я небрежно и закрыл за собой дверь. Не удержался и несколько мгновений простоял с бьющимся сердцем. Крепкие ноги мальчугана протопали в другую комнату.

— Ну? — нетерпеливо раздалось из этой комнаты.

— Правильно, — сказал мальчик без всякого чувства. Я услышал, как он шлепнулся на пол.

— Видишь, какой ты, — сказала она, — а ведь он единственный мальчик в нашем дворе, который с тобой ладит...

Он что-то ей ответил, но я дальше не слушал. В тот день после уроков я решил не возвращаться домой, пока не пойму, как определять время.

Рядом с прибрежным бульваром, почти в конце улицы Ленина, высовываясь над тротуаром, висели (и, кажется, еще до сих пор висят) большие старинные часы.

Я знал, что многие взрослые люди, проходя под этими часами, довольно часто сверяют собственные. При этом они обязательно, если проходили не одни, громко называли время и выражали неудовольствие или, наоборот, радость по поводу работы своих часов.

В нескольких шагах от этих часов находилась часовая мастерская, словно для того, чтобы клиент после починки своих часов мог бы тут же сверить их работу с этими общегородскими и независимыми от часового мастера часами.

Тут-то я и стоял, поглядывая на толстого часовщика, который, зажав глазницей увеличительное стекло, пинцетом копошился в шевелящихся внутренностях часов, то вытаскивая оттуда, то снова вкладывая какие-то насекомообразные пружинки, колесики, винтики.

Потом я переводил взгляд на большие часы, ожидая прохожих и стараясь понять закономерность того, что произошло на циферблате после того, как сверяющие часы назовут новое время. В ожидании прохожих, сверяющих свои часы с городскими часами, я следил за работой часовщика или просто глядел на его витрину, где были выставлены с одной стороны испорченные часы, а с другой — починенные. Все починенные часы показывали одно время. Стрелки остановившихся часов были вольно, непохоже друг на друга раскинуты по циферблату.

После какого-то прохожего, громко сверившего свои часы, в какое-то мгновение, как-то само собой, вдруг сообразилось, как люди определяют время. Оказывается, я все знал, кроме одного: я не знал, что между цифрами на циферблате пролегает пространство в пять минут. Пораженный догадкой, ее стройностью и простотой, я ожидал все новых прохожих, которые, выкликая вычисленное мной время, уходили, обдав меня волной радости.

Но, видно, живое время двигалось слишком медленно, чтобы полностью поглотить радость моего открытия. Я, не

сходя с места, стал определять время на всех испорченных часах, словно на кладбищенских памятниках, читая время смерти каждых часов. Возможно, я увлекся и стал это делать вслух с неприличной громкостью. Часовщик неожиданно поднял голову, и я увидел сквозь увеличительное стекло свирепую выпуклость его циклопического глазного яблока с кончиками паучьих лапок ресниц. Я вздрогнул, словно на меня посмотрело какое-то глубоководное существо с огромным мистическим глазом. Словно владелец всех этих живых и мертвых времен разозлился на меня за то, что я пытаюсь проникнуть в его тайну.

Я отпрянул от витрины и побежал в сторону моря. Чайки, то останавливаясь, то взмахивая живыми стрелками крыльев (словно играя временем: захочу, пушу быстрее, захочу, буду парить, растягивая мгновенья), летали над водой. Со стороны моря в бухту входила громада теплохода «Абхазия», озаренная предзакатным солнцем. Встречающие толпились на пристани, иногда нетерпеливо взмахивая цветами, словно давая знать далекому пароходу, что они тут, а не где-нибудь в другом месте, ждут его.

Я свернул с Портовой улицы и быстрыми шагами пошел в сторону дома. На углу Портовой стояли столики открытой кофейни. Я невольно пошарил глазами по столикам, ища за ними кого-нибудь из близких. Так иногда мы нарочно пальцами нащупываем болевую точку на нашем теле, как бы проявляя предпочтение точного знания того, что боль не исчезла, смутной надежде на то, что она нас покинула.

За одним из столиков, как обычно в подпитии, сидел дядя Самад. Он что-то объяснял своим собеседникам. Широкие взлеты его жестикулирующих рук говорили о том, что они, эти руки, свободны от приводных ремней власти.

Люди за столиками перебирали четки, пили кофе из маленьких чашечек и червонное золото чая из тонких стаканов, забрасывая в рот голубоватые, величиной с игральную кость, кусочки сахара. Некоторые из них читали газеты, некоторые обсуждали прочитанное, что было видно из того, что они в разговоре стукали пальцем по поверхности сложенной газеты, как бы ссылаясь на нее. Иные, попивая кофе, время от времени смотрели в сторону моря, прикрывшись от солнца сложенной газетой.

Казалось, слегка устав пережевывать газетные новости, они терпеливо обращались к древнему, более медленному, но и более надежному способу получения новостей: подождем, посмотрим, что скажут те, что плывут к нам морем.

Огненнобородый хиромант, не слезая с ослика, пил кофе возле одного из столиков, и все ближайшие столики были обращены к нему, потому что рассказы его, похожие на пророчества, хотя и не сбывались никогда, иногда утешали.

Казалось, древний пилигрим, достигший оазиса диоскурийской кофейни, сейчас расскажет последние вавилонские новости и двинется дальше на своем ослике, цокая честными копытами по кремнистым руслам исчезнувших царств и выбивая из них единственное, чем они владели и владеют, — скудную пыль веков.

Я уже подходил к дому, когда меня догнал гудок парохода, низкий, благодушно-сдержанный, как силач в застольном кругу друзей.

— ...Этот сукин сын пароход тоже, — услышал я голос Богатого Портного, стоящего на своем балконе и легкими плевками пробующего раскаленность утюга, — так гудит, как будто мне брильянт привез...

Из калитки вышел Алихан. С корзинкой в руке, опрятный и целенаправленный, он шел в сторону моря. Когда он проходил мимо меня, на меня дохнуло вкусным запахом жареных каштанов. Я почувствовал, что здорово проголодался, и поспешил домой. Мне было легко, хорошо — постыдная тайна не отягощала мою душу.

\* \* \*

Александра Ивановна... Может быть, любовь к первой учительнице, если вам на нее повезло, так же необходима и естественна, как и первая любовь вообще?

Вспоминая свои чувства к Александре Ивановне, я думаю, что в моей любви к ней каким-то образом нераздельно слились два чувства — любовь к ней именно, такому человеку, каким она была, и любовь к русской литературе, которую она так умело нам раскрывала.

Она почти каждый день читала нам что-нибудь из русской классики или несколько реже что-нибудь из современной, детской, чаще всего антифашистской литературы.

Осталось в памяти чтение «Капитанской дочки» Пушкина, как минуты сладчайших переживаний. Если в области духа есть чувство семейного уюта, то я его впервые испытал во время чтения этой книжки, когда в классе стояла мурлыкающая от удовольствия тишина.

Помню, во время чтения книги Александра Ивановна заболела, и ее три дня заменяла другая учительница. На последнем уроке она пыталась продолжать чтение «Капитанской дочки», но как только мы услышали ее голос, нас охватили ужас и отвращение. Это было совсем, совсем не то! Видно, она и сама это почувствовала, да и ребята в классе расшумелись с какой-то искусственной злой дерзостью. Она закрыла книгу и больше не пыталась нам ее читать.

Сейчас трудно сказать, почему мы с такой силой почувствовали чужеродность ее чтения. Конечно, тут и любовь к нашей учительнице, и привычка слышать именно ее голос сказались. Но было и еще что-то. Этим препятствием была сама временность пребывания этой учительницы с нами. Книга нам рассказывала о вечном, и сама Александра Ивановна воспринималась как наша вечная учительница, хотя, конечно, мы понимали, что через год или два ее у нас не будет. Но мы об этом не задумывались, это было слишком далеко.

Недавно, читая записки Марины Цветаевой «Мой Пушкин», я вспомнил наши чтения «Капитанской дочки» и удивился несходству впечатлений. Мятёжную душу будущего поэта поразил в этой книге Пугачев, он показался ей таинственным, заманчивым, прекрасным. Меня же, как сейчас пом-

ню, больше всего поражал и радовал в этой книге Савельич. Не только меня, я уверен, и весь класс. — Как? — могут удивиться некоторые ценители литературы, — тебе понравился холоп и раб Савельич? Да, именно Савельич мне понравился больше всех, именно появления его я ждал с наибольшей радостью. Более того, решаюсь на дерзость утверждать, что он и самому автору, Александру Сергеевичу, нравился больше всех остальных героев.

Дело в том, что рабство Савельича — это только внешняя оболочка его сущности. Во время чтения «Капитанской дочки» мы это все время чувствовали, и потому его рабская должность, если можно так сказать, нам никак не мешала. Что же в нем было прекрасного, заставлявшего любить его вопреки ненавистному нам рабству и холопству?

Была преданность. Величайшее чувство, красоту которого Пушкин столько раз воспевал в стихах. Ненасытный, видно, так голодал по этому чувству особенно в его материнском проявлении, что, посвятив столько стихов своей няне Арине Родионовне, он решил и в прозе, уже в облике Савельича, создать еще один образ материнской преданности.

Из этого, разумеется, не следует, что мать поэта вообще никакого материнского чувства к нему не проявляла. Наверное, проявляла, но недостаточно. А для поэта лучше и здоровее, когда его совсем не любят, чем когда ему перепадают крохи любви.

Савельич — это то чувство, которое всю жизнь Пушкин так ценил в людях. И, наоборот, предательство, коварство, из-



мена всегда заставляли его или в ужасе бежать, или корчиться с пристальным отвращением. Наверное, страшнойшей казнью для поэта было бы, связав по рукам и ногам, заставить его, бессильного вмешаться, наблюдать за картиной предательства.

В образе Савельича Пушкин устроил себе пир, который не всегда мог позволить себе в жизни. Тут преданность выступает во всех обличиях. Преданность — готовность отдать жизнь за жизнь барчука. Преданность — готовность каждую вещь его беречь, как собственную жизнь и даже сильнее. Преданность, творящая с робким человеком чудеса храбрости. И, наконец, преданность, доходящая в своем ослеплении до того, что Савельич затевает с Пугачевым разговор о злосчастном зипуне, когда его любимец находится на волосок от виселицы.

Но Пушкину мало и этого. Комендант Белогорской крепости предан царице точно так, как Савельич своему барчуку. Жена коменданта, такая же ворчливая, как Савельич, сама предана до последнего часа своему мужу, как предан своему барину Савельич. То же самое можно сказать о Маше и о юном Гринёве. Одним словом, здесь торжество преданности.

И вот эта идея преданности с неожиданной силой погрузила нас в свой уют спокойствия и доверия, уют дружеского вечернего лагеря перед последним утренним сражением. Мы ведь тоже преданы своему милому, еще кудрявоволосому барчуку, чей портрет висит на стене нашего класса.

Мы еще дети, но уже, безусловно, думаем (может, именно потому, что дети) об этом грядущем последнем сражении

со старым миром. Пусть мы его представляем смутно, но в этом ожидании заложено то организующее, то духовное начало, без которого нет жизни.

То, что мы собираемся делать завтра, делает нас сегодня такими или иными людьми. Идея преданности идее, а следовательно, и друг другу, была самым человеческим сегодняшним воплощением нашего завтрашнего дела. Идея преданности самой идее, которая, по-видимому, из-за отсутствия других воплощений высоких человеческих страстей развивалась в нас с трагической (о чем мы не ведали), а иногда и уродливой (о чем мы тем более не ведали) силой.

Может быть, именно поэтому чтение «Капитанской дочки» производило тогда такое сладостное, такое неизгладимое впечатление. И именно поэтому мы оттолкнули (чуть-чуть уродство) попытку другой учительницы продолжать чтение Александры Ивановны.

— Да не коси ты, не коси! — иногда говорила мне на уроке Александра Ивановна. Я никогда ни от кого не слышал, чтобы я косил, и тем более сам не замечал этого. Но, оказывается, она была права. Если меня что-то сильно огорчало, оказывается, я начинал слегка косить.

— И не собираюсь, — отвечал я ей обычно.

— Я же вижу, закосил, закосил, — говорила она улыбаясь, словно похлопывая меня по спине, словно давая знать, что мои неприятности совсем не стоят того, чтобы я придавал им значение.

С одной стороны, меня раздражало то, что сам я никогда не видел своих косящих глаз, и наблюдение Александры Ивановны казалось мне довольно вздорным, а главное, было слишком публичным для той внутренней близости, какую я испытывал к ней, и было как-то неловко перед другими учениками.

Примерно такое же чувство я испытывал на улице во время футбольной или другой игры, когда кто-то из близких кричал, чтобы я шел домой, потому что набегался или слишком вспотел. Меня всегда раздражал этот наивный эгоизм близкого человека, которому и в голову не приходит, что набегался не только ты и слишком вспотел не только ты.

Я больше всего любил наблюдать за Александрой Ивановной, когда она встречалась со своим сыном, учившимся в соседней школе. Это был высокий парень с нежным пушком бороды и усов, которые он долго не сбривал, и об этом говорили в обеих школах — в нашей, где она работала, и в соседней, где он учился.

Он довольно часто заходил в нашу школу, и Александра Ивановна провожала его до ворот, а я всегда с какой-то тайной радостью наблюдал за этими их встречами. Я знал, что его приходы в нашу школу почти всегда связаны с выклянчиванием у Александры Ивановны денег.

Уже в воротах школы он ее начинал уламывать, а на ее лице появлялось выражение повышенной, хотя и вполне бесплодной, бдительности, означавшей, что ни на какие пустые траты она не согласится. В конце концов она доста-

вала откуда-то из жакета кошелечек и с неловкой скрупулезностью вынимала оттуда мелочь или бумажные рубли и отдавала ему.

Взяв деньги, он иногда подшучивал над выражением ее лица, и я каждый раз угадывал, что подшучивает он над ее якобы огорченным выражением лица, а она, слегка растерянная этим шутливым обвинением, так же искусственно пыталась показать свою беззаботность, как до этого пыталась изобразить на лице выражение строгой отчетности. Иногда он как бы совал ей деньги назад, а она растерянно отбивалась, а однажды, видимо, рассердилась и в самом деле выхватила у него их. Но тут он схватил ее в охапку и слегка закружил на месте, и до меня донеслось:

— Карлуша, не дури!

Видимо, для меня была чем-то новым, неизвестным эта нежная, подтрунивающая друг над другом товарищеская любовь старой женщины и почти взрослого сына. Я знал, что у них больше никого нет.

Иногда он появлялся на нашей улице, и все почему-то именно так, смягченно, называли его Карлушей. Однажды, когда я сидел в холодке на ступеньках парадной лестницы с ворохом журналов «Вокруг света», которые я брал у одного из наших соседей, он присел ко мне и стал листать журналы, издавая те теплые улыбающиеся восклицания, которые издают любители книг при виде своих давних знакомых. Оказывается, он в свое время читал эти журналы, и его потрясали те же гангстерские рассказы, которые сейчас потрясали меня.

— А я у вашей мамы учусь, — сказал я почему-то, не выдержав. Он как-то странно улыбнулся и потрепал меня по голове. Он ничего не ответил. Вернее, я ему как бы признался в родстве, а он мне как бы ответил: — Да ты и так вроде неплохой пацан, стоит ли нам еще родственные отношения выяснять?!

Однажды на моих глазах он заспорил с одним парнем с нашей улицы, известным велосипедистом. Карлуша доказывал, что этот парень плохой наездник. Карлушу я вообще никогда не видел на велосипеде, а этот парень и за водой ездил на велосипеде, и катался лучше всех на нашей улице.

В конце концов Карлуше кто-то дал свой велосипед, и они договорились ехать до моря и обратно, и за это время Карлуша его должен догнать и хлопнуть по спине.

— Давненько я в руки руль не брал, — сказал он, вставая и отряхиваясь от пыльной травы, на которой сидел, подошел к велосипеду, который ему одолжили на этот случай. Он взял велосипед одной рукой за руль, другой за седло, несколько раз, приподымая, ударил его о землю. Так пробуют мяч.

Парень с нашей улицы отъехал шагов на двадцать и все время, вихляя рулем, чтобы не упасть, оглядывался и медленно продвигался дальше, все время спрашивая у Карлуши: «Хватит?»

— Давай! — наконец крикнул Карлуша и сам вскочил в седло. Через миг они оба исчезли в клубах пыли, и мне показалось, что расстояние между ними ничуть не уменьшилось...

— На подъеме он его схамает, как булочку, — лениво глядя им вслед, сказал старший брат моего друга Юры Ставракиди, считавшийся на нашей улице знатоком международной политики. Улица, по которой они должны были возвращаться от моря, была довольно крутой. И Юрин брат, как всегда, оказался прав.

Минут через двадцать они появились на углу, уже слившись в маленький, быстро приближающийся смерч пыли, в котором, как молнии в далекой туче, время от времени высверкивали спицы.

Как только они поравнялись с нами, Карлуша его догнал и звонко шлепнул рукой по спине. Парень резко затормозил, а Карлуша, проехав еще метров двадцать, неожиданно вздыбил велосипед и, лихо выбросив его из-под себя, спрыгнул.

— Слушай, это старый наездник, ты что хочешь от него, — сказал Юрин брат парню с нашей улицы, кивая на Карлушу.

— Только здесь он меня догнал! — нервно крикнул наш парень, кивнул головой в сторону улицы с крутым подъемом. Все рассмеялись, вспомнив слова Юриного брата.

— А я что говорил? — сказал Юрин брат, самодовольно улыбаясь.

— На подъеме, как булочку, схамает! — крикнули ребята в несколько голосов.

Помню, тогда меня поразило больше всего, что Карлуша, казалось, уже многое испытал в своей жизни и в том числе уже был когда-то замечательным велосипедистом, а ведь он был еще школьником девятого или десятого класса.

Время, описываемое мной, совпадает с мирным договором с Германией, то есть с 1939 годом. Мне было десять лет. В нас был рано разбужен интерес к политике, и этот интерес, как зажженный бикфордов шнур, шел к своему логическому взрыву в душе каждого, в ком была душа. Чаще всего это был взрыв внутренний, мало кому заметный из окружающих, но иногда это был и заметный для окружающих трагический взрыв, похожий на взрыв гранаты в неумелой детской руке.

Смутно помню, что, когда в газете появился портрет, кажется, Риббентропа с Молотовым, было как-то чудно, ненормально, неприятно, скорее всего из-за привычки видеть гитлеровцев только в качестве карикатуры. В натуральном виде они воспринимались как нечто ненормальное.

Помню, что сам мирный договор мной и, наверное, многими моими сверстниками воспринимался как некий политический шахматный ход (мы уже играли в шахматы) с некоторой потерей качества для будущей грандиозной комбинации с шахом и матом всему капиталистическому миру.

Мы как бы подмигивали друг другу по поводу этого договора, не замечая, что человек, который от имени всех нас, ну уж по крайней мере от имени всех наших взрослых родственников, заключил этот договор, никакого повода к этому подмигиванию не давал и тем более сам, по крайней мере в этом смысле, никому не подмигивал.

Помню смешную тонкость, которую я тогда заметил в газетах. До мирного договора, судя по нашим газетам, казалось, что в мировой политике более правы противники Германии. То есть газеты, наверное, точно освещали фактический ход событий, но было ощущение спокойного, ровного отношения к двум хищникам.

После мирного договора осторожно стали выступать едва заметные признаки симпатии по отношению к Германии. Признаки симпатии воспринимались как намек на правоту. Намек на правоту, в свою очередь, давал намек на победу, потому что по нашему учению правота в конечном счете всегда должна была побеждать. Если она побеждала сразу — тем более правота себя утверждала. Правда, судя по газетам, правота немцев была не слишком большой, но и победы их соответственно были не так блестящи, как мы собирались в будущем побеждать врага.

Эта разница между освещением хода мировых событий до мирного договора с Германией и после него воспринималась, помню, с каким-то симпатизирующим комизмом. Это было похоже на возрастающие и угасающие симпатии моей тетушки по отношению к соседям. Да стоят ли они все того, чтобы из-за них вводить в газеты такие тонкие намеки на правоту, которая все равно по сравнению с нашей правотой смехотворна, на победу, которая все равно рано или поздно обернется полным поражением, когда мы возьмемся за дело?!

Но вот в один прекрасный день для меня лично и произошел тот душевный взрыв, сильнее которого я не знал в жизни.



— Ребята, — сказала в этот день Александра Ивановна, — теперь нельзя говорить «фашисты»...

Это было сказано в классе, но я не помню, по какому поводу это было сказано, и было бы кошунственно сейчас выдумывать повод. То ли кто-то из ребят, разозлившись на товарища, назвал его фашистом, то ли один мальчик у другого громко попросил какую-нибудь книгу, скажем, про смелого немецкого пионера, обманывающего фашистов. Тогда было довольно много таких книг.

Она об этом сказала просто как об изменении, которое отныне вошло в грамматические правила. Но, видно, что-то заключалось в этих словах такое, чего ни она, ни мы не ожидали. Слова эти в отличие от многих других слов, которые мы слышали от учителей, не прошли мимо ушей и не вошли в сознание. Они остались в воздухе. И, словно оставшись в воздухе, они как бы с каждой секундой твердели, становились все более отчетливыми, все более удобочитаемыми. Это подтверждалось еще и тем, что многие ученики, когда она произносила эти слова, переговаривались или рассеянно думали о чем-то своем, как это бывает в конце последнего урока, когда все ждут звонка. И вот, словно в самом деле слова висели в воздухе, постепенно к их постыдной удобочитаемости подключился весь класс, в классе становилось все тише и тише и, наконец, мертвая тишина в течение пяти — десяти секунд.

Все ждали, что Александра Ивановна как-то пояснит свои слова, но она ничего не говорила. Помню, хорошо помню

красные пятна, которые пошли по морщинистым щекам нашей старой учительницы. Она продолжала молчать, и края губ с одной стороны ее рта мелко-мелко вздрагивали.

Тот стыд, который я тогда испытал и который в какой-то мере охватил весь класс, я никогда не забуду.

После этого много раз в жизни мы видели эти повороты на сто восемьдесят градусов, которые никто и не пытался нам как-то объяснить. Казалось, самым отсутствием какого-либо правдоподобного объяснения зигзагов политики тот, кто вершил ее, проверял полноту своей власти над нами.

— Ничего, схамают, как булочку, — казалось, бормотал он в усы, словами брата Юры Ставракиди.

Все-таки я благодарен какой-то детской чуткости, которая ни на мгновенье, это я помню хорошо, не дала мне подумать, что предательство это связано с самой Александрой Ивановной. Нет, я почувствовал, что есть какая-то страшная сила, которая с невероятной тяжестью давила на нашу учительницу и вынудила ее, покрываясь красными пятнами, сказать то, что она нам сказала.

\* \* \*

Из всех дядей моих самым любимым был дядя Риза. Он-то и подарил мне когда-то мои первые книги — «Гадкий утенок» и «Рассказы о мировой войне».

Небольшого роста, ладный, красивый. Во всей фигуре какая-то незрелая легкость, стремительность, глаза насмеш-

ливые и зоркие-презоркие. Именно эти стремительность, живость, добродушная зоркость на все смешное и казались мне тогда красотой. Но он и в самом деле был хорош.

Дядя часто водил меня на стадион. Проходили без билетов потому что он был еще недавно сам известным футболистом, и его все знали.

Было по-праздничному радостно идти с ним за руку, подходить к гудящему стадиону, протискиваться к входу. Я нарочно старался пройти мимо контролерши с независимым видом.

— Мальчик, куда? — спохватывалась она, уже пропустив меня. Но тут я оборачивался, а дядя, улыбаясь, говорил:

— Он со мной...

Мы усаживались возле раздевалки, откуда доносились голоса футболистов. В окошечко было видно, как они примеряют бутсы, туго натягивают гамашы, разминаются. Дядю встречали друзья, такие же крепкие, франтоватые, возбужденные. Разумеется, все болели за нашу местную команду, но она почти всегда проигрывала.

— Дыхания не хватает, — говорили одни.

— Судья зажимает, судью на мыло! — кричали другие, хотя неизвестно было, зачем судье, местному человеку, зажимать своих.

Мне тогда почему-то казалось, что возглас «Судью на мыло!» связан не только с качеством судейства, но и с нехваткой мыла в магазинах в те времена. Но вот и теперь, когда мыла в магазинах полным-полно, кричат то же самое.

Если во время игры кого-нибудь из наших сшибали с ног, стадион приходил в неистовство.

— Пеналь! Пеналь! — громыхали болельщики. Если же падал кто-нибудь из противников: — Симулянт! С поля! — безжалостно гудел стадион.

Главным врагом нашей местной команды была команда тбилисского «Динамо».

Все болельщики Мухуса жили одной мыслью, одной надеждой, одним пламенным желанием увидеть поражение этой команды от нашей. Поистине это была любовь-ненависть, потому что, когда тбилисское «Динамо» играло с какой-нибудь другой командой, все наши болельщики болели за нее. Если наша команда проигрывала какой-нибудь другой команде, это было неприятно, но более или менее терпимо.

Но проигрыш тбилисскому «Динамо» каждый раз воспринимался как чудовищная несправедливость, как результат катастрофического невезения. Надо сказать, что наша команда с величайшим ожесточением играла с тбилисским «Динамо», и нередко первый тайм кончался вничью или даже в нашу пользу, но потом, во втором тайме, они все равно выигрывали.

Бывало, если первый тайм кончался вничью, стадион охватывало предвкушение счастья. И каждый, предвосхищая победу, старался с суеверным страхом сдерживать радостные прогнозы друзей, хотя тут же забывался и сам давал такие же прогнозы. Так что во время перерыва весь стадион сам себя успокаивал, чтобы не слазить победу.

Иногда кто-нибудь с верхней трибуны, отвечая на вопрос прохожего, говорил:

— Пока ничья... Но (тьфу, тьфу, не сглазить) наши сидят у них на воротах.

Но тут зрители суеверно оборачивались на этого болельщика, потерявшего сдержанность, и с презрительным шиканьем водворяли его на место.

— Если без него жить не можешь, иди и там с ним разговаривай, — стыдили они его. Но некоторые болельщики все равно никак не могли сдержать провидческого зуда.

— Чтоб ты меня похоронил, если три — один не будет!

— Два — один тоже неплохо.

— Чтоб ты меня похоронил, если три — один не будет!

— Чтоб я тебя похоронил, — неожиданно вмешивается совершенно посторонний болельщик, — не надо заранее говорить, сколько раз можно предупреждать!

— Но я просто так, — миролюбиво гаснет, оборачиваясь на него, любитель счета «три — один», — я просто так, вообще говорю...

— Вообще тоже не надо, — безжалостно отрезает нервный болельщик.

Среди наших футболистов особенно выделялись двое — один из нападающих и защитник.

Черноголовый нападающий был очень быстрым и ловким игроком, но, пожалуй, бестолковым. Как только ему попадал мяч, он прорывался к воротам. Но тут его перехватывали защитники. Он извивался, пританцовывал, де-

лал финты и в конце концов так запутывался, что бил в двух шагах от ворот мимо или неожиданно с какой-то оскорбительной легкостью у него отбирали мяч. Партнер, который все это время прямо-таки вымаливал у него подачу, останавливался как вкопанный, как бы призывая весь стадион в свидетели. Судорожно вытянув руки, он показывал на то место, где стоял и откуда он якобы обязательно забил бы гол.

Нападающий делал вид, что только что его заметил, и покаянно опустив голову, покрытую черными глянцевитыми волосами, удалялся к центру. Но как только ему попадал мяч, он мгновенно забывал свое покаяние, и все повторялось сначала. Зато какой грохот стоял над стадионом, когда ему удавалось забить мяч! Овеваемый гулом обожания, не глядя ни на кого, ровной рысцой, как цирковая лошадка, он бежал к середине поля.

Про длинного, всегда невозмутимого защитника пацаны рассказывали легенды. Он был левша, но говорили, что правой ногой ему запретили бить после того, как он ударом мяча убил голкипера. Еще говорили, что он однажды с такой силой выбил мяч из вратарской площадки, что тот влетел в ворота противника. Он и в самом деле сильно бил. Бывало, выбежит навстречу мячу и как саданет! А потом лениво возвращается на место, уверенный, что после его удара мяч не так-то скоро прилетит обратно.

Иногда мяч влетал на трибуну, и, когда кто-нибудь его оттуда выбивал, почему-то все начинали смеяться.

После первого тайма потные, усталые футболисты, тяжело передвигая могучие ноги, возвращались в раздевалку. Некоторые усаживались возле раздевалки на трибунах. К ним подходили знакомые, пожимали руки, разговаривали.

Если игра складывалась плохо, особенно желчные болельщики вступали с нашими футболистами в спор и даже иногда рвались в драку, но их тут же оттаскивали окружающие.

Иногда на трибунах усаживались и представители тбилисского «Динамо». Среди них почти всегда было два-три наших бывших игрока. К ним тоже подходили знакомые и разговаривали, с одной стороны, стараясь показать, что они близко знают знаменитых игроков, с другой стороны, независимым видом и сдержанностью показывая, что они не собираются подхалимничать перед ними.

Эту мирную, сдержанную беседу иногда прерывал какой-нибудь не в меру патриотичный болельщик. Подойдя близко к футболисту и беседующим с ним землякам, он враждебно прислушивался к тому, что они говорят, стараясь извлечь пищу для своего гнева из самого содержания их разговора. При этом он, не скрывая презрения, поглядывал на наших людей, которые не стыдятся разговаривать с человеком, покинувшим родную команду.

В конце концов он вмешивался в разговор и начинал спорить с ним, иногда совершенно не имея для этого никакого повода.

— А ты, продажный изменник, молчи! — в конце концов обращался он к бывшему нашему футболисту и уходил с ви-

дом человека, исполнившего свой гражданский долг. Иногда такого рода патриоты поступали несколько хитрее. Они нанимали за порцию мороженого какого-нибудь мальчика, чтобы тот крикнул бывшему нашему футболисту то же самое и убежал.

Обычно футболист после этого уходил в раздевалку, а те, что до этого с ним разговаривали, выражали неодобрение на эти оскорбительные выпады.

— Это тоже неправильно, — говорили они, — человек растёт, ему надо выдвигаться!

— Мы не против, — говорили другие, — но, пока молодой, мог еще два-три года поиграть, отплатить добром своей команде, которая научила тебя играть...

— Пожалуйста, уходи! — вдруг вмешивался человек, как бы озаренный совершенно новым взглядом на эту старую проблему. — Но только при одном условии...

— Каком условии? — с большим любопытством начинали спрашивать остальные, придвигаясь к этому человеку и окружая его кольцом.

— В родном поле не играй! — с огромной силой произносил этот человек и оглядывал окружающих с некоторой патриотической агрессивностью.

— Тоже правильно! — соглашались окружающие, хотя и ясно было, что они ожидали чего-то более оригинального. Но сама эта патриотическая агрессивность, как бы вызванная непомерной любовью к своему городу, мешала им высказать свой взгляд на недостатки этого предложения.



Некоторые футболисты сразу же после перерыва подбежали к ларьку, прилепившемуся к ограде. Ларек одним окошечком открывался внутрь стадиона.

Жаркие, запрокинув голову, не отрывая бутылки ото рта, они пили, прислушиваясь к собственному удовольствию, высасывали маленький водоворот прохлады, словно трубили в трубу какую-то вкусную беззвучную мелодию утоления.

Обычно они брали сразу по две бутылки и, допивая одну, уже вторую держали наготове и даже слегка приподымали руку со второй бутылкой, как бы успокаивая свою жажду: мол, не бойся, еще есть.

Насмотревшись на футболистов, пьющих лимонад, я подходил к дощатой изгороди стадиона. Сколько томительных часов провел я здесь, только по ту сторону, когда дядя бывал в командировках, а мне не удавалось пройти зайцем!

В таких случаях вместе с остальными неудачниками мы следили за игрой, прильнув к щелям в заборе. Правда, лучшие щели всегда забирали ребята постарше нас, так что и среди неудачников не было равенства, но все же и на нас хватало.

Теперь я подходил к изгороди по-хозяйски изнутри. Десятки ребячьих глаз жадно глядели на меня. Многие из пацанов были мне знакомы. Я несколько покровительственно рассказывал им кое-какие подробности матча. Они завистливо слушали меня, иногда спрашивали:

— Как проканал?

— Я с дядей, — отвечал я.

— А-а, — вздыхали они.

Возле забора похаживал милиционер. Когда он отходил подальше или отворачивался, я давал им знак, они перелезали через забор и быстро ныряли в толпу. Я возвращался на место, испытывая двойную радость и от собственной добродетельности, и оттого, что удалось провести милиционера.

Иногда мы с дядей приходили на стадион помыться в душевой. Это тоже было привилегией для своего человека. Дядя быстро раздевался, аккуратно складывал одежду и пускал воду. Я становился под крепкую толкающую струю, пытел и отфыркивался, делая вид, что смываю с себя грязь, хотя был уверен, что никакой грязи на мне нет. Дядя мылся с удовольствием. Его мускулистое тело все время двигалось, под мышкой трепыхалась смешная родинка, похожая на маленькую матрешку. Потом он обтирался скрипящим махровым полотенцем, подмигивал мне, посмеиваясь над моей неловкостью.

После купания тело делалось легким и сильным. Мы шли домой. Я вышагивал рядом с ним, с обожанием глядя на его лицо, на блестящие волосы, причесанные на косой пробор, на его улыбающийся рот. Я чувствовал, что моя персона сама по себе доставляет ему какое-то насмешливое удовольствие, и это почему-то радовало, окрыляло. Мы любили друг друга. Это было точно.

Между прочим, я не помню, чтобы он меня когда-нибудь целовал. Может быть, это бывало, но, видимо, так редко,

что я не запомнил. В нашей огромной родне и вообще в кругу наших знакомых на детей, и в том числе на меня, обрушивалось неимоверное число поцелуев. Господи, как я ненавидел эти поцелуи! Жестко-небритые, винно-водочные, чмокающие, скребущие, сосущие. Особенно женские, противно пахнущие помадой, особенно же среди особенных поцелуи женщин с неудавшимися судьбами, я их сразу отличал по какой-то свойственной им тупиковой силе удара. От поцелуев было трудно увернуться, приходилось терпеть, чтобы не обидеть взрослых.

Дядя был высшим авторитетом не только у нас в семье, но и во дворе, многолюдном, многоязычном и по-южному шумном. Женщины нашего двора, постоянно переругивавшиеся, стараясь перекричать собственные примуса, смолкали, когда он входил во двор, прихорашивались, вспоминали, что они женщины.

Работал он экономистом в каком-то заготовительном учреждении, а тогда я думал, что он занят сказочной работой, смысл которой — делать людей умелыми, веселыми, легкими. В сущности, так оно и было.

По воскресеньям дядя выводил из дому велосипед, и мы ездили купаться на море.

Помню ослепительный день. Дядя в белоснежном костюме, какой-то особенно свежий, бодрый. Сверкают быстро мелькающие спицы, руль, звонок на руле, даже камни мостовой, по которой мы едем. Велосипед дребезжит, вибрирует на туго накачанных шинах. Сидеть на подпрыгивающей раме больно, ноги приходится неудобно подтягивать, чтобы не ме-

шать дяде педалить. Он то и дело просит меня, чтобы я держал руль посвободней, но какой-то страх заставляет меня сжимать его изо всех сил.

Встречный ветер надувает рубаху, режет глаза, но я каждым нервом и мускулом впиваю счастье езды, нашей с ним дружбы, близости моря. Я замечаю, как встречные мужчины и женщины улыбаются нам, кивают дяде, некоторые успевают спросить:

— Сын?

— Племянник, — бросает дядя, и я чувствую в голосе его улыбку.

«Племянник», — повторял я про себя вкусное, веселое слово, похожее на пряник. Мне казалось, что именно этому сходству слов улыбается он.

Дядя в те времена, когда я его стал помнить, жил с матерью и сестрой в нашем доме. До этого он был женат и жил где-то в другом месте, но я этого времени не застал.

После работы в летнее время он обычно отдыхал в своей кровати под марлевым балдахином от комаров и мух.

Я часто приходил к нему в комнату, садился за письменный стол и листал книги или рисовал, валяясь на старой рогатой шкуре тура, распластанной перед кроватью. Под колониальным балдахином таинственно шелестели страницы Мопассана и Стефана Цвейга.

Приходя к нему, я каждый раз просил листик бумаги, чтобы изобразить очередную баталию с фашистами. Однажды он мне сказал, что у него не осталось ни одного листика.

— Ну, тогда дай веточку, — неизвестно зачем сказал я. Ответ ему так понравился, что он, смеясь, потом часто рассказывал об этом своим друзьям.

Дядя часто мне что-нибудь приносил с работы. Бывало, разденется, позовет меня и говорит, улыбаясь и заранее наслаждаясь моей радостью:

— А ну-ка, посмотри, что у меня там в кармане?

Я бегу к вешалке, роюсь в карманах, в сладкой лихорадке стараясь догадаться, что бы это могло быть.

И вот однажды исполнилась великая мечта — дядя купил мне настоящий двухколесный велосипед.

Приятно пахнувший резиной и свежей краской, легкий, рядный, чем-то похожий на самого дядю, он стоял у него в комнате, молодежато прислоненный к подоконнику.

Что это была за радость — трогать новенький руль, еще туго поворачивающийся, бесконечно звонить в звоночек на руле, понюхать кожаное седло, треугольную сумочку, висящую на раме и чем-то грозно похожую на кобуру пистолета, гладить клейкие шины, как живое тело, чувствуя ладонью их шершавую, рубчатую поверхность!

Теперь каждую свободную минуту я возился возле велосипеда. Выводить его во двор мне еще не разрешали, я был слишком мал, а рос, как назло, медленно. Что было делать! Я влезал на неподвижный велосипед, усаживался на седло и представлял, как лечу по улицам города, звоню, притормаживаю, учусь ездить без рук, иногда даю сделать круг знакомым пацанам. Только один круг, и то не всем, а на выбор, самым лучшим.

Потом я научился ездить по комнате, стоя на одной педали. Я был влюблен в своего нового друга, особенно, помнится, нравился мне малиновый фонарик на заднем крыле, волшебно блестящий в уютном сумраке комнаты: летом ставни были почти всегда прикрыты от жары.

Шли дни томительного и счастливого ожидания, но я так и не вывел ни разу свой велосипед, потому что случилось страшное.

Однажды дядя не пришел с работы, а потом тетя где-то узнала, что его «взяли». Я еще не знал значения, которое придавали этому слову, но чувствовал какую-то жестокую безличную силу, заключенную в нем.

Печальная таинственность окружила нашу семью. Приходили соседи, сочувственно вздыхали, качали головой. Говорили с оглядкой, полусшепотом. Чувствовалось, что люди живут напряженно, в ожидании грозного, как бы стихийного бедствия.

Арест дяди скрывали от бабушки. Но она чуяла что-то недоброе и, страшись правды, делала вид, что верит в его неожиданную командировку. Однажды я увидел, как она перебирает вещи в дядином чемодане и тихо причитает над ними, как над покойником. Мне стало не по себе, я понял, что она все знает.

Приходили дядины друзья, все такие же стройные, нарядные, но притихшие. Они без конца курили, грустно шутили, что лучших забирают, и как-то утешающе рассказывали, что «взяли» еще такого-то и такого-то.

Тетушка с неприятной услужливостью подставляла им пепельницу, угощала чаем, сама пила его с каждым из них и рассказывала, рассказывала. Как она ходила к каким-то начальникам, как ее культурно принимали и обещали все выяснить. Я чувствовал, что они ей не очень верят, но им приятно то, что они не побоялись прийти, и то, что сами они все-таки на свободе и могут вот так удобно сидеть на кушетке и слушать тетушку, чувствовать уют человеческой близости перед неумолимой бедой.

В первые дни они заходили часто. Потом все реже и реже. Один, помню, держался дольше других. Но и он вскоре перестал приходить. По слухам, многих из них постигла дядина участь.

Через полгода мы узнали, что дядю перевели в Тбилиси. Тогда-то тетушка продала мой новенький, так и не обкатанный велосипед, чтобы поехать туда. Купил его Богатый Портной.

— Все равно как остался, — сказал он, намекая на то, что велосипед не ушел из дому. После этого он бесшумно укатил его к себе в квартиру. Надо сказать, что тогда я не почувствовал особой обиды на Богатого Портного: слишком велико было горе, которое обрушилось на нашу семью. Вернее, я почувствовал некоторую обиду на тетушку. Мне казалось, что она могла бы достать деньги на поездку каким-нибудь другим способом. Но я понимал, что сейчас говорить об этом и даже думать стыдно.

И только позже, когда Оник впервые вытащил велосипед на улицу и отец его, одной рукой придерживая руль, а другой

держась за седло, прогуливал по улице, я почувствовал нестерпимую ревность. Почему-то особенно постыдным, невыносимым казалось обнаружить, что я к нему равнодушен. Как назло, ко мне подходили пацаны с нашей улицы и, ничего не понимая, расспрашивали:

— Правда, что Оникин пахан купил твой велосипед?

— Ну и что, — отвечал я как можно суше, — правда.

— А зачем продала твоя тетка?

— Значит, надо было, — отвечал я, сдерживаясь.

— А тебе не жалко?

— Нет, — говорил я, — я буду на дядином кататься...

Тетушка в это время выглядывала из окна на улицу и курила. Соседи, иносказательно переговариваясь с нею, жалели меня. Я чувствовал, что главное сейчас не показать виду, что я думаю о нем. Я был рад, что они переговариваются иносказательно, можно было притворяться, что я ничего не понимаю. Но, видно, тетушке, по ее склонности к мелодраме, нужно было чтобы я, сидя на лужайке перед домом, поник головой, или каким-нибудь другим способом показал, что безропотно переношу великую несправедливость.

— Вот так разбивается счастье, — сказала она, как бы продолжая говорить иносказательно, и в то же время ожидая от меня каких-нибудь более явных признаков тайного горя. Я изо всех сил держался и спокойно смотрел, как Богатый Портной прогуливает Оника. Этого тетушка не могла простить. Как человек исключительно артистичный, она любила, чтобы ей подыгрывали.



— Но, с другой стороны, черствый, — добавила она через некоторое время, как бы иносказательно, уточняя слова о разбитом счастье. Соседка, с которой она разговаривала, ничего ей не ответила, и тетушка добавила:

— Но он не виноват, у них материнская линия такая, — продолжила она, теперь иносказательно перекладывая часть ответственности на маму. Тетушка и мама всю жизнь не любили друг друга.

Через несколько дней Оник уже сам ездил на велосипеде. Он вообще был очень способен к таким вещам. Ребята с нашего двора и улицы быстро забыли, кому принадлежал когда-то велосипед с малиновым фонариком, и это намного облегчило мою задачу скрывать, что я этого не забыл. И я вместе с другими брал у него велосипед сделать круг по нашему кварталу, чтобы никому в голову не приходило, что я все помню.

Вернее, я даже сам надеялся, что это пройдет, но почему-то какая-то заноза в душе навсегда осталась. И позже, через год или два, когда я ездил на дядином велосипеде, сначала под рамой, а потом стоя или садясь на седло после разгона, все равно я не забывал ничего.

Тетушка поехала в Тбилиси и через неделю вернулась. Опять говорила о том, как ее принимало большое начальство, как ее вежливо усаживали, внимательно выслушивали и даже якобы возмущались несправедливостью местных властей, которые, по ее словам, все выскочки, а настоящие люди только там.

Ей удалось передать одежду и деньги, она даже рассказывала, что видела дядю на вокзале, когда их куда-то отправляли эшелонам. Она сказала, что выглядел он прекрасно, только голову ему некрасиво побрили, что он даже улыбнулся ей и крикнул, что скоро увидимся.

Все это было похоже на фантазию, но и время было фантастическое. Газеты были переполнены сообщениями о злодеяниях врагов народа, повсюду искали вредителей.

Достаточно было в городе кому-нибудь отравиться несвежей рыбой, как выползали слухи, что на консервной фабрике засели вредители. Исчезали самые неожиданные люди. Бывало, еще вчера человек на митинге или по радио призывал к беспощадной классовой борьбе с врагом, а сегодня сам, как бы не договорив речь, летел в пропасть.

Даже мы, школьники первых классов, тоже были вовлечены в эту борьбу. На книжных иллюстрациях, на обложках тетрадей мы находили каббалистические знаки, зловещие письма тех вредителей. Еще вчера напечатанные в учебниках портреты руководителей государства и маршалов сегодня вычеркивались.

Вот одно из забавных наблюдений тех лет. Я заметил, что в те времена на лицах взрослых, главным образом городских людей, появилось что-то новое и очень смешное. Теперь, вспоминая эти лица, самые различные и в самых различных положениях, повторяющие одну и ту же гримасу, я могу сформулировать свое наблюдение так: на лицах людей появилось выражение политической настороженности.

Иногда, казалось бы, у человека совсем другое выражение на лице, но какой-то миг, какая-то быстрая перемена во внешней обстановке, которую он не сумел осознать и дать ей оценку, — и это выражение настороженности выпархивает на лицо. Точнее сказать, не успев осознать быструю перемену во внешней обстановке, он ее осознает как враждебную вылазку, даже если эта перемена вызвана явлением природы.

Неожиданный порыв ветра попытался сдуть с головы человека шляпу, он хватается за шляпу и всей позой выражает готовность догнать и наказать нарушителя. Неожиданно тронулся поезд или неумело затормозил — вскидывается голова: «Что еще там?» Знакомый сзади хлопнул по плечу, какнула пролетающая птичка на рукав, рука на мгновение застывает в воздухе — сохранить улики преступления! Гаснет в комнате свет и не успел еще погаснуть (быстрее света, что ли?), как появляется на лице выражение настороженности, всеобщей мобилизации бдительности.

Тот, кто устроил все это, хорошо понимал одну важную сторону человеческой психологии. Он знал, что человеку свойственно жгучее любопытство к потустороннему. Человеку доставляет особую усладу мысль, что рядом с обычной, нормальной жизнью идет тайная жизнь, чертовщина. Человек не хочет смириться с мыслью, что мир сиротливо материален. Он как бы говорит судьбе: если уж ты меня лишила Бога, то по крайней мере не лишай дьявола.

Без этой могучей встречной волны, без желания гипнотизируемых быть загипнотизированными предприятие не имело бы такого грандиозного успеха.

Разумеется, наряду с этой тайной склонностью природа человека, его разум обладают могучим свойством разоблачать демонов ночи, и одно из испытанных проявлений этого свойства — смех. Больше петушиного крика дьявол боится смеха.

Звук смеха — как сноп света. Может быть, смех — это озвученный свет?

Улыбка — струение света.

Держу пари, если бы у обыкновенного гипнотизера спросить, что ему больше всего мешает во время массовых сеансов, он ответит: смех в зале.

\* \* \*

Помню первое письмо от дяди. Его читали и перечитывали, его воспринимали как начало освобождения.

Он писал из какой-то неслыханной бухты Нагаева. Писал, что работает грузчиком в порту, чувствует себя хорошо. Просил прислать теплых вещей и побольше чеснока, потому что начиналась цинга. И еще просил матери ничего не говорить о своем аресте, так как он кристаллически чист и его, наверное, скоро освободят.

— «Кристаллически чист», — гордо повторяла тетушка. — Я же знала, что мой брат не может быть замешан в грязные дела.

Я писал ему бодрые пионерские письма, хвастался хорошей учебкой, раз даже зачем-то обвел ладонь карандашом и таким образом как бы послал ему отпечатки своих пальцев.

Он продолжал писать, но с каждым новым письмом чувствовался как бы нарастающий крик. Он нервничал и даже сердился на нас за то, что мы не можем написать кому следует, что он не знает даже, в чем его обвиняют.

Откуда ему было знать, что письма писались во все концы! Однажды даже поручили мне, чтобы разжалобить, написать самому Берии. По преданиям, он когда-то учился с дядей в реальном училище. В ответ приходили вежливые бумаги, где говорилось, что в деле вашего дяди (вашего брата, вашего сына, вашего мужа) разберутся и о результатах сообщат.

Годы шли, но в деле дяди так никто и не разобрался. Потом переписка заглохла, потом война...

Я рано научился ездить на старом дядином велосипеде. Он двигался судорожными рывками, потому что я изо всех сил нажимал на педали, чтобы они успели перекрутиться, так как я еще плохо доставал до них. Ноги мои были покрыты лиловыми прочными синяками. Машина имела хороший ход, работала долго и терпеливо, как будто дожидалась своего хозяина. Потом тетушка и его ухитрилась продать. Страх перед временем усиливал слабости ее легкой натуры — она все продавала.

Дядя так и не вернулся. С годами боль улетучилась, оставив каплю яда в крови и воспоминание о нем, как о далеком

солнечном дне. И только бабушка с неутихающей яростью молила своего глуховатого Бога вернуть ей сына. Обычно она молилась, стоя лицом к окну, возле дядиногo письменного стола. В такие минуты, чтобы не мешать, никто к ней близко не подходил.

Однажды я подошел к стене и посмотрел на нее сбоку — бабушка держала в руке рюмку водки, и это меня потрясло. Оказывается, она прятала бутылку за ставней. Бедная бабушка молилась в день по пять-шесть раз. Молитва, поддержанная рюмкой водки, наверное, утешала, но все же она умерла, так и не дождавшись сына.

Изредка, бывая у своих, я заглядываю в письменный стол дяди, перечитываю письма его друзей и женщин, еще пахучие и нежные. Как ни странно, в городе его еще хорошо помнят. Иногда, назвав себя в каком-нибудь учреждении, я вижу, как светлеет лицо пожилой женщины и она спрашивает с каким-то молодым любопытством:

— Вы не сын?

— Племянник, — отвечаю я, как в давние годы, и вижу, как задумчиво теплеют глаза женщины.

После двадцатого съезда пришло письмо о реабилитации дяди. В эти дни я случайно встретился с Оником, теперь работником следственных органов. Я знал, что ему поручена проверка такого рода дел. Он, не дожидаясь моего вопроса, сказал, что видел папку с делом моего дяди.

— Что же в ней было? — спросил я.

— Ничего, — сказал он и развел руками.

Я вспомнил одну горькую подробность нашей переписки. Когда установилась более или менее регулярная переписка с бухтой Нагаева, где он находился в заключении, он в каждом письме спрашивал об отце, удивляясь, что отец ему не пишет. Сначала он спрашивал, не постигла ли отца та же участь или не боится ли он переписки с осужденным братом, но мы никогда не отвечали на этот его вопрос, всегда обходили его. И он перестал спрашивать об отце.

Я еще тогда заметил, что письма оттуда были свободней по духу и по фактам, чем письма туда. Мы не могли ему написать, что отца с нами нет, потому что с воли в тюрьму не принято было сообщать печальных вестей, тюрьма должна была думать, что воля цветет пышным цветом, как бы намекая тем самым на правильность массовых арестов. Может быть, многие заключенные, получая эти оптимистические письма, думали про себя: меня-то, конечно, взяли ошибочно, но в целом это была правильная политика, потому что избавила страну от тысячи вредителей и привела ее к расцвету.

Мы никогда не узнаем, догадался ли дядя, почему отец ему не пишет. До реабилитации оставался слабый лучик надежды, что он все-таки жив, что ему просто запретили переписку. Теперь, разумеется, никакой надежды не оставалось.

\* \* \*

Мой отец был прирожденным неудачником. Можно сказать, что ему иногда везло, но чаще все-таки не везло. Быва-

ло, если в чем-либо повезет, то сейчас же в чем-нибудь другом не повезет, так что становилось хуже, чем до того, как повезло.

Насколько я знаю, только один раз было наоборот, то есть сначала было плохо, а потом хорошо.

В гражданскую войну он каким-то непонятным образом попал в Одессу, и его схватили во время облавы или еще чего-то там. У него уже тогда с документами было не все в порядке, я думаю, что скорее всего у него их вообще не было.

Одним словом, его засадили в камеру смертников вместе с какими-то спекулянтами. Может быть, решили, что он привез в Одессу мандарины или еще что-то? Хотя в те времена у нас цитрусовых не производили, так что и с мандаринами не получается. В те годы он работал на кирпичном заводе, и единственное, что он мог привезти в Одессу, — это кирпич. Но во время революции никто не покупает кирпичей, даже если их и пускают в ход во время баррикадных боев. Одним словом, я не знаю, как он попал в Одессу.

Просидел он двое суток в камере, но долго тогда в тюрьме не держали, потому что заключенных надо кормить, а время было голодное. И вот вывели их на тюремный двор, пересчитали на всякий случай и уже собирались посадить в грузовик, как вдруг появляется тот самый комиссар. Отец когда-то, до революции, спас его. За ним охотились жандармы. Отец спрятал его на чердаке нашего дома, потому что жандармы в те времена чердаки не обыскивали. Он там у него просидел больше месяца. В конце концов жандармам надоело его ис-



кать, и он с помощью отца ночью сел на турецкую фелюгу и удрал. Тогда отец, конечно, не знал, что этот человек станет красным комиссаром, но, видно, делать добро бывает выгодно — может пригодиться. А может и нет. На этот раз пригодилось. Узнал его комиссар. Не мог не узнать. Отец мой был видный мужчина. Высокий, в папахе, и усы.

— Ибрагимыч! — крикнул ему комиссар. — Видно, ты в рубашке родился!

— Васильич! — крикнул отец. — Чуть не сняли рубашку!

— Что же, — говорит комиссар, — ты, старый подпольщик, без документов гуляешь по Одессе?

— Да и ты, — говорит отец, — гулял у меня по чердаку без документов.

Отец мой был острый на язык и за словом в карман не лез.

— Ну, — говорит комиссар, — езжай домой. Пусть твоя мамаша приготовит индюшку по-абхазски, с перцем. Приеду в гости, как только закончим.

— Кончайте скорей, — говорит ему отец, — а то не только индюшек, кур не будет к тому времени.

Дал ему комиссар буханку хлеба, справку и посадил на паром.

— Хлеб, — говорит, — можешь съесть, а справку не теряй.

— Если сейчас там меньшевики, — ответил отец, — придется и справку съесть.

— Для меньшевиков у меня одна справка. И ты знаешь, какая?

— Чуть не узнал, — говорит отец.

Он тогда благополучно добрался до Абхазии, правда, я не знаю, пришлось ему справку съестть или нет.

Об этой веселой истории он часто рассказывал, сидя за самоваром, потому что любил пить чай. Самоварный чай собственной заварки.

Однажды к нам неожиданно приехал в гости сам комиссар Васильич. Он был высокий, грузный человек с красным лицом и с орденом Ленина, привинченным к пиджаку. Я впервые видел орден Ленина на живом человеке и почти весь вечер просидел у него на коленях, рассматривая орден и иногда трогая его рукой. Из-под ордена высовывался лоскуток красной материи. Орден лежал на нем, как на флажке. Красный лоскут такого же цвета, как и лицо комиссара, и это почему-то было приятно. Мне казалось: и орден, и комиссар сделаны из того же материала, из которого сделаны сама гражданская война и книга об этой войне в красном переплете, которую мы, ребята тех лет, листали с таким интересом.

Весь вечер комиссар и отец пили вино и вспоминали о том, о чем я уже рассказывал. Меня слегка беспокоило, что на столе нет обещанной индюшки, но комиссар не вспоминал, да и закусок было достаточно.

Вдруг отец и комиссар заговорили о чем-то другом. О чем они говорили, я не понимал, но чувствовал, что разговор какой-то тревожный. Я запомнил только два слова, которые теперь все время мелькали, — «диктатура пролетариата».

Что-то грозное и красивое было в этих словах, и вместе с тем, казалось, они в какой-то опасности. Но слова были та-

кие красивые и храбрые, что я был уверен: они расправятся с любой опасностью или, в крайнем случае, вырвутся из нее, как партизаны из окружения.

— Диктатура пролетариата, — начинал Васильич, тяжело склонившись над столом, и огненные мурашки пробегали по моей спине. Дальше я не понимал, да и не мог понять, может быть, потому, что они сразу заполняли в голове все пространство, отпущенное на слова. Для других слов просто не оставалось места.

— Да, но диктатура пролетариата, — отвечал мой отец, и снова огненные мурашки пробегали по моей спине. Так сидели они весь вечер и говорили, а я смотрел на красный орден и слушал.

— Хай живе Украина! — неожиданно воскликнул отец и поднял стакан.

— Хай живе! — подхватил комиссар и ударил кулаком по столу. Может, даже не ударил, а просто опустил на стол, забыв про его тяжесть. Он так опустил его, что некоторые тарелки перевернулись. Но бутылка с вином не перевернулась, потому что отец успел ее подхватить.

Мама выглянула в дверь и плотнее ее прикрыла. Она думала, что они говорят что-нибудь лишнее, потому что плохо понимала по-русски. (Сейчас я думаю, что она все-таки была права, хоть и плохо понимала по-русски.)

Комиссар прожил у нас несколько дней. Утром он уходил с отцом, а вечером приходил.

— Как зацапаю, — говорил он шутливо, увидев меня, и, огромной ладонью обхватив мои штаны, поднимал ме-

ня на воздух и покачивал на руке возле своего лица. Я старался не шевелиться, потому что шевелиться было больно — вместе со штанами он прихватывал и вминал в свою могучую ладонь мои не слишком мясистые ягодицы. Потом он осторожно ставил меня на пол и доставал из кармана мои любимые конфеты — «раковые шейки». Примерно через год комиссар переехал жить в наш город, и мы с отцом иногда встречали его на улице. Теперь он уже не был комиссаром, вернее, оставался комиссаром, но уже не работал им, хотя все еще был каким-то начальником. Так, по крайней мере, я это понимал тогда.

Мама часто приставала к отцу, чтобы он попросил Васильича устроить его на хорошую работу. По этому поводу у них часто бывали ссоры, и отец говорил, что она ничего не понимает в этом деле и что Васильич не может ему помочь.

— Он все может, у него орден, — упрямо отвечала мама.

Дело в том, что мама завидовала семье Богатого Портного и хотела, чтобы отец учился у него жить. Но отец равнодушно отмахивался.

— Нам его не догнать, — говорил он.

— А ты попробуй, — советовала мама. Но отец не пробовал.

У Богатого Портного было много клиентов. Иногда за ним посылали машину, и он уезжал к своим заказчикам. Целыми днями он копошился в своей комнате и только иногда в самую жару выходил во двор, садился на скамеечку и вытягивал одну-две чашки кофе по-турецки, которые приносила ему

жена. Маленький, потный, нагло-робкий, он сидел а своей сетчатой майке с небрежно закинутой за шею ленточкой сантиметра и рассказывал о своих клиентах. Глядя на него, я вспоминал слова отца о том, что нам за ним не угнаться. Было похоже, что отец и в самом деле прав, потому что ленточка сантиметра висела у него на шее, как финишная ленточка, он ею время от времени вытирал свое потное лицо, может быть, в знак того, что она оборвана именно им или просто для того, чтобы даром не висела, если уж сам он иногда вынужден отдыхать.

— Люди живут! — говорил он с видом человека, который один знает, что делается в мире. — Запомните мое слово, люди живут...

Увидев маму, он обращался к ней с одними и теми же словами:

— Хозяйка, рубим кыпарыс, да?

— Зачем? — спрашивала мама, сдерживая ненависть.

— Сырост дает, крыш портит, — перечислял он.

— Не твой отец сажал, не ты срубишь, — безжалостно отвечала мама.

Кипарис рос под нашими окнами и был самым большим и самым красивым деревом на нашей улице. В гуще его хвои вечно копошились и чирикали воробьи, и хотя тень от него была не очень широкая, зато самая густая и прохладная.

Правда, с него сыпалась хвоя и часть ее попадала на крышу, и никому в голову не приходило, что от нее ржавеет крыша, пока Богатый Портной не стал Богатым Портным и не пе-

реселился в комнату на верхнем этаже нашего дома, так что он стал хозяином и части захвоенной крыши. А до этого он жил во дворе в довольно жалкой пристройке. А еще раньше, когда нас не было, отец привез его откуда-то, как приблудную собачонку, и поселил в этой пристройке. Мама отчасти не любила его из-за того, что понимала, с чего он начинал. Возможно, она считала, что кривая его благополучия слишком резко пошла вверх. Человек, который богатеет на наших глазах, всегда кажется нахалом.

Правда, и работал он, надо сказать, с непостижимым упорством. До самой поздней ночи верещала его швейная машина. Может, он сам старался догнать тех самых людей, о которых он говорил: «живут»...

Время от времени он покупал к себе в дом какую-нибудь вещь, и мама воспринимала каждую его покупку, как удар по престижу нашей семьи.

— Пока ты сидел в кофейне, он купил шифоньер, — говорила она вечером отцу.

— Ну и что? — отвечал отец с неистребимым равнодушием к чужим успехам, что особенно раздражало маму. Вскоре Богатый Портной начал складывать в нашем подвале свою старую рухлядь, потому что в доме у него собралось слишком много вещей.

В общем-то он был человеком довольно безвредным, только любил хвастаться своей удачливостью. И клиенты у него лучше всех, и вещи, которые он покупает, самые дешевые и при этом самого лучшего качества. Правда, однажды он дал

промашку, и об этом в нашем дворе долго помнили и говорили. Он попался на удочку собственного тщеславия. Один шофер как-то привез дрова, остановился у нашего дома и дал сигнал. Богатый Портной вышел на балкон, и они стали торговаться. Должно быть, они так и не сторговались, потому что шофер влез в машину и сказал:

— Я думал, здесь только ты можешь купить столько дров, но, видно, ошибся.

— И ты не ошибся, — сказал Богатый Портной, — въезжай.

И шофер въехал во двор. Потом оказалось, что в машине было не семь кубометров дров, как говорил он, а только пять. Это выяснилось не сразу. Это выяснилось после того, как пильщики распилили ему дрова, получили деньги за семь кубометров и ушли. А потом они расхвастались об этом на базаре. И на следующий день одна из женщин с нашего двора принесла новость с базара вместе со свежими овощами. Двор с удовольствием слушал, как Богатый Портной ругался. Он ругал пильщиков и свою жену, которая их наняла. Про шофера почему-то не вспоминал.

Вот этому портному и его семье мама завидовала и упрекала отца в безалаберности.

Теперь-то я думаю, что мы жили не намного хуже его, но у нас не было того поступательного движения, той древней поэзии улучшения гнезда, без которой до конца не может быть счастлива ни одна женщина.

Мама считала, что дело все в хорошей работе, но отец или не мог ее найти, или был доволен своей.

Помню его на угольном складе с руками черными и пропахшими земляной сыростью, тайной нераскрытого клада.

Помню его на каком-то яблочном предприятии. Горы яблок, а я босой хожу по ним, выбираю самое лучшее и никак не могу выбрать. Только найду красное, приходится бросать, потому что вижу другое, еще более румяное, крутое, красивое. Отец стоит рядом и посмеивается.

Бывало, когда мы шли с отцом на море, или на базар, или еще куда-нибудь, нам на улице встречался Васильич. Они приветствовали друг друга, приподняв руку над головой.

— Мое почтение, Васильич! — говорил отец.

— Привет, Ибрагимыч! — отвечал комиссар, приподымая руку.

Мне нравился этот жест, эта сильная мужская рука, приподнятая над головой. Мне чувствовалось в этом жесте что-то особое, как бы горьковатое приветствие из далеких времен и немного ленивое презрение к чему-то. И теперь, когда я мысленно вспоминаю этот жест, я вижу в нем еще что-то. Может быть, понимание того, что за порядочность так или иначе надо платить.

Иногда они останавливались возле пивной будки и выпивали по кружке пива. Прохожие оглядывались на Васильича, вернее, на его орден. Я старался стоять к нему поближе. Комиссар стоял задумчивый, отяжелевший, с тяжелой кружкой в руке. Иногда он вспоминал свою шутку и, посмотрев на меня, говорил: — Как зацапаю...



Но больше он меня почему-то не подымал, хотя конфетами все еще угощал. На вид он был какой-то сумрачный, рассеянный, было похоже, что ему некуда спешить, не сейчас некуда спешить, а вообще некуда спешить. Я думал, что в нашем городе нет и не может быть работы, достойной его, и ему здесь просто скучно.

— Что ты думаешь об этом? — как-то спросил он у отца.

Они стояли в тени ларька и пили пиво. Васильич стоял спиной к ларьку, облокотившись о прилавок, и смотрел на улицу. Я думал, что на улице что-нибудь случилось, и оглянулся, но ничего не увидел.

— Думаю, что тебе пора ко мне на чердак, — сказал отец и отхлебнул из кружки.

— Подождем, — сказал Васильич и, удобней откинувшись спиной, плотно уперся локтями о прилавок.

— А по-моему, ждать нечего, — сказал отец, — самый раз. Хочешь, проведу электричество?

— А ты смотри, чтобы тебя самого... — сказал Васильич и усмехнулся.

— За что? — спросил отец.

— За связь с бывшим подпольщиком, — ответил Васильич, и они оба рассмеялись. Я понял, что они шутят, что комиссар не собирается к нам на чердак, но с чего они так шутят, я не понимал.

Вспоминаю — громадная очередь у входа в магазин. Очередь топчется, колышется, гудит. У входа, как всегда, давка. Дают сахар и хлеб. Я стою на той стороне тротуара и жду отца. Он уже в магазине.

На стене какого-то здания рядом с очередью висит огромный плакат. Он изображает веселого, танцующего человека, с летящими руками, с развевающимися полами черкески, с головой, повернутой в сторону вытянутых рук. Он смотрит на свои улетающие руки с улыбкой, он как бы говорит им: летите, голуби! Человек показывает свое веселье, и чтобы это всем было ясно, под плакатом надпись крупными буквами: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Мне кажется, что это он говорит, потому что точно так же в немых фильмах то, что люди говорят, писалось на кадрах.

Я долго жду отца. Мне скучно. От нечего делать я раз двадцать перечел эту подпись под плакатом. Я чувствую, как постепенно все сильнее и сильнее меня начинает раздражать этот веселящийся человек с пустующими рукавами черкески. Я чувствую какую-то постыдную неуместность его веселья возле очереди. Я не против его веселья, но мне кажется — лучше бы он веселился где-нибудь возле кино, или в парке, где по вечерам играет музыка, или в крайнем случае у себя дома.

Наконец, показывается высокая фигура отца, выдирающаяся из очереди, как из кустарника. В одной руке у него кулек с сахаром, в другой — буханка хлеба.

— Бегом домой, — говорит он и передает покупки, — я скоро приду.

Он уходит в кофейню. Я знаю, что он не скоро придет, но мне радостно бежать домой с горячим хлебом под мыш-

кой, с плотным кульком сахара. По дороге я отламываю еще теплые куски хлеба, макаю в зернистый сахар и ем. Вкусно, хорошо.

Отец работает в какой-то конторе по заготовке драни. Мы едем на Кубань. До Туапсе пароходом. Мама счастлива — кофейни остались позади. Ночь на палубе. Я лежу у самого борта на каких-то мешках. Сладчайшее ощущение уюта, слаженности жизни, какой-то определенности, порядка, чего так не хватало в нашем быту. И все потому, что отец работает в какой-то конторе по заготовке драни и у него командировка на Кубань. Все, как у людей, к чему всю жизнь стремилась мама и чего не могла достигнуть. На палубе табор каких-то незнакомых, крикливых, веселых людей. Рядом со мной сидят мама и отец, притихший, как мне кажется, смущенный своей добропорядочностью.

Я то засыпаю, то, вновь просыпаясь, слышу голоса людей, звук гитары, смех и под этот успокаивающий шум необыкновенно сладко засыпать.

Просыпаясь, я смотрю на небо, полное спелых черноморских звезд. Время от времени мачта прочерчивает дугу в темном небе. Кажется, она хочет сбить с неба звезду... Так у нас в деревнях осенью длинной палкой сбивают с деревьев грецкие орехи. Но мачта все время промахивается.

«Левой, правой», — шепчу я, но ничего не получается. Мачта все время промахивается, а звезды иногда падают сами, на миг размазывая по темному небу золотистый след.

Я ощущаю всем телом опускающуюся и задумчиво поднимающуюся громаду парохода, слышу обильное шипение забортной воды и вновь засыпаю.

Дешевизна кур в Туапсе потрясла мою маму, она чуть было не приостановила наше путешествие, но мы все-таки доехали до нашей конечной цели — станицы Лабинской.

Здесь мы попали в море дешевого молока, и мама окончательно успокоилась. Это был месяц сытой и медленной жизни. Батареи банок с простоквашей в прохладном углу нашей хаты, пыльные улицы, пыльные деревья, голоногие женщины, лущающие семечки и вынимающие их прямо из золотых чаш подсолнухов, ленивый скрип колодезных журавлей.

Как-то мама ушла на базар, поставив в прохладный угол комнаты кастрюлю молочной рисовой каши. Это была кастрюля средних размеров. Играя вокруг нее, я незаметно съел всю кашу. Несколько позже выяснилось, что я объелся. Это было единственным тревожным событием в нашей кубанской жизни. С месяц мы жили в этом пыльном молочном раю, а потом уехали домой, и, видно, напрасно.

К нашему приезду выяснилось, что контору по заготовке драни слили с какой-то другой конторой. В суматохе про отца как-то забыли, и он остался не у дел.

Мама с удвоенной яростью принялась за отца, и теперь ему ничего не оставалось, как сходить к Васильичу. Но и тут он опоздал.

В этот день отец пришел только вечером, хотя мы его ждали к обеду. Он был выпивши. Отец умел пить, и стакан в его

большой руке казался слишком маленьким. Он никогда не шатался, только делался молчаливым и веки у него тяжелели. Таким он и был на этот раз.

— Ну что? — сказала мама, выждав, когда он вошел.

— Васильича взяли, — сказал отец, помедлив и не снимая тужурку, уселся за стол, словно теперь ему незачем было снимать тужурку, словно то, что он сказал, подразумевало, что и ему недолго здесь оставаться, так что даже тужурки снимать, может быть, не стоит. В комнате стало тихо.

— Ну что ж, — сказала мама, — ты все-таки разденься, — и вышла из комнаты подогреть отцу обед.

Было бы преувеличением сказать, что, после того как отец потерял работу, мы впали в нищету. Насколько я помню, почти ничего не изменилось. Нам помогали деревенские родственники, к тому же мы сдали внаем одну из двух наших комнат.

Квартирант заплатил сразу за несколько месяцев вперед. Возможно, он это сделал, чтобы смягчить впечатление от своей болезни, он оказался припадочным. Припадки его нас не особенно беспокоили, потому что у нас у самих был сумасшедший дядя. Можно сказать, что у нас была прочная прививка против суеверного страха перед всякого рода ненормальными явлениями.

У квартиранта был цветущий интеллигентный вид. Детский румянец на его щеках казался мне странным. Я думал, что это у него от припадков, потому что лица взрослых людей с нашей улицы обычно были изможденные, может быть, не

столько от трудов, сколько от бесполезных страстей и несбыточных надежд.

Когда он по утрам вместе с женой уходил на работу, соседи жалостливо качали головами и говорили: «Кто бы подумал... а на вид такой интеллигентный...»

У нас еще оставалась комната и веранда, которая по нашему теплому климату вполне могла сойти за вторую комнату.

Правда, в это время (как и во все времена) у нас жили двоюродные сестры из деревни — приехали учиться. Кроватей на всех не хватало, но места на полу еще оставалось много. Лично мне кровать была ни к чему, потому что в тот беспокойный период своей жизни я все равно скатывался на пол, так что кровать мне даже была вредна. Но мама из какой-то непонятной гордости старалась затолкнуть меня в кровать, даже если при этом приходилось лишний матрас выстилать перед кроватью, чтобы я не слишком стучался головой, скатываясь на пол. Так вот, после того как мы сдали комнату, мама начала растревать свою давнишнюю рану, упрекая отца за дом, который у нас, оказывается, когда-то был.

История этого дома такова. Еще до революции или в начале двадцатых годов один грек, приятель отца, потерял казенные деньги, скорее всего даже проиграл в карты или нарды. Отцу ничего не оставалось, как заложить дом и выручить его из беды. Все было хорошо, но в один прекрасный день, — я думаю, скорее всего то была ночь, — этот самый грек, ни с кем не попрощавшись, уехал в Афины. Он сбежал. Наш дом (но нас с мамой тогда еще не было, хотя дом уже был наш)

отошел кому-то, а грек время от времени присылал из Афин длинные покаянные письма. Обещал прислать маслины, но так и не прислал. Письма присылал он еще долго. Уже мы, дети, родились, выросли, научились читать, а письма все шли и шли. Отец успокаивал его, писал, что мы живем в новом прекрасном доме, но тот не унимался. С каждым разом понять его было трудней и трудней, потому что он забывал русский язык. В конце концов мы перестали в них что-либо понимать и не знали, что с ними делать, пока я не догадался отлеплять от конвертов марки и обменивать их на самые ценные кинокадры из картины «Чапаев».

В те времена в наших краях жило много турок, греков, персов. Жили они на черноморском побережье с незапамятных времен.

Местное начальство изредка начинало их как бы слегка притеснять, чтобы посмотреть, что они будут делать. Но они ничего не делали и, может, от этого становились еще более подозрительными.

Порой, наоборот, их начинали обхаживать, даже слегка баловать, как потомков бывших иностранцев. Все зависело от международного положения. Может быть, поэтому они были самыми шумными политическими комментаторами приморских кофеен.

Одним словом, к ним приглядывались и до поры до времени терпели. Но тут терпение лопнуло, и их решили выслать по месту происхождения. Возможно, они слишком вяло врас-тали в социализм.

Отец, конечно, попал в число самых первых, которых высылали по месту происхождения. Он ездил в Москву хлопотать, чтобы его оставили, но ничего не получилось. Один наш родственник уговаривал его уехать в горы и жить там вместо его брата, потому что брат его умер, а колхозная книжка осталась.

Отец тогда не решился, и мы все об этом жалели, потому что через полгода международное положение изменилось и никого не стали никуда отправлять. Ему бы полгода просидеть в горах, и он, может, до сих пор был бы с нами. Да видно не судьба.

Отъезд отца помню смутно. Мы стоим у поезда на перроне. Часть едет, часть провожает. Видно, было еще тепло, потому что рядом с отцом стоит человек в белом костюме и держит за руку быстроглазого, кучерявого мальчика. Зовут этого мальчика Адиль. Он постарше меня, этот мальчик, и все время рвется куда-нибудь — то за тележкой носильщика, то за какой-то собакой, то в сторону лимонадного киоска. Кажется, отпусти его отец — и он разбежится в разные стороны. Но человек в белом крепко его держит за руку. Он пьян и мрачен, этот человек.

— Наши отцы здесь жили с незапамятных времен, — говорит он, — и пусть этот поезд разобьется.

— Тише! — испуганно говорит ему жена, такая же быстроглазая, как и этот мальчик, — помни, что мы остаемся.

Она держит за руку девочку, которая в отличие от брата все время прижимается к матери.



— Дай Бог, международное положение! Дай Бог, чтобы все живы-здоровы вернулись домой, — говорит старый Алихан, провожая своих друзей.

— Наши отцы с незапамятных времен, — начинает человек в белом костюме. Рядом мальчик, быстроглазый, кучерявый, веселый. Он мотается на его руке, как на привязи.

— Пусть этот поезд не доедет до Баку, пусть разобьется, — говорит человек в белом костюме.

— Эй, гиди, дунья! — печально умиротворяет Алихан.

Потом, помню, мы в вагоне. Провожаящие решили проехать до ближайшей станции Келасури. Кроме смутной тревоги и какого-то странного любопытства, я ничего не чувствовал и не понимал.

Но вот поезд стал подходить к станции. Он дал гудок, и неожиданно весь вагон заревел, и этот страшный рев слился с пронзительным гудком паровоза, словно голоса людей с яростью накинулись на этот гудок, словно они хотели заглушить, заткнуть, затоптать его силой своего отчаяния. И, словно не выдержав, гудок оборвался, и только стало слышно, как мчится и мчится ревуший вагон.

И остались в памяти заплаканные лица женщин, с бессмысленным выражением глаз, с беззвучно кричащими ртами, с растрепанными и отброшенными волосами, словно бил им в лица и запрокидывал головы невидимый ветер.

Не знаю почему, я не заплакал. Мне стало страшно за отца и стыдно за всех. Вся родня плакала, обнимая его и целуя, как покойника. Тогда я этого не мог осознать, но сильнее

всего было чувство стыда за этот обнаженный эгоизм горя. «Не смейте! — хотелось крикнуть мне. — Он еще живой, он еще вернется!» Какой-то ком с невероятной силой сдавил мне горло.

— Мама!

— Адиль!

И заплаканное лицо проводницы с фонарем — последнее, что я увидел. Поезд ушел, а мы остались на станции Келасури. Интересно, что через много лет я узнал, что этот кучерявый, быстроглазый мальчик стал известным в Иране революционером, его так же преследовали жандармы, как когда-то Василича. Неисповедимы пути человека!

После отъезда отца маме надо было куда-нибудь устраиваться на работу. Мама была женщиной малограмотной, то есть считать умела лучше, чем читать, и поэтому пошла в торговлю.

Наш припадочный квартирант с отъездом отца впал в обратную крайность, стал месяцами не платить деньги. Потом он неожиданно стал надменным. Он перестал здороваться с намеком, а потом и вовсе перестал платить за квартиру, о чем прямо сказал маме. Мама предложила ему убраться, он не согласился.

Мама подала в суд. Началась эпоха судебных войн, длительной осады, ложных выпадов и обходных маневров. Борьба шла с переменным успехом. От разговоров о защитниках, кассациях, обжалованиях некуда было деться, и мы волей-неволей следили за развитием дела.

Первый раз он выиграл, сумев доказать, что раз отца выслали, значит, он был человеком подозрительным и, значит, семья такого человека не имеет право отбирать комнату у честного служащего.

Знакомые советовали маме оставить это дело. Они боялись, что нам будет еще хуже! Но не тут-то было!

Бесстрашная кровь абреков текла в жилах моей матери. Ее оскорбленная ярость, как горный поток, хлынула по бесчисленным каналам судопроизводства.

После первого проигрыша к нам в окно неожиданно постучал Богатый Портной.

— Хозяйка, — сказал он, стараясь не смотреть маме в глаза, — кыпарыс рубим, да?

— Только попробуй, — сказала мама.

— А что будет? — полюбопытствовал Богатый Портной.

— Твою голову отрублю твоим же топором, — сказала мама просто.

— Хозяйка, чересчур, — сказал Богатый Портной задумчиво и отошел.

На следующий день к нему в гости приехал его давний клиент, начальник автоинспекции. Богатый Портной устроил ему обед и всей семьей провожал его до мотоцикла. Начальник автоинспекции, сидя на заведенном мотоцикле, долго прощался с многочисленной семьей Богатого Портного. Выглядело внушительно. И хотя начальник автоинспекции нам ничего не сказал, возможно, он даже не знал тайной цели своего приглашения, но это была явная демонстрация силы.

Но мама не испугалась. Она ответила контрдемонстрацией. У нас был знакомый абхазец из пожарной команды, и мама его привела. Он осмотрел подвал, где лежали старые вещи Богатого Портного, и предупредил его, что они представляют пожарную опасность для дома.

Богатый Портной притих. Потом он время от времени подымал голову, в зависимости от течения нашего основного дела, которое длилось больше года.

В это время я заметил одну странную вещь. Я был единственный человек в нашей семье, которого квартирант стыдился. Увидев меня, он резко отворачивал голову, тогда как на других он просто не обращал внимания, хотя я был самым младшим. Наверяд ли он подозревал, что я о нем когда-нибудь расскажу. Мне кажется, я смутно, но верно догадывался, в чем дело. Еще до того, как мы вступили в открытую войну, я иногда брал у него читать книжки. У него был огромный шкаф, наполненный разными чудесными книжками. То, что он делал, если и не противоречило тому, что делалось в жизни, противоречило тому, что было написано в этих книгах. Я это чувствовал, и он знал, что я это чувствую, и стыдился меня. Ему казалось, что я один знаю тайну его падения, и он отворачивался от меня. Но он ошибался, тайну его падения знал и весь наш двор, хотя книг почти никто не читал, кроме детей.

К этому времени знакомые научили маму нанять самого удачливого защитника по фамилии Суздаль, и дело пошло на выигрыш. Энергия мамы соединилась со стратегическим мастерством защитника.

Квартирант дрогнул, у него участились припадки, что было нам на руку. По совету защитника мама вызвала из деревни еще двух девушек, так что наш дом теперь напоминал небольшой интернат горянок, рвущихся к свету новой жизни. Запас этих юных горянок был неисчерпаем, как сама жизнь.

— Если надо, сколько хочешь позову, — сказала мама защитнику.

— Пока хватит, — рассчитал он.

Говорят, на суде в своем последнем выступлении он так поставил вопрос, что речь шла не о возвращении нашей комнаты, а о том, имеют ли право эти девушки, задавленные вековыми предрассудками своих диких предков (задавленные девушки все как на подбор были мощными, цветущими красавицами), теперь, после революции, шагать в ногу со временем и нести свет новой жизни в свои далекие села? А если имеют право, то как это совместить с упорством нашего квартиранта, который пугает их своими припадками, не говоря о тесноте, к которой эти девушки не привыкли и никак не могут привыкнуть, как выросшие на горных просторах нашей родины.

А в конце он спросил у суда, нет ли здесь сознательного желания приостановить или даже затормозить культурную революцию в горах Абхазии?

Говорят, суд ушел на совещание, а потом пришел и объявил, что сознательного желания нет, но комнату освободить он должен.

Назначили срок, к которому он должен был освободить комнату, но квартирант продолжал упорствовать и после истечения срока. И тогда пришел веселый милиционер и вместе с моим сумасшедшим дядей (не менее веселым) выволок на улицу имущество нашего квартиранта.

Наш поверженный противник продолжал грозиться. Нарочно, разбросав стулья и некоторые другие вещи, он стал их фотографировать. Он говорил, что пошлет эти фотографии в газету и тогда нам всем будет плохо. Но мы были спокойны, уже тогда мы знали, что такие фотографии в газету не примут.

Наш двор стоял возле его разбросанных вещей и смотрел, как торжествует справедливость. Я тоже стоял среди них и смотрел, как он, установив треножник и покрыв голову траурным покрывалом, фотографирует вещи. Рядом стояла его жена, худенькая, растерянная. Дети нашего двора, те, что поменьше нас, бегали перед его аппаратом, заслоняя вещи и стараясь, чтобы он их нечаянно щелкнул. Он их отгонял, но они снова налетали, чувствуя молчаливое одобрение своих родителей.

Он продолжал снимать, время от времени приостанавливая свое занятие, и выжидаяще смотрел на небо. Погода была пасмурная, и ему хотелось, чтобы пошел дождь, чтобы на снимках было видно, в какую погоду его выгнали на улицу. Но дождь так и не пошел.

— Анатолий, — тихо говорила жена его время от времени, — хватит, ну хватит...

И вдруг я неожиданно почувствовал смущающую душу жалость сначала к ней, а потом к нему. Даже в том, что дождь так и не начался, ему не повезло. Я хотел подавить в себе это постыдное чувство, но оно никуда не уходило, и тогда я сам ушел, чтобы не видеть это торжество на развалинах. В тот же день они уехали и наняли где-то комнату, а я забыл это непонятное, неожиданное чувство.

Но впоследствии много раз я испытывал еретическую жалость к поверженному врагу. И в студенческих спорах, и в более серьезных вещах я порой замечал в себе и в других эту пляску на развалинах, и в голосах победивших друзей мне слышалось тихое урчание, волчий призыв торжества, и тогда я чувствовал, что победителю дорога не истина, которую он доказал, а это мгновение превосходства, право унижить, растоптать своего противника. Вероятно, в себе я это замечал гораздо реже, чем в других, но иногда, замечая в близких мне людях, я чувствовал, как они становились далекими, а далекие, вопреки смыслу, вызывали тайное сочувствие. И тогда мне доставалось и от близких, которые не могли мне простить этого сочувствия, и от далеких, которым сочувствия было мало.

Вскоре после отъезда отца пришло первое письмо. Адрес был романтический и странный: город Решт, улица Хиабен-Шах, цветочный магазин Аллаверди. Это был адрес его друга, который прибыл из России, и мы потом всегда писали по этому адресу, потому что у отца не было своего постоянного. Отец писал, что ищет работу, скучает и надеется на скорое

возвращение. А потом переписка заглохла, мы не получали ответа на наши письма и не знали, что думать.

И вдруг во время Отечественной войны снова пришло письмо. Оказывается, многих приехавших из нашей страны заподозрили в шпионаже, арестовали и отправили на какой-то остров на каторжные работы. Условия там были такие, что люди умирали каждый день. И каждый из заключенных, писал отец, вырыл себе могилу, чтобы остающимся в живых не приходилось тратить последние силы на умерших. Но отцу, видно, было не суждено умереть в заключении. В это время наши войска вошли в Иран и оставшихся в живых освободили. Тень комиссара, как когда-то в Одессе, снова склонилась над судьбой отца.

Он писал, что работает десятником на строительстве железной дороги, которую строит какая-то русско-иранская компания. Чувствует себя хорошо, хотя и болеет, хлопочет о выезде на родину, но ему отвечают, что необходима просьба или запрос семьи отсюда, с нашей стороны. Эти просьбы, запросы, заявления писались в разные учреждения, которые вежливо отвечали, что необходимо с той стороны подтверждение его просьбы вернуться на родину.

Каждый раз, получив такую бумагу, мама просила меня получше перевести ей содержание, она так и не научилась понимать язык государственных учреждений, хотя разговорный язык освоила неплохо. Я переводил ей, как мог.

— Напиши им, что он уже старый, что он не может вреда принести, — говорила она.



— Я уже писал, — отвечал я.

— Напиши еще, — говорила она, и я писал.

Так шли годы. Переписка то возобновлялась, то глохла, в зависимости от международного положения, которое, даже если и улучшалось, то не настолько, чтобы отец мог вернуться.

Когда я был маленький, я думал, что отец вернется к нам еще до того, как я окончу школу. Потом я думал, что он вернется, когда закончится война, — тогда все так думали. Потом я думал, что он вернется после того, как я окончу институт. Но окончилась война, я окончил школу, окончил институт, а он все не возвращался. И я все реже и реже о нем вспоминал. И только мама молчала и упорно ждала его все эти годы и, работая с утра до ночи, находила в себе силы напоминать о нем и тормошить нас с хлопотами.

Уже после войны, когда я учился в Москве, мне посоветовали сходить в МИД и все рассказать. Я пошел. Часовой у входа легко пропустил меня в здание и показал телефон, по которому надо было позвонить. Я позвонил. Кто-то взял трубку и, узнав суть дела, прервал меня и назвал другой телефон, по которому мне посоветовали звонить. Я снова набрал номер и снова позвонил. На этот раз мне назвали третий номер. Я набрал третий номер. Казалось, равномерными толчками я прохожу в глубь учреждения и мой третий звонок улетел в непомерную даль, и я вдруг почувствовал всю несоразмерность, даже нагловатость моего желания заинтересовать

и заняться судьбой одного человека огромное учреждение, призванное заниматься целыми государственными и всемирными проблемами.

Человек, поднявший трубку на этот раз, спокойно выслушал меня и спокойно объяснил, что все это надо изложить в письме и прислать им...

...Однажды почтальонша постучала к нам в окно. Может быть, от неожиданности я вздрогнул, и мне стало не по себе. Я подошел к окну.

— Вам письмо, — сказала она и передала мне конверт. Я сразу заметил, что оно оттуда, но вместо того чтобы обрадоваться, я почувствовал, как у меня окоченела грудь. Я ничего не объясняю, я только хочу сказать, что так было.

Раскрыв конверт, я увидел свое собственное письмо, посланное туда с полгода назад. Ничего не понимая, я перевернул страничку письма и вдруг увидел в конце страницы — она была недописана — приписку крупным, дрожащим, старческим почерком: «Ваш отец умер в 1957 году, царство ему небесное. Аллаверди Ватинабад».

Что-то резануло в груди, как будто кто-то точным движением вырвал не слишком крепкий, но все же упирающийся корень. И теперь холод в груди проходил, и там, где только что резануло, появилась теплая боль.

Я смотрел на этот крупный старческий почерк, почерк человека, забывающего язык, и мне горько стало от того, что мне нечем было заполнить этот листок письма и в нем осталось место для последнего известия. Я подумал, что смерть

его началась с тех пор, как письма наши начали сокращаться, незаметно, произвольно, с годами.

В последних письмах он писал о том, что часто болеет и видит во сне нас, маму, родные места. «Наверное, к добру», — писал он.

Я вспомнил о тех заявлениях, которые по настоянию мамы я писал последние годы, где я старался преувеличить его старость, хотя он уже был на самом деле стар, преувеличить его болезни, хотя он уже был мертв.

Я подумал, что письма его за все эти годы пробивались к нам, как крики тонущего человека, а мы, его дети, постепенно уходили все дальше и дальше — и потому, что убедились, что нельзя помочь, и потому, что у нас начиналась своя жизнь. И только мама продолжала стоять на берегу и ждать. Но он и этого не видел. Нельзя сказать, чтобы он слишком досаждал нам своими криками. Десяток писем за двадцать лет.

И вдруг с необыкновенной ясностью всплыли картины, которые я никогда не вспоминал и не думал, что помню. Мы с отцом где-то за городом на берегу моря, и он мне читает «Тараса Бульбу». Отец в очках, он их надевал только во время чтения. Иногда он их снимает, зажигает папиросу, подставив очки под солнце, как увеличительное стекло. И чем дальше он читает, тем чаще приходится снимать очки и дольше держать их над папиросой, потому что солнце идет к закату, а книга волнует все больше и больше. И когда он доходит до того места, где старый Тарас слезает с коня и ищет свою люльку, я уже чувствую, что будет дальше, мне кажется,

и старый Тарас чувствует, что будет дальше, но он все-таки останавливается, и это так страшно, и так прекрасно, и так необходимо.

Потом я вижу отца, как он подходит к дикой шелковице, которая растет в нашем дворе. Пригибает ее еще тонкий молодой ствол и быстрыми, как мне кажется, небрежными движениями в нескольких местах расщепляет его финским ножом и плотно вставляет в эти расщепы несколько кудрявых веточек садовой шелковицы. Мне кажется, что из этого ничего не получится, но чудо состоялось, и в тот же год шелковица стала плодоносить.

Потом я вдруг вспомнил, что через год после его отъезда все дети нашего двора играли в какую-то игру. А потом возле нашего дома остановилась машина, и оттуда вышел отец Эрика. «Папа приехал!» — закричал Эрик и, забыв про игру, бросился к отцу. А моя сестра неожиданно расплакалась и побежала домой.

...Я вложил письмо в конверт и спрятал в карман. Надо было как-то подготовить маму.

\* \* \*

Два политических сна я видел в своей жизни, оставивших в моей памяти неизгладимый след. Для нашего поколения политика стала тем кровоточащим жизненным фоном, на котором воспринимаются и видятся почти все события нашей жизни.

Первый сон не стану рассказывать. Может быть, в другой раз.

Другой сон уже через много лет после XX съезда.

Кого-то хоронят. За гробом идут музыканты, толпа. Вдруг тот, кого хоронят, медленно приподымается из гроба и медленными взмахами рук начинает дирижировать оркестром.

Но, как это бывает во сне, оркестранты, несмотря на то, что он прямо перед ними, привстав из гроба, дирижирует ими, не замечают его, хотя и подчиняются медленным взмахам его рук.

И вдруг страшная догадка доходит до меня: он нарочно устроил свои похороны, чтобы посмотреть, кто его будет хоронить. Потом он всем, хоронящим его, отомстит. Особенно музыкантам. Это похороны Сталина.

Я надеюсь, что сон этот ничего не означает, кроме наших тревог о будущем. А если что-то означает, ну что ж, постараемся достойно встретить свою судьбу.

## морской скорпион

— Снасти здесь? Здесь. Сачок здесь? Здесь. Наживка здесь? Здесь. Сигареты взял?

— Да, — сказал Сергей Башкапсаров. Он сидел на средней банке, придерживая весла обеими руками, слегка балансируя ими, чтобы лодка не стала боком к волне, или лагом, как говорят моряки.

Хозяин, звали его Володя, придерживая лодку за корму, острым взглядом шарил в лодке, убеждаясь, все ли на месте, и, убедившись, что все на месте, мощно перебрал несколько раз мускулистыми ногами в закатанных брюках, вытолкнул лодку за линию прибой и, ловко впрыгнув в нее, крикнул:

— Гребите!

Прибой был не такой уж шумный, чтобы кричать. Но хозяин вообще все делал покрикивая. Крик его был следствием той особой повышенной нервности, некоторой безуминки, которая сама является следствием более или менее постоянной работы под открытым небом, на солнце.

Сначала это бывало неприятно, но потом Сергей привык и перестал замечать. Он сам догадался о причине этого крика, то есть о влиянии повышенной солнечной радиации, и, догадавшись, перестал обижаться на покрикивание хозяина. Он даже стал ему еще симпатичней, все-таки он был причиной пусть маленькой, но его собственной догадки. В том, что догадка верна, Сергей не сомневался.

У самого берега на светлом, словно тщательно просеянном, песчинка к песчинке, песке жена Сергея играла в бадминтон со щеголеватым геологом из Тбилиси.

Пока хозяин готовил лодку к отходу, Сергей любовался ею, ее неловкими, но исполненными тайной грации, именно потому что внешне они были неуклюжими, движениями. Она играла в бадминтон в первый раз и вообще, что называется, была совершенно неспортивна. Это не мешало ей иметь стройную фигуру, тонкую талию и нежные ноги.

Щеголеватый геолог играл с ней очень деликатно, накидывая ей волан, как ребенку, и она, постепенно смелея, играла все лучше и лучше. Вдруг она сделала резкое движение за воланом и, не удержавшись на ногах, упала на песок.

И пока она падала на песок, несколько замедленно, пытаясь все-таки удержаться, Сергей почувствовал к ней такой острый прилив нежности и любви, какого давно не испытывал. Разумеется, он понимал, что она падает на песок и это совершенно для нее безопасно. По-видимому, эту вспышку вызвала вся беспомощность и красота ее фигуры.

Странно, что, когда она упала, из горла его вырвался какой-то хриплый и как бы торжествующий смех. Она, уже присев на песок, посмотрела на него долгим взглядом и, ничего не говоря, встала и продолжила игру.

Но теперь она играла как-то потускнев. Под ее взглядом он, словно эхо, услышал свой смех и только сейчас осознал неуместность и жестокость его звучания. Он смутился под ее взглядом, но смутился главным образом от понимания жестокости своего смеха и непонимания, чем он был вызван, тем более что за мгновение до этого он почувствовал к ней острую нежность, как если бы любил ее одновременно как жену и как своего ребенка.

На самом деле смех его вызван был глубоко затаившимся, неосознанным чувством ревности к этому геологу, к их дружеской игре. Ее падение как бы прерывало, как бы означало невозможность наметившейся между ними гармонии, и смех его выражал радость по этому поводу.

Не понимая этого, но думая о случившемся, он греб в открытое море, и ему очень захотелось закурить. Он сделал сильный гребок, чтобы не замедлять ход, и повернулся к носу лодки, где лежали снасти и сигареты. На носу, свесив за борт ноги, сидели две девочки, дочери хозяина. Старшая, тринадцатилетняя, в купальнике, уже прислушивающаяся к рождению своей женственности, хорошенькая, и ее младшая, десятилетняя, сестричка, еще совсем ребенок, некрасивая, с веснушчатой мордочкой, с огромной улыбкой, вмещавшей, как казалось Сергею, все обаяние жизни, которое, несмотря ни на что, еще живет в этом окаянном мире.

Девочки, без слов поняв его, бросились давать ему сигареты и чуть не опрокинули лодку.

— Женька! Валька! — прикрикнул отец на обеих, заметно снизив интонацию гнева на втором имени, подчеркивая этим, что старшая несет главную ответственность.

Младшая все-таки опередила и, протянув Сергею сигарету, стала неуклюже чиркать спичками. Наконец, исчеркав несколько спичек, она дала ему прикурить.

— Спасибо, — сказал Сергей и поцеловал ее жесткую, соленую и крепкую, как плод, щеку. Она расплылась очаровательной, до ушей, улыбкой своего слегка обеззубленного рта.

Отец страшно разозлился до этого из-за суеты, поднятой детьми, а теперь, увидев, что в коробке и так мало спичек, а девочка неумело спалила несколько штук, и вовсе рассвирепел:

— За борт!



— Пусть Женька плывет домой! Я поеду рыбацить! — стала хныкать младшая.

До этого девочки спорили, кому ехать, а кому нет, потому что отец считал, что вчетвером рыбацить будет трудно, да и дома должен был кто-то оставаться за хозяйку. Но так как девочки не уступали друг другу, пришлось взять обеих. Теперь явно перевес был на стороне Жени.

— Па, — окончательно добила она младшую, — она еще и сочинение не написала, и кроликов ей сегодня кормить.

— Ну ладно! — Девочка прыгнула головой и в мягкой голубой толще воды промелькнула струей кипящего серебра. Она вынырнула и, кажется, не успев набрать воздуха, затараторила: — Все-таки это нецесно! Нецесно ябедничать!

— Нет, честно, — ответила старшая с улыбкой превосходства, — потому что я твоя старшая сестра.

— Ты и рыбацить не умеешь! — закричала младшая, вытягивая из воды мокрую мордочку со слипшимися на лбу густыми прядями и сверкая темными глазенками. — У тебя всегда одни колюцки ловятся!

— Ладно, пльиви, пльиви.

— Не твое дело! — закричала младшая и от возмущения ударила по воде крепкой ручонкой. — Захоцу пльиву, захоцу — нет!

— Па, она не плывет, — сказала Женя.

В самом деле, девочка барахталась на одном месте. До берега было метров триста.

— А ну, пльиви! — гаркнул отец.

— Какое ваше дело, может, я дядю Витю жду?

В самом деле, впереди чернела над водой голова одного из постояльцев хозяина. Он так далеко заплыл, что о нем подзабыли. Еще когда Сергей с хозяином вытаскивали лодку, девочки долго вглядывались в море, пока младшая первой не заметила Виктора. Жена его лежала тут же на песке и читала книгу. Сергей обратил внимание на то, что она за все это время так и не подняла голову, не посмотрела в сторону моря.

— Не очень-то у них ладится, — сказал Володя, когда Сергей обратил внимание на странное равнодушие этой женщины.

Оказывается, этот Виктор, человек на вид лет тридцати пяти, уже целый год в отставке, потому что летал на сверхзвуковых самолетах. И теперь вот молодой, атлетического сложения человек с хорошей пенсией, с хорошенькой женой, свободный от работы, приехал на юг. По словам Володи получалось, что жена Виктора недовольна его культурным уровнем. Володя об этом сказал с некоторым презрением к тому уровню культуры, о котором мечтала жена летчика. Сама она работала биологом в научно-исследовательском институте.

Через несколько минут они дошли до летчика. Он плыл размеренным брассом, и лицо его побледнело от долгого пребывания в воде.

— Братцы, закурить! — выдохнул он и, вытащив руку, ухватился за борт. Сергей хотел дать ему сигарету, но тот кив-

нул на окурок и показал губами, чтобы Сергей сунул ему окурок в рот.

— Дядя Витя! — крикнула Валя и плеснула ударом руки по воде.

— Гони ее домой, — сказал Володя. Сергей снова налег на весла.

Володя больше ни разу не оглянулся в сторону дочки. Девочки жили в двадцати метрах от берега, и обе плавали как рыбки.

— Теперь бережний гребни! Еще бережний! — крикнул он, не дождавшись, пока Сергей развернет лодку.

С Володей Палба Сергея связывала давняя дружба. Он познакомился с ним на лодочном причале в Мухусе.

В тот год Сергей купил себе лодку и был в некотором затруднении, потому что еще не раздобыл собственного места на общем причале. Рядом с общим причалом находился причал ДОСААФа.

— Стань пока у меня, — сказал Володя. Он работал начальником лодочной станции ДОСААФа.

Так они стали дружить, иногда выходили в море на рыбалку или катались на яхте, и Володя учил его управлять парусами. Сергею понравился этот парень сухого и очень сильного сложения, чем-то похожий на индейца.

Он понравился ему своей независимостью и самоотверженной отдачей своему делу, которая, как думал Сергей, теперь редка в людях и которую он очень ценил и, ко-

гда думал о себе хорошо, относил себя к людям такой категории.

Володя обучал тогда подростков, мальчиков и девочек, парусному спорту, гребле, готовил скутеристов. На причале кипела жизнь: чинили и красили шлюпки, латали паруса, то и дело пробовали моторы.

По слухам, еще недавно, до прихода сюда Володи, это место было превращено в нечто вроде блатной малины. Причал был расположен на речке, в очень укромном живописном месте, прикрытом со стороны города ивовой рошей со свисающими над медленной водой речки зелеными струями ветвей. Летом здесь было всегда прохладно, и последние представители блатного мира собирались здесь поиграть в карты, поспать или посидеть за бутылкой водки.

Володя их несколько раз предупредил, чтобы они здесь не появлялись, но они не обращали на это внимания. Однажды он не выдержал, когда один из мерзавцев что-то очень грязное сказал в адрес девочки, занимавшейся у него. Он схватил весло и так решительно ринулся в их сторону, что они, а было их человек десять, не выдержали и разбежались, издали грозя «пришить» при первом же удобном случае. Однако никто из них не решился привести угрозу в исполнение.

Возможно, они слышали о его необычайной физической силе: на флоте он занимался боксом и однажды ударом выбросил противника за канаты ринга. Впрочем, и блатной этот мир был уже не тот, что раньше.

Так или иначе, но больше они там не появлялись. Когда Сергей обзавелся лодкой и познакомился с Володи́ей, тот уже был женат и имел двоих детей. Несмотря на свою скромную зарплату — он получал что-то около ста рублей, — он не имел никаких левых заработков, а главное, не признавал их.

Это был на редкость честный парень. Однажды Сергей пошел на яхтах в поход с его ребятами. Володи с ними не было. Они высадились на мысе Скурча, возле небольшого болотистого озера, вокруг которого ходило великое множество совхозных гусей. Одного из этих гусей ребята на обратном пути сунули в мешок и спрятали в яхте.

Ну, сунули — сунули. Сергей как-то не придавал этому большого значения. Ребята старались сделать это так, чтобы Сергей ничего не заметил. И хотя Сергей видел, что они взяли гуся, но сделал вид, что ничего не видел.

Через три часа они вошли в речку и подошли к своему причалу, где их ждал Володя. К тому времени Сергей вообще забыл о гусе. Володя спрыгнул с причала и стал помогать ребятам разгружать яхты. Он сунул руку в один из мешков и вытащил гуся.

— Это что? — спросил он, держа гуся за ножки, и Сергей заметил, как его горбоносое индейское лицо бледнеет.

— Гусь, — подавленно признался кто-то из ребят.

В следующее мгновение гусь, выброшенный железной рукой Володи, перелетел речку и, запоздало пытаясь притормозить крыльями, шлепнулся на той стороне, где, кстати, был расположен небольшой пригородный рынок.

Через минуту Володя перепрыгнул в следующую яхту, и оттуда полетели спасательные пояса, робы и другие вещи, где могла быть спрятана контрабанда. Действия его сопровождались самыми яростными характеристиками Таких Спортсменов.

Ребята стояли притихшие и смущенные. Сергей понял, что Володя вкладывал в свои занятия с ребятами гораздо больше того, чем он думал. Но таким он его видел в первый и последний раз. Обычно спокойный, сдержанный, склонный к нехитрой морской шутке, Володя чинил вместе с ребятами шлюпки, паруса, разбирал моторы или ходил с Сергеем на рыбалку.

Потом Сергей переехал из Мухуса в Москву, но каждое лето проводил в Мухусе, и они продолжали встречаться. И вдруг в один из своих последних приездов он узнал, что Володя убил человека и сейчас в ожидании суда сидит в тюрьме.

Через знакомого следователя милиции Сергей добился свидания и, приехав в тюрьму, увидел его. Бритоголовый, с ввалившимися щеками, в полосатой пижаме, странно пародирующей тюремную одежду, он больше всего поразил Сергея выражением полного отчуждения.

Ты на воле, а я в тюрьме, говорили его взгляд, его бритая голова, нездоровая худоба лица и нервные жесты.

Рассказывая о том, что случилось, он распахнул свою пижаму и показал на страшные синяки, оставшиеся на предплечьях, плечах и спине.

Вот что рассказал Володя.

В тот день он вместе с неким майором из Москвы и представителем республиканского ДОСААФа возвращался из инспекционной поездки по городам Абхазии. Вечер их застал на эндурском вокзале, откуда они собирались на электричке поехать в Мухус.

Они поужинали в вокзальном ресторане и за ужином достаточно крепко выпили. После ужина решили, не дожидаясь электрички, ехать в Мухус на какой-нибудь частной машине. Не исключено, что во время затянувшегося ужина они пропустили ближайшую электричку, а следующей ждать не захотели.

Был темный, душный августовский вечер. На привокзальной площади, куда они вошли, горели очень редкие фонари, что сыграло свою роль в той драме, которой предстояло случиться.

Итак, они вышли на привокзальную площадь и, чтобы иметь больше шансов поймать машину, разделились на две группы — Володя отошел к концу площади, а майор из Москвы, в честь которого и был устроен этот ужин, вместе с представителем местного ДОСААФа остались стоять напротив вокзала.

Через некоторое время Володя заметил, что к его товарищам подъехала частная «Волга» и майор, наклонившись к переднему окошку, стал договариваться с шофером. Но, видно, не договорился. Кстати, прежде чем разделиться на две группы, Володя Палба, который хорошо знал обычаи эндурцев,

предупредил своих товарищей, чтобы они больше десяти рублей за поездку в Мухус не предлагали и твердо держались намеченной суммы.

И вот, значит, майор вынимает блокнот и карандаш и начинает записывать номер машины. Видимо, владелец «Волги» не только не согласился с намеченной суммой, но и послал его кое-куда.

И вот, значит, майор вынимает блокнот и карандаш и начинает записывать номер машины. А эндурцы, надо сказать, страшно не любят таких вещей. Их оскорбляет сама мысль о том, что существует какая-то инстанция, которая их может наказать.

Они сразу же начинают доказывать, что такой инстанции не существует и не может существовать. И вот шофер выскакивает из машины, вырывает у майора блокнот и карандаш, на глазах у него рвет блокнот, ломает карандаш и все это отбрасывает в сторону.

Как только водитель выскочил из машины, Володя стал быстро подходить к своим товарищам, и, пока водитель расправлялся с блокнотом майора, Володя успел погрозить ему кулаком. Но владелец «Волги» сел в свою машину и уехал.

Володе было обидно, что с майором из Москвы, в какой-то мере их гостем, этот эндурец поступил столь непочтительно. Но делать было нечего, они снова разделились, и после нескольких неудачных попыток Володя нанял за десять рублей частную «Волгу», сел рядом с шофером, подъехал к своим друзьям, и они отправились в путь.



Через несколько минут, когда они выехали на трассу, злополучный майор узнал водителя. Это был тот самый, с которым он безуспешно пытался договориться. Но майор уже был настроен мирно.

— Ну, вот видите, — сказал он шоферу, — напрасно вы упрямылись.

— Все равно будет по-моему, — отвечал водитель.

— Мы же договорились, — напомнил ему Володя.

— За десятку я вас не повезу, — отвечал хозяин «Волги».

— Раз договорились, повезешь, — жестко возразил ему Володя.

Они некоторое время так препирались, а потом шофер неожиданно свернул с трассы и поехал по очень темной улице. Володя попытался вырвать у него руль, но тот продолжал ехать. Тогда Володя с размаху шлепнул его ладонью по щеке.

Шофер остановил машину, открыл дверцу и побежал к багажнику. Володя понял, что он хочет взять в руки монтировку, то есть ломик. Володя тоже открыл дверцу и вышел. Тут он увидел, что к ним приближается зеленый огонек такси. Володя удивился, что на этой пустынной улочке появилось такси. Он даже мельком подумал, не бросить ли этого левака и не договориться ли с таксистом. Не успел он додумать об этой возможности, как увидел, что таксист остановился в десяти шагах и, выскочив из кабины, тоже побежал к своему багажнику.

Володя догадался, что дело плохо. Видно, они договорились избить этих чужаков, и таксист просто ехал за ними.

Первым подбежал к нему хозяин «Волги». Володя держал в руке плащ. Когда тот размахнулся, чтобы ударить монтировкой, Володя швырнул в него плащ, и, когда хозяин «Волги» замешкался на секунду, чтобы скинуть с себя плащ, он его ударил. Удар был не очень удачный, шофер упал, но монтировки из рук не выпустил.

В это мгновение к нему подбежал второй шофер. Это был очень рослый и сильный парень. Чтобы защититься от него, Володя вынужден был покинуть первого шофера. Тот вскочил на ноги, и они вдвоем навалились на Володю.

Теперь удары монтаровок грозили Володе с двух сторон. Он только успевал отходить и, спасая голову, по-боксерски, подставлять плечи. Контролировать удары становилось все труднее и труднее. Медленно отступая, он повторял одно и то же:

— Ребята, договоримся!

Но ребята договариваться не хотели. Они пришли в дикую ярость, тем более что майор и второй спутник Володи не попытались каким-то образом вмешаться в драку. Они вышли из машины и стояли в стороне. Было похоже, что они заранее готовятся к роли молчаливых свидетелей. Скорее всего, они просто трусили.

Через несколько минут двое эндурцев загнали Володю на край дороги, и он спиной почувствовал колючие кусты трифолиаты, ограждающие дорогу. Он понял, что еще несколько секунд, и один из ударов монтировки обязательно попадет в голову.

Тут он вспомнил, что у него в кармане перочинный нож, и сунул руку в карман. Как только он сунул руку в карман, эти двое мгновенно отступили. По-видимому, они решили, что у него в кармане пистолет. Может быть, не вынь он руки из кармана, все бы обошлось. Но он вынул руку из кармана и раскрыл маленький перочинный нож с лезвием не больше человеческого пальца.

Таксист, увидев перочинный нож и как бы оскорбленный собственной осторожностью, ринулся на него и со всего размаху ударил монтировкой. Володя успел уклониться вправо и, приняв удар левым плечом, снизу апперкотом ударил его ножом в грудь.

Таксист выпустил ломик и схватился за грудь.

— Убил, — сказал он удивленно. Никто не почувствовал силы удара и не поверил его словам. Второй шофер помог ему сесть в машину и увез в больницу.

Володя выбрался на трассу и на попутном грузовике уехал домой, еще не зная, что таксист через два часа скончается в больнице. Лезвие ножа задело сердце. На следующий день, узнав, что таксист умер, Володя сам пришел в милицию. Таксист был единственным сыном известного в Эндурске старого уголовного, который отпустил бороду в знак мести и громко говорил всем, что убьет убийцу сына и судью, если тот не приговорит его к расстрелу.

Несколько судей отказывались братья за дело, несколько раз сам Володя, пользуясь своим правом, отклонял помещение суда, как недостаточно безопасное.

Наконец суд состоялся. Все прибывшие на суд из Эндурска были тщательно обысканы. Тем не менее угрозы отца, сидевшего на судебном заседании, безусловно повлияли на решение суда. Суд приговорил Володю к двенадцати годам колонии строгого режима по обвинению в злонамеренном убийстве... в пьяном виде. Директор эндурского привокзального ресторана представил следствию счет, из которого следовало, что Володя со своими друзьями выпили полдюжины бутылок водки и столько же вина, что, конечно, было ложью.

Верховный суд республики, куда осужденный через своего адвоката обратился с жалобой, отклонил ее и признал приговор справедливым.

Обо всем этом Сергей узнал уже в Москве, куда Володя ему писал письма из одной из северных колоний, где он работал на лесоповале.

Через брата Володи Сергей связался с адвокатом, который выслал ему копию судебного заключения и свидетельские показания. Даже по этому совершенно официальному документу было видно, что мера наказания страшно завышена.

Сергей владел пером и иногда выступал в центральных газетах и журналах по вопросам истории и социологии. Он решил попробовать написать в газету. Даже по материалам самого судебного следствия, явно пристрастного, было ясно, что судить Володю можно было только по статье о превышении мер самообороны. А эта статья предусматривала совершенно другие сроки наказания.

Сергей написал очерк, и, по мнению всех, кто его читал, он получился убедительным. Сергей принес его в одну из центральных газет. Вместе с очерком он отдал в газету и все материалы судебного следствия.

Очерк держали около двух месяцев, и в конце концов заведующий отделом вернул его, похвалив за стиль и как-то интимно объяснив, что именно их газета не может выступить по этому вопросу.

Через несколько дней Сергей отнес очерк в другую центральную газету. Очерк опять долго продержали, и в конце концов заведующий отделом сообщил ему, что редколлегия разделилась поровну, но, к сожалению, главный редактор оказался на той стороне, которая против печатания, и она перетянула.

— Если бы он не был выпивши, — сокрушенно сказал заведующий, — еще можно было бы что-нибудь сделать... Но сейчас, когда идет кампания против пьянства...

Сергей продолжал переписываться с Володией и, рассказывая о ходе дела, старался поддерживать в нем надежду. В ответных письмах Володя настойчиво просил его обратиться к известному журналисту, прославившемуся своими судебными очерками. Он уверял его, что тот в курсе дела и должен помочь.

Сергей сомневался в помощи этого известного журналиста, но, когда второй раз отказали, он решил найти его и поговорить с ним. Как раз в тот день в газете, где работал этот журналист, появился его очерк, в котором разоблачалось взяточничество в одном московском учреждении.

Сергей пришел в редакцию и спросил, как найти этого прославленного журналиста. Один из сотрудников редакции сказал, что тот сейчас обедает, и, проводив Сергея в столовую, кивнул на столик, где в одиночестве сидел этот человек.

Сергей стал дожидаться, когда тот закончит обедать. Прославленный журналист каким-то образом заметил кивок сотрудника редакции в сторону его стола и сейчас, продолжая обедать, время от времени бросал на Сергея враждебно-подозрительные взгляды. Во всяком случае, Сергею так показалось.

Тем не менее, когда тот приступил к кофе, Сергей подошел к его столику, представился и сказал, по какому делу он хочет с ним поговорить.

— Да, я в курсе, — кивнул ему журналист, отхлебывая кофе и как будто становясь более доброжелательным, — приезжал его брат и показывал материалы... Выступить я не могу, поскольку сейчас идет борьба с пьянством, но сделаю то, что в моих силах.

После этого он прочел очерк Сергея, посоветовал отправить копию в Верховный суд и обещал со своей стороны тоже туда позвонить.

Сергей послал копию очерка в Верховный суд и отнес свой очерк в еще одну редакцию центральной газеты.

Здесь его приняли просто дружески. Заведующий отделом обещал сделать все от него зависящее, чтобы «протолкнуть» очерк. Именно поэтому он просил Сергея набраться терпения. Дело в том, сказал он ему, что сейчас пересматрива-

ется закон о превышении мер самообороны. Закон этот, в согласии со здравым смыслом, должен смягчить наказание людей, которые превысили меры самообороны.

Прошло около двух месяцев, и Сергей уже отчаялся было ждать, как вдруг в институте ему сказали, что в газете появилась его статья, где он выступает в совершенно новом амплу.

Да, это был замечательный день! Сергей держал в руках газету со своим очерком и не верил глазам. Ведь больше полугода прошло с тех пор, как он пытался его протолкнуть. Ни одна его научная публикация не доставила ему такой радости.

Он позвонил в редакцию и поблагодарил заведующего отделом.

— Это вам спасибо, — журчал довольный голос заведующего, — отдел наш на летучке хвалили... Ведь вчера был напечатан указ, смягчающий наказание за превышение мер самообороны.

После появления статьи дело завертелось с карусельной праздничной быстротой. Через три дня он получил ответ на свое послание в Верховный суд: дело будет немедленно пересмотрено! Безусловно, была допущена судебная ошибка!

Он получил от Володи благодарное письмо из больницы, где тот сейчас выздоравливал. Оказывается, его слегка подмяло спиленное дерево, но теперь дело идет на поправку, и, судя по разговорам, которые с ним ведет начальство, по-видимому, его скоро отпустят.

Через два месяца, когда Сергей приехал в Абхазию, они снова встретились. Грустно-радостной была встреча, а Сергей наивно ожидал, что она будет бурным праздником победы справедливости!

Сергей почувствовал, что пережитое Володей за эти два года как-то надломило его. И само невольное убийство, совершенное им, не прошло бесследно, и явная несправедливость ведения судебного дела оставила горький след в его душе, и физическая травма, полученная на лесоповале, давала о себе знать: каким-то образом ударом падающего ствола был задет позвоночник, и сейчас Володя время от времени испытывал боли в спине, а по ночам иногда вставал с постели и бродил в лунатическом состоянии.

К тому же отец убитого не унимался. Несколько раз, пока Володя был в тюрьме, он заходил к его жене и угрожал в отместку убить детей. Последний раз старик уже заходил при Володе и угрожал убить его, если он не заплатит за сына три тысячи рублей.

Хоть и не слишком дорого он просил за сына, Володя, разумеется, отказался. Тот пригрозил ему смертью и уехал. Жаловаться было бесполезно и сделать было ничего нельзя, потому что, как чувствовал Володя, за стариком как бы оставалось право на ответный удар.

Местный ДОСААФ предложил Володе занять свою прежнюю должность, но он отказался и через некоторое время навсегда переехал жить в дом своего тестя, в этот рыбацкий поселок. Жил он теперь за счет курортников, ко-



торых на летний сезон пускал в дом, а также за счет фотографирования тех же курортников, которым он занимался от какой-то жалкой артели.

Кто его знает, какие соображения заставили его таким коренным образом переменить образ жизни. Не последнюю роль, как думал Сергей, во всем этом деле сыграло то обстоятельство, что рыбацкий поселок был расположен в стороне от Мухуса и, вероятно, Володя чувствовал здесь себя в большей безопасности от встречи со старым уголовником. Но Сергей понимал, что, конечно, это было не единственным соображением.

В то лето Сергей в последний раз зашел на причал, где когда-то стояла его лодка и работал его товарищ. Здесь ожидало его грустное запустение. Лодку его давно унесло в море наводнением. Несколько мальчиков с безнадежным упорством возились возле никак не заводившегося лодочного мотора.

Местные длинноволосые хиппи со своими подругами расположились в прохладной тени прибрежных ив. Один из них взобрался на инжировое дерево и, повесив рядом с собой на ветку приемничек, слушал «зонги» и рвал инжир. Время от времени он небрежно бросал девушкам плоды инжира, и они, лежа или сидя, лениво дотянувшись, отправляли их в рот, не потрудившись очистить шкурку или хотя бы сдуть пыль, в которую шмякались плоды. Одна из них с откровенным интересом стала рассматривать Сергея, и, когда он тоже внимательно на нее посмотрел, она, словно древним интуитивным движением женщины, попробовала притронуться

к волосам, но потом почувствовала, что, если идти в этом направлении, слишком многое надо будет менять, она бросила волосы и, вытащив изо рта своего дружка, лежавшего рядом, сигарету, закурила, глядя на Сергея и как бы говоря: вот такие мы, уж как хотите. Дружок ее, не меняя позы, с беззлобным равнодушием посмотрел на Сергея.

«Милая девушка, — отметил Сергей мельком, — особенно если ее дня три подержать в ванной. Новая генерация, — подумал Сергей, обратив внимание, что почти все они были рослые, длиннорукие, длинноногие... — или новая дегенерация», — добавил он беззлобно и тут же забыл о них.

Он снова обратил внимание на следы запустения на этом причале, на прогнивший деревянный настил, на замызганные лодки, на ребят, безнадежно пытающихся завести мотор, который после долгих усилий несколько раз чихнул и опять замолк.

Он вспомнил тот веселый причал с деловитыми мальчиками и девочками, надраенный, как палуба, дворик территории причала, банки с красками, запах стружки, праздничный вид шлюпок, вспомнил, как он сюда приходил со своей девушкой, которую так любил тогда, вспомнил, как весело и доброжелательно встречали его здесь, и снова подумал — как много зависит от одного человека в любом деле.

В тот же день Сергей, роясь у себя дома в ящике со старыми письмами, наткнулся на свой дневник того времени. Местами морщась, как от зубной боли, на молодую романтическую самоуверенность стиля, он прочел вот эти страницы...

«Она к морю приехала с мамой, но в море ушли мы вдвоем.

— А как же мама? — спросила она немного растерянно.

— Мама останется сторожить землю, — сказал я твердо и отгреб от берега.

Она ничего не ответила, а только молча уселась на корму.

Я продолжал грести, берег уходил все дальше и дальше.

Она окунула руку в море. Маслянистая густая синева мягко обтекала кисть ее руки. Ладонь как северный листик в южном море. Нет, скорее плавничок, развернутый против движения лодки. Ладонь бессознательно тормозила, но берег уходил все дальше и дальше, весла были сильней. И чем дальше отходили мы от берега, тем меньше становилось расстояние между кормой, где она сидела, и средней банкой, где я греб.

Мы уходили все дальше и дальше, и звуки, которые доносились с берега, были тоньше и чище, чем обычно. Море успевало их промыть и обточить. Они казались немного странными, как шум жизни, если его услышать со стороны.

Она оглянулась на берег и увидела темно-сиреневые горы и ниже белые пятна домов, сияющие сквозь зелень.

— Дай попробую грести, — сказала она.

— Попробуй, — сказал я и уступил ей весла.

Сначала не получалось. Но она довольно быстро приспособилась. У нее были длинные руки, а тонкое тело от напряжения слегка скашивалось, как скашивается очень молодое

деревцо, если на него влезть. Она выгребала с таким трудом, что вода казалась слишком густой.

Нестройный взмах весел, и грудь слегка подается вперед, как будто пытается дотянуться до ленточки финиша. Но до финиша было далеко.

Потом она снова села на корму. Она была довольна, что у нее получается. Я был уверен, что у нее получится. Она снова опустила руку в воду, уже не пытаясь тормозить, просто чтобы остудить ее.

Мы проплывали мимо рыбаков. С некоторыми из них я здоровался. Они многозначительно улыбались, но я отстранял многозначительность, не отвечая на улыбки. Хотя всегда немного стыдно быть счастливым, все же приятно было, что все они крепко стоят на якоре, а мы проплываем мимо.

Один из них все же попытался нас остановить. Он попросил закурить. Это было его право. Я подгрел и бросил ему сигарету.

Это был хороший человек и хороший рыбак, но на берегу дела у него не ладилась. Он слишком много пил, и от него ушла жена с ребенком. Пил он безбожно. Наверно, в любом другом месте его выгнали бы с работы, но здесь, в школе, где он преподавал математику, подобрались славные ребята. Они делали все, чтобы как-нибудь спасти человека. В конце концов его уложили в больницу, вылечили. Сейчас он не выносит запаха водки, но выглядит так, как будто продолжает пить. Жена все равно не вернулась. Она иногда отпускала сына порыбачить с отцом.

Сейчас он был один.

— Как клев? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать.

— Какой там клев! — ответил он и сильно чиркнул спичкой.

В сачке для ловли рачков влажно поблескивала рыба.

Последние рыбацьи лодки остались позади, как последние обитаемые острова. Я продолжал грести в открытое море. Течение сносило лодку в сторону от бухты, к келасурскому мосту, поэтому я старался загребать против течения, чтобы обратно легче было грести.

Мы прошли мимо ставника, над которым, как всегда, кружили чайки. Большой темный баклан неподвижно сидел на свае. Суетливое мелькание чаек не задевало его. Величие и одинокость. Он сидел на свае, как Наполеон на Святой Елене.

Я продолжал грести, и расстояние между кормой и средней банкой продолжало уменьшаться. Но теперь оно уменьшалось медленней, потому что стало совсем незначительным. Особенно хорошо оно уменьшалось, если я плавно греб. Поэтому я старался грести очень плавно. Иногда удар случайной волны нарушал плавный ход лодки, и разрыв слегка увеличился, но я его быстро покрывал.

Она посмотрела в сторону берега и совсем притихла. Там не то что мамы, самого берега почти не было видно. Он казался приплюснутым, как будто выпуклость моря прикрывала его. Но горы остались такими же.

Я чувствовал, что угадаю мгновение, когда грести дальше будет незачем и даже вредно.

Наконец я бросил весла и пересел на корму. Я глубоко вдохнул воздух. Влажный запах моря и водорослей был крепким до головокружения. Вода нагревалась.

— Не сходим ли мы с ума? — сказала она, пытаясь приторможить все той же ладонью уже не лодку, а меня.

— На море это не страшно, — сказал я.

Она странно и пристально посмотрела на меня, как будто хотела заглянуть туда, куда обычно никто не может заглянуть. Казалось, она заговорила с человеком, который все обо мне знает, а я не успел его предупредить. Я не прочь был договориться с ним по нескольким пунктам. Но это случилось так неожиданно, что я остался невольным свидетелем. Я даже не мог подать ему никаких знаков, потому что она его видела лучше меня. И все-таки это был прекрасный взгляд — глубокий и чистый.

В последний миг, как и всякой женщине, ей хватило трезвости оглядеться, но вокруг расстилалась надежная, живая пустыня моря. Очень открытое пространство так же хорошо укрывает, как и очень прикрытое...

Она лежала так тихо, что я подумал — не заснула ли? — и осторожно посмотрел на нее. Глаза у нее были открыты.

Я привстал. Лодку порядочно снесло, но берег оставался все так же далек. Было очень тихо.

Неожиданно вблизи от лодки показалось черное блестящее тело дельфина. Это было очень кстати.

— Дельфин, — сказал я.

Она привстала и посмотрела. В этот миг вынырнул второй дельфин. Равномерно вращаясь, они двигались вокруг лодки, но слишком близко не подходили.

Дельфины играли, гоняясь друг за другом, как на лугу собаки. Один из них начал взлетать над водой, торжественно и неуклюже плюхаясь в море. В нем было великолепие резвящейся коровы. Возможно, это были самец и самка. Тот, который выпрыгивал из воды, неожиданно заработал в открытое море, но потом, заметив, что второй отстал, сильно сбавил ход. Второй дельфин догнал его, и они поплыли рядом, плавно вращаясь и одновременно появляясь над водой.

Они плыли в открытое море, в сторону солнца, плыли так, как будто ничего нет, кроме неба и моря, а вопрос о сотворении земли еще даже не обсуждался в небесном парламенте.

Мы долго смотрели им вслед, пока черные мелькающие пятна не слились с пятнистой синевой моря.

Дельфины ушли, и я почувствовал трудность переходного периода. Теперь она мне нравилась еще больше, но я боялся, что у нее испортится настроение и начнутся фокусы.

Очень захотелось курить, но я не решался, потому что это выглядело как-то слишком деловито.

Я прыгнул в воду и сразу почувствовал, как свежая, крепкая прохлада возвращает уверенность и веселье.

Лодка откачнулась и отошла в сторону, но то, что было, отошло еще дальше. Я почувствовал себя в безопасности, как будто влез в огнетушитель. Я понял, что надо и ее вытащить в море.

Я подплыл к лодке.

— Прыгай, — сказал я и, уцепившись за борт, сильно тряхнул лодку.

Она испуганно присела и быстро тронула руками волосы. Так женщины оправляют платье при неожиданном порыве ветра.

— Я боюсь, — сказала она, — я плохо плаваю.

— Не бойся, — ответил я, — со мной не утонешь. — Это прозвучало фальшиво, хотя так оно и было.

— Да-а, — сказала она неопределенно и снова задумалась. Все же я ее уговорил спуститься с лодки.

— Отвернись, — сказала она и перешла на корму.

Я слышал, как она медленно сползает с кормы. Возможно, она подумала, что с кормы надо было слезать гораздо раньше, когда еще не было так глубоко.

Она шлепнулась в воду и радостно вскрикнула. Я подплыл и понял: все, что было, осталось в лодке.

Глаза ее сверкали свежо и диковато. Я хотел притронуться к ней, но она бешено замотала головой и закричала, захлебываясь:

— Утону!

Едва привыкнув к объятиям на суше, она боялась этого на воде. Море возвращало девичью робость. А может, мягкие, ласкающие объятия такого джентльмена, как море, казались ей достаточными? Может, ей казалось неприличным, когда обнимают сразу двое? Потом она к этому привыкла. Я, конечно, имею в виду, что вторым было море. Так сказать, духовным возлюбленным. Правда, для духовности оно слишком соленое. Но, с другой стороны, кому нужна пресная духовность?



Одним словом, нам было хорошо. Море было чистым и упругим. Мы плескались и плавали вокруг лодки, уносимой течением. Подальше отойти она боялась. Она часто сбивала дыхание, потому что отворачивала лицо от воды.

У человека, привыкшего к морю, рот почти все время в воде и вода во рту. Но он ее не глотает, потому что выдыхает вместе с воздухом. К тому же, глотнув разок-другой, он не теряется, а выравнивает дыхание.

А когда все время боишься воды, обязательно наглотаешься. Это как пасечник, который вскрывает улей без сетки и рукавиц. Ну, укусят одна-две пчелы — ничего страшного.

— Хочешь, достану со дна жемчужину? — сказал я.

— Достань, — оживилась она. — А здесь неглубоко?

— Нет, — соврал я.

Под нами было метров сто. Здесь можно ловить только глубоководную рыбу мизгит. Но если бы она об этом знала, наверное, утонула бы от страха.

Я решил подшутить. Нырнул метра на три или четыре, проплыл под лодкой и осторожно вынырнул с другой стороны. Стал ждать.

Я слышал ее дыхание и плеск воды возле ее рук. Тишина. Только вода потюкивает о лодку.

— Ну, что ты? — Тишина.

— Слышишь, вылезай! — Тишина.

— Что за глупые шутки? — Тишина.

По всплеску воды я понял, что она кружится на одном месте, думая, что я выныриваю у нее за спиной.

— Господи, что случилось, — сказала она почти шепотом и ухватилась за борт. Я слышал, как у нее стучат зубы.

Я понял, что слишком далеко зашел. Если она узнает, в чем дело, не скоро простит. Поэтому я снова погрузился в воду и вынырнул возле нее.

Она обняла меня за шею, она так вцепилась в меня, что я на этот раз чуть было и в самом деле не утонул. Едва успел ухватиться за борт. Она пыталась что-то сказать, но вдруг расплакалась, все сильнее прижимаясь ко мне. Джентльмен был посрамлен. Слезы текли так обильно, что стало ясно: заодно текут и те, невыплаканные.

Я чувствовал себя довольно неловко, тем более что все происходило в воде. Я никогда не думал, что у одного человека может быть такой запас слез.

Наконец, когда мне показалось, что уровень моря несколько повысился, она затихла, все еще всхлипывая и пытаясь улыбнуться.

— А где жемчужина? — спросила она.

Я почувствовал себя Серым Волком, проглотившим Красную Шапочку.

— Видишь ли, — сказал я, — жемчужины растут в мидиях. Я раскрыл целую гроздь мидий, но жемчужины еще не поспели.

— Поэтому ты так долго не выныривал?

— Ну да.

— А разве не лучше было бы поднять их в лодку? Мы бы вместе посмотрели...

— В школе меня учили, что нельзя разорять птичьи гнезда.

— И ты не разорил ни одного гнезда?

— Нет, конечно.

— Интересно, — сказала она и пытливо посмотрела на меня. Я не выдержал взгляда. — Кстати, как ты заглядывал в мидии, там ведь темно?

— Очень просто. Просовываешь в мидию фосфоресцирующую медузу...

— Послушай, не принимаешь ли ты меня за дурочку?

— Как ты могла подумать, — сказал я, стараясь быть серьезным.

— Если ты пошутил, это жестоко, — сказала она. — Со мной никогда так не шутили. Дай слово, что это никогда не повторится.

— Если я пошутил, — сказал я, — даю слово.

Я и в самом деле решил не повторять таких шуток. Я с трудом вынырнул из зоны лжи и, выныривая, продолжал лгать не потому, что хотел, а потому, что все еще находился в этой зоне. Правда, скорее всего здесь не ложь, а так себе, фантазия. Не всякая неправда — ложь. Честно было бы считать ложью такую неправду, из которой извлекается выгода.

— А к вопросу о птичьих гнездах мы еще вернемся, — сказала она.

— С удовольствием, — ответил я.

— Ты или сумасшедший, или негодяй, — сказала она.

— А кого бы ты предпочла?

— Конечно, сумасшедшего, — сказала она с таким пафосом, что мы оба рассмеялись.

Потом мы еще купались, и нам было хорошо. Мы ни о чем не говорили, но все было ясно и спокойно.

Потом я заметил, что она начинает замерзать. Она побледнела, а губы стали темными. Я влез в лодку и помог ей подняться.

Я давно заметил, что море великий примиритель. Видимо, оно создает такую сильную общую среду, что все остальное по сравнению с ним можно считать частными отклонениями, не имеющими особого значения.

В лодке мы быстро согрелись, потому что день был солнечным и солнце еще стояло высоко.

Мы зверски проголодались и теперь вспомнили о припасах, которые ее мать почти насильно сунула нам в сумку. Мы их не хотели брать, но в таких делах родители всегда оказываются мудрее.

— Молодец мамочка, — сказала она, вытаскивая из сумки бутерброды с котлетами. Еще у нас были апельсины.

— Она вообще молодец, — сказал я, налегая на бутерброд.

— Почему вообще? — спросила она и понюхала котлету, прежде чем надкусить.

— Потому что без нее мы бы сегодня не были в море.

— А-а, — сказала она, — дай Бог, если ты так думаешь.

Мы углубились в еду. Через пять минут от моей доли ничего не осталось. Я с наслаждением закурил и стал спокойно ждть, пока она кончит есть, чтобы приступить к апельсинам.

Еще раньше я успел заметить, что она плохо и медленно ест. Сейчас она ела охотно, но все же очень медленно. Я закурил еще одну сигарету.

Лодка медленно шла по течению. На том месте, где стояли рыбаки, теперь никого не было. Волны слегка увеличились, но погода стояла хорошая. Возможно, где-нибудь у берегов Турции шторм раскачивал море.

— Не слишком ли ты много куришь? — сказала она по-хозяйски.

— Я давно не курил, — сказал я и, бросив за борт сигарету, взял апельсин.

Он был тяжелым и оранжевым. Я вонзил ноготь в кожуру и с наслаждением содрал ее с мякоти. Из апельсина пахнуло ароматом, как из раскупоренного бочонка. Шкурка была такая пахучая, что жалко было ее выбрасывать. Прежде чем приступить к мякоти, я прижал кожуру к носу, внюхиваясь в ее сырой, прохладный аромат.

Мы ели апельсины и бросали кожуру за борт. Куски кожуры, как капли солнца, медленно тонули, все тусклеет и тусклеет золотясь сквозь живую толщу воды. Стая медуз медленно прошла в глубине, как процессия призраков.

— Это итальянские апельсины? — спросила она.

— Испанские, — сказал я, вспомнив красивое слово «Валенсия», припечатанное к ящику с апельсинами, стоявшему

на лотке. Я ей рассказал все, что знал об Испании. Я знал немного, но то, что знал, любил. Я встречал в Москве и в других городах испанцев. Все они мне нравились. Мужественность и едкий, жестковатый юмор.

Она, конечно, все это знала, но не так, как мы. Сказывалась разница в возрасте — десять лет. Она Испанию воспринимала как одну из других стран, и больше ничего. Для нас она была и другой страной, и чем-то большим, чем всякая страна. Это как песня, полюбившаяся в детстве. Взрослым можешь слушать и понимать ее иначе, но любишь так же или еще сильнее.

— А что будет, если Франко умрет? — спросила она.

— По-моему, сначала будет то же самое, только еще мельче. Видно, власть — это такой стол, из-за которого никто добровольно не встает.

Я почувствовал, что впадаю в тон проповедника, и замолчал. Но Испания моя слабость. Если б ее не было, я бы, наверное, доказал ее существование по каким-то свойствам души, как по таблице Менделеева находят недостающие элементы.

Когда мы дошли до последнего апельсина, я отдал его ей.

— Давай выбросим в море, — сказала она, как-то по-детски протягивая его мне.

Мне было жалко бросать апельсин, но затея все же понравилась. Я швырнул его по ходу лодки. Он почти без брызг мягко вошел в воду и через мгновение вынырнул — темное золото и на темной синеве моря. Я почувствовал себя человеком, подписавшим совместную декларацию.

— На счастье, — сказала она, как бы поясняя декларацию, чтобы не было кривотолков.

— Апельсин в море — это перепроизводство счастья, — сказал я серьезно.

— У тебя был такой свирепый вид, как будто ты бросал за борт персидскую княжну, — сказала она.

— Или неверную жену, — сказал я.

— А ты довольно веселый, — сказала она поощрительно, — а сначала показался мрачным.

— Это потому, что веселье требует подготовки, — сказал я неизвестно зачем.

— Весельчаки мне тоже не нравятся, — продолжала она серьезно. — И спортсмены.

— Весельчаки плохо кончают, — сказал я.

— А спортсмены?

— Рано или поздно они перестают быть спортсменами.

— А потом что?

— А потом они толстеют и делаются весельчаками.

— Ну, это не так уж плохо, — сказала она непоследовательно.

— Конечно, — сказал я.

— Он не хочет от нас уходить, — сказала она, глядя на апельсин, который все еще маячил возле лодки.

Она стояла посреди лодки, тонкая и стройная, как мачта, и расчесывала волосы, тягуче выволакивая гребенкой горячее летнее солнце. Она славно загорела за этот месяц и очень гордилась своим загаром.

Лодку покачивало, и она покачивалась в такт, довольно легко сохраняя равновесие. Я подумал, что она, наверное, хорошо танцует. Сам-то я танцевал ужасно, но теперь это меня не беспокоило.

Мы улеглись на корму, чтобы с толком загорать. Было жарко, но вентилятор моря работал исправно, и жары не чувствовалось.

Когда лежишь в лодке с закрытыми глазами, и тебя слегка покачивает, и ты ощущаешь равномерное движение воздуха со стороны моря, кажется, что чувствуешь всем телом движение земного шара. Он порой проваливается в воздушные ямы, но снова выравнивает ход. Могучее вечное движение.

Я прикрыл лицо ее волосами, чтобы солнце меньше припекало. Волосы были тяжелыми и теплыми. Есть волосы вялые, как мускулы больного. Эти были упругими, в них чувствовался нетронутый запас молодости. В них был аромат растений, разомлевших от жары. Такой запах бывает, если летним днем зарыться в кусты. Было приятно ощущать его. Он не давал думать о другом, да и не хотелось ни о чем думать.

Внезапно низкий, kloчочуший гром прокатился над водой и погас, как головешка, сунутая в воду. Реактивный самолет перешел звуковой порог.

— Как ты думаешь, будет война? — спросила она, не подымая головы.

Я уже давно решил для себя, как отвечать на этот вопрос.



— Нет, — сказал я.

— Почему ты так уверен?

— Спорим на тыщу рублей, тогда скажу.

— Но у меня нет таких денег, — сказала она наивно.

— У меня тоже нет.

— Как же ты споришь?

— Я уверен, что я выиграю.

— Ты слишком самоуверен. Это нехорошо.

— Нет, смотри. Если войны не будет, я кладу денежки в карман. А если будет атомная война, кому нужны мои деньги? Чистый выигрыш.

— А ты хитрый.

— А как же, — сказал я, — не будь я хитрым, ты бы не оказалась в этой лодке.

— Это неправда, — рассмеялась она, — я сама.

— То, что ты сама, — тоже хитрость, — сказал я.

— Нет, кроме шуток, — сказала она серьезно, — у нас в институте некоторые говорят, что надо побольше брать от жизни на случай, если это начнется.

Я тоже думал об этом и сказал ей то, что думал.

Жить все равно надо так, как будто ничего не будет. В самом деле, если человек по натуре не рвач, оттого, что он будет брать больше, он не станет счастливей. Наоборот, он потеряет вкус к тому, что он подготовлен брать всей своей жизнью. Но если, допустим, он и будет что-то брать сверх нормы, необходим достаточный промежуток времени между общей катастрофой и собственным концом, чтобы насладиться созна-

нием, что он брал и теперь умрет, а другие не брали и тоже умирают. Но и этого сомнительного удовольствия, вытекающего из, так сказать, разницы курсов, он не ощутит, потому что не будет такого промежутка между собственным концом и общим.

Качка постепенно усиливалась. Я привстал и заметил, что девушка слегка побледнела. Я решил, что пора возвращаться, и сел на весла.

Нас порядочно отнесло от устья речки, куда надо было завести лодку. Пришлось грести против течения.

Когда нас выносило на волну, я старался грести сильнее, чтобы не отстать от нее, верней, удержаться верхом. Чувствовалось, как волна нас подхватывает и некоторое время несет с собой. А потом, как бы убедившись, что несет чужеродное тело, спокойно и мощно выкатывалась вперед. Казалось, большое, сильное животное прошло под днищем лодки. После этого мы плавно проваливались, и я видел, как девушка судорожно хватается руками за сиденье.

— Ничего, ничего, — говорила она, стараясь улыбаться. Бледность проступала сквозь загар. Темные брови стали черными.

Мне было жалко ее, но единственное, что я мог делать, я делал. Я гроб.

Синева моря с нетерпеливыми гребешками, встающими на волнах, оставалась по-прежнему чистой, потому что это был дальний шторм.

Когда мы подымались на гребень волны, перед глазами открывался горизонт. Он шевелился и был холмистым, там проходил край настоящего шторма.

Я греб, не глядяываясь, и приближение берега почувствовал почти внезапно по тяжелым равномерным вздохам прибоа. Я повел лодку вдоль берега, не особенно приближаясь к нему, чтобы нас случайно не выбросило.

Мы проходили мимо военного санатория. В море мало кто купался, но загорающих было полно. Какой-то парень встал и навел на нас фотоаппарат. Девушка пригладила волосы.

Наконец мы подошли к устью речки. Я еще дальше отошел от берега, потому что море здесь мелкое и волны, найдя опору, несутся на берег с удвоенной скоростью. Надо было подумать, как войти в устье.

Дело в том, что наша речка меняет его почти каждую неделю, в зависимости от погоды. То впадает двумя рукавами, образуя островок, потом сама же его смыкает. А то возьмет и вывернется в сторону санатория и, сжав себя коридором, выносится в море между берегом и мыском. В таких случаях трудно войти в нее, особенно если море разгулялось.

Так оно и было на этот раз. С разгону войти невозможно, потому что устье почти параллельно берегу. Приходится тормозить и поворачивать лодку. А в это время струя речной воды, сопротивляясь волнам и образуя бурун, старается повернуть лодку и снова вытолкнуть ее в море. Тут надо или очень сильно выгребать, или выскакать из лодки и тащить ее против течения, врезываясь в холодную речную воду. А ес-

ли замешкаешься, да еще подвернется крепкая волна, хлопот не оберешься.

Обо всем этом я не стал ей говорить, чтобы не было лишней паники. Теперь она выглядела лучше. Близость берега оживила ее, хотя здесь-то и было опасно. Но, конечно, ничего страшного не могло произойти.

Девушка надела сарафан. Я тоже быстро оделся, стараясь все время придерживать весла и табанить.

Предчувствие авантюры веселило меня. Я взял у нее сумочку и, раскачав на руке, выбросил на берег. Она беззвучно шлепнулась на песок. На всякий случай я оглядел берег. Там никого не было. Поодаль, за железной сеткой, отдыхающие беззвучно играли в волейбол. Все звуки поглощал сырой гул прибора. Потом я зашвырнул на берег ее босоножки. То же самое проделал со своими башмаками.

— Что случилось? — прокричала она, ничего не понимая.

— Потом! — крикнул я, усаживаясь за весла.

Я решил подойти к устью на гребне волны. Я хотел дожидаться большой волны, потому что на ней быстрее всего можно подойти, и потом за нею обычно идут мелкие волны, так что можно не бояться за тыл.

И вот она показалась. Я ее заметил издалека. Я плотнее всадил весла в ремешки на уключинах, чтобы они не болтались и не выскакивали.

Волна великолепно приближалась. По дороге она подняла маленькую волнишку. Она приближалась спокойно, и только выгибающийся гребень, казалось, выдавал ее нетерпение.

Я выровнял лодку, чтобы корма по отношению к волне стояла предельно прямо.

Я чувствовал, как сладко и туго напряглись мускулы. Мне кажется, они ощущают приближение борьбы, как голодный — запах жареного мяса.

— Держись! — крикнул я девушке, когда мощная сила волны медленно приподняла нас и, взгромоздив на гребень, бешено рванула вперед, все быстрее и быстрее. Развернув весла, я держал их изо всех сил, чувствуя, что волна пытается вырвать из рук левое весло, замотать лодку в струях водоворота и выбросить на берег.

До онемения, до хруста я вцепился в весла и держал их все время распластанными, не выпуская лодку из равновесия.

Этот чудесный прорыв на гребне волны длился около десяти секунд. Лодка почти мгновенно остановилась. Волна прошла под нами и обрушилась на берег.

Мы были у самого устья, именно в той точке, куда я собирался попасть.

— Здорово! — закричал я, не в силах не похвастаться.

— Прекрасно! — закричала она и чуть было не выскочила из лодки.

Тут только я заметил, что течение из речки успело развернуть нашу лодку и теперь она стояла кормой к устью и медленно сползала в море.

Я быстро взялся за весла. Я надеялся развернуть лодку, габаня левым веслом и изо всех сил работая правым. Однако

она почти не сдвинулась с места, а правое весло выскочило из уключины, и ремешок сполз к лопасти.

Я начинал волноваться. За это время несколько мелких волн, слегка забрызгав лодку, прошли под нами. Только я вытянул ремешок и всадил весло в уключину, как заметил совсем близко крупную волну. Она приближалась без плеска, как хищник. Я бешено заработал веслами, хотя уже понимал, что поздно. Если бы я выскочил в воду, может быть, успел бы поставить лодку кормой к волне, сейчас она стояла лагом.

Еще секунда, и волна приподняла нас, хлынула через борт и завертела, как щепку. «Только бы она не ударилась головой обо что-нибудь», — успел я подумать о девушке.

Нас выбросило, и через мгновение я почувствовал, что очутился в мутной прибрежной воде. Только хотел вынырнуть, как ударился головой обо что-то твердое, — лодка прилепнула меня, как сачок бабочку.

Я не успел испугаться и попытался пронырнуть в какую-нибудь щель, но лодка плотно стояла в песке.

Тогда я, зарываясь пальцами в песок, ухватился за борт и стал изо всех сил тянуть, чтобы перевалить ее через себя. Я чувствовал необыкновенную, упругую силу сопротивления. Оказывается, в таких случаях лодку засасывает, но я тогда этого не знал.

Все-таки мне удалось приподнять борт, я пронырнул и выбросился на воздух, и, когда голова моя очутилась над водой, мне показалось, что небо стремительно врывается в глотку.

Придя в себя, я вспомнил о девушке и увидел ее. Она стояла на берегу и выжимала волосы, поглядывая в сторону моря. Видно, волна ее выбросила на берег. Хорошо, что не ушиблась; правда, берег здесь довольно безопасный — песок.

Она очень здорово выглядела, облепленная мокрым сарафаном, с мокрыми смуглыми ногами, с крепким пучком волос в руках.

Но разглядывать ее было некогда. Стоя по грудь в воде, я выволок лодку, толкая ее вместе с набегающим накатом. Она была тяжелая, но ярость и возбуждение придавали силы.

Перетащив лодку через линию прибоя, я перевернул ее и слил воду, а потом совсем вытащил на берег. Одно весло сорвалось. Но я его нашел тут же. Его раскатывал прибой.

Я подошел к девушке. Она посмотрела на меня и рассмеялась.

— Ну и вид у тебя, — сказала она. — Но знаешь, это был самый счастливый и самый длинный день в моей жизни.

— Тем более что он еще не кончился, — сказал я и стал снимать мокрую одежду. Я хотел похвастаться тем, что чуть не утонул, но потом решил пока об этом не говорить.

На том берегу речки, на бульваре, столпились зеваки. Они глядели на нас. Они всегда там стоят. Следят за рыбаками или ждут, когда кто-нибудь перевернется вместе с лодкой перед входом в устье. Сегодня мы доставили им это удовольствие. Я ничего не имел против, так как в общем все обошлось благополучно.

Я вынул из заднего кармана брюк кошелек с деньгами, взглянул в него. Он был почти сухим. Я выжал брюки и рубашку, вытянул их, чтобы они разгладились, и распластал на песке, положив на них камни. То же самое мы проделали с ее красным сарафаном. Потом мы легли на песок. Он был теплым, и было приятно вжиматься в него усталым, озябшим телом. Солнце грело спину, земля покачивалась и уплывала куда-то. Мы лежали, уткнувшись головами в песок. Я изредка поглядывал на лодку, но волны до нее не доходили.

Было приятно лежать на нежарком песке, чувствуя, как медленно покачивается берег, а рядом лежит девушка с тяжелыми волосами, которая совсем недавно была чужой, а теперь лежит рядом как ни в чем не бывало.

Все-таки странно...

— Пора собираться, — сказал я, чувствуя, что песок остывает.

Солнце низко висело над морем за дальним мысом над маяком. Белый столб маяка четко выделялся на фоне темной полосы леса. Казалось, солнце передает ему дежурство, а заодно и кое-какие советы по вопросам освещения.

Я вложил весла в лодку и переволок ее до речки. Вытолкнул ее в воду, схватился за цепь и волочил против течения, пока не выволок из узкого коридора на широкую спокойную гладь.

Здесь вода была почти неподвижна. Лодка уткнулась носом в низкий берег. Для прочности я ее немного вытянул и пошел одеваться.



— Как мы пойдем, — сказала она, натягивая на себя сарафан и расправляя складки, — мама, наверно, испугается.

На самом деле она выглядела очень нарядно. Сарафан ее до пояса был таким узким, что сидел на ней плотно и гладко, как хорошо набитый ветром парус. А юбка такая широкая, и на ней было столько своих складок, что несколько складок, добавленных морем, только придавали законченность портняжному искусству. Я еще раз убедился, что море ничего не портит, оно только подчеркивает то, что есть.

Она попросила застегнуть ей «молнию» на спине. Я смотрел на золотистую лужайку под курчавым кустом волос, озаренную заходящим солнцем. Гордая и легкая линия спины была как бы воспоминанием о крыльях или, может быть, ожиданием крылатой судьбы.

Пропитавшись морской солью, замок змейки двигался медленно и со скрипом. На мгновение я почувствовал себя средневековым стражником, запирающим на ночь городские врата.

Плыть по речке, неподвижной как пруд, после бурного моря было странно и смешно, как если в плохую погоду, приземлившись с парашютом, раскрыть зонтик и топтать под ним до ближайшего населенного пункта.

Мы проплывали мимо пограничника. Он стоял под грибом у входа в речной причал. Он отметил прибытие лодки и теперь бдительно вглядывался в девушку, словно стараясь угадать, не подменил ли я ее кем-нибудь. А может, он просто глядел на нее, и только военная форма придавала ему бдительный вид.

Мы подошли к нашему причалу. Я вытащил цепь и, обмотав ее вокруг железной балки, повесил замок. Проверив, хорошо ли он закрыт, я аккуратно положил ключ в задний карман. Как и всем людям, безалаберным от природы, мне доставляло удовольствие делать что-нибудь четко и чисто.

Стоя на причале, она глядела на меня сверху вниз, и я чувствовал, что ее раздражает моя хозяйственность. Нам предстояло пройти берегом речки мимо причалов, где рыбаки, сгрудившись вокруг столика, шлепают костяшками домино. Я знал, что это ей неприятно, но другой дороги не было.

— Как будто запер квартиру, — сказала она усмехаясь, когда я поднялся на причал.

Я промолчал. Мы прошли мимо рыбаков. Они нас даже не заметили. Я попрощался с пограничником, и мы, покинув узкую, как мышеловка, тропку над причалами, вышли на улицу.

Здесь она снова оживилась и взяла меня за руку.

Были теплые, темные сумерки. Фонарей еще не зажигали. Мы шли по малолюдной улице, обсаженной огромными старыми платанами. Сарафан ее тускло краснел в темноте, как будто из него медленно выходило солнце этого дня.

На балконе дома, где жила девушка, стояла ее мать и, облокотившись о перила, смотрела в сторону моря.

— Мама! — закричала девушка и махнула ей рукой. Мать ее, разглядев нас, улыбнулась и покачала головой. Она была освещена светом из комнаты.

Девушка заторопилась. На следующий день я уезжал в командировку на несколько дней. Мы договорились, что я позвоню, как только приеду. Она протянула мне свою длинную руку, и мы очень хорошо попрощались. Я смиренно раскланялся с ее мамой и перешел улицу.

Мне очень хотелось есть и пить. Меня все еще покачивало от моря и усталости. Я пошел в ресторан с летним двориком, со столиками под камфаровыми деревьями и персидской сиренью. Это единственный ресторан в нашем городе, где тебя прилично покормят, даже если ты не родственник шеф-повара и не знатный турист.

Мне принесли шашлык, мамалыгу и целый сноп зелени. Народу в ресторане было мало, официанты закусывали и пили, стоя у буфета. Они готовились к встрече с вечерними клиентами.

Меня все еще покачивало, но после нескольких стаканов вина я сбил качку встречным потоком, и в голове у меня установилось благодушное равновесие. После выпитого я почувствовал, что день сильно отодвинулся, но оставался ясным и чистым, как в перевернутом бинокле. Я понял, что все предыдущие дни и годы я шел к нему, даже если шел в противоположном направлении.

На эстраде, похожей на половину гигантской скорлупы грецкого ореха, начали собираться музыканты. Они вынимали и разворачивали инструменты, как плотники-сезонники.

Я поздоровался с ударником. Он бывший военный моряк. Теперь он днем дамский парикмахер, а вечером эстрадный

музыкант. Днем укладывает прически, а вечером треплет их бешеными африканскими ритмами.

Акоп-ага принес кофе. Величественный сухой старик, с лицом как старинные восточные фрески. Он египетский армянин сирийского происхождения, всю жизнь проживший на юге Франции. Может, поэтому он варит лучший турецкий кофе в городе. Несколько лет назад он приехал в нашу страну как репатриант.

После двух чашек кофе я почувствовал себя чемпионом счастья, и я улыбался сам себе тихой улыбкой мошенника, может быть потому, что человек еще не слишком привык быть счастливым».

Ну нет, подумал Сергей, вспоминая дневник, этого мы так не оставим. Мы сейчас же, не сходя с места, разоблачим этого липового чемпиона.

Так что же случилось потом? Да, да, что случилось потом, что помешало вам продолжить на суше ваш роман, столь трогательно начатый на море? Короче говоря, почему вы не вместе?

Сергей затруднялся на это ответить. Тут была загадка, которую он мог разрешить, но не хватило духу перешагнуть через собственный стыд. В сущности, вот что он знал. Через год после описанного лета она окончила медицинский институт и работала в одном из городов Урала. В том же году Сергей приехал в Москву для поступления в аспирантуру Института общественных наук. Примерно раз в неделю он здесь

встречался с одним из своих товарищей по институту. Звали его Венечкой.

В то лето, когда Сергей познакомился со своей девушкой, Венечка отдыхал в Мухусе с целым выводком знакомых ему девушек. У него были странные, многосторонние отношения с девушками, что всегда удивляло Сергея. Сам Сергей на это не был способен.

Венечка умел ухаживать за одной, дружить и делиться своими впечатлениями об этой девушке с другой и поддерживать чисто интеллектуальную дружбу с третьей.

Внешне они как-то все переплетались, да и не только внешне. То есть иная девушка, с которой он был связан интеллектуальной дружбой, вдруг обнаруживала такие свойства интеллекта или души, которые настолько радовали и удивляли его, что он стремился немедленно закрепить завоевание этих свойств более нежной, более интимной дружбой.

Тогда эта девушка занимала место той, за которой он до этого приударял, а предыдущая, что характерно для психологической атмосферы, окружавшей Венечку, не совсем исчезала из поля его зрения, а только несколько отходила с переднего плана, полудобровольно отодвигалась на такое расстояние, откуда она могла быть призвана снова, и нередко она снова призывалась — не то по причине своего интеллектуального дозревания, не то по причине умственного или какогс-то еще усыхания его последней фаворитки.

Еще в институтские годы и после института в особенности он так и двигался по жизни с этим незлобно клубящимся ро-ем, вызывая постоянное удивление Сергея.

Бывало, они играют в шахматы в комнате Венечки, а одна из его свиты сидит тут же, чего-то дожидаясь, чего-то почи-тывая, чего-то помогая по хозяйству. Или отвечая на звонки, причем ответами дирижировал сам хозяин, подслушивая в трубку голос звонящего, точнее, звонящей, и подсказывал девушке, что надо отвечать; нередко ответ заключался в том, что его, Венечки, нет дома.

Сергей замечал, что одна и та же девушка бывала в роли отвечающей, что его нет дома, и в роли получавшей ответ, что его нет дома, и получавшей этот ответ именно от той де-вушки, которой она же накануне говорила по телефону, что его нет дома.

На вопросы и возгласы веселого недоумения по поводу этих бесконечно роящихся возле него девиц Венечка ему не-изменно отвечал:

— Они меня взбадривают...

Вот в этой-то компании, когда товарищ его отдыхал в Му-хусе, он встретил девушку (хотя приехала она со своей мате-рью), в которую влюбился и с которой провел чудный месяц.

Разумеется, он был уверен, что она не имела с его товари-щем никаких отношений, кроме чисто дружеских. У Сергея, во всяком случае, ни разу не возникло никакой тени ревности или недоверия к дружественности их отношений. И вот через год

их знакомства и переписки Сергей приехал в Москву сдавать экзамены и довольно часто встречался со своим товарищем.

В тот день они по телефону договорились о встрече, и, когда Сергей пришел к Венечке домой, дома его не оказалось. Мать его пригласила Сергея в комнату, сказав, что Венечка выскочил куда-то. Это было на него очень похоже. В последнюю минуту после звонка он мог спохватиться, что назначил кому-то свидание где-нибудь неподалеку от своего дома, и побежать туда.

Сейчас явится с какой-нибудь девицей, думал Сергей, похаживая по комнате. Взгляд его упал на письменный стол, где лежало раскрытое письмо. Именно потому, что почерк был до удивления знаком Сергею, он, не думая ни о чем, как-то машинально пытаясь понять, почему этот почерк ему так знаком, прочел одну фразу, которой кончалось письмо: «Смотри, чтобы Сергей как-нибудь случайно не прочел...»

Это было письмо его девушки, его возлюбленной! Оглушенный случившимся, Сергей отошел от стола и сел на диван. Минут двадцать или тридцать он посидел на диване, друг его не приходил, и он потихоньку вышел из дома и больше никогда туда не приходил, хотя иногда, случайно, они продолжали встречаться. Ни Сергей, ни Венечка никогда не затевали разговора об этом письме, и Сергей вообще не знал, знает ли Венечка о том, что он видел это письмо.

Дважды после этого он получал письма от своей девушки, но, так и не ответив ей, он постарался о ней забыть. Как мно-

го он об этом думал, как часто перебирал в уме случившееся, так и не сумев разобраться до конца...

— Ты должен был прочесть это письмо...

— Я не мог... Мне было бы ужасно стыдно читать его...

— Но если бы ты знал, что твой друг никогда не войдет в свою комнату, ты бы прочел его?

— Да, я бы прочел его обязательно.

— Значит, дело не в том, что тебе стыдно было бы читать письмо, адресованное не тебе, а стыдно было бы, что твой друг догадается об этом?

— Да, хотя я сознательно никогда не читал не адресованных мне писем, если мне их не давали читать...

— Значит, ты не прочел письмо потому, что тебя ужасала мысль, что тебя застукают за чтением письма?

— Да. Или по выражению моего лица он догадается, что я читал это письмо...

— Но подумай, только ли это тебе мешало прочесть письмо?

— Нет, не только...

— А что еще?

— Интуитивная боязнь узнать что-то такое о ней, может быть какую-то интрижку, одним словом, что-то такое, что унизит нашу любовь и вынудит меня порвать с ней...

— Но ведь ты и так порвал с ней?

— Да, но это потом. Уже в результате осознанной обиды, оскорбленного самолюбия я порвал с ней... Но тогда



была именно эта боязнь потерять ее, узнав о ней что-то унижающее.

— А может, еще какие-то соображения были?

— Да, наверное, было еще одно соображение, но оно связано с предыдущим. Соображение это можно осознать так — я боялся, узнав какую-то чудовищную правду о ней, необходимости действия... Сама необходимость действия заранее сковывала меня...

— Действие это могло быть связанным с твоим Венечкой?

— Нет, этого я не думал и не думаю сейчас. Но оно отчасти и было связано с ним, как необходимость объясниться на первой стадии, то есть хотя бы сказать ему, что я читал это письмо. О роли его в этом деле у меня есть свои догадки. Но первое, что я тогда испытал, была пронизывающая боль оттого, что они переписываются без моего ведома. Я сейчас не думаю, что он сознательно скрывал от меня эту переписку, он мог просто не придавать этому значения.

— Короче говоря, ты собирался жениться на ней?

— Да, я собирался. Я думал, как только я поступлю в аспирантуру и обоснуюсь в Москве, мы съедемся.

Относительно Венечки у меня есть еще одно соображение. Я не отметаю и мысли, что он сознательно подложил мне это письмо. Зная, что я собираюсь на ней жениться, и зная мои взгляды на отношения со своей девушкой, то есть на необходимость полной взаимной чистоты, и зная из содержания этого письма, что она не тянет на этот уровень, и не желая

лично вмешиваться и тем самым как бы предавать ее, он мог подложить мне это письмо, чтобы я сам как бы случайно узнал обо всем и сам делал свои выводы.

В самом деле, странно было забыть на столе письмо такого содержания, да еще перед приходом человека, для которого содержание этого письма — дело если не жизни, то хотя бы чести... Если он это сделал намеренно, то это говорит о необыкновенном благородстве его души.

— Так ты с тех пор и не пытался узнать ни о содержании письма, ни о том, как оно тогда попало на стол?

— Нет, мне было ужасно неловко затевать этот разговор с Венечкой, а ее я больше никогда не видел. Знаю стороной, что она трижды была замужем... Наверное, это тоже о чем-то говорит, хотя никаких прямых улик у меня нет, кроме фразы из этого письма. Безусловно, фраза означала некое предательство по отношению ко мне... Косвенно, опять же, это задевает и Венечку. Задевает в том смысле, что ведь если человек совершил предательство, он ведь не всякому доверит его, особенно в письме. Тут удовольствие и описать забавную интрижку, и знать, что тот, кто будет читать об этой интрижке, тоже получит удовольствие. Иначе не напишешь...

Но если предположить, что он нарочно подсунул мне это письмо, значит, он вдруг встал над обычным уровнем своей нравственности, понял, что, зная такое и зная, что я собираюсь на ней жениться, он ставит себя в положение соучастника предательства.

— Но где же правда, наконец?

— Правда в том, что было предательство, была готовность доброжелательно выслушать содержание этого предательства... Все остальное уже домыслы. Конечно, если он вдруг подсунул мне это письмо, пытаясь таким деликатным образом открыть мне правду, я бы и сейчас, через многие годы, обнял его, как брата... Но, в общем, это маловероятно...

— Ну хорошо... С тех пор прошло уже столько лет, скажи, ты сейчас не жалеешь, что тогда не прочел это письмо?

— Через минуту после того, как я вышел из его дома, я уже жалел об этом. Но ведь человек так устроен, что довольно часто испытывает сожаления такого рода. Каждый раз, делая выбор между личной выгодой и порядочностью, и делая его в пользу порядочности, мы в той или иной степени испытываем сожаление. Но в том-то и дело, в том-то и выбор, что, если бы мы предпочли то, что я назвал личной выгодой, а правильной было бы это назвать низкой выгодой, наши сожаления, наши угрызения совести были бы неизмеримо сильней. Человек, я имею в виду настоящего, порядочного человека, не шагает по жизни, как думают некоторые, а идет балансируя, и именно это балансирующее движение, то есть движение, которое отражает и тягу сверзиться, и силу, останавливающую его от падения, это балансирующее движение заключает в себе пластический образ личности, побеждающей собственную низость.

— Ну, а все-таки, скажи, ты жалеешь сейчас, что не прочел это письмо?

— Добавлю ко всем снижающим мою маленькую победу над собой обстоятельствам еще одно. Хотя я тогда и не думал об этом, но это неосознанно входило в суть моего поведения. Дело в том, что я от природы лишен того, что называют артистизмом. Я не жалею об этом, но я лишен этого дара или почти лишен, если совсем без этого нельзя жить. Так вот, я чувствовал, что, прочитав письмо и оставшись в доме Венечки, я не смог бы сыграть образ человека, который ничего не читал и ничего не знает. У меня, между прочим, тогда мелькнула смешная мысль: схватить письмо, убежать с ним в туалет, там его прочесть и, если в это время придет Венечка, разорвать его и выбросить в унитаз, а если не придет, снова положить на место. Но я ничего не сделал потому, что при всех высказанных обстоятельствах главным все-таки был стыд...

— Ну, а все-таки, между нами говоря, ты жалеешь, что тогда не прочел это письмо?

— Ну, жалею, жалею! Иначе и разговора об этом не было бы! И это правда. Но правда и все остальное, о чем я говорил.

\* \* \*

...Теперь лодка развернулась и шла вдоль огромного обрыва, поросшего сверху дубовой рощей, живописной в своей корявости. Гора эта слева опускалась пологим спуском к рыбацкому поселку, где жил Володя Палба. Если смотреть дальше вдоль берега, виден был полукруг мыса с призраками небоскребов, как бы висящими в воздухе от расстояния.

Это были корпуса новых курортных гостиниц, недавно построенных на Оранжевом мысе. В самых комфортабельных корпусах отдыхали иностранцы. Но внешне здания ничем не отличались друг от друга, все они были высокие, воздушные, красивые.

Совсем близко от лодки прошел глассер, за которым на канате тянулся морской велосипед. Там сидел толстый человек в трусиках и важно нажимал ногами на педали. Колеса велосипеда бесплодно пахтали морскую воду.

Моряк, сидевший за рулем на глассере, подмигнул Володе. Тот, что сидел на морском велосипеде, не переставая педальить, важно посмотрел в сторону лодки и отвел глаза.

Сергею казалось, что он должен был проявить некоторый юмор по отношению к своему странному иждивенческому путешествию на морском велосипеде, но человек никакого юмора не проявил, и они прошли мимо их лодки несколько раз, сильно качнув ее своей волной.

— Теперь еще бережн ий! — сказал Володя, и Сергей стал поворачивать лодку.

Они собирались рыбачить в начале маленького залива, куда направился глассер с велосипедистом. В глубине этого залива, среди реликтовых сосен, зеленело здание санатория. Территория его пляжа была отделена от остального берега розовой пластмассовой стеной.

— Па, кефаль играет, — крикнула Женя.

Сергей посмотрел в сторону протянутой руки девочки и увидел метрах в сорока от лодки, ближе к берегу, какое-то

бурление воды, словно в этом месте из глубины моря били ключи. Потом он заметил, что в этой бурлящей воде появляются какие-то черные точки. Он догадался, что это рыбы высовывают носы из воды. Одна, две, три, четыре, пять... Трудно было сосчитать, сколько их там. Может, десять, может, пятнадцать рыб. Некоторые из них вдруг исчезали, а потом снова появлялись, или на их месте появлялись другие. Сергей почувствовал волнение. В тишине ему показалось, что он слышит какой-то хлюпающий звук.

— Тише, — сказал Володя, — подгребай, не вынимая весел.

Он наклонился и, пошарив в ящике с рыбацкими принадлежностями, достал большой крючок-тройник, оборвал ставку самодура, привязал тройник к леске спиннинга. Теперь он стоял на кормовой банке, высокий, худой, по пояс голый, в закатанных штанах, обнажавших крепкие, мускулистые икры.

Он знаками показал, чтобы Сергей продолжал подгребать как можно тише. Володя обеими руками держал бамбук спиннинга, слегка развернувшись назад, как разворачиваются метатели диска.

Сергей изо всех сил налегал на весла, отяжелевшие оттого, что он не вынимал их из воды. Они подошли еще ближе, и стал ясно слышен чмокающий звук, доносившийся оттуда, где играла кефаль. Володя показал рукой, чтобы Сергей перестал грести. Сергей бросил весла. Лодка беззвучно двигалась по инерции. То ли от волнения, то ли оттого, что он перестал грести, он вдруг услышал густой телесный запах разогретого моря.

Володя резко развернулся, и шнур спиннинга со свистом полетел по воздуху, и тройник, взметнув небольшую струйку воды, упал в бурлящий водоворотик. Хлестанув по воздуху удилищем, Володя сделал подсечку. Но, видно, тройник не зацепил кефаль.

Поскрипывая катушкой спиннинга, Володя быстро стал наматывать шнур. Кефали ушли в глубину. Какая-то чайка, заметив в воде быстро движущийся тройник, спикировала на него и некоторое время трепыхалась у воды и шла вслед задвигающимся в воде тройником, пока не догадалась, что предмет этот имеет отношение к лодке с людьми. Жалобно скрипнув, она поднялась и улетела в сторону.

— Па, вон они, — сказала девочка и показала рукой в сторону берега. Метрах в ста от лодки снова появился таинственно бурлящий круг.

Сергей стал грести и снова подошел к танцующим рыбам метров на сорок. И снова шнур с тройником со свистом полетел по воздуху и опять с фантастической, как думалось Сергею, точностью попал в этот бурлящий круг диаметром с соломенную шляпу. Володя подсек, и показавшаяся Сергею громадной рыба выпрыгнула из воды.

— Есть! — закричал Володя и стал наматывать шнур на мучительно заскрипевшую катушку.

— За хвост, па! — крикнула девочка.

Володя изо всех сил накручивал шнур на катушку, удилище то и дело прогибалось, хотя он старался держать его так, чтобы образовывалась прямая линия от шнура к удилищу.

Но, видно, рыба дергалась под водой в разные стороны, и удилице то и дело судорожно прогибалось.

Вдруг рыба выплеснулась из воды, просеребрилась в воздухе и яростно плюхнулась в воду.

— Боюсь, уйдет, — сказал Володя сквозь зубы, продолжая наматывать шнур на мучительно скрипящую катушку, — плохо зацепилась.

Вдруг он остановился и опустил удилице.

— Что ж ты! — крикнул Сергей, страшно волнуясь.

— Ушла! — сказал Володя, и взгляд его внезапно опустел. Теперь он вяло продолжал наматывать вяло провисший шнур.

— Все-таки здорово, — сказал Сергей, вспоминая, как рыба второй раз выпрыгнула из воды и изогнулась в воздухе, словно пытаясь, а может, и в самом деле пытаясь перекусить шнур.

— Плохо зацепил, — сказал Володя, вздохнув. Он уже наматал весь шнур и осматривал тройник. На нем не осталось никаких следов. — Давай я погребу, — предложил Володя и, отложив свой спиннинг, уселся на место Сергея. Сергей сел на корму.

Он решил попробовать ловить на ходу. Он взял свой спиннинг в руки, осторожно отцепил крючки от катушки, разматал ставку и пустил ее в воду. Тяжелый свинец быстро стал раскручивать катушку, и ставка, проблеснув крючками, ушла в воду. Он выпустил метров двадцать шнура, и шнур, увлекаемый движением лодки, вытянулся, и Сергей время от време-



ни мягко, чтобы не сорвать ставку, подтягивал шнур, чтобы приманить рыбу игрой блестящих крючков.

Несколько раз ему попадались одинокие ставридки. Раз он подумал, что тянет какую-то большую рыбу, но это оказалась игла. Длинной в полметра, серебристое круглое тело и длинный клюв болотной птицы.

— Ты смотри, игла стала появляться, — сказал Володя, глядя на прыгающую и извивающуюся на дне лодки рыбу.

Сергей снова опустил в воду ставку. Вдруг он почувствовал живое, сладкое трепыхание внезапно отяжелевшего шнура.

— Стой! Стой! — крикнул он, боясь, что ставка не выдержит сопротивления тяжести рыб и движения лодки. Сергей осторожно и равномерно крутил катушку, и все время нетерпеливо смотрел за борт, и наконец увидел приближающуюся ставку с белыми проблесками рыб. Казалось, на ставке очень много рыбы, но, когда он поднял ее над водой, на ней оказалось пять мелко трепыхающихся ставридок, и одна из них плюхнулась в воду, прежде чем он поймал качающуюся ставку. Дрожащей рукой он снял с крючков четыре ставриды и бросил их на дно лодки.

— Видно, напали на стаю, — сказал Володя, поднимая весла, — попробуем.

Он оторвал тройник, привязал к шнуру готовую ставку и отдал свой спиннинг дочери. Сам он стал ловить просто со шнура, намотанного на большую пробковую катушку.

Сергей несколько раз вытаскивал по одной, по две рыбы. Володя каждый раз вытаскивал в два раза больше, чем Сер-

гей и девочка. Но у него была длинная ставка, крючков на пятнадцать. Сергей про себя подумал с обидой, что напрасно хозяин сделал ему ставку покороче. Но рыба внезапно исчезла и уже ни у кого не шла.

— Случайная стая, — сказал Володя.

— Нас здорово отнесло, — поправила его дочка.

Володя молча взял в зубы шнур и, сбросив весла на воду, сильными гребками, так что от носа в обе стороны пошла волна, стал грести на старое место. Теперь они стояли напротив самого начала подковы залива.

Они снова начали ловить, и у хозяина с первого же заброса подцепилось множество ставридок.

— Со дна? — спросил Сергей дрогнувшим от ревности голосом.

— С полводы, — сказал Володя, лениво отряхивая ставку и ловко отцепляя ставриду, которые слишком крепко сидели на крючке.

Сергей стал быстро разматывать шнур в глубину, то и дело, через каждые два-три метра, останавливаясь и пытаясь подсечь. Но рыбы не было.

— Смотри! — сказал хозяин и показал на ослабевший шнур. Было похоже, что грузило легло на дно, и, естественно, шнур ослабел, и пытаться разматывать его было бессмысленно.

— Дно? — спросил Сергей, не понимая, в чем дело.

— Рыба не пускает, — сказал Володя горделиво и стал медленно вытягивать шнур. Сергей смотрел в воду. Огромная,

изломанная цепочка приближалась к поверхности воды. Когда хозяин, встав на банку, вынул ставку, всю унизанную дрожащей рыбой, в воздухе стояло серебристое мерцание, и звук трепыхающихся хвостов был похож на звук крыльев ласточек, которые трепещут у гнезда. Звук далекого детства в деревенском доме дедушки. Как давно Сергей не слышал этого звука, да и где он, дедушкин дом!

Сергей снова стал опускать шнур, время от времени подсекая. Вдруг он почувствовал, что шнур потяжелел, словно налился соком, и он стал его выбирать, и шнур по дороге еще сильнее потяжелел, словно продолжал наливаться соком, и это было ощущение счастья, везенья, полноты жизни. Он вытащил ставку. На ней было семь ставрид.

— Семь, — сказал Сергей, чтобы все видели. Он начал дрожащими от волнения руками снимать рыбу, но снимать было страшно неудобно, потому что одной рукой она не снималась, а взяв рыбу обеими руками, он не знал, куда деть удилище спиннинга. В конце концов, сильно волнуясь, он, зажав удилище между ног да еще подбородком прижав его к телу, добился некоторой устойчивости удилища.

Но пока он с ним возился, произошла главная ошибка. Конец ставки с грузом оказался на дне лодки, натяжение ставки исчезло, и бьющаяся рыба за полминуты запутала всю ставку. Сняв рыбу и чуть не плача от волнения (надо же запутаться именно тогда, когда пошла хорошая рыба!), он стал распутывать ставку, стараясь вдуматься, где, куда идет какой узел, и уже заранее зная, что не распутает, и все-таки упорствуя, как

в школе, когда, запутавшись в контрольной работе, уже после звонка пытался что-то сделать, но сам знал, что уже ничего сделать не сможет, и тупо продолжал думать, а учительница уже ходила между рядами и отбирала последние тетради.

Так и сейчас он занимался распутыванием ставки, а в это время хозяин вытащил еще одну гирлянду, и видеть это было мучительно — как он спокойно стряхивает рыбу со ставки, а если рыба не стряхивается, он, поймав ее ладонью, легко, двумя пальцами отделяет ее от крючка.

Теперь Сергей вынужден был признать правоту хозяина, когда он сделал ему сравнительно небольшую ставку, с восемью крючками, а не с пятнадцатью, как у него самого. Такую ставку он сразу же запутал бы. Да и эту, проклятую, сумел запутать.

У Володи тоже перестала брать рыба, и это несколько облегчило мучения Сергея, но никак не облегчило распутывание ставки.

— Па, опять отошли, — сказала девочка.

— Что там у тебя? — наконец спросил хозяин. Сергей давно ждал этого вопроса.

— Да запутался, — ответил Сергей, стараясь скрыть отчаяние.

— Дай посмотрю, — сказал Володя, и Сергей протянул ему свою ставку. — Садись на весла, — добавил он и пересел на корму, продолжая оглядывать запутанную ставку Сергея.

Сергей радостно пересел на весла и стал ровно и сильно грести. Ему очень неприятно было, что он запутался, потому

что он оказывался совершенно беспомощен, когда и раньше, бывало, запутывалась леска.

Действуя зубами и пальцами, хозяин быстро распутал его ставку, и когда они снова подошли к тому месту, где ловилась рыба, он уже снова опускал шнур в воду. Но теперь рыба почти совсем не ловилась.

— Случайная стая, — опять повторил хозяин свою версию, как будто неслучайная стая должна стоять на месте, а случайная может быстро передвигаться. — У меня что-то подцепилось, — вдруг сказал он.

— А что? — спросил Сергей.

— Не пойму, — сказал Володя, прислушиваясь к шнуру, — а-а, скорпионы.

Он выбирал шнур, а Сергей, свесившись с лодки, внимательно смотрел в воду. Наконец появилась ставка. На самых нижних крючках ее он увидел две рыбы, одну большую, величиной с охотничий нож, другую поменьше, с ладонь. Спины обеих рыб были покрыты розовыми хищными пятнами.

— Видишь, на спине? — спросил хозяин, вытянув ставку и держа ее за бортом.

На спине, особенно заметный у большой рыбы, торчал плавничок, вроде маленького черного пиратского паруса. Плавничок этот сокращался, то складываясь в колючку, то нервно развертываясь.

— Не дай Бог, ударит, — сказал Володя просто и, все еще держа одной рукой ставку подальше от лодки, стал искать в ящике, чем бы оглушить рыбу. Покамест он искал, малень-

кий скорпион слетел с крючка и нырнул в глубину, а большой яростно трепыхался, и колючий пленчатый плавничок на спине то складывался, то, злобно напрягаясь, разворачивался.

Володя достал гаечный ключ, подвел ставку к наружному борту лодки и, когда скорпион, качавшийся на ставке, притронулся к борту, двумя-тремя ударами размозжил ему голову.

После первого удара, почти не задевшего его, скорпион с такой силой откачнулся, что чуть не долетел до Сергея, склоненного над бортом. Сергею показалось, что скорпион в последнее мгновение напряг свой ядовитый плавник, чтобы хотя бы этим плавником дотянуться до него.

Сергей вздрогнул и отпрянул. Вторым и третьим ударом Володя размозжил ему голову и, уже рукой обхватив расплюсченную голову, сдернул дряблое тело рыбы и выбросил его в море. Скорпион медленно пошел ко дну.

Они еще некоторое время порыбачили, но больше рыба не шла.

— Случайная стая, — сказал Володя, и они пошли поближе к берегу, чтобы ловить разную рыбу на наживку.

Сергей вынул сигарету и с наслаждением закурил, откинувшись на корму. Он почувствовал, что скучает по жене, и ему это было приятно. В последнее время в их отношениях появилась какая-то трещинка, но он не мог разобраться в том, что происходит между ними.

Он не знал, как это себе объяснить, просто порой вставало ощущение какого-то тупика. А может быть, дело не в ней, а в работе?

Сергей Башкапсаров преподавал древнюю историю в московском институте, расположенном за городом, в довольно живописной местности на берегу Москвы-реки.

Пять лет назад он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Идеология древней Спарты». Защитил, судя по всему, блестяще, один из оппонентов даже предлагал слегка доработать диссертацию и защищать ее как докторскую. В институте, от директора до уборщиц, все к нему относились хорошо, а некоторые даже любили его. Во всяком случае, он так думал. Природа наградила его огромной доброжелательностью, и это волей-неволей вырывалось наружу и чувствовалось людьми.

Ему позволено было говорить, и не только на научных советах, больше, чем другим. И он говорил, но в то же время нельзя было сказать, что он злоупотреблял хорошим отношением к себе.

Он знал, что в своей области он продвинулся чуть-чуть дальше существующих научных представлений, и это давало ему ощущение прочности своих возможностей. Именно это ощущение прочности своих возможностей, понимание того, что он имеет свою, новую точку зрения на некоторые достаточно важные старые проблемы, уверенность, что эта точка зрения верна, заставляли его особенно медленно, кропотливо, всесторонне исследовать свою тему, чтобы представить ее не только во всей полноте научной аргументации, но и во всей эстетической полноте, дающей сладостное ощущение утоленности истиной.

Формально работа его называлась «Нравственный тип идеологии древней Спарты», она была продолжением ста-

рой его работы, хотя острые мысли, суть ее состояли в сравнении идеологии древней Спарты с другими, более поздними идеологиями, противоположными по целям, но сходными по следствиям, благодаря близости нравственного типа.

— Далась вам эта Спарта, — слегка поморщился директор института, но тему диссертации подписал.

Это было четыре года назад. Время шло, а он все откладывал защиту. И то, что с некоторым скрипом можно было выставить на научное обозрение пять лет назад, сегодня грозило скандалом. И не только скандалом. Само пребывание его в институте, вся его научная жизнь (он не хотел думать: карьера) на этом могли закончиться. В конце концов, он мог бы и не защищаться. Его вполне устраивало его теперешнее положение. Вполне? Да, вполне. Ведь если он овладел какой-то истиной, неужели ему при помощи диссертации нужно ее демонстрировать людям?

Дело не в людях, подумал он, а в чем-то другом. Но в чем? Тут какой-то инстинкт, думал он, инстинкт передачи информации... А может быть, другое, подумал он. Дело в нравственном отношении к истине. Способность пострадать за нее и есть самое полное доказательство нравственного отношения к истине. Без этого никакой истины не существует. Без этого истина — еще один интеллектуальный узор, плетение этого узора... Занятие, недостойное серьезного человека.

Но разве он отказывается принять удар? Надо как можно тщательней подготовиться.



Чем безвыходней ситуация, тем лучше должна быть подготовлена работа.

Самое смешное, что жена тоже его торопила. Видимо, она не понимает размер скандала, который предстоит. Или ей кажется, что все обойдется? Или она тайно, сама того не сознавая, ждет этого краха? Нет, конечно. Впрочем, кто его знает...

Или он в самом деле боится рискнуть головой? Ну что ж (вспышка самолюбия), есть чем рисковать.

Руководитель кафедры истории академик Лев Леонидович Скворцов хорошо относился к Сергею Башкапсарову. Он вообще ко всем хорошо относился и, в награду за свое хорошее отношение к людям, к себе относился лучше, чем ко всем остальным.

Он прочел работу Сергея, основу его будущей докторской диссертации, и почти все места, которые больше всего нравились Сергею, отчеркнул безжалостным карандашом. В последующей беседе он намекнул Сергею, что все эти места, так наглядно развивающие мысль Сергея, надо убрать, потому что они слишком выдают его мысль, делают ее слишком выпуклой, и это обязательно вызовет недовольство оппонентов. Надо эти места, хотя они сами по себе и хороши, убрать или затушевать, чтобы спасти главную мысль.

Кроме ясно осознанного практического совета, в том, что говорил и предлагал Лев Леонидович, был и неосознанно раздражавший академика момент. Дело даже не в том, что Сергей Башкапсаров слишком далеко отходил в своей работе от существующих, принятых и одобренных представле-

ний о поднятой проблеме. Но дело в том, что, и отходя далеко от принятых и одобренных представлений о своей проблеме, и копошась поблизости от них, он ни в том, ни в другом случае не чувствовал привязи, той невидимой привязи к одобренным представлениям, которую чувствовали все научные работники, в том числе и он, академик Лев Леонидович.

И кто, как не он, всеобщий любимец Лев Леонидович, порой натягивал эту привязь в своих работах так, что, бывало, наверху даже высказывали тревогу в том смысле, что не оборветесь ли, Лев Леонидович, не слишком ли натянули... Нет, не оборвет Лев Леонидович привязи, на то у него и могучее чутье, на то он и всеобщий любимец, академик, жизнелюб.

А у этого Башкапсарова никакой тебе привязи, весь распахнутый, свободный, ковыряется в проблеме, словно у себя в письменном столе. Вот чего он не чувствует и что придает всей его работе интонацию очаровательной доверчивости, черт бы его побрал!

Хотя Сергей внутренне совершенно не был согласен с Львом Леонидовичем, внешне он почти согласился с ним, во всяком случае кивал на его замечания, правда без особой бодрости. Потом, вспоминая свое поведение, Сергей подумал, что он вел себя так, чтобы сохранить за собой такого сильного сторонника, как руководитель кафедры академик Скворцов. И так, чтобы спасти полемическую мысль, надо было лишить ее полемической сущности.

Шестидесятилетний академик Скворцов славился своей молоджавостью, спортивностью и влюбчивостью. Совсем не-

давно с присущим ему детским эгоизмом он рыдал у ног своей любовницы, молодой научной сотрудницы, решившей наконец прервать роман с академиком и выйти замуж. Он просил ее не покидать его, хотя у самого была семья, состоящая из жены и троих детей.

Однажды на банкете, разговорившись, Лев Леонидович рассказал, как он катался на яхте с одной очаровательной женщиной, но неожиданно ветер погас, и яхту снесло далеко в море, и за ними был послан пограничный катер, и пограничники сначала ругались, но потом, увидев его удостоверение академика, очень вежливо отбуксировали яхту к берегу. Сергей заметил, как во время этого рассказа посерело лицо жены академика. Сам рассказчик тоже заметил с некоторым опозданием, что в присутствии жены рассказ его звучит не слишком уместно.

— Тогда еще Софочки не было, — добавил он и погладил ее плечо. Получалось, что он академиком был с молодых лет, что не соответствовало истине.

Сергей, конечно, преувеличивал, считая, что хорошее отношение к нему академика Скворцова вызвано тем, что он, Сергей, кавказец, а Скворцов — любитель горных лыж, впрочем, как и водных.

— Ну как, поедем в этом году в Бакуриани? — бывало, спрашивал он у Сергея, и Сергей добродушно соглашался, словно в прошлом году они уже были в Бакуриани и в этом году туда собираются. На самом деле Сергей никогда не бывал в Бакуриани, а горные лыжи видел только в кино.

И когда академик объяснял Сергею, почему главную мысль его работы надо упрятать как можно глубже, Сергею слышалось: что же мне, из-за твоей работы лишаться горных лыж, водных лыж и аспиранточек?

Конечно, для него, для академика Скворцова, риск был ничтожный, а все-таки хоть и риск был ничтожный, но и этого ничтожного риска он не хотел брать на себя.

Иногда Сергею приходила в голову блаженная мысль бросить все: Москву, институт, вернуться на родину, устроиться где-нибудь в горной деревушке, работать в школе и жить себе в свое удовольствие. Краем сознания он этот свой приезд связывал с возможностью присмотреть себе подходящее местечко.

И в то же время он знал, как это маловероятно. А почему бы?.. Все эти мысли в последний год особенно беспокоили его. Они внесли в его отношения с людьми какую-то заторможенность, а ведь он всю жизнь отличался необыкновенной быстротой реакции, непосредственностью, за что и нравился многим.

Ладно, там видно будет, решил он (ничего не решив) и, бросив сигарету за борт, как бы отряхнул от себя неприятные мысли.

Впервые Сергей со своей будущей женой встретился семь лет назад, в институтском кинозале.

Он шел в кино в каком-то странном возбужденном состоянии. У него было ощущение предчувствия любви, какой-то необычайно заманчивой встречи. Ну прямо-таки вот-вот должна была появиться принцесса, в которую он наконец по-

настоящему влюбится. Войдя в кинозал, он оглядел зрителей, некоторые из них были его студентки, и они, здороваясь с ним, улыбались ему (смесь почтительности с девичьим любопытством), но, не заметив ничего оправдывающего его предчувствие, он сел на скамью.

Он продолжал чувствовать тревожное любопытство, несмотря на то, что дверь уже закрыли, свет погас и началась картина. Постепенно волнение улеглось, и он стал следить за тем, что происходит на экране.

Вдруг он почувствовал, что какая-то девушка села рядом с ним. И тут же он восстановил в памяти, что несколькими мгновениями раньше осторожно скрипнула дверь и кто-то вошел в зал.

Он украдкой посмотрел на севшую рядом с ним девушку, но в тусклом отсвете экрана заметил только большую копну волос и скорее догадался, чем увидел, что лицо у нее приятное. В сущности, он только разглядел слабую, женственно-дегенеративную линию подбородка.

Такая линия подбородка была у девушки, которую он полюбил еще школьником, первый раз в жизни. Струя волнения пронзила его, но он сдерживался, не зная, что делать, и боясь испугнуть девушку.

Они смотрели какой-то очень старый иностранный фильм. Действие происходило в пустынном африканском поселке. Какая-то жульническая компания пыталась прибрать к рукам еще не разработанные, но, по-видимому, несметные залежи нефти. В эту компанию по ошибке втесался честный инженер, кото-

рый, сам того не ведая, мешал им, и они собирались его убрать. Но этого инженера полюбила местная девушка, однако европейка, которая ездила на ослике и была очаровательна в своих якобы незатейливых брючках и рваной ковбойке. В течение всего фильма она пыталась вдолбить в голову этого инженера, что он имеет дело с опасными жуликами и что она равнодушна к нему. В конце концов инженер влюбился в нее и через свою любовь осознал, с какими опасными жуликами он связался.

— Эта девушка похожа на вас, — неожиданно шепнул Сергей сидевшей рядом с ним девушке.

— А разве вы меня знаете? — спросила она, повернувшись к нему и стараясь разглядеть его. Голос у нее был низкий и хрипловатый. Ужасно приятный голос.

— Да, — вдохновенно солгал Сергей, словно мысленно добавил, что всю жизнь готовился ее встретить и потому имеет право считать, что знает ее.

Она что-то почувствовала. Мысль его дошла до нее в виде телепатического иероглифа, означающего, что надо привести себя в порядок. По крайней мере, проверить прическу. Она слегка притронулась руками к волосам, словно сказала, что если дело обстоит так серьезно, то она, пожалуй, проверит, хорошо ли лежат ее волосы, потому что вдруг и он ей понравится, и тогда будет очень жаль, если ее подведет прическа.

— Странно, — сказала она своим милым, как бы проваливающимся на некоторых звуках голосом, — вы из нашего города?

«Ах, она заочница», — вдруг догадался он, почему такую хорошенькую девушку не разглядел в институте. Ему каза-

лось, и это было похоже на правду, что он не мог не заметить в институте такую девушку.

— Да, — сказал он, голосом давая знать, что он шутит, а шутит потому, что она ему понравилась, вернее, должна понравиться, когда зажжется свет и он ее разглядит, — я парень из вашего города.

Он это сказал, приблизив свое лицо к ней. Он вдохнул облачко ее запаха и это был тот самый запах, какой должен быть, когда девушка нравится.

Ей передались его волнение, его заинтересованность ею, она почувствовала что-то странное в его облике, но что это, не могла понять. Она чувствовала, что для студента он ведет себя как-то странно, а то, что он преподаватель института, ей и в голову не приходило.

— А как наш город называется? — спросила она недоверчивым шепотом.

— Забыл, — удрученно и жарко шепнул он ей на ухо и на мгновение прикоснулся губами к щекочущему завитку волос и к самой мочке. Она вздрогнула и мягко отстранилась, после чего вспомнила его удрученный голос и улыбнулась.

Они некоторое время молча смотрели на экран, где девушка все ездила на своем ослике, все выручала своего инженера, а тот все никак не мог понять, какие жулики его окружают и до чего хороша эта девушка в своих истрепанных брючках и уже готовой развалиться, на радость зрителям, ковбойке.

— А вы аспирант? — вдруг спросила она у него, нащупывая какой-то путь к истине.

— Нет, — сказал он, — я читаю древнюю историю.

— Ври-ите, — протянула она провинциально и, вдруг испугавшись, что это правда, добавила: — Ой, извините...

Когда картина кончилась и зажегся свет, они разом посмотрели друг на друга, и он почувствовал по ее взгляду, что она довольна знакомством с ним, а он ощутил некоторое разочарование, хотя девушка была приятная, даже, пожалуй, больше чем приятная. Но для оправдания его рокового предчувствия она не тянула. Так ему подумалось.

У нее были очень пухлые свежие губы и тяжелые веки, что ему нравилось. Но веки почему-то были красноватые, и ему мелко подумалось, что это когда-нибудь будет раздражать.

Выходя из кинозала, он старался идти рядом с ней с выражением солидной независимости: то ли девушка случайно оказалась рядом, то ли она подошла к нему проконсультироваться по какому-то учебному вопросу.

Они вышли из клуба. Была звездная, теплая майская ночь. Рядом с клубом были расположены небольшие домики, в которых жили преподаватели. Чуть подальше высился многоэтажный корпус общежития студентов. Заросли черемух и сирени цвели вдоль асфальтовой дорожки, ведущей к главному корпусу института, где Сергей все еще жил в общежитии аспирантов.

На лужайке, невидимые за кустами черемух, студенты под гитару пели песни Окуджавы. Вдалеке слышался жен-



ский смех. Казалось, лужайка, кусты сирени и черемух и сама ночь пронизаны шевелением и шепотом влюбленных.

— Нет, нет, я пошла спать, спокойной ночи, — сказала какая-то девушка и, раздвинув кусты, вышла на асфальтовую дорожку впереди них. Она прошла мимо, вглядываясь в них с тем особым женским любопытством, которое в темноте старается определить, кто с кем. Тогда как любопытство мужчины в темноте, по наблюдениям Сергея, направлено на попытку угадать — не кто с кем, а как далеко зашли отношения.

Вслед за девушкой на дорожку вышел парень, но, увидев, с какой решительностью она уходит, он снова нырнул в кусты и с алкогольной бодростью недопившего отправился к тому месту, где компания студентов пела песни.

— Я пойду, — сказала она нерешительно, и он почувствовал, что можно еще с ней погулять. Но он и сам не понимал, хочется ему с ней остаться или нет. Она сделала несколько шагов в сторону от асфальтовой дорожки, что означало ее намерение уйти, но и смягченное тем, что на дорожке появился велосипедист. Это был знакомый Сергея, аспирант. Впереди велосипеда дрожал жидковатый свет фонаря, и аспирант в свете этого фонаря увидел девушку, отошедшую от Сергея, удивился тому, что она ему незнакома, и, проезжая, внимательно взгляделся в лица обоих, чтобы определить степень их близости.

Свет велосипедного фонаря осветил нежную линию ее ног, всю ее неуклюжеватую фигуру, как бы неточно стоящую на земле, в светлом легком пальтишке, и Сергей решил, что она все-таки очень приятная девушка.

— Пойдемте до реки и вернемся, — сказал он.

Она неуверенно посмотрела в сторону Москвы-реки, словно прикидывая расстояние и время, которое понадобится для того, чтобы дойти до реки и вернуться обратно.

Они пошли мимо главного корпуса, возле которого на скамейке под большим развесистым кустом черемухи сидело много студентов и студенток. Здесь-то и бренчали на гитаре и пели.

Сергей прошел со своей девушкой примерно в пятнадцати шагах от них, но здесь, у входа в институт, горели фонари, хотя и не очень яркие, но достаточные для того, чтобы он был узнан. Он старался идти так, чтобы девушка была прикрыта его силуэтом. Ему не хотелось, чтобы ее кто-нибудь узнал. В то же время ему не хотелось, чтобы она заметила этот его маневр.

Когда они подошли ко второму от входных дверей фонарю, скамейка, где сидели и толпились студенты, вдруг замолкла, что было явным признаком того, что он узнан. Сергей почувствовал смущение и тревожную догадку, что они не только узнали его, но и обязательно дадут знать, что его появление с девушкой не осталось незамеченным.

Только они отошли в тень, как со стороны замолкшей скамейки раздалось многозначительное покашливание, на что остальные студенты ответили взрывом хохота.

— Жеребчики веселятся, — сказал он.

— Вас все знают, — ответила она с улыбкой, во всяком случае не показывая, что сама смущена. На самом деле она не смутилась, а в глубине души даже была польщена, что вот она

студентка, а прогуливается с молодым доцентом. «Только бы не показаться глупой», — подумала она.

Они вошли в дубовую рощу, почему-то считавшуюся гордостью института, хотя институт существовал не больше двадцати лет, а дубам было по крайней мере лет по сто.

Сергей спросил, откуда она родом, и очень обрадовался, узнав, что в самом деле бывал в этом небольшом чистеньком городке Тульской области.

Когда-то он вместе с аспирантами института ездил в Ясную Поляну, и на обратном пути они остановились на несколько часов в этом городке.

Городок ему так понравился, что он тогда подумал: хорошо бы полюбить ясную, интеллигентную девушку из такого городка и жить с нею всю жизнь.

Он сказал, что и в самом деле был в ее городе, сказал, что любовался необыкновенными могучими липами городского парка, что даже стрелял там в тире.

Она страшно обрадовалась его словам и стала рассказывать о городе и библиотеке, где она работала. Он был рад за ее библиотеку, но ему показалось, что библиотеке уделено слишком много слов, и он спросил, чем занимаются ее родители. Она сказала, что папа у нее старенький, занимается садом, а когда-то был юристом. А мама, сказала она, полыхнув гордостью, лучший гинеколог города. Он засмеялся, почувствовав юмор между глобальностью определения (лучший!) и масштабами этого деревянного городка.

Мысленно он решил остановиться возле самого большого и потому самого тенистого дуба и непременно попытаться поцеловать ее. Теперь они шли сквозь дубовую рощу. Здесь было довольно темно, и он очень бережно вел ее под руку, потому что земля здесь была перевернута корнями дубов и тропа была очень бугристая.

Сначала, когда он взял ее под руку, то почувствовал, что она вся напряглась, может быть даже испуганно съежилась, но он так бережно держал ее, так избегал малейшего чувственного намека, что добился своего. Через минуту она совершенно свободно подчинялась его легким, дружеским указаниям.

— А что тут смешного? — спросила она, когда он рассмеялся, узнав, до чего знаменита ее мама. — По-вашему, я хвастунья?

— Нет, — сказал он, снова рассмеявшись, — но когда вы сказали: лучший гинеколог, я подумал — по крайней мере, Тульской области.

— А-а-а, — протянула она и тоже рассмеялась, уловив, в чем заключался юмор.

Ее наивность почему-то заставила его отложить попытку поцеловать ее возле этого дуба. Он решил попытаться позднее, когда они дойдут до берега, до которого оставалось метров пятьдесят, словно она, пройдя это расстояние, могла стать более зрелой.

...Они стояли на берегу Москвы-реки. Пахло водяной сыростью, лягушачьей теплынью начала лета. Звезды тускло мерцали на неподвижной поверхности реки. Ниже по тече-

нию смутно угадывались очертания железнодорожного моста. По нему с грохотом пролетел ленинградский поезд, пронося над мостом горящие окна, а по воде огненную полосу, отражение слившихся огней окон.

Светящиеся окна вагонов напомнили ему вдруг кинокадры, которые он собирал в детстве. Далекое, грустное волшебство.

Потом мимо них вверх по течению прошел пароход, весь в праздничных огнях, сдержанно и опрятно шелестя колесами. На корме кто-то стоял, облокотившись о поручни, и, когда корма проходила мимо них, человек, стоявший у борта, бросил в воду сигарету, и она, прочертив в воздухе легкий полукруг, погасла в воде.

И, словно двигаясь в некоторой мистической последовательности: поезд промчался по мосту — первый сигнал, прошелестел пароход — второй сигнал и, наконец, брошенная сигарета — последний сигнал, — он бережно взял ее за плечи и еще бережней притянул к себе и поцеловал ее в нежно светящую шею.

Она вздохнула и слегка, словно в ответ на его бережность, боясь быть грубой, отстранила его, и он понял, что она не рассердилась. Он поцеловал ее в щеку, потом в глаза, и она так же слабо отстранялась, и от нее веяло юностью, робостью, робкой доверчивостью...

Все-таки он подумал, что, вероятно, она уже целовалась с мальчиками, и без всякого чувства по отношению к этому, но просто понимая, что это должно облегчить ему задачу, поцеловал ее в губы, в тихие лепестки губ.

— Ой, — задохнулась она и довольно сильно оттолкнула его от себя, — вы так всегда?

«Если удастся», — подумал он, но вслух сказал:

— Ну что вы... Просто вы мне очень понравились...

— Правда? — сказала она своим глухим голосом и снова тронула свои темно-русые пушистые волосы.

Он притянул ее голову к себе и поцеловал в душистую копну волос, вдохнул запах солнечного дня, разогретого солнцем растения. Теперь он целовал ее уверенно, и эта уверенность словно передалась ей, и когда он поцеловал ее в один глаз, она доверчиво подставила другой, как будто это была совершенно узаконенная процедура, — если уж целуют один глаз, надо подставлять другой.

Показалась баржа. Она шла вниз по течению. Она шла очень медленно, таща за собой бесконечный караван плотов, груженных лесом.

Когда, затемнив реку, баржа поравнялась с ними, он поцеловал ее в губы — на этот раз долгим поцелуем — и вдруг почувствовал, что ее губы ожили. Он уловил это краем сознания и внезапно уверился, что она впервые чувственно оживает, и он не прерывал поцелуя, и сладость длилась и длилась, а плоты все шли и шли, и от них доносился ровный сильный запах древесины, равномерный всплеск волн, иногда голоса людей, и на некоторых плотях горели костры, которые он замечал краем глаза сквозь сон поцелуя, и казалось, плотам не будет конца, как поцелую, как жизни.

Сам того не осознавая, он вложил в этот поцелуй всю горечь неудачной первой любви, всю горечь неудачной второй любви и всю горечь неудачной третьей любви, и каждая из них обречена была быть горькой и неудачной, потому что он слишком много чувства вкладывал в каждую из них и слишком верил в необходимость полного бескорыстия. Одних из них он отпугивал этой силой чувства, от других с кровью и болью отдирался сам, потому что, когда много вкладываешь, много и требуешь, а когда он влюблялся, каким-то образом каждый раз включалась по отношению к любимой высшая нравственная требовательность, и каждый раз его идеал в чем-нибудь его подводил.

И наоборот, случайные интрижки всегда удавались, и женщины, с которыми он встречался, чаще всего подчинялись их инициативе, наперебой хвалили его спокойный веселый нрав, потому что сигнальная система высших требований и высших ожиданий не включалась. Наиболее глупые из них именно по этой причине пытались женить его на себе, и, когда эти попытки делались достаточно назойливыми, он уходил от них.

Но эти успехи для него были хуже тех неудач и, в сущности, были еще более неудачны, и потому в этот долгий поцелуй он неосознанно вкладывал и эту горечь мелочного разбазаривания жизни.

А плоты все шли и шли, и он, не прерывая поцелуя, слушал легкий всплеск волн, поднятый ими, вдыхал сильный свежий запах древесины, замечал, приоткрывая глаза, медленно плы-

вушие их низкие черные силуэты, странные костры, горящие на некоторых из них, и таинственные фигуры людей возле этих костров, и ее в слабом свете звезд запрокинутое покорное лицо с закрытыми глазами, мгновениями до какой-то сладостной жути напоминающее лицо его первой любви.

И хотя она была жива и он ее видел во время своего последнего приезда на родину, но это было хуже, чем если бы она умерла. Они встретились на вечеринке у общих знакомых. И впервые, впервые в жизни во время их встречи, он был грустен, но спокоен и пуст, а она нервничала и бесконечно шпыняла своего мужа, мирно игравшего в шахматы. Роли переменялись, но это его нисколько не радовало, и он понимал, что во всем этом не последнее место, а может, и первое место занимало то, что он, когда-то безалаберный мечтатель, добился, как ей казалось, немалых успехов, став доцентом Института общественных наук.

В тот вечер речь зашла об одной из ее подруг той поры, когда он был влюблен, на крылечке дома которой он признался ей в любви. И он тут же напомнил ей об этом без всякого злорадства, но и не случайно, а как бы демонстрируя прочность и силу своего теперешнего равнодушия к ней. Как она густо покраснела, как осеклась, когда он напомнил ей об этом!

Какое неудержимое, какое сладострастное истязующее душу стремление у влюбленных расстелиться в собачьей преданности! Тот путь, который двое должны пройти друг к другу, чтобы обрести и беречь общее завоевание, он одним махом прошел сам, и что ей тогда оставалось, как не отвергнуть его.



И она отвергла его — мягко, уклончиво, и не совсем отвергла, но его тайная гордость, его не осознанный им самим идеализм предпочел полноту страдания и боли отвратительному, как ему казалось, меркантильному, постепенному пути завоевания сердца любимой.

Нет, он и теперь ни за что не согласился бы на любовь, похожую на хорошо сыгранную шахматную партию, но он, иронизируя над самим собой, признал необходимость некоторого неподлого маневрирования, или, как он называл это про себя, уважения к деталям.

Наконец бесконечный караван плотов освободил гладь реки, и сразу посветлело, он осторожно оторвался от нее, она вздрогнула, глубоко вздохнула и открыла глаза.

Она внимательно посмотрела на него и вдруг сама поцеловала его. Это было еле слышное прикосновение, отделенный от чувственности поцелуй признания того поцелуя.

— Я и не знала, что так бывает, — сказала она, снова вздохнув.

— А разве не бывало? — все-таки спросил он.

— Конечно, нет, — сказала она удивленно, словно была уверена, что он это должен был понять сам, — ну, пытались ребята, которым я нравилась... Но это было совсем не так...

«Может, и не врет», — подумал он. Возбуждение прошло, и он, прислушиваясь к себе, ясно осознал, что ему безразлично, что было у нее с другими ребятами.

Они пошли назад. Когда они снова вошли в дубовую рощу и подошли к тому дубу с самой густой тенью, он, словно выполняя кому-то, может быть самому дубу, данное обещание поцеловать ее здесь, снова остановился и несколько раз поцеловал ее, не испытывая почти никакого волнения, а только наслаждаясь запахом ее юности. В сущности, правильной было бы привлечь ее к себе и нюхать, как свежую росистую ветку, полную цветов.

— Я, наверно, устала, — сказала она, и он понял, что теперь не надо этого, и они пошли дальше. Ему было легко и хорошо.

Он рассказал ей о своем предчувствии и о том, что он, увидев ее, хотя увидеть было невозможно, и все-таки увидев ее, сразу понял, что предчувствие его не обмануло.

В ответ она сказала, что и она что-то почувствовала, когда он шепнул ей на ухо о том, что забыл название ее города. Он добродушно усмехнулся про себя, понимая разницу между своим предчувствием, в сущности ожиданием любви, естественным для молодого неженатого и невлюбленного человека, и тем, что ощутила она, может быть, первый раз в жизни, а именно — дуновение чувственности в ответ на его близкий, чуть коснувшийся ее уха шепот.

— Я живу с девочками в пятой комнате, — сказала она, когда он подвел ее к зданию общежития, — до свиданья...

— Спокойной ночи, — сказал он, кивком давая знать, что он запомнил номер комнаты. Кивок был чисто механическим, потому что он тут же забыл номер комнаты. Да это было и неважно, потому что тут он найти ее мог всегда.

Он закурил и пошел в главный корпус, но у входа в него остановился и постоял, любуясь светлой безлунной ночью, тишиной, запахом черемух.

Он бросил свою сигарету в урну и вошел в здание института. Поднялся на пятый этаж в свою комнату, где он жил с аспирантом, разделся, лег и заснул.

Ему приснилась девушка из кино, неутомимый рыцарь того инженера. Она подъехала к Сергею на своем ослике и, почему-то приняв его за того инженера, стала объяснять ему, как он должен вести себя с этими бандитами, а он все смотрел на нее, на ее ковбойку, на глазах расплывающуюся от ее бойкой жестикуляции. В конце концов он обнял ее якобы для того, чтобы прикрыть ее наготу, а она, ничего не понимая, продолжала говорить, а он обнимал ее все крепче и крепче, и она, уже задыхаясь в его объятиях, продолжала объяснять ему, как он должен действовать, чтобы не погибнуть, а он уже думал, как бы ссадить ее с этого ослика, чтобы отнести ее куда-нибудь в пампасы, но боялся, что как только он ее подымет, она догадается, что он совсем не тот инженер, за которого она его принимает. Может, он и решился бы унести ее в пампасы, но мешал ослик, иронически искоса следивший за ним и с самого начала понимавший, что он не тот инженер и вообще никакой не инженер, а черт знает кто. И ему ничего не оставалось делать, как все крепче и крепче ее обнимать, как бы заменяя своими растленными объятиями ее истлевающую на глазах ковбойку.

Утром в столовой к нему подсел аспирант и, поставив на стол свой завтрак, состоявший из холодца и тарелки винегрета, сказал:

— Поздравляю, Башкапсаров! Хорошую ты девочку подцепил! — Это был не тот аспирант, который проезжал мимо них на велосипеде.

— Не понимаю, — сказал Сергей и, сделав постную мину, поддел вилкой противную дольку свеклы из своего винегрета. «Вот сволочи, — подумал он беззлобно, — не успеешь с человеком пройтись, уже все знают».

— Сегодня моя Люба, — продолжал тот, имея в виду свою девушку, студентку пятого курса, — утром постучалась за утюгом в пятую комнату, а некоторые девочки еще лежали, и дверь была закрыта. «Откройте, девочки, это Сергей Тимурович!» — крикнула одна заочница, чем и выдала себя. Когда Люба вошла, вся комната заржала. Девушка смутилась. Потом Люба показала мне ее. Хорошая. В моем вкусе. Не стандарт.

— Видал я твой вкус в гробу, — ответил Сергей, на этот раз и в самом деле разозлившись. Само упоминание его вкуса по отношению к девушке, которую он выбрал, было для него оскорбительно, и было оскорбительно, что этот аспирант, человек, по мнению Сергея, во всех отношениях ничтожный и стандартный, сказал, что она нестандартна, а то, что стандартный человек считает нестандартным, на самом деле и есть стандарт. «Но ведь она и в самом деле своеобразная де-

вушка, — подумал Сергей, — просто этот негодяй неточен даже в границах собственного ограниченного вкуса».

— Вот Сергей! Шуток не понимаешь, — сказал аспирант, приступая к холодцу, — а между прочим, я ассистирую у них послезавтра на экзаменах.

— Смотри не завали, — хмуро примирился Сергей и помешал ложечкой чай.

— Я бы завалил, — усмехнулся аспирант, — да боюсь, ты мне отомстишь на защите.

Он это произнес с намеком на двойной смысл слова.

— Я это могу сделать гораздо раньше, — сказал Сергей и, выпив чай, вышел.

Они виделись почти каждый день, и Сергей удивлялся, что она ему продолжает нравиться все так же свежо, но это не переходит в мучительную влюбленность, как бывало раньше, и не слабеет, как еще чаще бывало раньше, а держится на прежнем волнующем, но и подвластном сознанию уровне.

Он удивлялся этому и, со склонностью все анализировать, пришел к выводу, что дело тут в том, что он сразу стал с ней целоваться. Горючее любви, решил он, уходит на встречи, объятия, поцелуи, смягчая углы и не давая накопиться взрывным силам.

В ее облике была какая-то очаровательная неуклюжесть совершенно непонятого происхождения. Она как-то нетвердо ступала, неуверенно протягивала руку, пугливо поворачивала голову.

Однажды вечером ему удалось пригласить ее к себе в комнату, предварительно прибравшись и договорившись с соседом, что его не будет.

Она осторожно присела на диван. Он угостил ее обломком шоколадной плитки, найденной им в ящике стола, куда он за чем-то полез. Он терпеть не мог в таких случаях всякого рода приготовления с выпивкой и тому подобное, считая все это унижительным и пошлым.

Вообще Сергей, достаточно терпимый ко многим человеческим недостаткам, был раним пошлостью, как редко кто. Но тут, возможно, сказывалась и глубоко затаенная гордость, и желание нравиться за счет собственных достоинств.

Это могло показаться противоречивым, учитывая, что он не исключал рациональности (то, что он называл «уважение к деталям»), но рациональность, очищенную от пошлости, он считал не унижительной.

Так, например, он считал, что, если девушка тебе нравится и она к тебе, по крайней мере, испытывает некоторую симпатию, было бы величайшей ошибкой признаваться ей в любви. Зерно чувства, считал он, прорастает и вытягивается в силу священного любопытства, чтобы дотянуться до твоей души и заглянуть в нее. Если же ты до срока раскрыл свою душу, росток хиреет, ему незачем расти.

Вспоминая свой достаточно горестный, как он считал, опыт и опыт многих своих знакомых, Сергей удивлялся необъяснимому, иррациональному стремлению людей призна-

ваться в любви. Люди признаются в любви даже тогда, когда заранее знают, что получат отказ. И не только тогда, когда заранее знают, что получат отказ, но и тогда, когда предчувствуют, что это признание положит конец и тем невинным, дружеским отношениям, которые так дороги влюбленным и которые станут невозможными после признания. Откуда же этот восторженный, этот неударжимый, этот победный порыв к приятию поражения?

Иногда Сергею казалось, что существует какая-то высшая сила жизни, которая неуклонно ведет статистику влюбленных, следит за всемирным балансом любви, которая не только учитывает безответную любовь, но и вносит ее в свои списки как высшее достижение человеческого духа. Вот откуда, думал он, этот тайный восторг, этот неударжимый порыв к приятию поражения.

Сергей побывал в этих списках, но больше не хотел этого. Он хотел проходить по второй, более скромной категории разделенной любви.

Он знал, что стал хуже от этого, и был согласен с этим. Вот и сейчас, когда она сидела на диване в своем желтом платье с короткими рукавами, которое ей так шло, ему очень хотелось ее поцеловать, но он решил (рациональность, уважение к деталям) во что бы то ни стало сдерживаться, чтобы не обидеть ее и, главным образом, не вспугнуть. Все-таки она первый раз пришла в его комнату. С любопытством озираясь, она доела шоколад и сказала, что ей здесь нравится. Он при-

сел рядом с ней и, сразу же забыв о своем рациональном решении, сочно поцеловал ее в губы.

Он чувствовал грудь сквозь мягкую ткань платья ее тело, осторожно прижавшееся к нему, и постепенно, продолжая целовать и не отрывая своих губ от ее рта, стал пригибать ее к дивану, и она попыталась освободиться от его объятий, но он не дал ей освободиться, и она попыталась освободить рот, чтобы остановить его, но он не дал ей прервать поцелуя, и она сквозь поцелуи ему что-то немо промычала, и он в ответ ей тоже промычал что-то, что должно было означать, что он не потерял голову и ей ничего не грозит.

Теперь они лежали рядом, прижавшись друг к другу, и он ладонью чувствовал сиротскую пуговку лифчика на ее спине. Он тронул ее пальцем и словно нажал сигнальную кнопку, она мгновенно почувствовала это и стряхнула его ладонь со спины. Они продолжали целоваться, и он снова положил ладонь на ее спину, и она, словно прислушиваясь спиной, не стряхивала его ладони, и он, уже бессознательно играя, снова положил палец на эту пуговицу, но теперь сделал это солидно, словно приставил к ней сторожа оберегать ее от других, более легкомысленных пальцев. Это был указательный палец.

Вдруг погас свет. Сергей сразу почувствовал, что тело ее напряглось от страха. И в то же время внезапная темнота и ее страх словно ударили его, оглушили сознание, и тело его покрылось мгновенной испариной. В следующее мгновение сознание вернулось к нему, он разжал объятия и, выпустив ее, сел рядом с ней.



«Что делает глупец в таких случаях?» — подумал он и ответил самому себе: «Глупец набрасывается на девушку, пугает ее и навек делается ей отвратительным».

Она села рядом с ним. Он чувствовал, что она все еще скована страхом. В тусклом свете, идущем от окна, теперь он смутно, как тогда в кино, видел ее профиль со слабой дегенеративно-женственной линией подбородка. Он подумал, что, в сущности, они друг друга знают не больше, чем тогда в кино. Откуда она, кто такая, зачем это все?

Она продолжала молчать, и ему самому было как-то неловко за то мгновение, когда он полностью потерял над собой контроль. «Заметила она это или нет?» — подумал он и, вынув из кармана сигареты, чиркнул спичкой и закурил.

Она шевельнулась, удобней усаживаясь на диване. Движение ее показалось ему благожелательным, словно малый огонек сигареты придвинул их к тому состоянию доверия, которое она испытывала к нему при свете.

— Это у вас всегда так? — спросила она с некоторой иронией, а может быть, за иронией все еще пряча страх.

— Ну да, — сказал он серьезно и уже совсем успокаиваясь после первых затяжек, — к выключателю привязан шнурок, подведенный к дивану... В нужный момент свет как бы внезапно гаснет.

— Вы шутите, — усмехнулась она. Все-таки по голосу видно было, что ей все еще не по себе.

Свет зажегся так же неожиданно, как и погас. Сергей успел заметить ее молниеносный взгляд, ищущий на сте-

нах выключатель, и успел заметить, что она заметила, что он поймал ее взгляд. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись.

— В таком громадном институте гаснет свет, — сказала она, вставая с дивана и подходя к зеркалу, вставленному в платяной шкаф. — Дайте мне расческу.

— Иногда у нас бывают и большие перерывы, — ответил Сергей и достал с подоконника расческу, которой он пользовался вместе со своим напарником по комнате. Он сдунул с нее пылинки и даже вытер ее о рубаху, скорее всего неосознанно стараясь стереть с нее дух другого мужчины.

Он подал ей расческу и снова сел на диван. Она расчесывала свои густые темно-русые волосы, и он любовался ею, ее рукою, как бы с излишней неуклюжей твердостью сжимавшей расческу, легким весенним загаром ее оголенной руки, нежным юмором локтевого сгиба, сейчас агрессивно выдвинутого и по-девичьи заостренного, и, может быть, благодаря этой агрессивной выдвинутости и заостренности и той напряженности, с которой рука продирала расческой густые волосы, было особенно заметно, насколько она беспомощна и слаба.

Почувствовав, что он ею любит, она обернулась и, оскалившись и слегка высунув язык, ослепительно блестя ровными зубами, посмотрела на него, давая ему любоваться собой и радуясь, что он ею любит, и довольная, что все так хорошо кончилось и ей здесь вполне безопасно.

Волна волос закрывала ей пол-лица и делала вторую половину дерзко обнаженной. Сейчас она показалась ему осле-

пительно красивой, и он был доволен собой, что, когда погас свет, не напугал ее.

Она снова обернулась к зеркалу и продолжала расчесываться, любуясь собой и как бы выражая всем своим обликом, что видеть свою привлекательность отраженной в простом зеркале — тоже приятное занятие.

Он снова закурил и в ответ на ее удивление по поводу погасшего света рассказал смешной случай, который с ним был совсем недавно во время командировки в Ленинграде.

В тот день он зашел в Эрмитаж. В одном из залов, где были выставлены золотые украшения скифов, стояла супружеская пара, яростно и тихо споря. Она утверждала, что этого не может быть, чтобы прямо так тебе золото выставили, что эти украшения, скорее всего, подделки. Он спорил с нею, утверждая, что все эти скифские украшения настоящие.

Сергей остановился возле этой супружеской пары. Он хотел поддержать супруга, хотя бы таким простейшим аргументом, что в этом маленьком зале слишком много столпилось старушенций, присматривающих за посетителями.

Старушениии, кстати, уже поглядывали на эту пару, а у супруги от волнения на лице выступили красные пятна, и она никак не могла взять в толк, что вот настоящие золотые украшения и лежат себе открыто, не под стеклом, а ведь так и растащить их недолго. И чем больше волновалась супруга, тем пристальнее глядели на супружескую пару старушки с выражением какой-то тусклой хитрости и в то же время каким-то недостаточно административным взглядом, а скорее взгля-

дом, с каким испокон веков старушки следят за вороватыми, не раз битыми котами.

Сергей перешел в другой зал, так и не решившись заговорить с этой чересчур взволнованной скифским золотом женщиной.

В тот раз Сергей особенно залюбовался картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Сейчас он увидел в этой картине то, чего не замечал в ней раньше и что, может быть, было не осознано самим художником и тем более гениально изображено. Он обратил внимание на спину блудного сына, на его неуместно, ввиду могучей и тихой религиозности момента всепрощения и раскаяния, на его неуместно выпирающий, плотоядно оттопыренный зад, выпирающий не только из грубой бродяжьей одежды, но и тайно выпирающий из самого религиозного момента, как бы свидетельствующий о затаившемся вероломстве стареющего кутилы. Эту же догадку подтверждали его сильные ноги; чересчур размашисто разбросанные, чересчур наглядно коленопреклоненные, они, эти ноги, намекали на возможность, получив прощение и доступ в родной дом, отхапать там чего-нибудь поприличней и дать драпака к своим древним собутыльникам, если тогда были бутылки, или к сокувшинникам, если бутылок не было.

И дело не в том, что сын вообще не испытывал чувства раскаяния, пав перед отцом на колени, а в том, что это чувство было недостаточно сильным, оно не сумело пронзить его насквозь, оно застряло в складках живота, в его оттопы-

ренном плотоядном заде, который мгновениями хотелось пнуть, до того ясно он выдавал затаившееся шарлатанство блудного сына.

И тем глубже чувствовал Сергей фигуру отца, его как бы ослепшие от горя и тоски по сыну опущенные глаза и, соответственно опущенным слепым глазам, робко шупающую сына руку, и наклон головы, и тайную печаль всего облика, как бы заключающую в себе понимание того, что сын опять может уйти, но это сын его, вот он здесь, можно трогать его рукой, можно принимать его слабое раскаяние и утолять, утолять до самого дна жажду усталой души в примирении.

Сергей долго стоял возле этой картины, чувствуя могучую радиацию замысла художника, всасывающую силу ее магнитного поля, словно от нее действительно исходила какая-то материальная сила. «Если созданное сердцем и мозгом человека, — думал Сергей, — через несколько столетий с такой силой овладевает нами, почему бы не верить в бессмертие души».

Пока он стоял перед картиной Рембрандта, несколько раз подходили экскурсоводы, то с нашими туристами, то с иностранцами, и каждый раз экскурсовод, рассказывая о Рембрандте, почему-то сопоставлял огромную стоимость этой картины с нищенским концом ее автора и похоронами его на кладбище для нищих.

Они так говорили, словно трагедия заключалась в том, что тогдашние ценители его картин не понимали, чего стоит Рембрандт. А трагедия, по мнению Сергея, заключалась

в том, что сильные мира сего чувствовали неуправляемость художника законами самосохранения, и это их тревожило, внушало опасение и постоянное желание вывести новый гибрид художника, который умел бы рисовать, как Рембрандт, и в то же время был бы управляем, то есть подчинялся законам самосохранения жизни, а не творчества.

Сергей обошел все залы и уже спускался в помещение гардероба, когда вдруг погас свет, и видно было, что погас во всем дворце музея. Подождав, не зажжется ли свет, и не дождавшись его, он стал осторожно спускаться к гардеробу. Внизу, в длинном коридоре с вешалками, за барьерами, творилась тихая паника. Вспыхивали здесь и там спички. Какие-то девочки, явно приехавшие с периферии, окликали друг друга, словно затерявшиеся в лесу грибники.

Какой-то гардеробщик орал другому гардеробщику, чтобы тот не выдавал «польты», а тот советовал ему самому смотреть в оба.

Сергей вспомнил взволнованную женщину возле скифского золота. О змей-искуситель темноты, не сунет ли она в карман тысячелетний браслетик, только чтобы в домашних условиях убедиться в его подлинности! О бедные старушенции!

Сергею стало весело. Он примерно знал, где сдавал пальто, и, добравшись туда, вытащил из кармана номерок, сперва случайно вместе с горстью монет, а потом, внезапно догадавшись, как действовать, протянул руку между многих других протянутых в темноте рук, властно звякнул со-

держимым ладони, и гардеробщик, мгновенно угадав его руку в темноте и благодарно приняв содержимое его ладони, быстро зажег спичку, посмотрел на номерок и принес ему пальто.

В темноте раздалось неуверенное ворчание очереди, но Сергей не обратил на это внимания (благо, темно!), быстро надел пальто и вдруг обнаружил, что нет кашне.

— Кашне было, — сказал Сергей, чувствуя, что поддается общей панике, — где кашне?

— У меня завсегда, — сурово сказал невидимый гардеробщик и, чиркнув спичкой, протянул ее в темноте, как протягивали свечи во времена Рембрандта. Кашне валялось на полу. Сергей быстро поднял его и рад был, что спичка в руке гардеробщика погасла.

Он ошупью — теперь многие зажигали спички — добрался до выхода. Открыв тяжелую дверь и оказавшись в темном предбаннике между двумя дверями, он почувствовал, что здесь еще кто-то есть, понял, что это женщина, и почему-то поспешил за нею. Но таинственная незнакомка в тот самый миг, когда он добрался до второй двери, исчезла за нею, успев прищепить ему руку, и до того больно, что он с полминуты корчился, прежде чем вышел на белый свет.

Было странно видеть освещенную улицу, фары, фонари после как бы вывалившегося из времени огромного дворца Эрмитажа. Потирая руку и прислушиваясь к постепенно затихающей боли, Сергей думал, за что он наказан — за то, что при помощи корыстолюбивой мзды, данной гардеробщи-

ку, выбрался из мрака, в который погрузился великий музей, или за то, что, никем не званный, поспешил за женщиной, угаданной в темноте?

Или, думал он, по привычке прокручивая варианты, всевидящий решил наказать за мзду и наслал эту женщину, прищемившую ему руку дверью? При этом следует обратить внимание, уже весело думал он, потому что боль стихала, кругом было светло, морозно, и он чувствовал молодой голод и мысленно выбирал ресторан, где бы повкуснее можно было бы поужинать, следует обратить внимание, думал он, что наказание постигло именно ту руку, которая давала мзду.

Сейчас, рассказывая о своем посещении музея, Сергей старался не упустить ни одной из подробностей, вплоть до прищемленной руки; правда, по его рассказу получалось, что руку прищемило ему существо совершенно неизвестного пола.

Она с интересом выслушала его рассказ. Особенно ей показались правдивыми его наблюдения над старушенциями Эрмитажа. Она сказала, что когда несколько лет назад они всем классом после окончания школы приехали в Ленинград и побывали в Эрмитаже, то она тогда обратила внимание на то, что эти музейные старушки хитренько следят за ними. Вспомнив про женщину, взволнованную скифским золотом, она сказала:

— Но ведь там, говорят, ко всем экспонатам приделана электрическая сигнализация?

Она под села к нему на диван и погладила его по щеке.



— Как же сработает сигнализация, если нет электричества, — ответил он и поцеловал ей руку, а потом лицо.

— Ах, да, — сказала она, и они оба рассмеялись, — ты, наверное, думаешь: ну и дура!

— Нет, — сказал он, целуя ее. Он и в самом деле так не думал, и, главное, сейчас это не имело никакого значения. Главное было то, что с ней ему было хорошо, как никогда не бывало или было так давно, что он не помнил ничего.

Когда она ушла, он еще посидел на диване, как-то не решив, что ему делать — взяться за работу или, чтобы продлить легкое праздничное состояние, почитать до самого сна какую-нибудь хорошую книгу.

Так и не решив, что делать, он продолжал сидеть на диване, вспоминая подробности этой встречи. Случайно взгляд его упал на расческу, оставленную ею на столе. Он взял расческу, но не переложил ее на подоконник, где они ее держали обычно, а почему-то сунул к себе в тумбочку.

Потом он вспомнил, что ей там не место, но ему почему-то не захотелось ее вынимать оттуда. Он удивился этому своему нежеланию и, подумав, понял, что дело в том, что теперь, когда она этой расческой пользовалась, ему не хочется, чтобы его напарник тоже ею пользовался.

Но ведь это глупо, подумал он и заставил себя переложить расческу на подоконник. Все-таки ему было жалко оставлять ее на подоконнике. «Какая глупость», — подумал он, удивляясь пристальному вниманию к этой мелочи и чувствуя какую-то бессмысленную радость от этого.

Он еще не понимал, в чем дело, а дело было в том, что он влюбился.

В сущности, на самодур ловить они сегодня и не очень собирались. Это просто так, попутно. Главный лов — на Большую Уху, которую они сегодня обещали устроить, — это лов на наживку. Еще со вчерашнего дня выловленные креветки лежали под передней банкой лодки, засунутые в чулок. Володя время от времени окунал этот чулок за борт. Сергей не очень понимал эту его процедуру (то ли он хотел, чтобы креветки слегка протухли от морской воды, то ли таким образом он как-то их освежал), но раз он считал нужным окунать их в море, значит, так было правильно.

Чтобы ловить на наживку, надо было подойти гораздо ближе к берегу. По словам Володи, он знал одно место, где, кроме всего, попадаются каменные окуни, редкие по красоте голубоватого оперения рыбы.

Они пошли к берегу. У самого берега из воды торчали две скалы — одна подальше, другая поближе. На той, что торчала подальше от берега, сидел парень и ловил бычков довольно странным, показавшимся Сергею даже непристойным образом. Наживив крючок дряблым мясом мидий, он осторожно, чтобы не стряхнуть наживку, опускал леску, стягивал со лба на лицо маску, брал в рот дыхательную трубку и, окунув лицо в воду, смотрел, как рыба будет клевать.

Этот парень вдруг напомнил Сергею давний, сейчас показавшийся ему милым случай из его жизни в один из первых

месяцев после женитьбы. Они тогда сняли комнату недалеко от института, у одной вдовы. В тот вечер после гостей, слегка разгоряченные вином, а еще больше своей молодой ненасытностью, а точнее, ее любопытством, они стали обниматься перед зеркалом, несколько наклонно висевшим на стене. Обниматься, чтобы полностью попадать в отражение зеркала и в то же время видеть это отражение, оказалось не так просто, и он до того перестарался, что не заметил, как потерял равновесие, и они грохнулись на пол, причем она упала на него. Он тогда сильно разозлился на нее, а она, задыхаясь от хохота, валялась на нем и все пыталась что-то сказать и никак не могла из-за приступов сдавленного смеха, и тут в настороженной ночной тишине из другой комнаты раздался вкрадчивый голос хозяйки, сопровождаемый грустным вздохом:

— Никак, сломали?

Тут они оба не выдержали и уже громко, продолжая валяться на полу, смеялись взахлеб. А хозяйка ворчала, а они смеялись, кивая друг на друга и понимая друг друга не то что с полуслова, а вовсе без слов, взглядами и кивками комментируя каждый оттенок ее вдоха, находя в каждом новом оттенке новую грань юмора и наслаждаясь пониманием друг друга, а он еще дополнительно наслаждался, глядя на ее хохочущее лицо, необычайно живое и привлекательное в хохоте, а она, чувствуя это и довольная этим, хохотала еще безудержней. Как давно это было!

Лодка прошла мимо парня, который наконец подцепил на крючок бычка, быстро вытащил его, снял с крючка, снова

наживил крючок и, несколько раз передохнув, стянул вниз оттянутую на лоб маску, опустил шнур на дно и вслед за тем сладострастно окунул в воду свое лицо.

Теперь они прошли мимо девушки, сидевшей на небольшой, с перевернутую лодку, скале. Она была в синем купальнике с загадочным под темными очками, загорелым лицом. Сергею почему-то показалась странной в окружении моря неестественная сухость книги, которую она читала.

Хотя до берега было метров пятьдесят, так что перенести сюда книгу, не замочив, умеющему плавать ничего не стоило, но все-таки вот так, посреди моря, видеть девушку с книгой было как-то удивительно.

— И не замочив ни единой страницы, — сказал он, когда они проходили мимо. Она подняла голову и посмотрела в лодку, интуитивно определив, что говорит Сергей, улыбнулась ему слабой улыбкой, как бы одобряя его внимание и в то же время давая знать, что именно эта тема ей поднадоела.

Недалеко отсюда на покато́м склоне горы находился студенческий лагерь, откуда, скорее всего, она и пришла. У берега были видны головы купающихся, а на берегу лежал целый косяк загорающих студентов. Редкие пары были видны на склоне в тени сосен и мимозовых кустов. Несколько человек ловили рыбу с берега недалеко от общего пляжа, а еще дальше одинокая пара сидела в тени скалы у самого берега.

Сергей с моря, когда они еще только зашли в залив, почувствовал живописную законченность всей этой картины, слов-

но она выражала какой-то жизненный ритм, какой-то чисто поставленный эксперимент самой природы. Ах, да, подумал он, угадывая, что именно ему показалось удивительным в этой картине. Ему показалось, что вся эта картина с лагерем студентов на склоне горы, с косяком загорающих на пляже, с фигурами недалеко отошедших рыбаков и далеко откинутых парочек выражала некое извечное свободное действие центростремительных и центробежных сил человеческой души, склонность к роению, склонность отпариваться, если так можно сказать, и склонность быть одному.

Насытившись сообществом людей, человек уходит из потного роения, отваливается и, надышавшись до дрожи холодом одиночества, с удовольствием возвращается в рой, только бы ему не мешали, не пытались эти естественные склонности вносить в искусственные, лженаучные закономерности, убивающие естественность и того и другого.

Лодка ткнулась носом в береговой гравий и заскрежетала. Володя выпрыгнул из лодки. Сергей немного отошел задним ходом и остановился, придерживая лодку на одном месте. Володя выбирал на берегу подходящий камень, который можно было бы использовать в качестве якоря, чтобы ловить рыбу, стоя на одном месте. «Странно, — подумал Сергей, — что у него нет настоящего якоря».

— У нас был якорь, но застрял на дне, — сказала девочка, словно отвечая на его недоумение.

Наконец Володя выбрал подходящий камень, сужающийся к середине, такой, чтобы его можно было обвязать верев-

кой. Сергей подгрел, и Володя, положив камень на переднюю банку, оттолкнулся от берега и впрыгнул в лодку.

Они остановились метрах в ста от берега. Пока Сергей грел, хозяин привязал камень к длинной капроновой веревке и стал вытаскивать из деревянного ящика так называемые закидушки — легкую снасть с двумя-тремя крючками для донного лова на наживку. Иногда он слегка подергивал леску, заподозрив, что она гнилая, и, если леска рвалась, он быстро мастерил новую снасть, благо здесь, в его деревянном ящике, все было под рукой — и свинец, и крючки, и лески.

Иногда, исподлобья поглядывая то на Сергея, то на берег, чтобы точнее определить одному ему известное место, он тихо бормотал:

— Еще мористей... Чуть бережний... Еще чуть-чуть... Еще разок... Бросай весла...

Сергей приподнял мокрые капающие весла и закрепил их вдоль бортов. Хозяин взял в руки камень с привязанным к нему канатом, опустил его за борт и стал потихоньку стравливать канат. Камень, светясь, потом тускнея и тускнея, постепенно шел ко дну; вода была очень чистая, но до того густого цвета, что Сергей, как ни старался, не мог проследить за камнем до самого дна. Густая, плотная синева поглотила его.

Сергей отсыпал пригоршню креветок из чулка, еще раз смоченного хозяином, высыпал их рядом с собой на банку, потом наживил все три крючка, причем самую крупную креветку наживил на нижний крючок.

Осторожно, чтобы опять не запутаться, он перебросил конец снасти за борт и стал опускать леску, пока не почувствовал, что грузило легло на дно. Убедившись, что оно лежит на дне, он слегка приподнял шнур, чтобы тот немного натянулся и поводки с крючками не мешали друг другу.

Девочка ловила с кормы, а хозяин ловил с носа, где он сейчас прилег, раскинув по обе стороны борта руки и держа в каждой по шнур. Лодку тихо покачивало. Иногда — шлеп! шлеп! — несоразмерная волна ударяла под приподнятую корму, и снова успокоительное ровное дыхание моря тихо приподымало и опускало лодку.

С востока задул местный ветер «потиец», и течение довольно сильно работало, но лодка стояла на месте, туго оттянувшись от капроновой веревки с якорем.

Тук! — осторожно ткнулась рыба о наживку, и Сергей замер, ожидая повторной поклевки. В это время хозяин, лежавший на носу, резко дернул рукой вверх, после чего, так и не привстав, а только взяв в зубы левый шнур, стал выбирать обеими руками правый, а Сергей, увлекшись, чтобы узнать, что там у него идет, наклонился и стал смотреть в воду, забыв про свою поклевку.

Плоское тело великолепного ласкиря (так здесь называют морского карася) резкими короткими зигзагами подымалось из синевы моря, укрупняющей его размеры, как увеличительное стекло. Так и не привстав, а только свирепо из-за зажатого в зубах шнура поглядывая в сторону приближающейся рыбы, хозяин вытащил ее из воды, поймал на лету ее оттрепыхнувшие

еся и продолжающее трепыхаться тело и, сжав его в большой ладони, снял с крючка и швырнул на дно лодки. И тут же, свирепо прислушавшись к зажатому во рту шнуру, быстро подхватил его левой рукой, подсек и вытащил точно такого же ласкиря.

— Па, бессовестный, тебе везет, — сказала девочка и тут же сама подсекла и стала тянуть какую-то рыбу. Сергей стал ревниво следить, что же поймала девочка, и в это время почувствовал сильный сдвоенный удар, и Сергей, как ему показалось, мгновенно подсек, хотя и заметил, что шнур его довольно слабо провисал над водой, так что подсечка его могла и опоздать.

Так оно и оказалось. Сергей замер, стараясь не вспугнуть рыбу, которая, по-видимому, ходила возле его крючков, осторожно пробуя наживку. «Главное — не отвлекаться и все время держать леску натянутой», — думал он, стараясь не шевелиться и только глазами следя за шнуром девочки, который медленно выходил из воды.

— Па, голубой окунь! — крикнула девочка, и ее прекрасные голубые глаза вспыхнули. Сказочная рыба с каким-то яростным, тропической синевы оперением ходила на поводке у самой поверхности воды. Девочка, сама залюбовавшись, забылась и перестала тянуть шнур.

— Смотри, уйдет, — сказал отец и, наживив крючки, отбросил налево и направо от себя обе снасти. Он отбрасывал их так далеко, что потом, улегшись, уже спокойно ждал, когда они сами дойдут до дна.



Девочка вытащила рыбу и, сама вся светясь и вздрагивая, подержала ее в руке, а потом осторожно положила на дно лодки.

А Сергей все ждал, когда же его осторожная рыба возьмет наживку.

— У тебя уже, наверное, давно склевала, — сказал Володя сонным голосом. Сейчас он лежал на носу, нахлобучив на лицо измызганную фетровую шляпу, которую достал из-под передней банки, лежал с якобы безвольно раскинутыми руками, едва шевеля указательными пальцами, которыми он пробовал шнуры, и поза его отдаленно напоминала позу лисицы, которая притворяется мертвой, чтобы привлечь ворону.

«Что же ты мне раньше не сказал, старый шарлатан», — подумал Сергей и, словно прислушиваясь к тяжести снасти, хотя тяжесть снасти, облегченной на три креветки, никак нельзя было почувствовать, или, точнее, не к тяжести снасти, а к ощущению пустоты вокруг его крючков, по отсутствию интереса к его крючкам, которые тем более нельзя было почувствовать, и все-таки чувствуя и то и другое, Сергей вытянул всю снасть и убедился, что на крючках ничего нет. Только на одном из них торчал призрачный и прозрачный кусочек шкурки, из которой рыба выдернула мякоть.

Сергей выбрал еще три креветки, стараясь найти среди них самые крепкие и привлекательные, наживил каждую из них, тщательно продев крючок сквозь все туловище, и осторожно опустил за борт свою снасть.

Только Сергей почувствовал, что грузило легло на дно, как что-то клюнуло и тут же затрепыхалось на крючке, и Сергей с какой-то панической радостью подсек и стал выбирать шнур, чувствуя, как упирается там, в глубине, что-то тяжелое, что-то несогласное с его действиями и в то же время вынужденное подчиняться им.

Сергей выбирал шнур, стараясь делать это ровно и не давать слабины и в то же время думая о том, что вот, говорят, надо вовремя подсечь, а ведь все не так, думал он, ведь ясно, что рыба эта зацепилась за крючок раньше, чем он подсек. «Так что, — подумал он, неизвестно с кем полемизируя (то ли с хозяином, то ли вообще со всеми сторонниками единственного решения там, где поиск истины требует свободного варьирования), — если уж рыба села на крючок, так она и будет на нем сидеть». В глубине, как драгоценность, светясь плавниками тропической синевы, появился каменный окунь.

— Опять голубой! — крикнула девочка радостно и взглянула на Сергея, как бы желая сказать: вот видишь, мы говорили тебе, что ты испытаешь эту радость, и вот ты ее испытываешь, ты поймал голубого окуня!

Сергей улыбнулся девочке, мимоходом залюбовавшись ее светящимся лицом, исполненным такой чистой, бескорыстной радости, и, низко наклонившись над водой, сразу, чтобы не рисковать, как только окунь появился у поверхности, схватил его всей ладонью, зажал его сверкающее тропической го-

лубизной, щекочущее живым трепетом тело, снял с крючка, подержал и бросил на дно лодки.

Девочка и он интуитивно сразу стали искать глазами первого окуня и не сразу его нашли среди ставридок, потому что он почти потерял свою изумительную сверкающую окраску. Теперь Сергей с сожалением следил, как и второй, пойманый им окунь, все еще трепыхаясь на дне лодки, тускнеет и тускнеет.

— Па, может, в садок их выложить? — спросила девочка отца.

— Угу, — сказал он и, сдвинув шляпу на голову, сел. Опять же не вставая, он взял в рот леску и освободившейся рукой вытащил из-под банки, на которой лежал, садок. Потом снова лег и нахлобучил на лицо свою выдавшую виды шляпу.

Сергей тоже почувствовал, что солнце слишком сильно припекает, и, сняв майку, смочил ее в воде и завязал на голове в виде башлыка. Приятная прохлада облегла голову.

Девочка собрала рыбу в садок, и получилась довольно увесистая кладь. Сергей приподнял садок и, довольный его тяжестью, точнее, довольный своим соучастием в сборе этого морского урожая, погрузил его в воду и закрепил веревочную дужку ободка за уключину. Могучий перламутровый слиток рыбы сразу засверкал, омываемый свежей морской водой.

Некоторые рыбы, по-видимому, те, что лежали на дне, там, где кое-где стояла вода, каждый раз, когда садок приподымался над водой вместе с качающейся лодкой, оживали, барахтались и шлепались.

Теперь лов пошел лучше, и Сергей почти не отставал если не от хозяина, то от его дочки. Он поймал несколько ласкирей, с дюжину колючек, еще одного голубого окуня и пять прелестных барабулек с веснушчатыми спинами.

— Па, у меня скорпион, — вдруг сказала девочка, и Сергей увидел у самой поверхности воды мечущуюся на крючке с пульсирующим плавником на спине ядовитую рыбу.

— Осторожно, подведи к борту и ударь чем-нибудь, — сказал отец и, присев, стал следить за дочкой.

— Ну его, я боюсь, — сказала девочка.

Хозяин посмотрел на Сергея, но Сергей не изъявил ни малейшего желания связываться с морским скорпионом.

— Тащи сюда по воде, — сказал Володя дочке.

Девочка встала и осторожно прошла от кормы к носу, ведя по воде хищный катерок скорпиона. Когда она проходила мимо Сергея, она слегка потеряла равновесие. Откачнувшись в сторону и на мгновение вытянула скорпиона из воды. Он затрепыхался в воздухе возле руки Сергея, как бы пытаясь дотянуться до нее своим черным створчатым плавником. Сергей с отвращением отдернул руку.

При широкой амплитуде качания крючок со скорпионом близко подходил к Сергею, и он со страхом и отвращением следил, как сокращается спинной плавничок, словно в экстазе ядовитой страсти, словно умоляя Сергея придвинуть поближе свое тело, чтобы вонзиться в него.

Хозяин взял один шнур в зубы, поискал глазами, чем бы ударить скорпиона, и, не найдя ничего подходящего, взял

собственную босоножку с резиновой подметкой и, держа ее за носок, когда девочка подвела шнур к самому борту, несколько раз ударил по качающейся вдоль борта рыбе. Наконец прибил.

Скорпион с расплющенной головой все еще покачивался на поводке, а главное, спинной плавник его все еще сокращался, хотя мертвое тело его уже безвольно висело, словно последней умирала способность жалить, словно эта способность была самой жизнестойкой частью организма этой рыбы.

— Валя и то не боится, — говорил хозяин косноязычно из за зажатого в зубах шнура, одновременно сдергивая двумя пальцами с крючка и стряхивая в море рыбу.

— Мне почему-то и страшно, и противно, — сказала девочка, вздрагивая, и было видно, как волна отвращения прошла по всему ее телу. Гибко балансируя, она прошла на свое место и села.

Сила чувственного влечения и сила отвращения, подумал Сергей, наверное, развиваются одновременно. Так и должно быть, подумал он, ведь это то же самое, что ощущение гармонии и дисгармонии. Кто сильно чувствует первое, тот с такой же силой должен чувствовать и второе. Кто может наслаждаться красотой правды, тот неизменно должен с такой же силой ощущать отвращение ко лжи.

По какой-то смутной связи с этими своими мыслями он вдруг вспомнил далекий случай из своей юности.

Тогда ему было пятнадцать лет, и у них в доме жила его двоюродная сестра, студентка первого курса педагогического института. К ней приходила ее подружка по институту, пухленькая, хорошенькая девушка, как бы снисходительно кокетничавшая с ним и нравившаяся Сергею, в чем он не мог самому себе признаться, главным образом потому, что она была подруга его сестры и ему казалось непристойным чувствовать к ней влечение.

Но он именно чувствовал к ней это влечение, странно не переходящее в настоящую влюбленность. Позже, анализируя свои воспоминания, Сергей решил, что преградой к любви стояло это вот сознание предательства, чрезмерной близости к его собственному дому этой девушки, тогда как сознание его искало возможность влюбиться в какую-нибудь далекую девушку.

Однажды она вошла в комнату, где Сергей сидел с книгой и читал до ее прихода, а после ее прихода только делал вид, что читает, вернее, силился читать, но у него ничего не выходило, потому что он слышал ее голос в другой комнате, где она с его сестричкой глухо, чтобы он ничего не понимал, говорили о своих знакомых мальчишках. Он знал, он был уверен, что они говорят именно об этом.

Это было понятно по какому-то особому свойству их интонации, чересчур насыщенной для каких-либо других речей, да и сами они, по наивности, отходя, как им казалось, достаточно далеко от главных, опасных для его слуха впечатлений, более второстепенные, как им казалось, места излагали более

громко, и он, жадно улавливая эти отрывки, легко восстанавливал все остальное, впрочем, вполне невинное, но все равно жгущее его любопытство.

Потом сестру его кто-то позвал со двора, она вышла, а подруга ее зашла к нему в комнату, присела рядом с ним и заглянула в книгу, которую он сейчас держал, делая вид, что читает и не собирается от нее отрываться.

— Что за книжка? — спросила она, наклоняясь к нему и обдавая его каким-то волнующим запахом.

— А ты догадайся, — с трудом проговорил он, пьянея от этого запаха и от него же смелея.

Она еще ниже наклонилась и придвинулась к нему, и он почувствовал сквозь брюки тончайший ожог, прикосновение ее голой коленки к своей ноге. И этот ожог дошел до его сознания с какой-то сказочной медлительностью, как если бы место прикосновения постепенно выжигалось необыкновенной сладостью, сжатой до точки, как луч солнца сквозь увеличительное стекло.

И вот уже прикосновение словно не только прошло сквозь грубую материю брюк, но точка соприкосновения прикипела, приросла к его ноге, и оттуда это прикосновение тончайшей струйкой разливалось по всей ноге и по всему телу. Как томительно долго длилось это чтение (да какое там чтение — замирание над книгой!), как жгуче переливался золотой мед ее юности в его тело, как оцепенели две склоненные головы над страницей, а пора бы ее перевернуть, чтобы она не подумала, что он это чувствует, думал он краем сознания, но страшно

было ее перевернуть, чтобы не остановить эту безостановочную медовую струйку...

Наконец, чуть слышав шаги в передней, они едва заметно отодвинулись друг от друга, почти не изменив поз, а он, особенно сурово сосредоточившись, чтобы сестра ничего не подумала. А она, и не думая думать, влетела в комнату, подхватила подружку и повлекла ее в другую комнату дошептываться.

Он все еще до того сильно и ясно ощущал след прикосновения, что, когда сестра и ее подруга вошли в другую комнату, он украдкой оголил ногу и посмотрел на это место, ожидая, что там будет, по крайней мере, какой-то след, какое-то покраснение, но никаких следов на ноге не оказалось, и он этому очень удивился тогда.

В тот день он долго гулял по городу, и ему все мерещилась подружка сестры — то ее пухлая фигура, то дразнящий, как бы чего-то допытывающийся взгляд, то смех и голос, какой-то насыщенный, даже перенасыщенный жаркой тайной неведомого соблазна. Устав ходить, он решил присесть в маленьком скверике на окраине города, где застала его усталость. И вдруг в просвете сквозь кусты олеандров он увидел старушку с сумкой, неловко перебегающую улицу, чтобы опередить машину, как догадался Сергей.

Безобразно скидывая кривые, может быть окривевшие от годов и болезней, ноги, изрытые венами, она перебежала дорогу, волоча в одной руке сетку с продуктами.

Сергей, содрогнувшись, замер от чувства какой-то непристойности, безобразности, оголенности этой сцены. Он не-



вольно сравнил прекрасные ноги подружки его сестры с этими и подумал с упреком: «Ну зачем, ну зачем ей надо было перебегать дорогу да еще скидывать свои ужасные ноги».

Он подумал, что благообразие старости не пустой звук. Но и какая-то противоположная смутная мысль пришла ему в голову. Он подумал со смущением, что есть что-то нехорошее в том, что он так почувствовал безобразие старушки. Он почувствовал свою ошибку, нет, некоторую пошлость своего взгляда на эту старушку, он почувствовал, что на нее надо было смотреть с какой-то другой точки зрения, а не сравнивать — пусть невольно — ее бозобразные ноги с прекрасными ногами девушки, о которой он думал. Но все это очень смутно, как предчувствие мысли, прошло в его голове.

Но тогда же случилось и нечто потрясшее его.

Он сидел на скамейке, погруженный в сладостное воспоминание об этом прикосновении. Он думал о нем, смаковал его и замирал от мысли, что же будет, когда он по-настоящему обнимет, прижмет к себе любимую девушку.

В нескольких шагах от него две маленькие девочки играли в песке. И вот, погруженный в эти томящие мысли, он краем уха услышал, что одна из них что-то ему сказала, может быть, спросила у него, который час. Вопрос этой девочки перевел его из сладостного сна наяву в какую-то дрему, но он так до конца и не вышел из нее.

— Оставь его, — вдруг услышал он голос второй девочки. Не подымая головы и продолжая лепить из песка норообраз-

ный домик, она добавила: — Он ничего не слышит... Он влюблен в Вику...

Это было имя подружки сестры. Вторая девочка в ответ хмыкнула, а Сергей, очнувшись, испытал чудовищной силы стыд и такой же силы мистическое удивление, как если бы, проснувшись утром, услышал от матери содержание своего юношеского сна.

Да как же это может быть, да что же это я, с ума сошел, что ли, думал он, боясь шевельнуться, боясь хоть одним движением показать, что он что-то слышал, как если б ему, показав, что он знает о том, что они знают, пришлось бы немедленно убить их, свидетелей его позора.

Дождавшись мгновения, когда, как ему показалось, дети забыли о его существовании, он ушел, весь внутренне сжавшись от стыда. Сколько он ни думал о случившемся, он никогда не мог толком понять, откуда эта девочка знает о том, о чем, в сущности, он сам едва догадывался. Единственно реальное, что он мог установить, это то, что подружка сестры жила недалеко от этого сквера. Может быть, девочка эта была с ее двора и она, болтушка, кому-то что-то сказала, а девочка услышала? Но откуда она его узнала? Это казалось непостижимым.

Позже, вспоминая этот запомнившийся ему на всю жизнь день, он думал о том, что стыд, испытанный им, мог быть таинственным наказанием за то, что он испытал позорное эстетское отвращение при виде бедной старушки, бегущей, скидывая свои безобразные ноги.

Теперь он уже знал, что этот недостаток в нем есть, и стыдился его, и старался от него избавиться, насколько это возможно. Но, вспоминая этот случай, он все-таки старался и оправдаться. Он знал, что по-настоящему испытывает нежность по отношению к старым людям, впрочем, как и к детям, но старушка эта, побежав через дорогу, сама вышла из того измерения, в котором она, вероятно, достойна восхищения, и вошла своими суетными прыжками в измерение, где она безобразна. Ну, мало ли, подумал он, тут же оспаривая себя, может, магазин закрывали, вот она и побежала...

«... Чего это я вдруг вспомнил», — подумал он и, последовательно возвращаясь по ходу своих мыслей, решил, что горячее прикосновение солнца напомнило ему то первое в жизни незабываемое прикосновение.

Он оглядел берег с лагерем на склоне, со студентами на диком пляже и заметил, что обитатели берега чуть-чуть перегруппировались, хотя и теперь все было живописно и гармонично, как раньше. Сейчас на берегу почти все угомонились и лежали, кто в одиночку, кто парами, в море мало кто купался. Часть студентов поднялась к своему лагерю и, по-видимому, разбрелась под зеленью этих могучих корявых дубов.

Те двое, что сидели на берегу под скалой, сейчас лежали в короткой тени скалы, и только ноги их, вылезая из тени, были резко освещены солнцем и иногда, лениво лаская друг друга, притрагивались друг к другу, почесывались лодыжкой

о лодыжку, замирали и опять ласкались, словно ощупью спрашивая друг у друга:

— Ты здесь?

— Я здесь.

— Вот и хорошо...

Девушка, читавшая книгу, сейчас лежала, нежно озолотив и смягчив очертания скалы. Лицо ее было прикрыто все той же книгой. Парень, удивший рыбу, непристойно следя за клевом при помощи своей маски, исчез, и казалось, не исключено, что он вообще переместился к подводному подножию скалы, чтобы оттуда следить, как именно рыба берет наживку.

Сергей вдруг почувствовал с необыкновенной яркостью и силой красоту этой дуги залива с обрывистыми холмами, с корявыми дубами, с этим молодежным лагерем, с густым, необыкновенно чистым морем, с каждым скальным выступом из него, он почувствовал счастье от своей способности все это чувствовать и любоваться всем этим, он почувствовал счастье любить все это, почувствовал счастье мускульной силы ума, как бы заранее знающей, что в случае необходимости она может выжать из всего этого его четкую духовную сущность.

Сергей ощутил резкий клевок, подсек и стал выбирать шнур. Интересно, что бы это могло быть, подумал Сергей и увидел сквозь воду розоватую спинку барабульки и удивился, что барабулька так резко сопротивляется, хотя она обычно шла довольно вяло. Видно, большая, подумал Сергей,

и только наклонился над водой, чтобы сразу схватить ее, как услышал возглас девочки:

— Скорпион!

Сергей отпрянул, и одновременно рука его приподняла над водой шнур, на котором мелко и быстро трепыхался скорпион, и спинной створчатый плавник его сладострастно сжимался и разжимался.

— Бей его, бей! — крикнула девочка, подавая ему отцовскую босоножку, и Сергей схватил эту босоножку, подвел шнур поближе к борту и ударил рыбу. Он попал в нее, но, видно, удар пришелся неточно, — во всяком случае, скорпион с еще большей силой затрепыхался, и Сергей, чувствуя еще большее отвращение и страх к его теперь беспорядочным трепыханиям, стал колотить и колотить башмаком, зная, что так можно порвать леску, но уже не в силах остановиться.

В конце концов несколько ударов оказались достаточно точными, и скорпион перестал трепыхаться, но Сергей, все же не решаясь его тронуть, прижал его тем же башмаком к борту и, опять же рискуя сломать крючок, медленно сдернул рыбу. Крючок вылез из рта, и измолоченный скорпион шлепнулся в воду и стал тонуть, тускнея красноватой тигриной рябью. Это был самый крупный из сегодняшних скорпионов.

— Не дай Бог, такой саданет, — сказал Володя, — надо уходить отсюда...

— А чего бояться, — сказал Сергей, разгоряченный борьбой со скорпионом и удачным ее завершением.

Он наживил крючки все еще дрожащими от волнения руками, чувствуя прилив сил, еще больший прилив счастья от преодоленного комплекса страха и отвращения к этой рыбе. Ничего страшного, думал он, надо просто пристукнуть его и выбросить.

— Не в этом дело, — сказал хозяин, — наверное, сюда подошла стая скорпионов, и теперь рыба клевать не будет.

— Еще половим, — попросил Сергей, думая про себя: пусть подошла стая скорпионов, пусть попадется еще несколько, чтобы я окончательно избавился от этого детского страха и отвращения к ним.

Пока он так думал, хозяин подсек какую-то рыбу и, взяв в зубы второй шнур, стал вытягивать первый, одновременно прислушиваясь к его концу.

— По-моему, опять скорпион, — сказал он сквозь зажатый в зубах шнур.

Сергей и хозяин перегнулись за борт, и через минуту в глубине показалась чуть розовеющая спина скорпиона.

— Сматывай, Женька! — закричал хозяин, словно дочка была виновата в том, что ему опять попал скорпион. Шнур выскочил у него изо рта, но он не стал его подымать, а только зажал между колен катушку, на которую тот был намотан, и снова стал искать глазами, чем бы ударить скорпиона, уже поднятого над водой.

«Интересно, какой новый предмет он сейчас достанет, чтобы убить его», — подумал Сергей, когда Володя опять наклонился, заглядывая под переднюю банку, а скорпион яростно

трепыхался и все расширял свои откочки, а Сергей все следил с любопытством, что еще вытащит хозяин, — и вдруг почувствовал страшный удар по ноге.

В какую-то долю секунды он вообще не понял, в чем дело. Ощущение было такое, что кто-то железным прутом со всего размаха ударил его по ноге ниже колена. В то же мгновение он увидел оттрепыхнувшееся от его ноги и продолжающее трепыхаться, как бы неохотно подчиняясь законам колебания, тело скорпиона.

— Па, осторожней, — сказала девочка, и тут хозяин поднял голову. Ни дочка, только заметившая, что леска со скорпионом слишком близко подошла к Сергею, ни тем более сам хозяин ничего не заметили. Но сейчас, подняв голову и держа в руке катушку, он посмотрел на Сергея, и, хотя Сергей молчал, сдерживаясь изо всех сил, он все понял.

— Ударил?!

— Кажется, — ответил Сергей и показал на место, где пронизывала его особая, как бы сверлящая кость боль.

Володя наклонился и посмотрел ему на ногу своими острыми яркими глазами.

— Да, ударил, — сказал он, надавливая ему на боль своим сильным шершавым пальцем, — постарайся выдавить кровь...

Он быстро выпрямился и, прижав катушкой голову скорпиона к борту лодки, раздавил ее. Он оторвал его от крючка, но почему-то не выбросил в море, а вбросил в садок.

— Считай, что боевое крещение, — сказал он Сергею, пытаясь пошутить, — теперь ты настоящий рыбак.

Сергей улыбнулся, но почувствовал, что улыбка получилась жалкая. Хотя первоначальная острота боли как будто прошла, но боль была очень сильная, какая-то необычная, костяная. Он изо всех сил стал нажимать вокруг болевой точки, но кровь никак не выходила. Наконец появилась большая густо-пунцовая капля.

— Слишком мало, — сказал хозяин. Он сматывал свои закидушки.

— Разве больше не будем ловить? — спросил Сергей, стараясь изо всех сил не показывать, что ему очень больно.

— Нет, нет! Надо было еще раньше уйти, — сказал Володя и, домотав второй шнур, взялся за капроновый шнур якоря. В движениях его появилась быстрота и легкость. Пересиливая боль, Сергей смотал свою закидушку и вложил ее в деревянный ящик.

Сейчас хозяин стоял на передней банке и, напружинивая сильные руки, вытаскивал камень, но, видно, он застрял в какой-то скальной расщелине. Володя его несколько раз сильно дергал в разные стороны и наконец, поймав направление, с какого камень можно было снять с места, за которое он зацепился, сильно дернул и, видно, сдернул его со дна, потому что лодка сразу стронулась с места и пошла по инерции толчка. Перебирая сильными пальцами мокрый капроновый шнур, хозяин тащил груз, и было видно, как трудно тянуть довольно тонкий мокрый капроновый шнур, и как напряга-



ются кисти рук, как врезается шиур в ладонь, и лодка, чем выше поднимается груз, тем свободней идет по течению.

Наконец он вытащил камень, быстро сдернул с него узел шнура, бултыхнул его в воду и, откинув дочке конец каната, прикрепленный к деревяшке, приказал:

— Мотай!

Он пересел на среднюю банку, показывая Сергею, чтобы тот садился на корму рядом с девочкой.

— Сильно болит? — спросил он у Сергея, сбрасывая в воду весла.

— Да, порядком, — сказал Сергей и тронул место, где ударил его морской скорпион. Боль продолжалась с не меньшей силой, но характер ее несколько изменился. Казалось, вокруг костяной сердцевины ее наращивается и наращивается пульсирующая масса боли.

— Можно, я высосу рану? — сказала девочка. С мотка мокро-го шнура капала вода, и видеть это почему-то было неприятно.

— Ну что ты, — ответил Сергей, чувствуя, что это было бы слишком демонстративно.

— Если бы разрезать, — сказал хозяин, изо всех сил налегая на весла, — а так ничего не высосешь.

— Ничего, пройдет, — сказал Сергей и отодвинул ногу, когда по ней скользнул мокрый шнур, который доматывала девочка. Прикосновение почему-то было неприятно, хотя все еще было очень жарко.

— Конечно, пройдет, — сказал хозяин, ровно и сильно загребая, — часа два-три, а там уляжется.

«Неужели еще часа два-три», — подумал Сергей, отказываясь верить, что такая боль может длиться так долго.

Хозяин сильно загребал своими жилистыми, мускулистыми руками, и лодка шла очень быстро, несмотря на тяжелый садок с рыбой, висевший за бортом. Иногда брызги от весел падали на корму, где сидели Сергей и девочка, и Сергей вздрагивал, до того эти брызги были ему неприятны. Видно, его начинало знобить.

Они шли близко от берега и снова увидели скалу и девушку, так мягко облегающую ее. Теперь ему почему-то неприятно было видеть голую девушку, окруженную водой, то есть ему было неприятно, что ее может обрызгать любая волна.

Услышав шум весел, девушка подняла голову и улыбнулась всем, может быть, Сергею в особенности, отчасти выражая взглядом удивление, что они уже уходят. Сергей попытался ей дружески улыбнуться, но, чувствуя, что ему не до этого, оставил попытку на полпути.

— Его скорпион ударил! — крикнула девочка, словно хотела объяснить ей недостаточную дружественность прощания.

— Скорпион? — повторила та, ничего не понимая, и, набрав в шапочку воды, облила себя ею, отстранив книгу, чтобы она не намокла.

Сергей вздрогнул, увидев, что она обливается водой. Лодка шла вперед, а девушка, все уменьшаясь, опять набрала в свою шапочку воду и опять уютно облилась ею, как бы говоря: вот мне жарко, я обливаюсь водой, и это ясно и понятно. А откуда взялся ваш скорпион, я не знаю, да и не очень-то

это мне нужно знать. Она снова улеглась на скалу и положила на лицо распахнутую книгу.

Близко от них прошла лодка с местными рыбаками, и тонкая водяная пыль от винта обдала Сергея, и он невольно напряг мышцы, словно не хотел впускать в себя эту неприятную влагу. Рыбаки ревниво оглядели их улов и сами знаками показали, что у них ничего нет, хотя никто их об этом не спрашивал. Запах бензина и водяная пыль, отброшенная на их лодку, были очень неприятны. Сергея колотил озноб.

Напротив дома хозяина, возле зонта, зарытого в гальку, сидело человек восемь-десять отдыхающих, и Сергей издали узнал жену по золотистой шлемообразной копне волос.

Не успели они подойти к берегу, как огромный хозяйский петух вскочил на ограду, напряженно кукарекнул и, перелетев на берег, тяжело грохнулся, вскочил и стал пробираться к приближающейся лодке. Сергей вспомнил, что Володя говорил о том, что петух всегда его встречает, когда он возвращается с рыбалки.

— Я же говорил, — сказал Володя, кивнув на петуха и стараясь взбудрить Сергея улыбкой. Лодка, скрежетнув галькой, ударилась носом о берег.

Из калитки выскочила младшая дочка хозяина и, вся сияя, побежала к лодке.

— Папа и дядя Сережа приехали! — закричала она таким голосом, словно не ожидала, что они возвратятся живыми.

Она пробежала мимо сидевших под зонтом, только теперь, когда она с криком пробежала мимо них, заметивших лодку.

Девочка с разгону вскочила в лодку, пробежала по банкам и бросилась в объятия к Сергею, чуть не свалив его за борт.

— Потише ты, — крикнула на нее старшая, — его скорпион ударил!

— Скорпион?! — повторила она и, отпрянув лицом, посмотрела на Сергея с живым любопытством. — Нищего! Меня в прошлом году тоже ударил, и нищего — жива!

Да не жива, а сама жизнь и есть ты, подумал Сергей восторженно и нежно, на мгновение забыв о своей боли и с удовольствием оглядывая эту девчущку, всю шоколадную от загара, с крепенькими руками и ногами, с огромным беззубым ртом, так призывающим не огорчаться, а радоваться жизни.

— Ой, сколько! — сказала она, увидев садок с рыбой, провиший вдоль борта, и стала кряхтя снимать его с уключины. Не сумев снять его с лодки, она спрыгнула за борт и, стоя по пояс в воде, снова закряхтела и все-таки сняла садок, вышла на берег и потащила его к дому. Увидев идущего следом за ней петуха, она вытащила из садка ставридку и бросила ему. Петух взял рыбу и отошел с нею подальше от людей.

Старшая девочка сняла весла и понесла их к дому. Остальные вместе с Сергеем вытащили лодку на сушу, хозяин открыл чоп, то есть втулку, закрывавшую отверстие на дне лодки, они приподняли носовую часть, и вода, набравшаяся на дне лодки, постепенно вылилась. Эта струя нагретой и помутневшей в лодке морской воды внушала какое-то отвращение. Сергея продолжало знобить.

— Ну, как рыбалка? — спросила жена с некоторой насмешкой в голосе, когда мужчины, приподняв нос лодки, ждали, когда вытечет из нее вся вода.

— Как видишь, — сказал Сергей, пожимая плечами. Ему была неприятна эта насмешка в голосе, как бы иронизирующая по поводу этих самых мужских развлечений.

После каждой разлуки — у нее было такое свойство — она немного отчуждалась от него, отвыкала. И сейчас она стояла возле лодки, нерешительно улыбаясь, словно ребенок, после летнего лагеря впервые встретившийся с родителями.

Вылив из лодки воду, начали втягивать ее во двор, и Володя стал рассказывать, как Сергея ударил морской скорпион, а Сергей изо всех сил держался, чтобы не показать, как ему больно. Но, видно, по лицу его это было заметно.

Жена летчика сказала, что она сейчас принесет тройчатку, и боль обязательно снимет, а хозяин сказал, что тут тройчатка не поможет, придется перетерпеть.

— Могу в «Скорую помощь» позвонить, — сказал геолог из Тбилиси, — пусть сделают укол.

— Что вы, — поморщился Сергей, — ни в коем случае...

Этот геолог из Тбилиси по какому-то очень высокому благу добился телефонной установки для своей машины. Он все предлагал свои услуги, все хотел как-нибудь использовать свой телефон, но телефон тут никому не был нужен.

Сергей дошел, вернее, доковылял вместе с женой до дома, вошел в комнату, которую они занимали, и лег на топчан.

— Тебе и в самом деле очень больно? — спросила жена нерешительно, стоя возле Сергея.

Нога у него горела, и он почувствовал раздражение.

— Да, — сказал он.

Она присела рядом.

— Может, погладить тебя, — сказала она и нерешительно положила ему руку на грудь. Рука была прохладная.

— Не знаю, — сказал он, и в самом деле ничего не чувствуя от ее прикосновения, потому что пульсирующая боль огненной тяжестью дышала в ноге. Обычно он очень любил всякое проявление ее ласки.

В коридоре раздались шаги. Она быстро убрала руку. Он подумал: как будто не мужа гладит, а чужого человека.

— Можно? — И дверь открылась. Это была жена летчика. Сейчас она была в сарафане, кое-где облепившем ее тело. Успела окунуться в море, подумал он. На загорелых ногах ее виднелись струйки песка. Несмотря на боль, он заметил, что она хороша и выражение заботы сделало ее еще привлекательней. В руке она держала две таблетки.

— Выпейте сразу обе, — сказала она, подходя к топчану и оглядывая комнату. — А где вода?

— А я не знаю, — сказала жена Сергея и развела своими длинными, слабыми руками.

— Я сейчас принесу, — сказала жена летчика, передавая ей таблетки.

Сергей подумал, что лучше бы воду принесла его жена. Он взглянул на жену, и она поняла его недовольство. Она пожала плечами.

— Я еще не знаю, где здесь что, — сказала она.

И никогда не узнаешь со своим характером вечной пассажирки, подумал он с раздражением.

Жена летчика принесла стакан и графин с водой. Она налила воду в стакан, поставила графин на подоконник и подошла к нему. Он взял таблетки и запил их водой, вернул стакан жене летчика, поблагодарив ее кивком.

— Я думаю, должно помочь, — сказала она, — стакан я оставляю. — Она поставила его на подоконник и выразительно посмотрела на жену Сергея, как бы говоря: теперь-то, я надеюсь, ты сумеешь подать воды своему мужу.

Она вышла из комнаты.

— Я всегда теряюсь при виде таких хищниц, — сказала жена Сергея, глядя в окно.

Сергей проследил за ее взглядом и увидел, что жена летчика, уже сняв сарафан, прошла на пляж ко всей компании. Дом стоял на пригорке, и отсюда хорошо был виден пляж и было видно море, насколько позволяло окно.

— Почему хищница? — спросил Сергей, голосом показывая, что ему, тратящему сейчас все свои силы на одоление боли, приходится уделять внимание этим никчемным разговорам.

— Ну, это же видно, — пожала она плечами, все еще глядя в окно.

Солнце уже опускалось над морем, так что вся компания, хоть и сидела под зонтиком, была озарена его не очень жаркими золотящимися лучами. Все они сейчас выглядели сильными, здоровыми, красивыми, и Сергей подумал, что почему-то всегда с ним случается что-нибудь такое, что делает его беспомощным по сравнению с другими.

Белобрысый мальчик, еле волоча корзину с какими-то фруктами, подошел к компании, поставил корзину и, сложив на животе руки, что-то вежливо предложил. Сергей невольно прислушался, но слов не мог разобрать.

Вдруг вся компания расхохоталась, и когда хохот смолк, Сергей услышал голос геолога из Тбилиси. Он иронически что-то заметил мальчику, после чего все снова захохотали. Мальчик несколько смущенно, но как бы продолжая утверждать свою линию, снова сложил руки на животе.

— Все у моря... а я тут должна сидеть, — вдруг сказала жена Сергея, и он, слегка сучивший болевшей ногой, медленно, украдкой остановил ее. Теперь, когда он остановил ногу, боль запульсировала с новой силой.

— А ты иди, — сказал Сергей, всеми силами стараясь придать голосу обычную интонацию, — мне уже лучше.

— Правда? — спросила она, стараясь взглянуть в него и понять, не обиделся ли он. Сергей ничего не дал ей понять.

Теперь, когда она сказала, что ей хочется быть там, где сейчас всем весело, а не там, где Сергею больно, — обида с такой силой захлестнула Сергея, что он собрал всю свою душевную



энергию, чтобы не выдать своего состояния, а дать во всей чистоте и полноте проявиться ее безжалостному эгоизму.

— Да, иди, — сказал он как можно проще.

— Ты ведь целый день развлекался, — сказала она и, наклонившись, поцеловала его в губы. Сергей не хотел и никак не мог бы ответить ей на этот поцелуй, и она это почувствовала, и это ей показалось противоречащим его же собственным словам. — Ты и вправду не обиделся? — сказала она еще раз и поправила штрипку купальника, слетевшую с плеча, когда она к нему наклонилась.

— Да, попробую заснуть, — сказал он.

Сергей вспомнил, как он болел в детстве. Он вспомнил, как мама, узнав, что он заболел (обычно это был очередной приступ малярии), возвращаясь с работы, стремительно входила в комнату, где он лежал, издали вглядываясь в него, пытаясь понять, насколько опасна его болезнь, быстро подходила к постели, трогала ладонью лоб, взбивала подушку, встряхивала одеяло, совала ему под мышку градусник, и весь ее облик говорил о страстном желании проникнуть душой в его больное тело и помочь ему одолеть эту болезнь.

И Сергей сквозь жар болезни чувствовал странный уют и сладость ее желания проникнуть в него, слиться с ним и вместе с ним одолеть его недомогание. И сладость, и странный уют этого ее желания были настолько приятны ему, что он в такие минуты хотел, чтобы температура его оказалась большой, болезнь опасной, потому что он чувствовал, что сладость проникновения ее в него, уют кровного родства,

готовность к самоотдаче делались тем зримей, тем сладостней, чем реальной была опасность его заболевания.

Она давала ему лекарство, а чаще просто клала ему на лоб мокрое полотенце и сидела возле него, помахивая чем-нибудь, освежающим воздух, и на лице ее было выражение великого терпения, силой своей безусловно превосходящего его болезнь, и он это чувствовал, и от этого ему становилось легче.

Несмотря на слабость, на большую температуру, на чугунную тяжесть в голове, он понимал, что рано или поздно болезнь будет преодолена, и это понимание конечности болезни, которое он осознавал, глядя на маму, тоже приносило ему облегчение. Но главное, что он навсегда запомнил сквозь морок температурного жара, — этот странный уют, исходивший от ее облика, эту сладость уюта от полноты ее душевной самоотдачи.

В такие минуты он чувствовал, хотя и не осознавал словесно, что болезнь приоткрывала в нем что-то такое, что давало возможность устремиться ее душе в него и заполнить его до краев и успокоиться в этой наполненности. Значит, и болезнь его была не напрасным страданием, чувствовал он, опять же словесно не осознавая этого, а имела смысл и, как все объясненное смыслом, приносила успокоение, вернее, рождала сладостную точку уюта внутри мерцающего, воспаленного болезнью сознания...

Жена вышла, и Сергей, пока она выходила из комнаты, глядел на линию ее спины, особенно красивую именно в этом

черном купальнике, оттеняющем нежность и законченность этой линии. Потом, когда она вышла из дому и тропинкой спускалась к калитке, он продолжал смотреть на нее и вдруг как-то целиком увидел ее идущее тело — не то чтобы отдельно от купальника, а как бы отдельно от всего, может быть, даже души, а точнее — именно души, или того, что люди именуют этим понятием.

Тело — с его великолепной спиной, длинными нежными ногами — двигалось как самостоятельное существо, грациозное, законченное, зрелое и, главное, не только не нуждающееся в каком-то душевном дополнении, а ясно осознающее, что всякое дополнение было бы разрушением его первоначального замысла. И конечно, именно это тело сейчас толкнуло ее сказать, что его место там, где сидят на ласковом солнце, смеются, купаются, а не здесь, где страдают и лежат в постели.

В калитке она столкнулась с мальчиком, который собирался войти во двор. Мальчик вежливо уступил ей дорогу. Темно-золотистое тело слегка откачнулось и вышло на пляж. Мальчик поставил свою корзину и закрыл дверь на щеколду, потому что хозяйский волкодав мог выскочить на пляж, и хотя людей он не трогал, но мог сцепиться с соседской собакой.

Глядя в окно, Сергей поверхностью своего сознания следил за тем, что там происходит, но думал о том, что сейчас произошло.

Впервые он так ее увидел и впервые поразился, что это очень похоже на правду. Он поразился мысли, что это ее прекрасное золотистое тело, такое гибкое, такое зрелое, имеет

и, наверное, всегда имело самостоятельный смысл существования, и этот смысл сильнее всего остального, что, может быть, и есть в ней, и поэтому право решающего голоса во всех спорных вопросах всегда будет за ним, за этим телом.

А разве я в этом не виноват, вдруг мелькнуло у него в голове. Но почему? Он не успел додумать эту мысль...

— Сергей Тимурович, можно? — раздался голос мальчика за дверью. Сергей вздрогнул, очнувшись от своих мыслей.

— Ты чего?! Ты не знаешь, что дядя Сережа заболел?! — раздался голос Вали из другой комнаты и топот ее крепких босых ног.

— Заходи, заходи, — сказал Сергей.

Мальчик вошел в дверь и поставил свою корзину у ног.

— Я только на минуту, я знаю, что вас ударил морской скорпион, — сказал мальчик и, вынимая из корзины два початка вареной кукурузы и ища, куда их положить, огляделся и спросил:

— Как вы себя сейчас чувствуете?

— Лучше, — сказал Сергей.

В дверях показалась девочка. Ища глазами брюки, где у него лежал кошелек с деньгами, и найдя их, он кивнул девочке:

— Вынь у меня там деньги... Сколько?

В черных брюках, в белой рубашке с закатанными рукавами, со светлыми волосами, аккуратно зачесанными на косой пробор, мальчик стоял в дверях комически корректный и в то же время исполненный сдержанного достоинства. На вид ему было лет тринадцать-четырнадцать.

— Вообще-то мы продаем два початка — рубль, но дело в том, что Шота Карлович за вас уже заплатил, — сказал он бесстрастно и доброжелательно.

— У тебя все рубль, — ворчливо заметила Валя и, принеся тарелку из другой комнаты, положила в нее початки.

— Вам соли дать? — спросил мальчик, не обращая внимания на ворчливый тон девочки.

— Не надо, — сказала девочка и вышла из комнаты за солью, — а то опять рубль попросит.

— Соль бесплатно, — бесстрастно пояснил мальчик и, когда шаги девочки замолкли в другой комнате, добавил: — Сергей Тимурович, может быть, вам хочется с утра свежего инжира или винограда? Я могу приносить...

— Хорошо, — сказал Сергей, — а сколько это стоит?

— Килограмм рубль, — сказал мальчик, не то чтобы смутившись, а как бы сам удручаясь бедностью шкалы прейскуранта.

Сергей рассмеялся и потому, что это в самом деле было смешно, и потому, что он словно только сейчас понял тот возглас геолога из Тбилиси, после которого вся компания рассмеялась. Возглас этот явно означал:

— Слушай, что такое, у тебя все рубль стоит?

— У нас, как на базаре, — пояснил мальчик, нисколько не смущаясь смехом Сергея.

— На базаре уже давно по восемьдесят копеек, — сказала девочка, входя в комнату с солонкой, в одной ячейке которой лежала аджика, а в другой соль.

— На базаре бросовые фрукты, а у нас свежие, прямо с ветки, — пояснил он, нисколько не смущаясь уточнением девочки, — и потом, автобус туда десять копеек и обратно десять... Вот и получается рубль... Выздоровливайте, Сергей Тимурович, я пошел.

— До свиданья, — сказал Сергей.

Девочка поставила солонку на стол рядом с тарелкой, в которой лежали два початка кукурузы. Потом она придвинула скамейку к топчану и поставила на нее тарелку с кукурузой и солонку.

Взглянув в окно, Сергей увидел, что мальчик, косясь на собаку, прошел в калитку, просунул руку поверх нее и закрыл ее щеколдой.

— Ты чего с ним так грубо? — спросил Сергей. Он почувствовал, что, пожалуй, смог бы съесть эту кукурузу, только лень руку протягивать.

— Вечно он продает, — сказала девочка, — у них вся семья такая — жадные.

— Ешь, — кивнул он девочке на кукурузу. Девочка посмотрела на тарелку хитренькими узкими глазками и сказала, имея в виду, что в тарелке только два початка:

— А тетя Лара?

— Ничего, она там ела, — кивнул он на окно. Те, что сидели под зонтом, сейчас разбрелись по берегу, собирая для костра выброшенные морем щепки, сучковатые ветки, окаменевшие корни. Уху собирались варить прямо на берегу.

Девочка приволокла стул к топчану, взяла початок, взобралась на стул и стала есть кукурузу, обмазав ее аджикой.

— Что-то Женя не приходит, — сказала она, — обычно она приходит с обедом раньше.

Сергей усмехнулся этому простодушию. Он знал, что почти каждый день кто-нибудь из девочек ходит в столовую, где работает мать, и, пообедав там, приносит обед для отца и сестры. Если отца не было дома, обе девочки ездили в столовую и там обедали.

Сергей взял в руки еще теплый початок кукурузы и обмазал его аджикой.

— Хотите, я вам сочинение прочту, — сказала девочка, аппетитно жуя, — я его уже кончила. Только не смейтесь...

— Ну что ты, — сказал Сергей и откусил от своего початка. Она слезла со стула, потопала в другую комнату и пришла с тетрадью.

— Я написала про нашего медвежонка, — сказала она, снова взбираясь на стул, — вы же знаете про него?

— Конечно, — сказал Сергей. Он уже слышал про этого медвежонка.

— «Судьба медвежонка», — прочла она, распахнув тетрадь и слизнув с губы крошки от разваренной кукурузы, словно они ей мешали читать. — «В прошлом году, когда папа работал на Голубом озере, один дядя подарил ему медвежонка. Этот дядя нашел медвежонка в реке, потому что был ливень и медвежонка смыло. Дядя этот вытащил медвежонка, а потом через неделю подарил его папе. Может, он надоел ему, может, некому было ухаживать за медвежонком, мы не знаем. Мы очень полюбили нашего медвежонка, потому что он был очень веселый и неглупый. Но он был слишком веселый. На-

пример, он хватал наших индюшек за крылья и играл с ними. Он волочил их куда-нибудь и делал вид, что злится. На самом деле он не злился, он играл, что доказывает, что он не был глупым. Но индюшкам это не нравилось. Маме тоже...»

Сергей рассмеялся, и она, прервав чтение, посмотрела на него смущенными глазами.

— Смешно? — спросила она.

— Очень, — сказал Сергей, любясь девочкой.

— Дальше будет грустно, — сказала она и добавила, чтобы успокоить его: — Но не сейчас, в самом конце.

— Да? — сказал Сергей.

— Да, — ответила она и, чтобы окончательно успокоить его, откусила от своего початка. Во всяком случае, так Сергею показалось. Он тоже откусил от своего початка, показывая, что он спокоен.

Она приподняла тетрадку с колен и стала искать место, где остановилась.

— Это я уже читала, — сказала она вслух и продолжила: — «...хотя медвежонок маму любил больше всех, потому что мама приносила ему вкусные объедки.

Мы с медвежоном часто игрались, возились, боролись. И он всегда еще хотел бороться, когда я его побарывала. А когда он меня побарывал, он уже не хотел бороться. Мы с ним каждый день купались в море. Он очень любил купаться и так быстро бежал к морю, что я за ним не успевала, и он меня тащил на цепи. За год медвежонок очень вы-



рос, и нам стало трудно кормить его обедками. Мы начали его пасти. То я, то моя сестра Женя, а иногда вместе.

Над нашим домом дубовая роща. Там кусты со всякими ягодами. Например, ежевика или черника. Трава там жирная. Там мы пасли медвежонка. Скоро он научился сам туда ходить и вечером сам приходиться, как домашнее животное.

Но однажды он ушел и больше не пришел. На следующий день мы узнали, что охотники его застрелили, приняв за дикого. Они об этом сказали маме, и они хотели отдать шкуру, но мама не взяла. Она только взяла кусок мяса, потому что мы никогда не пробовали мясо медведя. В тот день мы долго плакали, мясо долго варилось и оказалось вкусным. Мама боялась, что скажет папа.

Когда папа приехал с Голубого озера, он ничего не сказал. Он уехал в Сочи и там пил, пока у него хватало денег. Денег хватило на два дня. Оказывается, папа медвежонка любил больше всех, но он не говорил об этом. Теперь папа мечтает вырыть во дворе бассейн и поселить в нем дельфинов. Он говорит, что на дельфинов будут все отдыхающие клевать и фотографироваться, когда они взлетают над водой. Мама говорит, что с медвежонком он говорил то же самое. Но папа говорит, что дельфины разумные существа. Мы это видели по телевизору. Но все-таки дельфины это рыбы, а рыбы не могут быть умней животных. Особенно такого доброго лапочки, как наш медвежонок». Ну как, дядя Сережа? — спросила она и прикрыла лицо тетрадь, так что одни черные продолговатые глазки с лукавой застенчивостью высывались над тетрадь.

— Замечательно, — сказал Сергей искренне. Он почувствовал, что рассказ девочки влил в него какую-то живительную бодрость.

— А не обманываете? — протянула она, уже веря в то, что он говорит правду. Она снова прикрыла лицо тетрадью, и глаза ее еще ярче засияли, и он чувствовал, что она сейчас улыбается своей огромной улыбкой.

— Нет, честное слово, — сказал Сергей, удивляясь и радуясь этому чудесному ребенку, и мимоходом хмуро подумал, что учительница явно ей не простит нескольких мест в ее сочинении.

— А Женька говорит, что так писать нельзя, что учительница все исправит, — сказала девочка и снова взялась за кукурузу, — а я ей говорю: это же правда, ты скажи, разве здесь что-нибудь неправда?

— Может, учительнице и не понравится, — сказал Сергей, — но я тебя уверяю, что это очень хорошее сочинение.

— Тогда почему ей не понравится? — спросила она с нетерпеливым любопытством.

Она задвигалась на стуле, и крепкая голая нога ее, не достающая до полу, стала шлепать по ножке стула, как собака шлепает хвостом, когда с нетерпеливой радостью ждет от хозяина еды или прогулки.

В сущности, это был труднейший вопрос, хотя и направлен точно по адресу.

— Во всяком случае, помни, — сказал он ей, чувствуя, что не сможет ответить на вопрос, — ты написала очень хо-

рошее сочинение, но учительница может его не так понять...

— Потому что она никогда не видела нашего медвежонка? — спросила девочка. Сергей заметил, что она иногда, как сейчас, правильно произносила звуки, которые ей обычно не удавались. Сейчас она старалась понять и вдумывалась в то, что говорила.

— Отчасти, — сказал Сергей. Он почувствовал, что ему стало гораздо лучше, боль стихала.

Он положил в тарелку кочерыжку съеденного початка. Состояние его напоминало то, какое бывает после приступа малярии. Девочка взяла тарелку и, продолжая догрызать свой початок, вышла из комнаты.

Прислушиваясь к стихающей боли, Сергей погрузился в воспоминания.

\* \* \*

Сергей внезапно проснулся. В гостиничном номере было тихо и темно. Рядом на кровати спала его жена, у противоположной стены на диване спала шестилетняя дочка. Сергей привстал на кровати и посмотрел на диван. В сумеречном свете он разглядел в небрежных, как бы овевающих складках простыни ее бегущее во сне тело — любимая поза спящих детей.

Жена, в отличие от дочки, спала в умиротворенной позе, коротко положив ладонь под щеку. Ее милостивое лицо с резко выделяющимися бровями сейчас выражало безграничный покой и смирение. Да, смирение... Ничего себе смирение...

Сергей нащупал на стуле часы, взял их в руки и, повернув циферблат к окну, разглядел, который час: половина второго. Значит, он спал около часу. Он положил часы на стул и снова посмотрел в лицо спящей жены. Лицо ее по-прежнему выражало покой и смирение.

Теперь он понял, отчего он проснулся. Он проснулся от того, что давило и беспокоило его всю последнюю неделю их жизни в этой приморской гостинице на Оранжевом мысе. Но что же случилось за это время?

Неделю тому назад он с женой, ребенком и профессором из Киева пережидали ливень под тентом у входа в ресторан. Ливень не утихал, и они решили выпить по чашечке кофе по-турецки.

Все столы были заняты, и лишь за дальним столом сидел только один человек. Когда они подошли к нему, человек этот гостеприимным жестом предложил им сесть, и они уселись. Это был мужчина лет тридцати пяти на вид, с мужественным лицом, в ярко-розовой рубашке и в редких тогда еще японских часах, свободно болтающихся на запястье. Мужчина ел цыпленка табака, закусывая зеленью и запивая небольшими глотками рубиновой хванчкары. Бутылка ее стояла на столе.

— Разве хванчкара есть в ресторане? — спросил профессор.

— Для меня у них все есть, — ответил мужчина, если и с юмором, то хорошо скрытым.

— Вот это я понимаю! — воскликнул профессор с восхищением.

Этот профессор из Киева, звали его Василий Маркович, жил в той же гостинице, где жил Сергей со своим семейством. Почти с первого дня их отдыха они познакомились на пляже, и Василий Маркович с тех пор не отходил от них. Оказалось, что он давний поклонник Сергея и все его статьи на исторические темы прекрасно помнит.

Сергей безусловно был польщен таким удивительным знанием его работ и только хотел, чтобы киевский профессор свои радости по поводу статей Сергея выражал менее бурно. Но, как и все люди, которым льстят, Сергей легко прощал ему эти бурные излияния, объясняя их некоторой провинциальной, впрочем, и природной, бестактностью киевского профессора.

Бурное восхищение статьями Сергея Василий Маркович сочёл с не менее бурным восхищением женой и дочкой его. Занятый дочкой, уча ее плавать и играя с ней на песке, Василий Маркович время от времени многозначительно посматривал на жену Сергея, давая знать, что его восхищение ребенком есть отражение его восхищения ею. Когда же он начинал ухаживать за женой Сергея и эти ухаживания делались чересчур назойливыми, Сергей невольно делал останавливающий жест, и тогда Василий Маркович удивленно смотрел на него, словно говоря: «Как?! Разве ты не понимаешь, что мои ухаживания за твоей женой только дань восхищения твоим статьям?!» При этом он нередко вдруг начинал цитировать какую-нибудь из статей или разбирать какое-нибудь место из нее, и что удивительно — цитировал всегда точно и разбирал толково.

И Сергей размягчался и невольно прощал Василию Марковичу его грубоватые ухаживания за женой, тем более что жена вместе с Сергеем втихомолку посмеивалась над этими пустопорожными ухаживаниями профессора. Кстати, Василию Марковичу было лет пятьдесят, хотя выглядел он гораздо моложе, был спортивен и, как говорится, приятен во всех отношениях.

Так обстояли дела, когда ливень загнал их под тент ресторана и они сели пить кофе в обществе незнакомца в великолепной розовой рубашке. Василий Маркович быстро разговорился с незнакомцем, и оказалось, что он, как и они, отдыхает на Оранжевом мысе и живет в той же десятиэтажной гостинице.

Подошел официант, и Сергей заказал ему три кофе по-турецки и бутылку лимонада для девочки. После этого незнакомец подозвал официанта и по-грузински заказал ему бутылку вина и по порции цыплят табака на всех. Незнакомец говорил вполголоса; так что Сергей не был уверен, что правильно понял его. И только когда официант приташил гору зелени, цыплят табака, бутылку хванчкары и даже плиточку шоколада для девочки, Сергей окончательно уверился, что они попали в объятия грузинского гостеприимства.

В довершение этого легкого пиршества Зураб, так звали этого человека, посадил их в собственную «Волгу» и подвез к гостинице, где они жили. Так началось их знакомство.

На следующий день они встретились на пляже, и их новый знакомый был очень мил и рассказывал всякие смешные истории. Одна из этих смешных историй заключалась в том, что он, работая администратором Эндурской филармонии, поехал

в качестве руководителя одного из хореографических коллективов на международный фестиваль. Он поехал туда вместо истинного руководителя, который заболел. В результате самодельный коллектив, который он возглавил, взял первое место, а его, как руководителя, наградили золотой медалью.

И хотя Сергей почувствовал некоторую аморальность всей этой истории, но Зураб с таким юмором рассказывал о своей роли руководителя ансамбля, что ощущение аморальности не проникало в глубину души, оставалось чисто риторическим. Что с него возьмешь, дитя природы, подумал Сергей, услышав эту историю.

Разговаривая, Зураб чаще всего обращался к жене Сергея, но Сергей тогда не обратил на это внимания, как не обратил внимания на особую оживленность Лары, на необычный блеск в ее глазах. И только на следующее утро, когда неожиданно в дверях их номера появился Зураб с электрической бритвой в руке, что-то кольнуло Сергея.

Оказывается, в номере Зураба испортилась розетка, и он теперь просил побриться у них. Было что-то непристойное в этой просьбе. Почему он, миновав несколько этажей, пришел бриться в их номер и как он узнал, где именно они живут? Но Зураб стоял, держа свою бритву в руках, так кротко склонив голову, рубашка на нем на этот раз была такая небесно-голубая, что Сергей успокоился. Когда Зураб начал бриться, жена Сергея подала ему зеркальце, хотя тот его и не просил. И тут опять что-то кольнуло Сергея, но он сказал себе, что в этом ничего особенного нет, хотя ему, когда он брился, она никогда не подсовывала зеркала.

Зураб побрился, поблагодарил и ушел из номера, а они собрались и пошли завтракать. Позавтракав раньше дочери и мужа, жена Сергея занялась своим туалетом, припудривая лицо и подкрашивая глаза. Раньше она никогда этим не занималась в столовой, и Сергей догадался, что она сейчас этим занялась, потому что Зураб должен был подойти к их столику. Так они договорились еще в номере. И сейчас Сергея раздражало, что жена его занята своим лицом, а на дочку, которая ничего не ест, не обращает никакого внимания.

Подошел Зураб в своей небесно-голубой рубашке, следом за ним подошел Василий Маркович. Он взял за руку девочку, и они все вместе вышли из столовой.

Сергей отправился в свой номер, а все остальные пошли на пляж. Обычно он ежедневно работал до обеда и, разумеется, не собирался менять свой распорядок, хотя было неприятно, что все они ушли на пляж, а он должен возвращаться в свой номер.

Он почувствовал, что раздражение на жену не проходит. Он вспомнил, как она прихорашивалась после завтрака, вспомнил, что она обычно кончала завтракать позже их, а сегодня кончила раньше, и все потому, что хотела выиграть время для своего туалета, чтобы лучшим образом предстать перед этим красавчиком.

Раздражение на жену не проходило и когда он сел работать. Он думал, это помешает работе, но работа пошла хорошо. Он писал комментарий к избранным произведениям Плутарха, и, так как в запасе у него было несколько давно продуман-



ных мыслей, ему хорошо писалось. Он писал до обеда, иногда прерываясь именно в тех местах, где мысль его работала особенно плодотворно и давала богатые варианты, и это было удовольствие останавливаться, чтобы выбрать наиболее подходящее русло для живо движущейся мысли.

Когда жена с девочкой перед обедом вернулись в номер, он очень удивился, что уже прошло столько времени. Нехотя, но и с удовольствием он прервал работу, потому что прерывать работу, когда хочется работать, это отодвинуть удовольствие на будущий рабочий день.

Взглянув на жену, на лице которой были следы свежего загара, он вспомнил свое утреннее раздражение, но от него не осталось ничего. Он даже удивился, что его могли раздражать такие пустяки.

Жена сняла халат и, показывая ему спину, спросила:

— Хорошо я загорела?

— Прекрасно, — ответил он и, подойдя к дочке, поцеловал ее и взял на руки.

— Папа, а мы с дядей Васей доплыли до флажка, — похвасталась дочка.

— Молодец, — сказал Сергей и, подбросив, поймал девочку.

— Па, еще! — кричала девочка каждый раз, когда Сергей ее подбрасывал, и было приятно видеть ее испуганное и одновременно радостное лицо, взвешенное платьице, ловить в ладони ее горячее от солнца тело, плавно притормаживать, ловя его, и снова подбрасывать над собой.

Они пошли обедать, и у Сергея было легкое, хорошее настроение, чувство выполненного долга и ощущение предстоящих часов долгого сладостного безделья.

Пообедав, они вернулись в номер и легли отдыхать, зашторив стеклянную дверь, выходящую на балкон в сторону моря. Балконная дверь была открыта, и изредка между шторами в комнату проникали струи прохладного бриза.

В полутьме красиво золотилось загорелое тело жены. Сергей посмотрел на диван, где ничком лежала дочка, выбросив одну руку вперед, словно замерший в движении пловец. Сергей понял, что она спит, и, протянув руку, положил ее жене на плечо. Жена поднесла палец к губам, показывая, что дочка может их услышать. Но Сергей протянутой рукой стал гладить ее прохладное плечо, шею, грудь. Потом она тоже протянула руку и стала ласкать его, и было приятно чувствовать на себе ее прохладную руку, и сладость прикосновения все обострялась и обострялась, и она время от времени, поворачивая голову, смотрела в сторону спящей дочки и наконец, привстав, дотянулась до простыни, висевшей на спинке кровати, еще раз взглянула в сторону спящей девочки, взмахнула простыней, и, когда простыня плавно осела, он уже бесшумно прижался к ее горячему, туго стянутому от морской соли телу.

Потом они лежали, откинув простыню, и она ушла в ванную, а он под прохладный звук журчащей воды уснул.

— Вставайте, лежебоки, пора на пляж! — сказала жена и тряхнула его за плечо. Сергей проснулся, но ему было лень

двигаться. — Хватит спать, — повторила она и, подойдя к дочке, стала ее теребить.

— А почему папа не встает, — захныкала девочка, — пускай сперва папа встанет.

— Будете разнеживаться — уйду одна, — сказала жена и стала надевать голубой купальник.

— Вот и не уйдешь, — сказала девочка.

— Вот увидите, — ответила мать и вышла на балкон. Сергей видел сквозь штору, что она перевернула купальник, висевший на перилах балкона, и, сняв пляжное полотенце, висевшее там же, положила его в сумку.

В одном купальнике она подошла к трюмо и стала подкрашивать ресницы. Лучи солнца косо били в комнату сквозь полуоткрытую штору над балконной дверью. Было жарко, и Сергея снова разморила дрема.

— Ах, вы все еще лежите, — услышал он сквозь дремоту, — так я иду одна.

Сергей услышал, как хлопнула входная дверь, и с трудом открыл глаза. Он очень удивился, что она исполнила свою угрозу. Он посмотрел на диван, где лежала девочка. Она лежала, опершись ручонкой о подбородок, и, хлопая сонными глазами, смотрела на отца. Она тоже была удивлена, что мать исполнила свою угрозу.

Через полчаса, когда Сергей с дочкой пришли на пляж, он увидел, что жена его сидит рядом с Зурабом и оживленно беседует. Увидев ее стройную фигуру в купальнике, доброжелательно приближенную к собеседнику, блестящие глаза,

разведенные руки и чуть приподнятые плечи, все эти жесты, которыми она помогала себе, стараясь быть выразительной, Сергей задохнулся от возмущения. Так вот куда она спешила!

Заметив Сергея с дочкой и поняв, что он почувствовал ее необычное оживление, и поняв, что он догадался теперь, куда она так спешила, она рассмеялась и произвольным жестом, отчего этот жест был особенно возмутителен, показала рукой на место рядом с собой, чтобы Сергей располагался. Она этим жестом как бы говорила: с этой стороны он сидит, а с этой стороны ты будешь сидеть, и все будет справедливо. Сергей был особенно взбешен этим жестом, как бы выражающим равенство прав и равенство возможностей обоих. Как будто у них могли быть равные права!

Тем не менее, он ничем не показал свое возмущение и, раздевшись, лег чуть дальше от нее, чем сидел Зураб, показывая этим свое пренебрежение к ее жесту, выражающему равенство прав обоих.

Подошел Василий Маркович. Присев возле жены Сергея, причем он сел и ближе Сергея и ближе Зураба, и стряхнув со штрипки ее купальника невидимую соринку, он сообщил, что договорился с водителем глассера и тот приедет катать их на морских лыжах. Десятиминутный круг по дуге залива — цена один рубль.

Потом они все, кроме Зураба, вошли в воду, и Сергей вместе с дочкой доплыл до флажка, несколько раз показывая ей по дороге, как нужно дышать в воде. Девочка ложилась на спину и некоторое время хорошо лежала на во-

де, но потом, когда первая же волна захлестнула ей лицо, она не выдержала и перевернулась. Сергей учил ее, не обращая внимания на захлестывавшую волну, продолжать лежать и с силой выдыхать, когда вода лезет в рот, чтобы не наглотаться ее.

Когда они приплыли к берегу, Сергей увидел следующую картину. Жена его пыталась сесть на автомобильную камеру, которую одолжил ей кто-то из купающихся. Но сесть на камеру она никак не могла — камера переворачивалась. Василий Маркович усиленно помогал ей, но ей никак не удавалось сесть. Ей не удавалось сесть так, чтобы тяжесть ее равномерно распределилась на всю камеру. Каждый раз камера переворачивалась, она с хохотом погружалась в воду, и всё начиналось сначала.

В сущности, это была забавная картина, и жена его, мокрая, в купальной шапочке, с хохочущим, белозубым ртом, выглядела очень мило, но ему она сейчас казалась вульгарной, и казалось, она нарочно не может усесться на камере, чтобы киевский профессор хватал ее за талию и подсаживал.

Сергей подплыл к ним и молча, не обнаруживая ничего смешного в их действиях, следил за ними. Она опять свалилась. Василий Маркович понял, что он чересчур смело помогает жене Сергея, и, посмотрев на Сергея преданными глазами, сказал:

— Как это здорово у тебя написано в статье о Нероне: «...тиран, правильно предполагая, что у него нет настоящих друзей, думает, что у него должны быть настоящие враги, каковых может и не быть». Как ты до этого додумался?

Сергей пожал плечами и, удивляясь, как всегда в таких случаях, заметил, что его раздражение на Василия Марковича прошло, хотя тот, казалось бы, совершенно неуместно вспомнил о его статье. Отчасти и на жену прошло раздражение.

— Давай я, — сказал он и, вытащив камеру из воды, надел ей на голову, продел ее тело сквозь камеру и, дав ей опереться на свою грудь, посадил ее, заставив вытащить ноги и лодыжками упереться в камеру. Теперь она устойчиво держалась на ней, провалившись в камеру средней частью тела. Не надо превращаться в педанта, подумал он о себе критически.

Велев дочке не отплывать от берега, он поплыл в открытое море. Сергей довольно далеко заплыл, и, когда приплыл к берегу, жена с дочкой сидели на берегу, а Василий Маркович прохладился верхом на камере. Сейчас поза жены снова напомнила ему ту первоначальную, раздражавшую его позу, выражающую поглощенность разговором с собеседником. Нескольким раз, пока он плыл к берегу, они смотрели в сторону моря, и Сергею показалось, что они соразмеряют свой разговор с расстоянием, на котором он находится от них.

Он вышел из воды, раздраженный на ее позу, на предполагаемый ее разговор с Зурабом, и, чтобы еще сильнее себя распалить, чтобы дать им вволю наинтимничаться, он взял полотенце, сухие плавки и ушел в будку для переодевания. И там, сняв плавки и растирая тело, он чувствовал, что возмущение его растет с каждым мгновением, и он, подозревая их в тайном разговоре, посмотрел в шелку и увидел обоих сидящих на берегу. И словно оттого, что он следил сейчас за ними тай-

но, усилилось впечатление тайны, в которую они преступно погрузились.

Вдруг Зураб огляделся, остановив на мгновение свой взгляд на будочке, в которой находился Сергей, и что-то начал говорить ей. Сергей был уверен, что он сейчас ей говорит что-то предательское. И в то же время он заметил, что Зураб даже озираясь, чтобы его никто не слышал, делал это с гордым, независимым выражением лица.

Но главное она. Сергей испытывал сейчас к ней жгучую ненависть за ее позорное, как он думал, вульгарное поведение. Да ее и не нужно совращать, думал он, она сама готова совратиться в любую минуту!

Когда он вернулся на пляж, близко к берегу подошел глиссер, и парень атлетического сложения, сидевший за рулем, вглядывался в сидящих и лежащих на берегу, ища кого-то. Василий Маркович, который уже вылез из воды, встал и помахал ему полотенцем.

Глиссер, дав задний ход, приблизился к берегу, и парень, сидевший за рулем, выбросил за борт ярко-красные лыжи и веревку с деревянной ручкой на конце.

Василий Маркович вошел в воду, достал лыжи и конец веревки с деревянной ручкой. Надевая лыжи, он сначала утопил одну из них так, что только ее красный нос высунулся из воды, потом ухватился за деревянную ручку на конце веревки и дал знак водителю, чтобы тот ехал.

Глиссер пошел вперед, веревка натянулась, и из кипящей воды показалось и стало медленно выходить слегка откину-

тое назад тело Василия Марковича. Глиссер набирал скорость, и он уже весь вышел из воды, и стоял, откинувшись назад, и мчался по воде, оставляя за собой пенистый след. Он сделал большой круг, примерно равный площади стадиона, и глиссер снова подошел к берегу, и, когда Василий Маркович бросил веревку, он еще по инерции прошел по воде метров пять, и это выглядело особенно лихо и красиво.

— Давай, Сергей, — крикнул Василий Маркович, сидя на корточках в воде и снимая лыжи.

Немного волнуясь, Сергей вошел в воду. Он никогда не катался на морских лыжах и не знал, как у него это получится. Он поймал в воде снятые Василием Марковичем лыжи и сразу почувствовал огромное неудобство. Они были очень тяжелые, и, когда он сунул одну стопу в резиновое гнездо на лыже, он стал чувствовать, что тело его перевешивается в сторону этой лыжи, но он, загребая рукой, удерживал равновесие, а другой рукой подводил под другую ногу вторую лыжу. Он с большим трудом, то и дело удерживая себя, чтобы не перевернуться, вдел ногу в резиновое гнездо на второй лыже и теперь сидел в воде на корточках, помогая руками, чтобы удерживать равновесие.

Василий Маркович подал ему деревянную ручку на конце веревки и, сказав: «Не спеши выходить из воды, тебя самого вынесет», дал знак водителю глиссера. Мотор заработал, и Сергей, с трудом удерживая равновесие, сжимал деревянную ручку на конце веревки. Потом он почувствовал толчок, когда веревка натянулась, и, все еще чувствуя крайнюю неустойчи-



вость своего положения, ощутил неистовую силу, которая выдергивает его из воды и тащит по воде, и хотелось крикнуть этой силе: «Подожди меня тащить, дай сначала почувствовать равновесие!» — но сила эта, вырывая руки из плеч, тащила его сквозь невероятно сопротивляющуюся толщу воды, и он, уже заранее чувствуя, что это долго продолжаться никак не может, что он вот-вот завалится набок, и, уже заваливаясь, обреченно старался удержаться и через несколько секунд рухнул в воду, а глассер тащил и тащил его тело сквозь невероятно сопротивляющуюся толщу воды, а он, уже захлебываясь, с остервенением держался за ручку и наконец отпустил ее. Стоять в воде в тяжелых лыжах было неудобно, и он, сняв их с ног, поплыл к берегу, подгоняя впереди себя лыжи.

— Ты почти вышел из воды, — сказал ему бодро Василий Маркович, — попробуй еще.

На этот раз Василий Маркович придерживал его в воде, пока он надевал лыжи и пока не натянулась веревка. И снова невероятная сила, вырывая руки из плеч, стала выволакивать его из мощно сопротивляющейся толщине воды, но он, сжав в комок все свои силы, держался, и его вынесло из воды, и все-таки он, заранее чувствуя, что упадет, старался как можно дальше отодвинуть миг падения, и он продержался метров пятнадцать, а потом все-таки грянул о воду, но из какого-то яростного упрямства продолжал держаться за ручку, и еще некоторое время волокло его вытянутое плашмя тело и ноги в лыжах выворачивало и раздергивало от встречного потока воды.

— На этот раз ты сделал самое трудное, — сказал Василий Маркович, когда он подплыл к берегу, — ты вышел из воды. Почему ты упал?

— Не знаю, — отвечал Сергей.

— Теперь все, — уверенно повторил Василий Маркович, — ты вышел из воды. Теперь пойдет.

Но Сергей далеко не был так уверен, что теперь у него дело пойдет, и, когда он попробовал в третий раз, он упал еще раньше того, как вышел из воды.

Он вылез на берег, где уже собралась небольшая толпа из желающих себя попробовать на водных лыжах и просто так глазеющих. Он чувствовал к себе отвращение и был глубоко несчастен от своей неловкости.

— Ничего, — сказал один человек из толпы, — в следующий раз получится.

— Они нарочно дергают веревку, — сказал другой, — когда знают, что начинающий... Им ведь все равно — попытка рубль...

— Как дергают? — спросил другой.

— Очень просто, меняют скорость.

Сергею было приятно думать, что не он сам виноват в своих падениях, хотя в глубине души был уверен, что дело в нем самом, а не в водителе глассера.

Следующим на очереди был Зураб.

— Если сердце не подведет... — сказал он, входя в воду и поглаживая одной рукой грудь. Он несколько раз уже гово-

рил, что у него больное сердце, и это придавало дополнительный ореол его романтическому облику.

Он с первой же попытки стал на лыжи и пошел за глассером, красиво оттягиваясь на поворотах, и Сергей с бесплодной завистью следил за ним и с бесплодной завистью видел, что жена его с восхищением смотрит в море. Он вспомнил, какое напряжение испытал он, когда пытался встать на лыжи, и подумал, как это Зураб с больным сердцем легко переносит такую нагрузку.

— Кто на горных лыжах катается, тот сразу может стать на водные, — сказал кто-то.

У Сергея на душе немного отлегло. Конечно, подумал он, взбадриваясь, такой пижон никак не мог обойтись без горных лыж. Наверное, он каждую зиму катается в Бакуриани.

— Что лучше, горные лыжи или водные? — не удержался Сергей от коварного вопроса, когда тот вышел на берег.

— Там свое удовольствие, здесь свое, — рассудительно отвечал ему Зураб, осторожно обтирая себя полотенцем.

Сергей посмотрел на жену, но та думала о чем-то своем и, кажется, не расслышала их разговора.

Потом катались и пытались кататься на водных лыжах другие купальщики, и Сергей с удовлетворением замечал, если кто падал. Падали многие, хотя некоторые выходили из воды и делали полный круг. Некоторые падали далеко в море, и их оттуда привозил на берег глассер.

Сейчас вся компания сидела на берегу и загорала, и Сергей постепенно успокоился и решил, что его неловкость на морских лыжах, вероятно, забыта и вообще ничего страш-

ного не случилось. Разговор был общий, и Сергей подумал, что жена его и Зураб не проявляют никакой заинтересованности друг в друге и, вероятно, ничего особенного между ними не было и нет, а он нафантазировал Бог знает что.

Вдруг Зураб стал одеваться и шутливо сказал, что уходит к себе в номер и забирает с собой их девочку, чтобы угостить ее там конфетами.

Сергей почувствовал что-то странное в этом его желании забрать с собой их девочку. Но и отказать ему в этом невинном, казалось бы, желании было как-то неудобно. Но и отпускать девочку одну было нелепо: что ж, она одна будет возвращаться из гостиничного номера? И вдруг Сергею ударило в голову: они заранее договорились! Он пойдет к себе в номер с девочкой, а она туда придет позже, якобы для того, чтобы забрать девочку.

Что ж это такое, думал он, быстро одеваясь, что ж это за вероломная гадина. Он старался унять дрожь в пальцах и не выдавать своего волнения. Зураб, взяв за руку девочку, медленно шел с пляжа в сторону гостиницы. Сергей шел вслед за ним, а за Сергеем потянулись жена его и Василий Маркович. Так они на некотором расстоянии друг от друга вошли в гостиницу, поднялись на второй этаж, пошли по коридору, и, когда коридор завернул направо, Зураб и девочка исчезли из глаз. К этому времени Сергей немного успокоился и решил, что ничего особенного не случилось.

Он подождал своих спутников, и у самого поворота коридора жена его вышла вперед и первая свернула направо. Когда Сергей и Василий Маркович вышли к повороту, впереди

уже не было никого, кроме его жены. Видно, Зураб с девочкой уже вошли в номер.

Что за черт, как же мы будем искать его номер, подумал Сергей, но в это мгновение жена его, шедшая впереди, уверенно постучала в какой-то номер.

Она знала его номер, он об этом ей сказал заранее, холодея от омерзения, подумал он. Нет, нет! — следом пришло спасительное соображение, — она шла на несколько шагов впереди и могла заметить, как они входили в комнату. Он попытался прикинуть расстояние, на котором находились от них Зураб с его дочкой, чтобы сообразить, могла ли жена его заметить их до того, как они вошли в номер. Но мерзость первого предположения так его оглушила, что он уже почти ничего не соображал и все делал автоматически. Ко всем неприятностям прибавилось еще замечание Василия Марковича.

— Кажется, мы с тобой здесь лишние, — шепнул он в дверях.

При чем: мы? Почему: мы? — сквозь затмевающееся сознание думал Сергей.

Все остальное, что происходило в номере, он воспринимал как в тумане. Хозяин усадил их за стол, где уже сидела их дочурка перед вазой с конфетами. Потом он поставил на стол блюдо с фруктами, бутылку коньяка и рюмки. Маленький телевизор, снятый хозяином с машины и водворенный в номер, повизгивал с тумбочки, и на мерцающем экране пробежали приплюснутые футболисты.

Они пили коньяк за здоровье присутствующих, потом за здоровье женщин отдельно, и Зураб сказал, что ждет через неделю приезда жены с ребенком. Сергей попытался сопоставить ожидание приезда жены с возможностями ухаживания за чужой женой, но ни к какому выводу не смог прийти — в голове у него был туман. Он пил коньяк, не слишком понимая тосты, но почему-то хорошо чувствуя мягкий вкус первоклассного армянского коньяка.

Хозяин и Василий Маркович время от времени отвлекались на телевизор, и Василий Маркович высказал несколько ободряющих соображений по поводу возможностей тбилисского «Динамо», а Зураб, как истинно любящий, более сдержанно оценил возможности своей команды.

Вдруг Сергей почувствовал на колене осторожное, ласковое прикосновение руки жены. Они сидели рядом, и он не мог понять, что означает ее прикосновение: то ли она одобряет, что он так хорошо держится и никак не проявляет своего волнения, то ли хотела сказать, мол, видишь, ничего нет и не о чем было волноваться.

Уже смеркалось. Пора было идти ужинать. Они договорились после ужина всем вместе пойти на танцплощадку. Когда Сергей и его жена, уложив ребенка, подошли к танцплощадке, там их ожидала большая компания, в основном состоящая из женщин, знакомых Василию Марковичу по пляжу. В желтой рубашке и черных брюках Зураб был похож на римского гуляку из итальянского кинофильма.

На танцплощадке Сергей пошел танцевать с одной из молодых женщин из компании Василия Марковича. Он был уве-

рен, что Зураб пригласит его жену, но тот не пригласил ее ни на этот, ни на один из других танцев. Почти все время ее приглашал Василий Маркович, очевидно довольный, что благодаря взаимоистреблению борющихся сил он получил возможность танцевать с женой Сергея.

Василий Маркович, будучи человеком спортивным, и вообще хорошо танцевал, а тут особенно расстарался. После одного лихого фокстрота, когда он жену Сергея закручивал, заверчивал и тряс во все стороны, заметив, что Сергей за ними следит, он вспомнил статью Сергея о Юлии Цезаре.

— Ты пишешь, — сказал он ему, — «жена цезаря — вне подозрений; какая бронзовая формула отчаянья». Удивительно, как ты нашел связь между этим гордым заявлением и неожиданно скрытым в нем отчаяньем?

— На личном опыте, — сказал Сергей с улыбкой, кивая на жену, смотревшую на Зураба, который в нескольких шагах от них стоял и разговаривал с партнершей по танцу, — жена историографа тоже вне подозрений.

— Ты шутишь, — значит, все в порядке, — сказал Василий Маркович, но на всякий случай оставил Сергея с женой и пригласил другую женщину: что-то в голосе Сергея ему показалось подозрительным.

Если то, что Зураб не танцевал с женой Сергея, было сознательной уловкой донжуана, то он добился своего. Жена Сергея ревновала его и со свойственной ей, как считал Сергей, истерической эмоциональностью вся дрожала мелкой, паскудной дрожью. Психология маленькой продавщицы, ду-

мал Сергей, стараясь злостью перешибить боль, только маленькая продавщица могла влюбиться в этого человека.

— Держи себя в руках, ты дрожишь, — сказал Сергей.

— Здесь прохладно, — ответила она, не очень стараясь быть убедительной.

— Ты дрожишь потому, что он с тобой не танцует...

С безумной логикой женщины она стала объяснять, что удручена неприличным поведением Зураба. Оттого, что он, по ее словам, так демонстративно избегает с ней танцевать, люди могут подумать, что между ними что-то есть, тогда как между ними ничего нет.

И я должен выслушивать всю эту чушь, подумал он с тоской, и ему захотелось избить ее, попытавшись при этом вышибить у нее из головы эту идиотскую логику. А ведь во многих вещах, с удивлением подумал он, она не глупа, далеко не глупа.

Подошел Василий Маркович, внимательно вглядываясь в Сергея и в его жену, стараясь определить, в каких они отношениях и можно ли ему возобновить свои ухаживания. Решив, что можно, он отвел Сергея в сторону, и лицо его приняло то доброжелательное выражение, какое оно принимало, когда он начинал цитировать его статьи. Но он, показав глазами на одну из женщин, которые с ним пришли, сказал:

— Эта женщина на тебя глаз положила. Действуй. Верняк.

Это была очень вульгарного вида женщина, и Сергею не только в том настроении, в котором он находился, но и в самом радужном никогда бы не пришло в голову ухаживать за ней. Так, подумал Сергей, он мне предлагает сделку: я ему же-



ну, а он мне эту моржиху. Ай да Василий Маркович! Уж лучше бы он взамен процитировал что-нибудь.

Женщина эта посмотрела на Сергея и, встретившись с ним глазами, опустила свои рыби глаза. Смутилась или сделала вид, что смутилась. Сергею одинаково неприятно было и предложение Василия Марковича и эта женщина. В сущности, он никогда не умел, любя одну женщину, ухаживать за другой. Но, следуя мужской логике, он сделал вид, что заинтересовался ею. Нельзя было сразу отвергать женщину, которая оказывает тебе знаки внимания, чтобы не прослыть сентиментальным чудачком, который держится все время за юбку своей жены. Надо было заинтересоваться ею, а потом сделать вид, что чары ее оказались недостаточно мощными.

Сергей пошел с ней танцевать. В отличие от своих чар, сама она была достаточно мощной, и большая грудь ее во время танца требовательно упиралась в грудь Сергея. Она завела с Сергеем один из тех бессмысленных разговоров, которые ведутся на танцплощадке, и Сергей сквозь свое тошнотное состояние с трудом следил за смыслом ее слов.

Она спрашивала у Сергея, почему он всегда так поздно приходит на пляж, почему он никогда не играет с ними в волейбол или в карты. При этом она так смотрела ему в глаза, что ясно было ее удивление, почему он до сих пор не соблазнился ею? Она была бы смертельно оскорблена, если бы он ей откровенно сказал, что до сих пор вообще не замечал ее существования, хотя на пляже она всегда располагалась рядом с ними.

— Мы еще с вами повеселимся, — многозначительно отвечал Сергей на все ее вопросы.

— Когда? — наконец спросила она, зардевшись, и грудь у нее задрожала.

— Это неважно, — сказал Сергей, отводя ее на место, — главное, помните: мы с вами еще повеселимся.

— Хотелось бы поточней, — вздохнула она и опустила ры-  
бы глаза.

На следующий вечер Сергей с женой и ребенком гуляли по набережной в компании знакомых по пляжу. Ни Василия Марковича, ни Зураба с ними не было. Зураб с утра исчез с какими-то своими приятелями из Тбилиси, вероятно, закутил с ними. А Василий Маркович вечером не вышел на набережную.

Сергей чувствовал, что жена его скучает по Зурабу, и, страдая от этого, в то же время испытывал злорадство оттого, что она напрасно ожидает его прихода.

Когда они поравнялись с гостиницей, жена сказала, что отведет дочку спать и останется в номере, потому что у нее разболелась голова. Ее стали уговаривать вернуться, и она сказала, что вернется на набережную, если у нее пройдет головная боль. Сергей подумал, что надо бы их проводить в номер, но сдержался. Ему хотелось быть с женой похолодней.

Как только она ушла, ему стало скучно с компанией, но он старался держать себя в руках и спокойно гулял вместе со всеми. В этой компании была женщина, с которой он танцевал накануне вечером и которой обещал большое веселье. Как только жена Сергея ушла, эта женщина решила, что про-

бил ее час, и стала бросать на Сергея многозначительные взгляды, полные ожидания обещанной сладкой жизни. Сергей взглядами пытался укротить ее взгляды, намекнуть, что час их еще не пробил, но та отказывалась его понимать и требовала обещанного веселья. Сергей проклинал себя за свой шуточный разговор на танцплощадке и лишний раз убеждался, что никогда не следует такими вещами шутить.

Они долго гуляли по набережной, и Сергею несколько раз хотелось уйти к себе в номер, но он сдерживал себя, чтобы не казалось, что он не может провести вечер без нее.

В конце набережной была расположена шашлычная под открытым небом, и они, усевшись за столик, съели по шашлыку, запивая его терпким вином мукузани. Сергей чувствовал все возрастающее беспокойство и тревогу, и ему было неуютно в компании, и шашлык казался чересчур обугленным, и вино казалось слишком терпким.

Ему приходило в голову, что жена его покинула компанию, чтобы, оставшись одной, уйти к Зурабу. Неужели могла осмелиться? Не может быть! А почему бы нет? Сейчас же идти в гостиницу, и если ее там нет... То что? Но Сергей никуда не уходил и только в половине двенадцатого, когда компания разошлась по домам, вернулся в свой номер.

Он ее застал в ванной, она стояла в нижней рубашке над ручкомойником и мыла свою юбку. Она сказала, что ей стало скучно в номере, и она вышла на набережную, но их уже там не было, и она, встретив Василия Марковича, весь вечер искала их и нигде не могла найти. Сергей никак не мог понять, как это

можно было их не найти, когда они весь вечер гуляли только на набережной. Но она уверяла, что они их никак не могли найти, и Сергей верил ей и не верил, и было ужасно неприятно видеть, как она стоит в нижней рубашке и стирает юбку.

На следующее утро к ним в номер зашел Зураб и сказал, что в одном сельском магазине купил вчера материал для занавесок, но не знает, будет ли жена довольна покупкой, и хочет, чтобы Лара женским глазом оценила ее. Сергею, с одной стороны, было приятно, что он покупает занавески и думает о том, понравятся ли они его жене, это говорило о том, что он как будто бы занят своими семейными делами. Но, с другой стороны, он так сказал о том, что хочет, чтобы жена его посмотрела занавески, словно одну ее приглашал к себе в номер. Это было неприятно.

— А вы нас совсем забыли, — с шутливой укоризной обратилась к нему жена Сергея.

— Приехали ребята из Тбилиси... Весь день вчера кутили, — отвечал Зураб, и они все вместе покинули номер.

— Вам же нельзя пить... Вы совсем загубите свое сердце, — сказала жена Сергея, проходя в двери лифта.

— Товарищи, ничего нельзя сделать, — сказал Зураб, потирая одной рукой грудь, где должно было быть сердце. В узкой кабине лифта Зураб стоял очень прямо, как бы боясь случайно прикоснуться к жене Сергея.

Они вошли в номер Зураба, и тот, вынув из чемодана золотистую ткань, распахнул ее на столе. Жена Сергея, пощупав материал, приподняла его край и посмотрела на свет.

Она сказала, что это прекрасный материал для занавесей, и похвалила его за хороший вкус. При этом она, взглянув на Сергея, сказала, что он, к сожалению, ничего не понимает в таких вещах. Сергей не спорил, потому что так оно и было на самом деле. Зураб сложил ткань и, бросив ее на чемодан, поставил на стол начатую бутылку коньяка, вазу с конфетами и предложил выпить по рюмке. Сергей и Зураб выпили по рюмке, а жена Сергея пригубила свою.

Вдруг лицо Зураба приняло отрешенное выражение, и он замер, прислушиваясь к чему-то. Сергей, не поняв, в чем дело, тоже стал прислушиваться, но ничего не было слышно.

— Что-нибудь случилось? — спросил Сергей.

Зураб слегка покачнул головой, показывая, что ничего не случилось, и продолжая отрешенно прислушиваться к чему-то. Глаза у него слегка закатились, и выражение лица напомнило Сергею какую-то старинную картину — кажется, «Смерть гладиатора».

— Сердце?! — первой догадалась жена Сергея.

Зураб слегка кивнул умирающим лицом, продолжая прислушиваться к тому, что происходило внутри него.

— Может, позвонить в «Скорую помощь»?! — предложил Сергей.

— Валидол, — шепнул он, как показалось Сергею, посеребрившими губами.

— Где?! — спросил Сергей.

Зураб, приоткрыв рот и глядя слегка закатившимися глазами, показал на пиджак. Пиджак висел на спинке стула. Сер-

гей полез в карманы пиджака, но, кроме связки ключей, ничего там не обнаружил. Он посмотрел на Зураба, чтобы узнать, правильно ли он его понял.

— В машине, — прошептал Зураб, кивнув на ключи в руках у Сергея.

Сергей выскочил из номера и, подбежав к лифту, нажал на кнопку. Лифт был занят. Забыв, что они только на втором этаже, Сергей продолжал стоять и ждать лифта с гулко бьющимся сердцем. Он простоял минуты две, наконец лифт освободился, и он, нажав кнопку, вызвал его. Тут Сергей вспомнил, что гораздо быстрее можно добежать до первого этажа, и, не дожидаясь лифта, ринулся вниз.

В вестибюле было много народу, и он, лавируя между людьми, выбежал из гостиницы, обежал ее и вышел к стоянке машин. Сейчас он с ужасом подумал, что совершенно не помнит машину Зураба, только помнит, что это была «Волга». Здесь стояла дюжина машин. И Сергей никак не мог вспомнить машину Зураба, но вдруг ему бросилась в глаза обезьянка, висевшая внутри машины перед ветровым стеклом. Он вспомнил, что это машина Зураба. Потом он возился с ключами, стараясь угадать, какой ключ именно от машины, потому что никогда не открывал машину и не знал, каким ключом надо пользоваться.

Покамест он возился с ключами, вдруг ему пришло в голову, что все это сплошное притворство, что Зураб нарочно симулировал сердечный припадок, чтобы остаться наедине с его женой. Какая низость так думать, одернул себя Сергей, вспомнив умирающее лицо Зураба. И тут же, не удержавшись, поду-

мал: слишком красиво умирающее лицо. Дрожащими пальцами он наконец воткнул какой-то ключ в дверцу машины и повернул его. Дверца открылась. Тут он подумал лихорадочно: если притворство — никакого валидола в машине не будет. Он открыл крышку ящика и среди нескольких пачек сигарет, конфет, спичек обнаружил металлическую трубочку, набитую таблетками. Он захлопнул ящик, вылез из машины, захлопнул дверцу и бегом направился в гостиницу. Он со страхом подумал, как много времени он потратил, пока догадался вынуть из всех машин его машину и пока открывал дверцу.

В вестибюле гостиницы все еще было много людей, и он, лавируя, добежал до лестницы и стал быстро, рывками через одну-две ступени подыматься вверх. Он выскочил на второй этаж, пробежал по коридору, свернул направо и вдруг обнаружил, что начисто забыл, какая дверь принадлежит номеру Зураба. Он толкнулся в одну дверь, но она оказалась запертой, но он все-таки подумал, что это та дверь, и с ужасом стал стучаться в нее, уже не зная, что думать.

Все-таки он взял себя в руки и понял, что это не та дверь. Он отошел к следующей двери и, дернув ее, открыл. Он вошел в номер и, только зайдя в комнату, понял, что попал куда надо. Зураб сидел на прежнем месте, и лицо его продолжало быть лицом умирающего гладиатора. Но что-то в лице его жены изменилось. Сергею казалось, что она сильно смущена. Он вытряхнул из трубочки таблетку и дал ее Зурабу. Зураб медленно поднес руку ко рту и положил под язык таблетку.

Сергей положил ключи и металлическую трубочку на стол. Перед его глазами стояло смущенное лицо его жены, и он не мог на него смотреть. Он подумал, что его не было около двадцати минут. Что за это время произошло, почему у нее такое смущенное лицо, думал он, все еще тяжело дыша и постепенно выравнивая дыхание.

— Отпускает, — наконец вымолвил Зураб.

— Вам нельзя пить, — сказала жена Сергея, и Сергей мог поклясться, что лицо у нее остается смущенным, — вы себя погубите.

— Не хочется чувствовать себя инвалидом, — сказал Зураб слабым голосом, — все-таки я еще молодой.

— Но надо же хотя бы знать меру, — сказала жена Сергея.

— Это правильно, — ответил Зураб и погладил рукой сердце. — Вы идите, я немножко позже выйду... Извините за беспокойство.

— Ничего, — сказал Сергей, понимая, что его слова обращены больше к нему.

Все, что говорил сейчас Зураб, Сергею казалось естественным, а все, что говорила жена, казалось ему натянутым, фальшивым. Они вышли, и вид у нее по-прежнему был смущенный. Казалось, она хотела бы, чтобы то, что произошло в отсутствие Сергея, совсем никогда не происходило. Казалось, она сильно разочарована в том, что произошло. Но что произошло, Сергей не знал. Он только знал, что что-то в его отсутствие произошло и это все еще ее смущало. И он знал, что он никогда у нее не спросит о том, что произошло в его от-



существование, потому что это было унижительно и потому что она никогда не скажет ему правды. Пожалуй, если бы попытка узнать правду была бы только унижительно, он бы пошел на это унижение. Но это было унижительно и исключало возможность узнать правду, и он знал, что никогда не спросит у нее об этом. Но он безусловно знал, что что-то в его отсутствие произошло. По крайней мере, были сказаны какие-то слова.

В ту ночь Сергей долго не спал и думал о своей давней, неясной, никогда не осуществившейся любви к девушке Заире. Сергей тогда работал в Мухусе в Институте усовершенствования учителей. Во время одной из командировок он приехал в село Анхара, и вечером, после посещения школы и беседы с учителями, его повел к себе ночевать молодой председатель сельсовета.

Когда они открыли калитку и вошли во двор, было уже темно. Залаяла собака и серым комом побежала в их сторону, но не успела добежать, как какое-то существо обогнало собаку, бросилось к ним, на мгновение припало к Сергею, поцеловало его в щеку, отпрянуло, и Сергей почувствовал, что это очень молодая девушка, и от нее пахло дымом абхазской кухни, юностью, первым снегом, который лежал на крышах домов, на еще не высохшей траве большого двора, под кукурузными ожинками убранного поля. И Сергею сразу сделалось необыкновенно весело и легко. Сергей догадался, что это сестричка хозяина.

— Вас там встретит его сестрица, — сказал один из учителей, отправляя Сергея ночевать с председателем сельсовета. Он это сказал с какой-то улыбкой в голосе, которая запомнилась Сергею. И вот теперь этот ничем не заслуженный ма-

ленький праздник поцелуя. Отпрянув от Сергея, она повисла на брате, и Сергей, словно заряжаясь воздухом веселья, который она, как облачко, наваяла своим дыханьем, спросил:

— Что, давно не виделись?

— Да что ты, — отвечал брат, отпихивая сестричку, — с утра из дому.

— Обедать не приходил! — крикнула она и весело рассмеялась, идя впереди и отстраняясь от собаки, прыгавшей вокруг нее.

Сергею навсегда запомнился этот зимний вечер, этот большой двор с белеющими пятнами снега, эта девушка, угадывающаяся в полутьме и выделяющаяся из полутьмы белыми шерстяными носками, ее отстраняющиеся от прыгающей собаки движения, ее быстрая, легкая походка, как бы шутовски повторяющая походку зрелой женщины, знающей свое дело и умеющей достойно встретить гостей.

Они вошли в кухню, и Сергей, разглядев девушку, обрадовался своему предчувствию. Она была некрасива, но необыкновенно хороша вишнями глаз, широкой улыбкой, нежной линией профиля.

В кухне было несколько женщин, а у очага в войлочной шапочке сидел величавый старик с морщинистым лицом, озаренным рембрандтовским светом горящего очага.

Сергея представили старику, женщины засуетились, и одна из них подошла к старику и, низко склонившись к его уху, стала ему шептать что-то. Сергей, внутренне усмехнувшись, догадался, о чем она спрашивала. Он был уверен, что женщи-

на справлялась об уровне приема, который надо оказать гостю. Скорее всего, она спрашивала, стоит ли зарезать какую-нибудь живность? Не достаивая ее словами, старик коротким кивком одобрил предполагаемый уровень приема.

Немного поговорив с Сергеем и установив, что он знаком со многими его чегемскими родственниками, старик сказал:

— Заира, отведи гостя в горницу, и мы туда придем... Нечего тут в грязи копошиться...

Заира зажгла керосиновую лампу и повела Сергея в горницу. Они вышли из кухни и поднялись по лестнице и, пройдя длинной верандой, вошли в большую комнату. У входа в горницу Заира скинула галоши, в которых она была, и осталась в шерстяных носках. Пока они шли из кухни, подымались на веранду, двигались по веранде, Сергей любовался ее длиннорукой фигурой, обтянутой шерстяной кофтой домашней вязки, ее светло-каштановой косой, болтающейся на спине, быстрым мельканьем ее ног в белых толстых шерстяных носках, ее легкой и в то же время торжественной походкой, словно она возглавляла какое-то шествие со светильником в руке.

Оставив Сергея в горнице, она вышла и снова пришла с охажкой дров в руках. Грохнула дровами у очага и снова вышла и принесла из кухни большую дымящуюся головешку. Сидя на корточках у очага, она раздувала огонь, время от времени поглядывая на Сергея, который сидел возле очага. Вдруг она бросила взгляд на его руку и, заметив кольцо, вспыхнула любопытством.

- Вы женаты?
- Нет, — сказал Сергей.
- У вас невеста! — выкрикнула она.
- Нет, — усмехнулся Сергей, — это просто так.
- Можно, я примерю, — сказала она, глядя на его кольцо.
- Пожалуйста, — сказал Сергей и снял кольцо, — это подарок матери.
- У вас мама умерла? — спросила она, и лицо ее сморщилось от жалости.
- Да нет, — ответил Сергей, — она жива.
- Жива, как хорошо, — сказала она, и лицо ее расцвело.
- Она примерила кольцо на несколько пальцев, и Сергей любовался ее большой ладонью, вылепом длинных пальцев. Лапастая рука породистого щенка, подумал Сергей.
- Красивое, — сказала она, не без сожаления возвращая ему кольцо, вернее, сама пытаясь продеть в кольцо его палец. Прикосновение ее пальцев было ужасно приятно, и Сергей замер, вместе с тем поражаясь ее необыкновенной смелости.
- В очаге гудел огонь, и блики пламени озаряли ее живое, сейчас глубоко задумавшееся лицо. Из курятника, откуда извлекали птиц, обреченных на заклятие, доносился гомон разбуженных кур.
- Такие, как вы, — вдруг сказала она, словно не обращаясь к нему, а отвечая своим мыслям, — на сельских не женятся.
- Почему? — спросил он, опять удивляясь ее необыкновенной смелости.
- Я же знаю, — сказала она, пожимая плечами.

Она смотрела на него строгим взглядом, ожидая, что он скажет в оправдание, и готовая выслушать его оправдание, хотя чувствовалось, что этот вопрос она хорошо обдумала и оправдаться будет не просто. В это время на веранде раздались шаги и голос ее деда. Она продолжала на него смотреть тем же взглядом, словно готовая и вероятно, действительно готовая продолжать этот немыслимый разговор при дедушке и старшем брате. Поняв, что Сергей не будет сейчас с ней продолжать этот разговор, она легко поднялась с корточек и прикрутила фитиль в лампе, стоявшей на карнизе очага. Она здесь царит, подумал Сергей, и она никого не боится.

Потом было долгое застолье у горящего очага, и она весь вечер разливала вино и подавала к столу всякую еду. И Сергей все время чувствовал ее присутствие и, пока не охмелел, украдкой поглядывал на нее, а охмелев, стал и более пристально смотреть на нее, что было замечено застольцами.

— Сдается мне, — сказал старик, — что Заира сглазила нашего гостя.

Все рассмеялись, а Заира, подойдя к деду, со смехом обняла его сзади и поцеловала в голову. И стало понятно, что суровый старик обожает свою внучку.

Поздно ночью Сергей вышел из-за стола и спустился во двор. Двор белел от только что выпавшего снега, воздух был свеж, но было совсем не холодно. Голова кружилась, из дому доносился приглушенный шум затянувшегося застолья, и он

думал об этой странной девушке, светящееся лицо которой он весь вечер чувствовал над собой. Поднявшись на веранду, он заметил у дверей ее маленькие галоши и с непонятым умилением долго смотрел на них. Тайный праздник души, подумал Сергей о своем состоянии и вошел в комнату.

Потом соседи, вызванные к застолью, разошлись по домам, и все стали укладываться спать. Заира предложила Сергею вымыть ноги, но Сергей отказался. Она постелила ему постель, взбила подушку, то и дело поглядывая на Сергея, как бы подтрунивая над его опьянением, а на самом деле, чувствуя его состояние, радостно одобряла его.

Заира ушла в другую комнату. Сергей разделся и лег, чувствуя лицом жар все еще раскаленного очага, чувствуя тихое покачивание комнаты, слыша сдержанные голоса женщин, и среди них голос Заиры, угадывая ее легкие быстрые шаги. Потом он услышал, как она вошла в его комнату, что-то взяла со стола и вышла на веранду, и он услышал повизгивание подбежавшей собаки и понял, что она кормит ее остатками ужина. Потом он услышал голос деда из кухни, зовущий Заиру. Она надела галоши и спустилась на кухню, и через некоторое время дверь в кухне открылась, и Сергей услышал звук шлепнувшей воды и понял, что дед мыл ноги. Потом опять раздались ее шаги на веранде, и она, сняв галоши, открыла дверь, мягко и быстро ступая по полу, прошла его комнату, вошла в другую, о чем-то тихо разговаривая с женщинами, и разговор постепенно укорачивался, паузы между отдельными фразами делались дольше, потом ему показалось, что он

услышал, а может, и в самом деле услышал, что она дует в лампу, и он сам погрузился в сладкий глубокий сон.

Утром он проснулся поздно и, проснувшись, почувствовал, что в доме никого нет. Голова была совершенно ясная, и он подумал, вот что значит хорошее деревенское вино. Он встал с кровати и теперь заметил, что его небрежно скинутые брюки, выглаженные, висят на спинке стула, а туфли, тщательно отмытые от деревенской грязи, стоят у кровати. Он понял, что это она, и вспомнил вчерашнее ощущение тайного праздника, и оно восстановилось, хотя и не с такой силой. Не слишком ли я вчера глазел на нее, подумал он с некоторым стыдом и, одевшись, вышел на веранду.

Шел мокрый снег, и на дворе, там, где снег протаял, зеленела трава. Умывальник висел на веранде, и Сергей умылся пахнущей дождем деревенской водой. Никого не было видно. Он вытер лицо свежим полотенцем, висевшим тут же, и спустился в кухню.

Заира, склонившись у очага, придвигала к огню глиняный горшок с фасолью.

— С добрым утром, — сказала она, — зачем встали? Спали бы еще.

Сергей не мог понять, смеется она над ним или говорит всерьез. Было уже начало одиннадцатого.

— Спасибо, я и так переспал, — сказал Сергей и присел к огню.

— Сейчас я дам вам позавтракать, — сказала она и стала накрывать на стол. — Сварить свежей мамалыги? — спросила она.

— Ради Бога, не надо, — отвечал Сергей, чувствуя, что при виде девушки проникается своим вчерашним состоянием.

Она нарезала ему хлеба, вчерашней мамалыги, поставила тарелку с сыром, тарелку с курицей в ореховой подливе и бутылку с вином. Он выпил стакан холодного вина и приступил к курице. Ему стало хорошо.

Она стояла перед ним, спрятав руки за фартук, все такая же свежая, с лицом, слегка разгоряченным возней у очага. Пожалуй, она может продолжить и вчерашний разговор, подумал он.

— А то оставайтесь до обеда, — сказала она, — пообедаете с братом, а потом поедете.

— Нет, — сказал он, — надо ехать.

— Ждет кто-нибудь? — спросила она.

— Нет, — сказал он, невольно улыбаясь ее любопытству, — дела... Послушай, а я не слишком глазел на тебя вчера?

— Да нет! Что вы! — воскликнула она и, взметнув руки из-под фартука, махнула ими. — Дедушка совсем не обиделся, он все понимает.

Другие и в расчет не берутся, подумал Сергей и, налив себе еще один стакан вина, выпил его. Ему стало совсем хорошо.

— А знаете что, — вдруг сказала она, и руки ее под фартуком задвигались, — я вам напишу письмо... Можно?

— Конечно, — сказал Сергей, слегка опешив.



— И вы мне будете отвечать? — Руки ее так и двигались под фартуком.

— Обязательно, — сказал Сергей и, налив себе третий стакан вина, выпил.

Она побежала в горницу и принесла карандаш и ученическую тетрадь. Все-таки это удивительная девушка, подумал Сергей, когда она уселась напротив него.

— Я тут переписывалась в прошлом году с одним геологом, — сказала она вдруг, — они лагерем стояли недалеко от нас. Так он мне перестал отвечать.

— Что же случилось? — сказал Сергей, не понимая, зачем она ему это рассказывает.

— Не знаю, — ответила она задумчиво, — или погиб, или женился.

— Это одно и то же, — сказал Сергей.

— Как?! Как?! — воскликнула она. — По-вашему, жениться — это значит погибнуть?

— Бывает, — сказал Сергей, любуясь ее необычайно ожившим лицом.

— Ну вы даете! — расхохоталась она и упала лицом на тетрадь. — Послушайте, — вдруг она подняла лицо и посерьезнела, — да ведь с такими мыслями вы никогда не женитесь... Вы будете одиноким старцем...

— Ну это не обязательно, — сказал Сергей, улыбаясь ее определению и ей самой.

— Да! Да! — повторила она голосом вещуньи. — И вы умрете одиноким старцем!

Сергей посмотрел на нее и сказал ей глазами, что, пока существуют такие девушки, как она, ему не грозит стать одиноким старцем. И он почувствовал, что она поняла его взгляд. Она вспыхнула от удовольствия и сделала непередаваемое движение головой, похожее на попытку отстраниться от поцелуя, в то же время провоцирующее этот поцелуй. Сергею даже показалось, что она при этом мурлыкнула что-то. Так они поговорили некоторое время, а потом она записала большими буквами его адрес в свою тетрадку. Сергей надел пальто, и она его провожала до ворот, мелькая легкими и быстрыми ногами в белых шерстяных носках, чуть поеживаясь от прохлады, потому что вышла прямо в кофте, ничего не накинув на себя.

Посреди двора они встретились с ее дедом, несшим на плече несколько вязанок кукурузной соломы. На голове старика поверх шапки-ушанки была нахлобучена старая фетровая шляпа, неизвестно каким образом попавшая к нему. Шумя кукурузной соломой, старик остановился и, прощаясь с Сергеем, попросил его достать ему порошков от кашля и прислать их ему через своего городского племянника, которого Сергей хорошо знал, что выяснилось еще вечером во время застолья. Сергей обещал прислать старику порошки от кашля, и они дошли до ворот, и он попрощался с Заирой и пошел в сторону сельсовета. Сделав десяток шагов, Сергей оглянулся и увидел Заиру, стоящую на улице и загоняющую во двор собаку, успевшую выскочить, пока Сергей выходил из ворот. Словно почувствовав его взгляд, она посмотрела в его сторону, и Сергей махнул ей рукой, и она взметнула руку в ответ

и несколько секунд смотрела на него сквозь пелену снега, а потом, как показалось Сергею, неохотно пошла во двор.

Через некоторое время Сергей и в самом деле получил письмо от Заиры с вложенной в него фотокарточкой и с просьбой прислать ей свою. Сергей читал и перечитывал эти милые каракули с подробным описанием событий домашней и сельской жизни и не знал, как быть.

Писать ей такое письмо, какое можно писать понравившейся девушке, он не мог. Во-первых, он знал, что письмо, отправленное в деревню, читает каждый, кому не лень, начиная от почтаря и кончая случайным односельчанином, которому могут передать письмо, чтобы тот его отдал адресату. Во-вторых, он встретил ее двоюродного брата и, передавая ему таблетки от кашля для деда, сказал ему, что получил письмо от Заиры. Он этого мог бы ему не говорить, но сказал из прищущей ему преувеличенной боязни какого-либо коварства в отношениях с людьми. И он заметил, как ее двоюродный брат мгновенно переменился в лице, когда узнал о письме от Заиры, как отразился на его лице страх за честь рода и как он постепенно успокоился, когда Сергей ему объяснил, что письмо ничего личного в себе не содержит.

И Сергей послал ей ответ, выдержанный в шутивно-дружеском тоне, такой ответ, который мог бы прочесть любой ее родственник и односельчанин и не нашел бы в нем ничего предосудительного. Хотя в душе его жило очарование от той встречи, он не был уверен в себе и боялся ее подтолкнуть на любовное сумасбродство. Он даже фотокарточку ей по-

слал такую, где был снят не один, а со своей племянницей, как бы затушевывая интимный смысл подарка, словно, выходя на эту заочную встречу с ней, взял с собой свидетельницу, которая не давала бы им оставаться один на один. И так ее домашние должны были понять эту фотографию, если бы она им попала в руки. Кстати, присланная ею фотокарточка оказалась ужасной, она никак не передавала особенность ее лица, бесконечно пульсирующего сигналами души.

Через некоторое время переписка их заглохла по вине Сергея. Он пришел к выводу, что все это ни к чему не приведет, и перестал ей писать, и, возможно, думал он иногда, она решила, что он женился или умер.

Через год ее двоюродный брат женился и пригласил его на свадьбу, которую он устроил в деревне, в доме у своего отца. Это была та же деревня Анхара. Он приехал на свадьбу и сначала в огромной толпе, стоявшей во дворе и теснившейся в комнатах в ожидании свадебного ужина, ее не заметил и решил, что она или заболела, или уехала куда-то учиться, но вдруг из стайки девушек, стоявших возле кухни, выскочила какая-то девушка и подбежала к нему, и он ее узнал только когда она при всем честном народе бросилась к нему и поцеловала его. Она схватила его за руку и повела знакомить со своими подружками, и он был радостно ошеломлен ее порывом, ее бесконечной необъяснимой смелостью, с которой она, держа его под руку, провела сквозь толпу, и те, кто видел их, могли решить, что он близкий друг дома или родственник, потому что с точки зрения патриархальных крестьян, собрав-

шихся здесь, такое поведение сочли бы чистым безумием. Потом их разъединили, рассадили по разным местам, но она успела ему шепнуть, что заберет его спать к себе домой.

Они сидели далеко друг от друга под навесом огромного свадебного шатра из плащ-палатки, и он издали посматривал на нее, и чем больше пил, тем пристальней, а она, ничуть не смущаясь, отвечала на его взгляд лучезарной, ни от кого не скрываемой улыбкой.

Потом он втянулся в дурацкое состязание соседей, и много очень выпил, и выпил бы еще больше, если бы к утру она не пошла к нему и почти силой, не стесняясь крепкими выражениями, вырвала его из окружения пьяниц и не повела домой.

Они шли лесной тропой, и клочья тумана висели на деревьях, цеплялись за кустарники, белели на лесных лужайках, на одной из которых совсем близко от тропы паслись спутанные лошади, и он, не догадываясь, что они стреножены, не мог понять, почему они такими дикими прыжками ушли в сторону и сгнули в тумане. Он несколько раз останавливался в пути, чтобы унять головокружение, и, ощущая приливы нежности, притягивал ее к себе, и она не сопротивлялась его поцелуям, но и не отдавалась им, а терпеливо переждала эти приливы нежности, как старшая младшего, и продолжала ласково и неуклонно вести его домой.

Дома она ввела его в горницу, зажгла лампу и стала помогать ему раздеваться, говоря, что она всегда раздевает брата, когда он бывает пьяным, но он все-таки разделся сам и лег на ту же кровать, на которой когда-то лежал.

Она куда-то вышла, и пришла в комнату с тазиком в руках, и поставила его на полу в изголовье, и сказала, чтобы он не стеснялся, если ему будет плохо и его начнет рвать.

— Слушай, а где все? — сквозь головокружение, собравшись с мыслями, удивился он, что в доме никого не видно и не слышно.

— Как где? На свадьбе, — сказала она, усмехнувшись.

Он снова удивился ее необыкновенной смелости, и ему пришло в голову, что она самая замечательная девушка на свете, что она самая великая девушка из всех, которых он видел, что только он один, наконец, понял это, и ему захотелось все это ей объяснить, но голова так кружилась и так его мутило, что он, соразмерив свои желания со своими возможностями, понял, что ему сейчас не поднять этой темы. Он только поймал ее руку и положил себе на голову ее ладонь. И она стала гладить его лоб, и он, благодарно прислушиваясь к ее ладони, провалился в глубокую качающуюся тьму пьяного сна.

На следующий день Сергей проснулся с тяжелой головой и, стыдясь своего вчерашнего опьянения, все-таки помнил, что особых глупостей не натворил, и радовался этому. Тазик, слава Богу, сухой, все еще стоял у изголовья. Он вышел на веранду и стал умываться. День был солнечный, и уже было довольно жарко. Из кухни доносились голоса людей, и, судя по этим голосам, там продолжалось праздничное застолье, отпочковавшееся от свадьбы.

Умывшись, Сергей решил промяться и пошел по зеленому дворику, поглаживая прыгавшую вокруг него собачонку.

— Ау, засоня, — вдруг услышал он голос Заиры откуда-то сверху.

Сергей оглядел деревья, росшие вдоль плетня приусадебного участка, и увидел на вершине большой ольхи выглядывающее сквозь зелень листвы улыбающееся лицо Заиры. Лицо, озаренное солнцем, сияло и покачивалось вместе с веткой, на которой она стояла.

— Что ты там делаешь? — крикнул Сергей.

— Рву вам свежий виноград, — отвечала она. На ольховом дереве, как и на всех прочих, вилась виноградная лоза. Черные водопады спелой «изабеллы» свисали с веток.

— Смотри не упади, — сказал Сергей.

— Я не упаду, я привыкшая, — отвечала она и, притянув к себе виноградную плеть, стала срывать с нее кисти. — Ловите!

Она бросила ему кисть, и он, мгновенно ожив, поймал просверкнувшую на солнце тяжелую гроздь. Часть ягод разбилась о его ладони, но кисть была большая, и на ней было много сочных, пахучих виноградин. Она ему несколько раз кидала грозди, и он видел сквозь зеленую листву ее радостное, просвеченное солнцем лицо, и вспоминал свое пьяное желание объяснить ей, какая она необыкновенная девушка, и жалел, что все-таки не сказал ей тогда об этом, и знал, что сейчас не сможет ей этого сказать, потому что если тогда был слишком пьян для этого, то сейчас слишком трезв.

Потом она ловко слезла с дерева, держа в одной руке небольшую корзину винограда, и, передав ее ему, встала на плетень и спрыгнула во двор. Она взяла у него корзину и пошла

вместе с ним на кухню, легко и быстро перебирая своими загорелыми босыми ногами.

Немного поев и не соглашаясь с уговорами застольцев остаться с ними, он распрощался со всеми, и опять Заира пошла провожать его до калитки, хотя сильно обиделась на него за то, что он отказался брать с собой в город виноград. Она хотела, чтобы он угостил этим виноградом свою маму, а он никак не мог ей объяснить, что матери его мало радости от этого винограда, а ему неохота возиться с ним долгуя дорогу.

Сделав десяток шагов, он и на этот раз оглянулся, но, видно, собачка на этот раз не выбежала на улицу, ее не было ни на улице, ни у ворот. Он подумал, что она обиделась за виноград, а может, дело в том, что он должен был и не сказал тех слов, которые ночью во время пьяного прозренья нахлынули на него?

Примерно через год он узнал, что Заира вышла замуж, верней, тайно убежала из дому с каким-то деревенским парнем. Ее двоюродный брат, сообщивший ему об этом, был очень недоволен и сказал, что она вышла замуж за бездельника, деревенского пижона. Сергей, узнав об этом, ничего не почувствовал, кроме легкой печали. Дай Бог, чтобы она была счастлива, подумал он. Но, видно, она не была счастлива, и он узнал, что через полгода она бросила своего мужа и вернулась домой.

Однажды они в городе столкнулись лицом к лицу. Она шла со своим двоюродным братом. Увидев его, она вспыхнула, даже как бы рванулась броситься ему на грудь и в следующее мгновение, словно вспомнив все, что с ней случилось, погасла и, поздоро-



вавшись виновато, нет, скорее обреченно, опустила глаза. Сергей был потрясен этой вспышкой и этим печальным отрезвлением, и он хотел ей сказать, что она ни в чем не виновата, что если кто-нибудь в чем-то виноват, то только он. Но он ничего не сказал, а только пригласил их в кафе и, выбрав удобное мгновение, когда брат ее пошел мыть руки, спросил ее, почему она ушла от мужа.

— Он оказался грубым, — сказала она тихо и снова опустила голову.

Бог знает, что скрывалось за этими словами. Потом Сергей уехал в Москву, в аспирантуру Института общественных наук, и там получил еще одно письмо от нее, в котором она, рассказывая о своей деревенской жизни, почему-то описала лунную ночь, и Сергей понял глубокий смысл этого наивного, бедного описания, и смысл этот заключался в ее одиночестве, в ощущении бессмысленно уходящей жизни и страстной мечте о любви. В конце она ему желала большого счастья и обещала всегда, везде и всю жизнь любить его, как брата. Письмо почему-то было написано красными чернилами, — видимо, других не нашлось в доме.

Потом Сергей узнал, что она вышла замуж за какого-то учителя и тот увез ее в свою глухую деревушку на границе между Абхазией и Мингрелией и там они живут.

Через год, летом, приехав в Мухус, он встретился с ее двоюродным братом, и тот сказал, что у Заиры родился ребенок, и предложил поехать в их деревушку и навестить ее.

Они приехали туда и очень тепло и гостеприимно были встречены Заирой и ее мужем. Это был высокий, горбоносый, кротогрудый человек с выражением тайной непреклонности

на лице. В этой мингрельской деревне жили два десятка абхазских семейств, и он в собственном доме устроил школу для абхазских ребятишек и был директором и единственным учителем этой школы.

Сергею показалось, что Заира снова ожила и теперь вполне счастлива, занятая мужем, ребенком, хозяйством.

— А ты что ж не женишься? — спросила она у него, пеленая ребенка и укладывая его в люльку. Впервые она с ним перешла на «ты», словно, взяв с ребенком, держа его и повертывая в своих больших ладонях, она сравнялась с ним в возрасте и даже стала чуть-чуть старше его.

— Да не знаю, — сказал Сергей, и в самом деле не умея объяснить, почему он не женат.

— Я же говорила, — напомнила она, — умрешь одиноким старцем, если будешь много выбирать.

Она продолжала пеленать ребенка, повертывая его в своих больших, ловких ладонях, и сейчас Сергею показалось, что она демонстрирует своего ребенка, показывает его здоровую полноценность и намекает, что такой же ребенок мог быть у него, да вот он не захотел. Во всяком случае, Сергею так показалось.

Интересно, любит ли он ее, думал Сергей о муже Заиры, и если любит, то как? Ему когда-то казалось, что такой девушке нужна особенная, всепоглощающая, ураганная любовь, а вот она живет с человеком, который, кажется, целиком занят делами своей школы, и как будто бы все у них в порядке.

К вечеру муж Заиры, звали его Валико, пригнал свою лошадь с луга, на ночь он собирался поехать на мельницу. Въез-

жая на неоседланной лошади во двор, он в воротах встретился с Заирой, которая, подметая двор, выносила из него мусор. То ли думая, что гости поглощены игрой в нарды, то ли вообще забыв о них, Валико шутливо стал теснить на лошади свою жену, не давая ей пройти в ворота, то и дело наезжая на нее лошадью и оттесняя ее от ворот и не давая ей пройти стороной. И столько было иносказательной ласки в этом наезжании лошадью и столько было нежного стеснения в ее защищающемся жесте, в ее отворачивающемся, зардевшемся лице, что Сергей невольно опустил глаза, словно видел такое, что не рассчитано на посторонний глаз.

И сейчас, вспоминая ту последнюю встречу и вспоминая ту свою давнюю неосуществившуюся любовь к ней, он неудержимо захотел увидеть ее снова, и не только увидеть, а как бы молча показать другим тайные сокровища своей души.

Жена давно просила его свезти в деревню, и он решил теперь ехать туда вместе с женой, ребенком, Василием Марковичем и Зурабом.

Все охотно приняли его предложение, и через день они, взяв билеты, сидели в скверике перед аэродромом, дожидаясь самолета, регулярно летавшего в эту далекую деревню.

По скверику прогуливались большие черно-пятнистые свиньи с длинными рылами. Пока они разговаривали в ожидании самолета, одна из свиней, изловчившись, схватила зубами сумку, рядом с которой сидела жена Сергея, и поволокла ее прочь.

— Сумка! — закричала жена Сергея, всплеснув руками. — Свинья!

Свинья волокла сумку, держа ее за ручку в зубах. Сергей погнался за ней, и она бежала от него с наглым упорством, продолжая держать в зубах сумку. Сергей схватил большой камень и швырнул в свинью. Не попал. Не бросая сумку, свинья продолжала бежать от него рысцой. Сергей схватил другой камень и, догоняя свинью, сумел хрястнуть ее этим камнем по спине. Тут свинья неохотно бросила сумку и убежала. В сумке лежала буханка белого хлеба — Сергей знал, что это редкость для далекой деревни, живущей на мамалыге и чуреке, — несколько бутылок коньяка и три плитки шоколада, по числу детей Заиры. Он знал, что у нее сейчас трое детей. К счастью, ничего не пострадало.

Возвращаясь с сумкой к остальным, Сергей подумал, что это символическая сцена. Она означает, что сначала свинство чуть было не победило его, но потом ему удалось победить свинство и вернуть свои ценности.

Когда самолет взлетел и полетел к востоку, Сергей взял за руку девочку и пошел с ней в кабину летчика, откуда открывался широкий кругозор на лежащие внизу дремучие леса Колхиды, словно покрытые кудрявой шерстью, на ближайшие отроги гор и далекую гряду Главного Кавказского хребта со снегами на вершинах. Между ближайшими отрогами и грядой Главного Кавказского хребта Сергей увидел знакомые с детства оголенные каменистые обрывы над его родным селом Чегемом, где он в детстве жил каждое лето.

— Вон видишь, — показал он дочке на каменистые обрывы, — там село Чегем... Там родилась твоя бабушка... Это наша родина...

Сергей сам заволновался, увидев место, где было расположено дедушкино село, но он не мог не заметить, что на девочку его слова не произвели никакого впечатления. Еще бы! Она там никогда не бывала, и Москва была единственным местом, которое она понимала как родину.

Внизу проплывали сиреневые, темно-синие, иногда с желтизной лесные массивы, и смотреть на них было приятно и сказочно.

Перед посадкой самолета, когда Сергей с дочкой вернулись на свое место, оказалось, что жену его укачало. Василий Маркович с соблезнующим видом держал перед ней санитарный пакет, но до рвоты дело, кажется, не дошло. Бледная, она посмотрела на Сергея взглядом, полным укоризны, и тихо сказала:

— Ты развлекаешься, а мне плохо...

Чувствуя некоторую неловкость, Сергей сел рядом, жена его согбенно свесила голову, и ему было жалко ее, хотя поза ее показалась ему слегка театрализованной.

Самолет пошел на посадку, нырнул между двумя небольшими горами, вынырнул над поляной, сделал круг, и Сергей успел заметить, что с поляны сгоняют коров. Самолет сел, подпрыгивая и вздрагивая на неровностях аэродрома.

Вместе с пассажирами они вышли на сельскую улицу, на которой бродили черно-пятнистые свиньи, точно такие же, каких они видели на мухусском аэродроме. Казалось, свиней этих перевозили на самолетах — не то оттуда сюда, не то наоборот.

— Па, па, а это что?! — спросила дочка, увидев в небольшом водоеме несколько буйволиных рогатых голов, торчавших из во-

ды. Видны были только могучие, рогатые головы и хвосты, время от времени появляющиеся над водой и шлепающие по ней.

— Это буйволы, — сказал Сергей.

Девочка, остановившись, некоторое время наблюдала за животными: могучие черные челюсти, жующие жвачку, и хвосты, время от времени появляющиеся над водой и блаженно шлепающие по ней.

— Па, а это что? — спросила дочка, показывая на змеистые головки, торчавшие над водой.

— А это обыкновенные черепахи, — сказал Сергей.

Наконец они подошли к дому Валико. Сквозь штакетник перед ними сиял зеленый дворик с инжировым деревом посредине. Возле колодца стояла молодая женщина и прямо из колодезного ведра поила водой маленькую, примерно двухлетнюю девочку.

Волна нежности пронзила Сергея, это была она — Заира. Они уже вошли во двор, когда выскочившая из кухни собачонка залаяла и бросилась к ним. Заира подняла голову, узнала Сергея, мгновенно просияла, тут же застыдилась, что она поит девочку прямо из колодезного ведра, шлепнула водой на траву, бросила ведро и подбежала к ним. Она с налету поцеловала Сергея, угадав, что Лара его жена, поцеловала ее, быстро обернувшись к Сергею, вся просияв, показала ему большой палец в знак восхищения его выбором, поцеловала девочку и пожалала руки остальным.

— А где Валико? — спросил Сергей.

— У него уроки, — кивнула она в сторону горницы и, махнув рукой, добавила: — Я могу дать сейчас звонок.

— Не надо, — рассмеялся Сергей.

Они направились в сторону кухни. Из кухни вышла пожилая, очень чистая, миловидная женщина. Это была мать Валико. По абхазскому обычаю она всех расцеловала и пригласила заходить в дом.

— Мы здесь, во дворе, посидим, — сказал Сергей, и Заира рванулась в кухню за скамейками. Подошли еще двое детей — мальчик лет восьми и девочка чуть помладше. Сергей вынул из сумки три плитки шоколада и угостил детей. Они тут же стали разрывать упаковку и грызть шоколад.

Время от времени раздавался тревожный звук какого-то колокольца. Сергей обернулся и увидел рыжего ястреба, сидевшего на планке, прибитой к инжировому дереву. К ноге ястреба был привязан металлический колокольчик. Он так и полыхал круглыми, яростными золотыми глазами.

— Валико охотится с ястребом? — спросил Сергей.

— Иногда по утрам, — ответила Заира и снова просияла неизвестно чему.

— Дай-ка звонок, Заира, — сказала ей свекровь, — что же гости будут сидеть без хозяина.

Заира рванулась было, но Сергей остановил ее.

— Не надо, я сам схожу к нему, — сказал он и поднялся на веранду. Догадавшись по шуму, в какой комнате занимаются дети, он открыл одну из двух дверей.

За партами сидело человек пятнадцать детишек самого разного возраста. Увидев его, они вскочили на ноги. Одна девочка стояла у доски и решала задачу.

— О! — воскликнул Валико после некоторой паузы, не сразу узнав Сергея.

Он встал из-за стола, подошел к Сергею и обнял его.

— Какими судьбами? — спросил он.

— Отдыхали на Оранжевом мысе, — сказал Сергей, оглядывая его высокую фигуру и горбоносое лицо, — решили навестить тебя.

— Молодец! — сказал Валико, и видно было, что он и в самом деле рад гостю.

— Я посижу у тебя на уроке, — сказал Сергей.

— Пожалуйста, если не скучно, — не без горделивости улыбнувшись, сказал Валико. Он кивнул на последнюю парту и сказал: — Зиночка, подвинься.

Девочка, одна сидевшая на последней парте, покраснела и отодвинулась к стенке. Сергей прошел между партами и сел рядом с ней.

— Так как узнать, насколько второй катер шел быстрее первого? — обратился он к девочке, стоявшей у доски. Девочка потупилась.

— Подумай, — спокойно сказал ей Валико и кивнул одному из мальчиков, сидевшему впереди Сергея: — А ты, Тимур, расскажи нам, какие полезные ископаемые имеются на Урале.



Чувствовалось, что Валико занят своим обычным делом и уже забыл о том, что в классе сидит посторонний человек. Мальчик встал и начал бодро перечислять полезные ископаемые Урала.

— Какие тут классы? — шепотом спросил Сергей у девочки, сидевшей рядом.

— Четвертый, пятый, шестой, — шепотом ответила ему девочка и опять покраснела.

— Ну как? — спросил Валико у девочки, решавшей задачу, когда мальчик, перечислявший полезные ископаемые Урала, исчерпав их, сел на место.

— Надо от скорости второго катера отнять скорость первого, — неуверенно сказала девочка.

— Правильно, — согласился Валико, — отнимай и думай, что делать дальше.

Девочка стала писать на доске решение, и мел в ее ободренной ручонке крошился.

— Так, — сказал Валико и окинул класс орлиным взглядом. — Вот ты, Махаз, расскажешь нам про походы Александра Македонского.

Мальчик с последней парты встал и начал рассказывать про походы Александра Македонского. Девочка, отнимавшая скорость второго катера от скорости первого, остановилась на этом, явно не зная, что делать дальше, и невольно заслушалась походами Александра Македонского.

Валико, заметив это, прервал походы и велел девочке, стоявшей у доски, заниматься своим делом. Когда рассказ о походах Александра Македонского был закончен, девочка у до-

ски приступила к следующему действию, а Валико попросил другую девочку прочитать наизусть стихотворение Пушкина «Зимнее утро». Смешно акцентируя слова, девочка стала читать по-русски стихотворение, и тут прозвенел звонок.

Ребята высыпали во двор. Часть из них столпилась у колодца, другие бегали или смотрели на ястреба, который не сводил с них своих яростных, круглых глаз. Девочки чинно гуляли по двору. Валико подошел к гостям и поздоровался со всеми.

— У меня еще один урок, — сказал он, — предлагаю мужчинам взять ружья и пойти на болото... Здесь за домом... Может, утки попадутся...

Он зашел на кухню и через несколько минут вышел оттуда с двумя ружьями и двумя патронташами. Зураб протянул первым руку и взял двустволку, Сергею досталось одноствольное ружье. Василию Марковичу ничего не досталось, но он не проявил по этому поводу никакого сожаления.

Мужчины вместе с женой и дочкой Сергея пошли на болото. Шли тропинкой через приусадебный участок, где росла уже спелая кукуруза, кое-где увитая плетями фасоли. Грузные тыквы лежали на земле среди лопоухих листьев. Сойка, сидевшая на кукурузном початке и клевавшая его, услышав их шаги, слетела с початка и с гортанным криком полетела куда-то.

Они перешагнули через перелаз и пошли тропинкой по полю, на котором паслось стадо буйволов, вымазанных в еще свежую грязь.

— Где-то здесь болото, — сказал Зураб, показывая на буйволов. Они прошли еще метров двести по полю, а потом залез-

ли в ольшаник, а оттуда вышли к болоту, одна сторона которого густо обросла камышом. Вязкий, глинистый берег был изрезан следами буйволов.

Они обошли болото, но нигде никаких уток не было видно. Противоположная сторона его была непроходимо заколочена зарослями ежевики. Ежевичные кисти с черными сверкающими ягодами дразнили глаза.

Охотничий азарт явно спал, ежевика была спелая, и все принялись есть ее, и Сергей помогал себе ружьем пригибать ежевичные ветки. Он вдруг заметил, что Василий Маркович, набрав полную горсть ежевики, угощает его жену. Сергей почувствовал, словно его упрекнули в недостатке внимания к собственной семье. Какого черта, подумал он, здесь полно ежевики, и каждый может сам набрать, сколько ему надо.

Только он это подумал, как увидел, что с противоположного берега болотца из камышей вылетели две утки и, панически трепыхая крыльями, стали резко набирать высоту. Они летели в их сторону.

— Утки! — крикнул Сергей и выскочил из кустов. С необыкновенным проворством следом за ним выскочил Зураб, и не успел Сергей опомниться, как утки были над их головами на высоте хорошего дерева. Зураб вскинул ружье вертикально над собой и выстрелил. Одна из уток штопором полетела вниз, а другая отлетела в сторону, и тут Сергей, опомнившись, приложился и выстрелил, и утка словно споткнулась в воздухе. Тут раздался второй выстрел Зураба, и утка скрылась за деревьями.

— Есть, — крикнул Зураб, — я и вторую сбил!

Сергею стало ужасно обидно. Он ясно видел, как утка после его выстрела словно споткнулась в воздухе и пошла вниз, а после второго выстрела ничего в ее полете-падении (было неясно что) не изменилось. Но Сергей не стал ничего говорить, потому что как-то неловко было защищать свой выстрел, и вообще было неясно, сбита вторая утка или нет. К тому же Зураб так красиво убил первую утку, что это делало основательными его претензии на вторую. Первая утка упала у самых его ног, он поднял ее, и они пошли искать вторую утку, если она вообще упала.

Чтобы не было обидно, Сергей тайно надеялся, что вторая утка улетела. Но через несколько минут ее нашла его дочь в кустах орешника. Она была еще живая.

— Я же сказал, что я ее сбил, — сказал Зураб, и теперь Сергею, когда он первый раз не оспорил Зураба, оспаривать его, когда утка нашлась, было еще неудобней, хотя обида комом стояла в горле. И главное, никто с ним не спорил, хотя все должны были видеть, что утка споткнулась в воздухе именно после выстрела Сергея, а после выстрела Зураба ничего в ее падении не изменилось. Но все были так заморожены его первым выстрелом, что не могли не поверить в точность его второго выстрела. Должно быть, он и сам был в этом уверен.

Соображения эти никак не смягчили обиды Сергея, он, наоборот, еще сильнее себя растравил, вспомнив, что и уток он первым заметил, и не заметь он их, вообще бы ничего не было, и двустволку Зураб первым схватил, хотя мог бы и подождать, когда ему дадут то ружье, которое сочтут нужным.

— Ну что, охотники? — спросила Заира, когда они вошли во двор. — О, утки!

— Я убил, — сказал Зураб, горделиво вручая молодой хозяйке обеих уток.

И сейчас Сергею стало нестерпимо обидно, что он присвоил себе вторую утку.

— Вторую, по-моему, я убил, — выдавил из себя Сергей, с трудом глотая ком обиды.

— Ну что ты, — сказал Зураб, и красивое лицо его выразило сдержанное возмущение, — я же видел, что после моего выстрела она упала.

Всем своим взглядом, выражающим сдержанное возмущение, он говорил: как тебе не стыдно, ты уже давно признал, что я убил и вторую утку, а теперь, увидев хозяйку, стараешься понравиться ей за мой счет.

— Ладно, оба молодцы, — сказала Заира, сдувая налет взаимной неприязни, и, приняв у Зураба обеих уток, отнесла их на кухню. Сергей взял оба ружья и оба патронташа в руки и пошел на кухню вслед за нею.

Дети возились у очага. Двое старших, девочка и мальчик, жарили кукурузу, а самая маленькая стояла возле них и, вся измазанная шоколадом, доедала свою плитку. Сергей подумал, что для малышки это слишком большая порция шоколада, но не стал ничего говорить. Заира подала ему шахматы и нарды, чтобы они не скучали в тени инжира. Сергей вышел во двор. За шахматы сразу же засели Василий Маркович и Зураб, а Сергей подошел к ястребу, любуясь его рыжим опе-

реньем, крючковатым клювом и, особенно, пронзительной живости яростными глазами.

Из кухни вышла мать Валико и зазвенела в звонок. Из класса гурьбой выбегали мальчишки и девочки. Дети выходили из калитки, на ходу крича по-русски: «До свиданья!» При этом они громко смеялись, видимо, их смешил их собственный выговор.

В тени инжира появился Валико. Он с минуту, наклонив горбоносое лицо, уяснял, что происходит на шахматной доске, и, уяснив, зычно крикнул в сторону кухни:

— Как вы там с обедом? Решили голодом уморить гостей?!

— Еще чуть-чуть подождите, — выскочила Заира из кухни, — курицы вот-вот поспеют...

— Пошли на рыбалку, — сказал Валико Сергею, — а они тут пусть играют в шахматы.

Он взял сетку-накидку, усеянную с одной стороны свинцовыми кругляками. Сетка висела на плетне. Они вышли на улицу, прошли метров пятьдесят и свернули на тропу, ведущую вниз к горной реке.

Подойдя к речке, Валико разулся, снял рубашку и брюки и, обнажив сильные незагорелые ноги, полез в воду, одной рукой держа сетку, а другой придерживая ее. Зайдя по пояс в воду, он медленно, боком развернулся и отшвырнул от себя сетку, так что она распахнулась на лету и всей шириной шлепнулась в воду. Когда она погрузилась в воду, он ухватился за веревочную дужку и потянул вверх. Свинцовые грузила

внизу сомкнулись, образовав мешок, из которого хлестала вода. Но рыбы на этот раз не оказалось.

Сергей с любопытством следил, как Валико ловит рыбу. Он впервые видел такой вид лова. После второго и третьего заброса в сетке застряло по нескольку форелей, и Валико, сунув руку, доставал из нее запутавшуюся форель, крупную бросал на берег, а мелкую отпускал в воду. Через полчаса около дюжины крупных форелей барахтались на прибрежном песке. Сергей тоже разделся и остался в одних трусах.

— Дай попробую, — сказал он, следя за мерными сильными движениями Валико. Сергей смотрел на его сильную, круглую фигуру и горбоносое лицо и думал, что в нем есть что-то от религиозных миссионеров. Тайная непреклонность, что ли...

Сергей вошел в воду, стараясь не споткнуться о скользкие камни. Он подошел к Валико и взял у него из рук тяжелую сеть. Валико вышел из воды и сел на берегу.

Сергей почувствовал, что, кажется, напрасно взялся за это дело. Сеть была очень тяжелой, а ноги неустойчиво стояли на скользких камнях дна. Да и течение приходилось преодолевать. Все-таки он развернулся боком, как это делал Валико, и, размахнувшись, бросил сеть. Но он не соразмерил силу броска с собственной устойчивостью, и тяжелая сеть потянула его за собой. Сергей бултыхнулся в воду. На берегу раздался добродушный смех миссионера.

Сергей встал на дно и, задыхаясь от ярости, вытащил сеть, из которой хлестала вода. Дождавшись, когда из нее вылилась вся вода, он размахнулся, стараясь соразмерить силу броска

с силой устойчивости, и, соразмерив, выбросил сеть, и она шлепнулась у самых его ног. Он дождался, когда она пошла на дно, и стал подымать ее за веревочную дужку и почувствовал, как тяжело она подымается. Вытащив ее над водой, он убедился, что ни одна форелина не запуталась в сетке. Так он несколько раз забрасывал сеть, каждый раз рискуя полететь вслед за нею, и наконец, поймав пару форелин, сильно замерзнув в ледяной воде, вышел на берег.

Валико снова вошел в воду и с выражением тайной непреклонности стал забрасывать свою сеть в самую середину быстрого потока. Сергей вышел на берег, выжал трусы, надел их и сидел на камне, просыхая на горячем солнце и блаженно отдыхая после утомительных упражнений с сеткой.

Валико поймал еще с десяток форелей, и они, положив добычу в сетку, возвратились домой.

— Ну как вы там?! — крикнул он со двора в кухню.

— Вас только ждали, — отвечала Заира, с миской выходя им навстречу. Она переложила форель в миску, а Валико подошел к плетню и развесил на нем сетку.

Через несколько минут все поднялись на веранду, где стоял стол, уставленный жареными разрезанными курами, блюдом с ореховой подливой, другим блюдом, побольше, с салатом из помидоров, огурцов и перца, дымящимися порциями мамалыги, тарелкой с сыром сулугуни, другой тарелкой, нагруженной брусками меда в сотах, вазами, наполненными чурчхелами, фруктами, мелкими орехами. Бутылки с вином и привезенным коньяком высились над этим обилием наполненных блюд и тарелок.



— Садитесь, дорогие гости, — улыбаясь, сказала Заира, — а то мы вас совсем голодом заморили.

Гости расселись, и, как Сергей ни упрашивал Заиру сесть за стол, она осталась стоять на ногах и, может быть в знак доброй привязанности к Сергею, стояла за его стулом. Сергей чувствовал ее за спиной, и чувство это было ему необыкновенно приятно.

Заира, время от времени наклоняясь к жене Сергея, продолжала с ней какой-то разговор, начатый еще до застолья. Сергей силился угадать, о чем они говорят, но это было сделать невозможно, слишком тихо они говорили. Только по живому полыхающему лицу Заиры Сергей чувствовал, что разговор этот ее очень занимает.

— О, как в первый день! — вдруг сказала она, выпрямляясь, и Сергей понял, о чем они говорили. Во всяком случае, понял смысл ее последнего восклицания. Она говорила, что муж ее до сих пор любит, как в первый день.

Он подумал о том большом, что стояло за ее словами, об ее упоенности жизнью, о нескончаемой свежести самой ее жизни и подумал, как собственная его жизнь бедна в этом смысле.

Тень безотчетной грусти прошла по его душе, и он подумал: она от природы была щедро, как никто, наделена даром любить, и этот дар распахивался навстречу всему окружающему: брату, дедушке, собачке, неведомому геологу, ему, Сергею, тому деревенскому пижону и, наконец, навсегда распахнул ее теперешнему мужу.

Чем он ее заслужил, думал Сергей, поглядывая на Валико, чье горбоносое лицо сейчас, казалось, обращало свое выраже-

ние тайной непреклонности на алкоголь, которому он явно решил не поддаваться. Видно, заслужил, без зависти, но с некоторой грустью подумал он.

А застолье шло своим чередом, гости пили, ели, произносили тосты, и постепенно все хмелели, и Сергей вместе со всеми. Закусывая и выпивая, смеясь шуткам и отвечая на вопросы, Сергей все время чувствовал, что она здесь, стоит за его спиной, или убирает со стола тарелки, или подает на стол, или уходит на кухню, и тогда он ждал ее прихода, а главное, чувствовал, что она вблизи, и это чувство было нежным, умиротворяющим.

Он смотрел на свою хорошенькую жену, на возбужденного Василия Марковича, старавшегося ухаживать за ней и развлекать ее; на Зураба, сильно побледневшего от выпивки и ставшего от этого еще красивей, он был увлечен самим процессом выпивки, его состязательным смыслом; на хозяина, как бы непреклонно высовывавшего голову над волнами алкоголя, не дающего затуманить им трезвую ясность своего горбоносого лица.

Сергей почувствовал, что сейчас в душе его нет ни неприязни к жене, ни обиды на Василия Марковича, ни ревности к Зурабу. Все было освещено ровным умиротворяющим светом, струящимся из-за его спины, где стояла Заира. Каждый из них такой, думал он, какой он есть, и зачем надрываться и искать в людях того, чего им не дано природой. Ну да, думал он, глядя на Василия Марковича, оживленно что-то рассказывавшего его жене, конечно, он нравственно туповат, но зато какое неукротимое умственное любопытство. Вот он физик, но ни одной моей статьи не пропустил, хотя, казалось бы, что ему древняя история...

И, словно подтверждая его мысли, Василий Маркович, поймав рассеянный взгляд Сергея, сказал ему:

— Слушай, я все забываю спросить у тебя... Вот ты в статье о Калигуле пишешь: победа — истина негодяев... Справедливо ли такое уничтожающее отношение к победе?

— Я не против победы, — отвечал Сергей, — победа может быть истиной, если побеждает истина, но победа может быть и ложью, если побеждает ложь.

— Ах, вот как ты поворачиваешь, — сказал Василий Маркович и в знак согласия кивнул головой. Одновременно с этим он подложил салат в тарелку жены Сергея, показывая, что умственные отвлечения не мешают ему быть внимательным соседом по столу.

Поздно ночью Сергей встал из-за стола. За ним встали его жена и Василий Маркович. Зураб, пытаясь перепить хозяина, отказывался встать из-за стола. Заира быстрыми и широкими движениями стелила постель, и Сергей вспомнил ту давнюю, далекую зимнюю ночь, когда он у них гостил первый раз и она ему первый раз стелила постель. Целая жизнь, подумал он, прошла с тех пор, целое счастье.

Вдруг к нему подошел Валико и, словно отпуская ему грех покидающего застолье, притянул его к себе и поцеловал его, а потом долгим взглядом оглянул его и снова поцеловал. И Сергею опять показалось, что он опять непреклонно подымает лицо, не дает окунуть его в окружающие его волны хмеля, и этим непреклонно не поддающимся хмелю лицом он, показалось Сергею, дал знать ему, что он все знает о его отношениях с Заирой.

На миг Сергей сильно смутился, так ясно это было написано на лице Валико, но в следующее мгновение Сергей подумал, что никогда не имел нечистых помыслов ни к девушке Заире, ни к теперешней его жене, и он прямо посмотрел ему в глаза, и, словно Валико все это понял и прочел на его лице, он притянул его к себе и поцеловал третий раз.

На следующий день они улетели в Мухус, а еще через день Сергей с женой и ребенком уезжал в Москву, а Зураб и Василий Маркович провожали их. Они стояли в вестибюле гостиницы в ожидании автобуса, который должен был отвезти их на аэродром. Девочка держала в руках дорогую куклу — нелепый, как считал Сергей, подарок Зураба. Сам Зураб, молчаливый, мрачно-романтичный, стоял рядом. В отличие от него Василий Маркович суетился. Он перепроверил адрес и телефон, переспросил, когда удобней им звонить, если он окажется в командировке в Москве, смотрел то на Сергея, то на его жену и, любя Сергея, как бы сердился на него за то, что Сергей уезжает, а он от него чего-то недобрал.

Сергей чувствовал и некоторую театральность романтической меланхолии Зураба и комическую сущность претензий Василия Марковича, но все это сейчас не раздражало и не злило его, а бесследно растворялось в душе, как растворяются мелкие неудачи дня в свете большого, тихо угасающего летнего вечера. Этим летним вечером была его встреча с Заирой. И душа его все еще была заполнена очарованием этого большого угасающего летнего вечера.

\* \* \*

Весь день с небольшими перерывами лил холодный и унылый дождь. Перерывы между дождями были бессильны изменить погоду и потому были заполнены ожиданием дождя и были еще более унылы, чем сам дождь.

Для середины сентября это было слишком. В конце концов, возможно, и наверху, там, где делают погоду, это поняли, и ближе к вечеру вдруг распогодилось, выглянуло солнце и мокрые, озябшие деревья, казалось, с удовольствием греются и даже как бы торопятся в предвиденье близкого вечера.

Сергей тоже заторопился. Целый день он слонялся между библиотекой, столовой и комнатой своего общежития, не зная, что делать. Все это было расположено в одном здании и, может быть, поэтому особенно надоело. В столовой надоел ви-негрет, в читальне парниковое тепло, излучаемое засидевшимися студентами, в комнате общежития надоела невозможность отъединиться от остальных, от вечно включенного радио, от вечной игры в шахматы, курения и трепотни ребят.

Особенно Сергею надоела читалка, из которой он почти неделю не вылезал. Дело в том, что несколько дней назад, когда он вышел из читалки покурить, а потом вернулся на свое место, он нашел в своем раскрытом томе Светония записку. Это была крошечная полоска бумаги, вырезанная из ученической тетради. Тончайшим острием карандаша, красивым наклонным почерком на ней было выведено три слова:

*Я вас люблю.*

Сергей задохнулся от прилива благодарности. Потом он испугался, что это розыгрыш, и быстро посмотрел вокруг себя. Нет, за ним как будто никто не следил. Неужели розыгрыш? Сердце ему подсказывало, что этого не может быть. Сами эти тончайшие линии букв, как бы готовые улечуться от робости, как бы написанные еле слышным шепотом, говорили ему о своей подлинности.

Он спрятал записку и сидел в читальне почти до закрытия, ожидая, что девушка, написавшая ее, как-нибудь даст о себе знать. Но девушка не давала о себе знать, и он терялся в мучительных догадках. Он приглядывался к студенткам, сидевшим в читальном зале, и многие, казалось ему, делают вид, что читают книгу, а на самом деле сидят стыдливо потупившись. Все же ему хватило здравого смысла догадаться, что из-за одной записки столько девушек не могут сидеть стыдливо потупившись.

Он стал хитрить, делая вид, что углубился в чтение, а потом внезапно поднимал голову, чтобы поймать на себе тайный взгляд. Но ловить было нечего, никто на него не смотрел.

Несколько дней, входя в читальный зал или выходя из него, сдавая книги или беря их в библиотеке, он бросал на некоторых девушек (сам того не замечая, он выбирал тех, кто был поприятней) поощрительно-разоблачительные взгляды, как бы говоря, что дальше таиться бессмысленно. Но и это не помогало. Те, что были поприятней, удивленно на него смотрели или отворачивались, а одна даже спросила:

— Вы что-то хотели сказать?

— Нет, — ответил Сергей, понимая, что Та не так заговорила бы с ним.

В конце концов, устав от этих бесплодных ожиданий, он снова подумал о розыгрыше, хотя в глубине души не верил, что это розыгрыш. Записку он носил в карманчике кошелька. Иногда на лекции, нащупав ее пальцами, он трогал ее, и это доставляло ему приятные минуты. Сегодня он ушел из читальни, решительно сказав себе, что, если она в самом деле его любит, она должна дать о себе знать, а не издеваться над ним.

Сергей надел выходные брюки, переложил в них кошелек с шестью рублями, которые он, по его расчетам, мог и потратить в случае крайней надобности. Мимходом, перекладывая кошелек, он заглянул в кармашек с запиской и даже сказал про себя: «Ну и лежи там...»

Он это сказал, отчасти извиняясь за то, что собирается погулять, отчасти показывая, что сердится и, может, потому собирается погулять.

После этого он надел черный шерстяной свитер, надел плащ, еще вполне приличный, и, хотя в кармане плаща не нашел своего шарфа, несколько не огорчившись этим обстоятельством, зная, что кто-то из ребят его надел, выскочил из здания института. Несколько воровато оглянувшись у выхода, он бодро зашагал по еще мокрому тротуару.

Сергей был студентом третьего курса исторического факультета одного из московских вузов. Сергей не любил особенно уточнять название своего вуза ввиду его некоторой не-solidности и даже, как он думал, невзрачности, будь оно про-

клято, это название. И когда дело доходило до необходимости все-таки назвать свой вуз, он делал это неохотно и даже мрачно, словно чувствуя, что прикладной оттенок в названии его вуза бросает неверный свет на его, Сергея, более глубокую духовную сущность.

Впрочем, сейчас никто не собирался уточнять название его вуза, и он, нырнув в метро, поехал в центр, одинокий, пылкий, полный жгучего ожидания встречи с чудесной девушкой, с которой он, взявшись за руки, будет идти и идти всю жизнь.

Но сначала они, то есть Сергей и эта девушка, об этом не будут ничего знать. Они не будут ничего знать о том, что созданы друг для друга. Сначала будет легкое, ни к чему не обязывающее знакомство, это потом, гораздо позже, после бурного романа, они поймут, что друг без друга не могут жить. Сергею казалось слишком тяжеловесным, слишком топорным сразу понять и оценить всю глубину и тонкость ее души. Сначала он согласен был увлечься ее милым обликом, а потом, через достаточно большое время, оценить и все остальное.

Уже в вагоне метро он заметил у дальних дверей девушку, которая привлекла его внимание. Он почувствовал волнение: неужели она? Но он мог ошибиться. А главное, так сразу он и не надеялся встретить ее. «Но, с другой стороны, — подумал он, — почему сразу, ведь я ее ищу всю жизнь».

Он пробрался сквозь вагон, стараясь делать вид, что ищет свободное место, и, подойдя довольно близко к двери, где она стояла, начал украдкой приглядываться к ней.



Девушка и в самом деле была хороша: необычайно приподнятый разрез глаз, тяжелые нежные веки и весь ее акварельный облик, меняющийся, пульсирующий, может быть от подземного ветра, который овеивал ее лицо и шевелил ее свободно распущенные волосы.

Сергей проехал одну, две, три, четыре остановки, все время любуясь девушкой, любуясь ее задумчивым нежно-неуловимым обликом. Потом он заметил, что напротив него стоит солдат и тоже не сводит глаз с этой девушки, а потом заметил еще одного парня, который следил за Сергеем и за девушкой. Во всяком случае, когда Сергей посмотрел на него, тот ответил ему понимающим взглядом, что Сергею очень не понравилось, и он отвернулся от него, показывая, что нет и не может быть предмета их общего понимания.

Девушка все стояла у дверей в глубокой задумчивости, а люди входили и выходили из вагона, и многие на нее оглядывались, а она никого, в том числе, кажется, и Сергея, не замечала.

Сергей подумал, что в вагонах метро иногда встречаются очень милovidные девушки, и они, как правило, если вагон не переполнен, стоят у дверей, словно им надо выходить на следующей остановке. На самом деле, по наблюдениям Сергея, им не надо выходить, но они нарочно так стоят, потому что так их лучше видно со всех сторон. А может, они этой своей уходящей позой намекают окружающим, что надо быть смелей, иначе девушка уйдет, исчезнет, не вечно же она будет стоять в дверях.

Вдруг девушка повернула голову к окну, и Сергей одновременно увидел ее профиль и фас уже из глубины темного

бегущего омота вагонного стекла, и лицо ее теперь смотрело на Сергея оттуда внимательно и печально.

Сейчас Сергей одновременно видел и ее профиль, который, казалось, принадлежит совсем другой девушке, гораздо более старшей, а главное, он был несколько уродлив из-за неестественной, словно после какого-то перелома, горбинки посредине носа. Странная, грубая воинственность профиля и печальная нежность лица, словно спрашивающая из глубины окна, можно ли ее любить такую, сильно смутили Сергея, и он ничего не мог ответить на ее вопрос из глубины оконного стекла. А может, она и не смотрела на него, может, это все ему только показалось?

Девушка вышла на одну остановку раньше Сергея. Взволнованный ее противоречивым обликом, Сергей вышел на площади Маяковского, перешел перекресток и двинулся вниз по улице Горького. Может быть, человек, который полюбит ее потом, со временем привыкнет к ее профилю и не будет замечать его уродства? Может быть... может быть... — думал Сергей, шагая по улице, и постепенно образ этой странной девушки уходил все дальше и дальше.

В этот еще предвечерний субботний час на улице Горького уже было много праздничных людей: девушек, молодых женщин, командированных с тяжелыми портфелями, бредущих по улице и внезапно по-бычьему оборачивающихся на особенно вызывающе одетых женщин, каких-то бледных юнцов с порочными глазами, каких-то франтоватых пожилых людей, иногда смутно напоминающих своим обликом знаменитых артистов, устремляющих на женщин взгляд, полный хамской, как думал

Сергей и как, скорее всего, было на самом деле, уверенности в правоте своих вожделений. Одним словом, это была праздничная толпа, в которую Сергей любил время от времени окуна́ться, она его взбадривала, как хорошая легкая музыка.

Иногда ему казалось странным, что он так любит праздничную толпу и так не любит, во всяком случае чувствует какую-то неприятную враждебность, исходящую от толпы на стадионе, во время пожара или какого-нибудь уличного происшествия.

В такой толпе у него всегда возникало ощущение опасности. Казалось, она, эта толпа, готова расправиться с Сергеем, но, смутно ощущая его как чуждую ей, не растворившуюся в ее организме, раздражающую песчинку, все еще не может из-за огромности и примитивной неточности своих щупалец вытащить его из себя и расправиться с ним.

Думая об этом много раз, Сергей пришел к выводу, что любит толпу праздную и не любит толпу, охваченную единой страстью. Что-то всегда мешало ему полностью слиться с ней, и, даже подхваченный ее потоком, он ни на минуту не забывал высунуть из нее голову для собственного дыхания и собственного взгляда на окружающую жизнь. И чем яростней бывал поток, подхвативший его, тем лихорадочней, словно боясь задохнуться, он высовывал из него голову для собственного дыхания и собственной оценки окружающего мира.

Может быть, это был инстинкт сохранения личности, но Сергей так далеко не заглядывал. Он просто чувствовал это, иногда огорчаясь за свою неспособность полностью слиться с толпой, иногда радуясь этому, но чувствовал всегда.

Сейчас он проходил сквозь праздничную толпу, глаза на нее и получая от этого истинное удовольствие. Несмотря на терпеливое ожидание девушки, которую он должен встретить раз и навсегда, а может быть, отчасти благодаря терпеливости своего ожидания, он замечал и многих других девушек, и любоваться ими тоже было приятно.

Большинство из них, по его представлениям, не тянули на исполнительницу Главной роли его мечты, но вполне могли быть рядом с ней на каких-то второстепенных, но милых ролях, хотя бы радуя глаз, как они радовали его сейчас.

Иные из них замечали Сергея, и по чуть задержавшемуся взгляду, по едва заметному замедлению походки он понимал, что тут есть какой-то шанс познакомиться с девушкой, но он не делал попытки, хотя и чувствовал благодарность за это мимолетное внимание. Нет, нет, я, к сожалению, занят ожиданием Той, как бы говорил он им вслед, с нежной жадностью замечая в каждой из них то лучшее, что он успевал уловить: быстрые стройные ноги, живые глаза или потрясающую своей незащищенностью шею, тянущуюся из-под легкого газового шарфика.

Иногда навстречу ему шли парочки хорошо одетых, красивых молодых людей. Иные из них были ненамного старше Сергея, а то и не старше его. Но как они были одеты, как держались, какое выражение хозяйской чувственной успокоенности было на лицах этих молодых людей! С какой трогательной покорностью прижимались к ним их очаровательные девушки!

И тем более ошарашивало Сергея, когда иная из этих газелей, проходя мимо него и, как он потом осознавал, точно рас-

считав расстояние, когда его, Сергея, остолбенение не может быть замечено ее молодым человеком, скашивала на Сергея глаза, обдавая его жаром такой чувственной откровенности, что Сергей, сделав еще несколько шагов, невольно останавливался.

Ух ты! Сергей выдыхал из себя застрявший в легких воздух и, оглянувшись, видел уже теряющуюся в толпе высокую породистую фигуру молодого человека и застенчиво прижавшуюся к нему хрупкую девушку и на миг приходил в смятение — да она ли это только что взглянула на него?!

Приходилось признать, что она, и Сергей с некоторой долей жалости провожал глазами гордую спину ее уверенного в себе спутника.

Так развиваются мускулы иронии.

Однажды Сергею показалось, что он нашел именно ту девушку, которую искал всю жизнь. Она сидела в кафе с подружкой и со своим молодым человеком, которого Сергей не сразу заметил, потому что тот надолго отходил к столику своих приятелей.

Сергею очень понравилась вялая яркость этой девушки, ее порывистая живость и бессильные угасания, переходящие в согбенность под тяжестью собственной грации.

Она склоняла свою скандинавскую головку с васильковыми цветками глаз то на плечо, то на руку, и когда Сергей ее пригласил потанцевать, она встала и, как бы боясь переломиться, почти прислонилась к нему.

Трудно даже представить, до чего Сергею понравилось быть ее подпоркой! Они некоторое время танцевали, как это принято

было тогда, не сходя с места. Она покачивалась возле него с выражением некоторой слабогрудой согбенности, а потом подняла на него свои уже и вовсе согбенные цветки глаз и, согбенно улыбаясь, кивнула на одного из танцующих парней:

— Правда, красивый?

Сергей посмотрел и ничего особенного не заметил: парень как парень. Улыбаясь, она дала знать Сергею, что этот молодой человек ее хороший приятель.

Она еще несколько раз танцевала с Сергеем, а парень этот довольно добродушно поглядывал на них, а потом нашел какого-то своего приятеля, и тот купил две бутылки шампанского, коробку конфет, и они, подхватив обеих девушек, покинули кафе. В дверях она улыбнулась и послала Сергею ободряющую улыбку, насколько ободряющей может быть улыбка Девушки, уходящей с другим.

Недели две Сергей не мог забыть этой девушки, и она ему всюду мерещилась, и он наконец ее встретил на одной из центральных улиц не очень далеко от того кафе, где встретил ее в первый раз. Она шла с подружкой, уже другой, и, оживленно склоняясь в ее сторону, что-то рассказывала ей. Сергей догнал их и осмелился подойти.

Увидев его, она обрадовалась, опять же насколько позволяла ей вернувшаяся к ней согбенность, и опять смотрела на Сергея согбенными цветками глаз, опять улыбалась ему своей слабогрудой улыбкой, и Сергей, ликуя, шел рядом, и ликование его было так велико, что он даже не заметил, как подруга ее куда-то исчезла, а они, взяв билеты, вошли в «Стереокино».

Стереokino — не знаем, как в нынешние времена, — а в те годы надо было смотреть, поймав некую точку, наиболее благоприятную для наиболее ясного и выпуклого видения того, что происходит на экране.

Если не поймать этой точки, изображение бывало хуже, то есть гораздо хуже, чем в обычном кино. Поэтому, как только зажигался экран, все начинали искать свою точку наиболее выпуклого изображения. Некоторые — по-видимому, это зависело от характера человека — довольно быстро находили ее и, найдя, уже до конца фильма замирали на месте, чтобы не упустить ее.

Другие, наоборот, до конца фильма вертели головой, никак не находя своей точки, то есть, конечно, они находили ее, но их угнетало отсутствие доказательства, что та точка, которая ими найдена, и есть самая лучшая их точка. По-видимому, им казалось, что существует целое созвездие фокусных точек для каждого зрителя, и они сомневались, что поймали самую яркую звезду этого созвездия. Думая, что другим больше повезло, они нервно озирались, присматривались к позам более удачливых, как они думали, соседей и тяжкими вздохами, ерзаньем, шорохом одежды отчасти намекали на свое более бедственное по сравнению с соседями положение, отчасти протестовали против такого возмутительного распределения фокусирующих точек.

Сергей не уловил мгновения, когда, может быть в поисках лучшим образом фокусирующей точки, он склонился к ней, возможно, тут имела место очаровательная провокация ее согбенной в его сторону головки, но он сначала сладко ожегся щекой о ее щеку, а потом, чувствуя, что она не выпрямляет

свою согбенную головку, словно боясь потерять найденную точку, словно углубившись в происходящее на экране, он полупоцеловал, полуприжимался губами к ее щеке, и ощущение было изумительное и тянулось долго-долго, и вдруг она жарко шепнула ему в щеку:

— Давайте уйдем отсюда...

Они молча встали и начали выходить из ряда, а зрители, стараясь не потерять найденные точки, деревянно сопротивлялись их продвижению и упорно следили за экраном, где проплывали выпуклые, самоварные отражения плодов, цветущих ветвей, человеческих лиц.

Как только они вышли из кинотеатра, она вошла в ближайшую телефонную будку и стала звонить домой или подруге, как думал Сергей, стоя рядом с будкой, счастливый уже достигнутой близостью и полный предчувствия еще более волнующих минут.

Потом Сергей провожал ее, и они шли патриархальными переулками Арбата, и Сергей пользовался каждой возможностью, чтобы поцеловать ее, а эти старинные изогнутые переулки таили в себе множество таких возможностей, и Сергей, целуя ее, испытывал благодарность и к этим переулкам, и она не сопротивлялась его поцелуям, а, наоборот, с какой-то особенной слабогрудой покорностью прижималась к нему и пахла шерстью своей кофточки, зябким теплокровием своего слабого тела и еще чем-то, что Сергей мог определить как вечную женственность и что было на самом деле запахом чистого белья и чистой молодой кожи.



Наконец они вошли в какой-то двор, где стоял очень обшарпанный трехэтажный дом, и когда они вошли в подъезд этого дома, восторг Сергея разразился золотым дождем самых разнообразных поцелуев, среди которых не будет лишним отметить томно-медлительные, мимолетно-дружеские, когда она слегка отстранялась, риторически-пылкие, если она начинала сердиться, и тогда они, эти риторически-пылкие, пытались отрицать слишком чувственный смысл рассердивших ее поцелуев и намекали на какой-то другой, чуть ли не гражданственный смысл этих прикосновений, а потом снова прорывались слишком горячие, а за ними следовали тихие, просящие прощения за более грубые и жаркие, а на самом деле эти тихие и были самые нескромные, ибо несли в себе коварную сладость обольщения.

Так простояли они с полчаса, вернее, не стояли, а постепенно двигались вверх, на третий этаж, и она уже у самых дверей умоляла его уйти, а он все не уходил, и она наконец нажала кнопку звонка, чего он не ожидал, и, когда за дверью в конце коридора раздались шаги, она его оттолкнула, чего он уже и вовсе не ожидал, с непонятной, учитывая ее согбенный образ, силой.

Он понял, что надо уходить, и в самом деле начал спускаться, но, оглянувшись с лестницы, увидел, что она проскользнула в дверь как-то боком, но не придал этому никакого значения. Он был полон ошеломляющего чуда этого вечера и, добравшись до общежития, уснул как убитый.

На следующий день он ей позвонил, но телефон, который она ему дала, правда, неохотно и с оговорками, что она с родителями скоро уезжает в Швецию (ах, вот откуда образ

скандинавской головки!), где родители ее работают в торговле, так вот, этот телефон оказался ложным.

Удрученно вспоминая этот вечер, Сергей понял, что своими робкими прикосновениями в кино он вызвал в ней прилив любовного томления и она бросилась звонить, чтобы встретиться со своим возлюбленным. Теперь, вспоминая, как она говорила по телефону, как она хмурилась, и согбенно прижималась к трубке, и потом решительно бросила ее, Сергей озвучил ее последние слова, которые, как он думал, она произнесла перед тем, как бросить трубку:

— Я к тебе приеду!

Все было так или почти так. Теперь Сергей понимал, что эта девушка не могла жить в таком паршивом доме, и теперь он догадывался, почему она так странно проскользнула в дверь: она не хотела, чтобы этот парень увидел Сергея и чтобы Сергей увидел этого парня. Впрочем, последнее было не обязательно.

Итак, Сергей вынужден был признать, что сыграл во всей этой истории весьма незавидную роль. Правда, эта история способствовала дальнейшему развитию мускулов иронии, если, конечно, такое развитие может приносить какую-нибудь пользу.

Вот что приключилось с Сергеем в прошлом году, когда он, как и теперь, посвящал свободное время неустанным поискам своей избранницы. Надо сказать, что любовное увлечение Сергея лжечахоточной очаровашкой через неделю улетучилось, и он полностью возвратил себе право, и это чувство возвращенного права было написано у него на лице, хотя следует

отметить, что на право это никто не претендовал, тем не менее он чувствовал себя человеком, получившим полное право заново искать исполнительницу Главной роли своей мечты.

Поравнявшись с Центральным телеграфом, Сергей решил войти туда, хотя ни звонить, ни получать письма до востребования, ни посылать их никому не собирался.

Дождавшись зеленого света, он стал переходить улицу и в толпе, которая шла навстречу, вдруг увидел девушку в красном пальто и в красной шапочке, с лицом, нежно розовеющим под защитой этого сильного цвета.

Девушка эта так приглянулась Сергею, что он растерялся, тем более что заметил ее посреди улицы и она шла навстречу. Ему сейчас же захотелось оставить толпу, с которой он шел, и присоединиться к толпе, которая шла навстречу.

Но он этого не сделал именно потому, что ему очень хотелось это сделать. Ему показалось, что все сразу поймут, что он покинул свою толпу и втерся в чужую только для того, чтобы быть поближе к этой девушке.

Мгновение было упущено, и он двинулся дальше вместе со своей опостылевшей толпой, которая, кстати, не подозревала о его колебаниях и, можно ручаться, сама без всякого сожаления отпустила бы его на все четыре стороны, отпросись он у нее, и даже послала бы его куда подальше за то, что он пристаёт к ней со всякими дурацкими вопросами. Толпа, которой он не решился изменить, причалив к берегу тротуара, мгновенно раскрошилась и растаяла, что было почему-то обидно ввиду некоторой жертвы, которую Сергей ей принес.

Он оглянулся на ту сторону и увидел девушку в красном пальто, которая, перейдя улицу, еще несколько секунд мелькала в толпе, а потом тоже исчезла.

Сергей тяжело вздохнул. Его комическая боязнь изменить толпе, с которой он переходил улицу, была не случайна. У Сергея было сильно развито чутье на всякое предательство, и он его видел там, где оно если и было, то в таких безвредных дозах, какие обычно даже не замечают.

Так, в общезитии, если, бывало, кто-нибудь из студентов на глазах у других отводил его в сторону и начинал секретничать, Сергей про себя страшно смущался и злился на товарища за его неуместные тайны. В таких случаях он раздраженными восклицаниями давал знать остальным, что в сущности никакой стоящей тайны нет и он не понимает, зачем с ним шепчутся.

Бывало, если он в компании друзей направлялся в гости к знакомым девушкам, или в ресторан, что хотя и редко, но бывало, или просто в кино, и если по дороге встречался парень, нежелательный в этой компании, и Сергея предупреждали, чтобы он не говорил ему, куда они идут, Сергей испытывал мучительное желание все-таки сказать, куда они идут, и тут же выпаливал, если этот парень все-таки спрашивал. В глубине души Сергей был уверен, что сам вопрос этого несчастного парня телепатически внушен его, Сергея, неодолимой склонностью рассекречиваться. Уж лучше бы его не предупреждали. Так уж он был устроен, и, видно, с этим ничего нельзя было поделать. На студенческих вечеринках, если он начинал танцевать с какой-нибудь девушкой и, протанцевав

два-три танца, замечал другую, которая казалась ему намного интересней, и он уже хотел к ней подойти, — то не мог, потому что его сковывало невыносимое чувство предательства.

И оттого, что он хотел отойти к другой и не отходил, он терял настроение, мрачнел и в конце концов смертельно надоедал этой девушке, которой сначала чем-то понравился, а потом оказался таким занудой.

Дело кончалось тем, что девушка, с которой он танцевал, куда-нибудь исчезала или просто давала ему отставку.

...У входа в Центральный телеграф небольшими стайками стояли кавказские студенты. Некоторые из них просто глазе-ли на толпу, некоторые ждали своего товарища, получающего из дому денежный перевод, чтобы отправиться вместе с ним в ближайшую закусочную, а то и в ресторан «Арагви», а некоторым, возможно, доставляло удовольствие находиться вблизи от междугородной линии, соединяющей если не их самих, то их друзей с родным югом, по которому они сильно скучали, особенно в первый год учебы.

Сергей вошел в здание телеграфа, свернул налево и вошел в маленькое помещение, где были расположены два десятка телефонных будок городской сети.

Как всегда, здесь толпилось много молодых людей. Сергей не поленился протиснуться сквозь эту довольно густую, учитывая размеры помещения, толпу, тайно всматриваясь в девушек, а наружно делая вид, что он стремится к своей будке, где раньше якобы занял очередь. Сам чувствуя комизм своей деловитости, Сергей потолкался в очереди и вышел из поме-

щения, потому что ничего достойного внимания здесь не увидел.

Он вошел в зал для междугородных переговоров и увидел массу унылых, сидящих на стульях вдоль стен незнакомцев. Сергей подумал, что у людей, ждущих междугородных переговоров, всегда такой унылый, заспанный вид, словно разница во времени с городом, с которым они собираются говорить, действует на их самочувствие.

Впрочем, поправил себя Сергей, может быть, в маленьких странах у ожидающих междугородных переговоров более бодрый вид. Но Сергей никогда не был в маленьких странах, а был только в своей большой стране и поэтому совершенно не представлял, как выглядят в этих странах люди, ждущие междугородных переговоров.

Оглядев женскую часть ожидающих и поняв, что здесь не только нет девушки, способной быть исполнительницей Главной роли его мечты, но и на второстепенную едва ли найдется, Сергей покинул помещение и вошел в главный зал Центрального телеграфа.

В середине зала стояли столы, перегороденные барьерами, в которые были вмонтированы лампы дневного света. Под ними сидело множество людей, строчивших письма, телеграммы, открытки и заполнявших какие-то бланки. Сергей дошел до конца зала и уже хотел было совсем выйти из здания телеграфа, но вдруг заметил за последним столом несколько девичьих головок, склоненных не то над полученным письмом, не то над письмом, которое они готовились отправить.

Слегка кудрявящийся затылок одной из них вызвал в душе Сергея приятный отголосок, словно он его когда-то видел, словно какое-то воспоминание связывало его с ним, хотя он и понимал, что никогда не видел и не знал этой девушки.

Собственно, сколько их тут, подумал он с волнением и непонятно откуда появившейся робостью. Их было три, но они так живо вертели головами, так плотно склонялись к столу, что сначала ему показалось, что их гораздо больше. Сергей обошел зал и вышел к столику, стоявшему поодаль от того, за которым сидели девушки. Отсюда они были хорошо видны. Та, которую он заметил, сидела в середине, и когда он взглянул ей в лицо, она сразу же подняла голову и, продолжая смеяться, быстро и смело посмотрела на него, словно сразу же одним взглядом сказала: да, я все знаю, ты пришел посмотреть на меня и теперь видишь, какая я, и можешь делать какие угодно выводы. Все это в один миг она сказала ему своим быстрым взглядом продолговатых глаз, ярким смеющимся ртом, смуглым цыганистым лицом. И не только сказать это все, но в последнюю долю мгновения, чуть задержав взгляд, она успела поправиться, как бы смущенно добавить, что все-таки ей было бы приятней, если б он остался ею доволен.

Сергей невольно улыбнулся, показывая девушке, что он страшно доволен, что он просто счастлив видеть ее такой, какая она есть. Но в это мгновение девушка, сидевшая с краю, то есть ближе всех к Сергею, подняла глаза и, заметив его, догадалась, что он переглядывался с ее подружкой. Это была такая остроносенькая и остроглазенькая девушка, что Сергей тут же окрестил

ее Буратино. И вдруг Сергей, испугавшись, что весь внушительный заряд их веселья пойдет на него, вероятней всего именно этого испугавшись, сразу же нахмурился и сделал вид, что никакого интереса к этим девушкам проявлять не собирався.

Человек, сидевший с краю у столика, перед которым стоял Сергей, встал и, помахивая бланком телеграммы, чтобы подсушить чернила, пошел ее сдавать. И Сергей, сразу же уловив ложный, но правдоподобный ритм деловитости и подчиняясь ему, занял место этого человека, самой поспешностью своей как бы объясняя остроносенькой смысл своего появления рядом с ними. Краем глаза Сергей заметил, что Буратино отвела от него глаза и головы девушек сблизилась.

Сергей успокоился. Он подумал, что в каждой девичьей компании находится такая остроносенькая Буратино, которая берет на себя роль наставницы. И всегда она остроносенькая. В крайнем случае, если нет остроносенькой, кто-нибудь из остальных берет на себя эту роль и становится похожей на остроносенькую.

Букет склоненных головок взорвался сдержанным смехом. По-видимому, одна из девушек, а именно третья, которую Сергей видел только тогда, когда она склонялась к средней, писала какому-то воздыхателю письмо-розыгрыш.

Почему-то Сергей сразу же подумал, что все это ужасно мило, и человек, которому они пишут это коллективное письмо, не может быть оскорблен или, в крайнем случае, не заслуживает ничего другого за свои тяжеловесные приставания.

Тут он вспомнил о своей записке и подумал, что, может быть, и ее писали какие-то девушки, вот так же склоняя голо-



вы над посланием и так же взрываясь от смеха. Ну нет, подумал он, там было совсем другое, там была одна фраза, которую никто никогда не пишет коллективно. А если даже это так, подумал он, тем более оправданно, что мне хочется познаться с этой девушкой.

Перед Сергеем лежало несколько испорченных телеграфных бланков. Он придвинул к себе один из них, перевернул чистой стороной, взял ручку, макнул ее в чернильницу и, укрепив локти на столе, как бы окончательно укрепившись в законности своего пребывания здесь, снова поднял глаза.

Теперь девушка его сидела к нему в профиль. Он с умилением смотрел на ее коротенький носик, припухлую верхнюю губу, любясь ее несколько мальчишеским и от этого почему-то еще более женственным обликом. Сейчас это любование девушкой и умиление заполняли его душу каким-то отдаленно страшшим предчувствием счастья. Как-то вскользь, мимоходом, он попытался понять, почему это предчувствие счастья страшит, но не смог понять и больше не стал пытаться.

Она опять подняла голову, и взгляды их встретились. Лицо ее приняло выражение грустной нежности, словно она почувствовала, как ему понравилась, и была благодарна ему за это, и сама испугалась, почувствовав, как это все ответственно. И по выражению грустной нежности на ее лице он вдруг понял, что еще не осознанная ответственность за ее жизнь и придала его предчувствию счастья этот привкус страха.

В этот миг остроносенькая, которую Сергей уже про себя называл не иначе как Буратино, подняла голову, и на лице ее

было выражение человека, наконец-таки застукавшего преступника.

«Ах, значит, ты до этого меня обманул, что не смотришь на мою подругу, а только ждешь, когда освободится место?! Ах, значит, все это вранье, и ты еще смеешь нагло держать в руке ручку и выставлять перед собой какую-то дурацкую бумагу?!» — говорил ее негодующий взгляд.

Про себя страшно смутившись, Сергей взглянул на нее с тупым упрямством и налег на стол, показывая, что у него самые серьезные намерения заполнить этот лист бумаги.

Краем глаза он видел, что Буратино продолжает следить за ним. «Ну, давай, давай, пиши, я посмотрю», — говорил ее насмешливый взгляд, и Сергей с ужасом почувствовал, что ни одно слово не лезет ему в голову и он не может ничего написать.

Сергей решительно макнул ручку в чернильницу и снова склонился над своим перевернутым бланком. В голову, как назло, не лезло ни одно слово, вернее, все слова казались до того фальшивы, что он не осмеливался их написать, словно эта Буратино, как только он их напишет, выхватит у него бланк и зачитает его своим подругам.

Сергей поднял голову. Прямо перед его глазами на стене барьера, разделяющего столы, красовалась рекламная надпись. Он механически стал ее читать, ощущая какой-то странный коварно-вкрадчивый подтекст, который таился в простых словах текста и, главное, воспринимался как бы раньше его прямого смысла.

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЗНАТЬ, КОГДА И КОМУ ВРУЧЕНО ОТПРАВЛЕННОЕ ВАМИ ПОЧТОВОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ, ПОСЫЛАЙТЕ ЕГО С УВЕДОМЛЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ ПРОСТОЙ ПОЧТОЙ.

Странно, подумал Сергей, они так пишут, словно отправители писем разделяются на две категории людей, на тех, кого интересует, кому вручено их письмо, и тех, кого это не интересует.

Сергей стал переписывать эту надпись, и ему сразу стало легко. Теперь, переписывая, он весело расшифровывал то, что казалось коварно-вкрадчивым.

...посылайте его с уведомлением о вручении простой почтой... А мы именно на эти письма обратим особое внимание, думал Сергей, как бы доканчивая мысль автора этой рекламы.

Снова разлетелись три девичьи головки от взрывной волны сжатого смеха. Сергей теперь смело поднял глаза и увидел мимолетный взгляд остроносенькой и немного задержавшийся взгляд девушки, которая ему понравилась. Взгляд этот выражал и доброжелательное любопытство, и одновременную готовность замкнуться, если внимание Сергея грозит ей какой-то опасностью.

Ну конечно же, не грозит, сказал Сергей мысленно, продолжая смотреть на нее и испытывая нежную благодарность за этот ее задержавшийся чуть-чуть взгляд.

Но тут Буратино, спохватившись, снова подняла на него глаза, словно досадуя на то, что он все еще здесь расслаживается, все еще подглядывает за ее подружкой и еще имеет наглость делать вид, что что-то пишет.

«Вот и пишу», — тупо ответил Сергей своим взглядом и, снова решительно макнув перо в чернильницу, склонился над бумагой. Краем глаза он видел, что остроносенькая что-то сказала своей подруге, та, как показалось Сергею, еще ниже опустила голову, но в это время третья девушка, видно, придумала какую-то смешную фразу, и они опять сдержанно прыснули, и Сергею это дало право снова поднять голову, словно неуместный звук этого смеха отвлек его от глубоких раздумий над деловым письмом. Чтобы не смотреть прямо на девушек, он устремил взгляд мимо них и без труда прочел над одним из окошечек на той стороне зала:

ПРИЕМ ЦЕННЫХ БАНДЕРОЛЕЙ С МЕЛКОТОВАРНЫМ ВЛОЖЕНИЕМ.

На этот раз смех девушек вызвал недовольство женщины, сидевшей рядом с Сергеем. Она подняла голову и осуждающе посмотрела в сторону девушек. Она это делала уже несколько раз, но девушки не замечали ее. На этот раз она, достаточно бесцеремонно наклонившись к Сергею, выглядывала из-за столика, с гневным терпением дожидаясь, когда девушки посмотрят в ее сторону.

Сергею наклон этот ее очень не понравился, во-первых, потому, что она могла прочесть то, что он написал на своем перевернутом бланке, и принять его черт знает за кого, может за сумасшедшего. Но главное — этот агрессивный наклон в его сторону мог быть воспринят девушками как движение, выражающее единство взглядов с Сергеем по поводу поведения этих девушек. Этого Сергей никак не хотел.

Женщина уже написала целую кучу, по-видимому, ведомственных телеграмм и сейчас, прервав работу и наклонившись в сторону Сергея, ждала, когда девушки ее заметят. В ее маленьких глазках сиял огонек коммунального злорадства, какой, бывало, наблюдал Сергей у жительниц общих квартир, терпеливо ожидающих удобное время, чтобы высказать соседке свое законное недовольство.

Наконец обе девушки — и та, что нравилась Сергею, и Буратино — подняли головы, и женщина, поймав глазами их взгляды, сказала с ядовитым доброжелательством:

— Выйдите на улицу и смейтесь там...

Сергей в это время слегка откинулся назад, показывая девушкам, что он не только не разделяет мнение этой женщины, но и сам, оттиснутый ею, как видите, еле сидит на скамейке. По-видимому, поза Сергея и ядовитая доброжелательность в словах его соседки показались девушкам очень смешными, и они обе, беззвучно рассмеявшись, припали друг к другу, а третья, та, что писала, высунувшись, посмотрела на Сергея и, не поняв, почему подружки ее смеются, стала толкать ту, что нравилась Сергею, требуя от нее причитающуюся ей долю веселья.

Сергей осторожно покосился на соседку. Соседка, по-видимому расстроена девушками, испортила телеграфный бланк и отбросила его в сторону Сергея, из чего он понял, что и остальные бланки испорчены ею.

Она быстро заполнила новый бланк, сложила все заполненные, взяла в руки пресс-папье и вдруг, мелко поплевав

на стекло стола, стерла этим пресс-папье, как тряпкой, чернильные брызги.

Удивившись странности ее поведения, Сергей повернулся к девушкам, но их уже не было на месте. Он вскочил и направился к выходу, но, вспомнив, что забыл свою писанину, и почему-то не желая ее оставлять на столе, вернулся и, сунув ее в карман, бросился за девушками. Они уже выходили из дверей, и та, которая ему понравилась, оглянулась, увидела его и, как бы осмелев от расстояния, широко и приветливо улыбнулась ему.

Сергей вышел из телеграфа, дал девушкам перейти улицу и, увидев, что они пошли вниз по улице Горького, не спеша отправился за ними. То скрываясь в толпе, то отчетливо появляясь, впереди маячили три фигуры; та, что ему понравилась, в синей спортивной куртке и черных брюках, рядом остроносенькая, слегка утопающая в плаще, словно купленном на вырост, и третья в желтом коротком, совершенно пижонском плаще, как бы явно не по чину для ее фигуры, неуклюжей, полной, и в то же время как бы утверждающей каждым своим шагом: нет, по чину, нет, по чину..

На улице было свежо. Порывистый ветер трепал промытую дождями, блестящую, еще только кое-где прихваченную желтизной зелень лип вдоль тротуара, иногда влетал в рукава и неприятно охлаждал грудь.

Сергей пожалел, что нет на нем его шарфа, но в остальном одежда его была вполне приличной: плащ почти новый, а туфли издавали тот бодрый скрип, какого от стоптанных

башмаков никогда не дождешься. Правда, шнурки на них здорово поистрепались, но навряд ли девушки могли обратить внимание на такую мелочь.

Внезапно Буратино оглянулась и, заметив Сергея, быстро толкнула свою подругу, словно призывая ее оглянуться и вместе с нею посмеяться над Сергеем. Но та не оглянулась, что показалось Сергею хорошим признаком.

Еще раньше по ее походке, как бы неловко утяжеленной, ему казалось, что она знает, что он идет за ними, и от этого ее шаги приобретали трогательную неловкость.

Не добившись, чтобы ее подружка оглянулась, Буратино, шедшая посередке, внезапно переменялась местом с голубой курткой, словно показывая Сергею, что теперь ему подступиться к ней будет гораздо трудней.

Сергей усмехнулся этому маневру, испытывая некоторое удовольствие оттого, что разгадал его, если, конечно, это был маневр, а не случайное перемещение.

Возле ГУМа девушки остановились перед лотком мороженщицы, и Сергей сильно замедлил шаги, не зная, что делать. Девушки замешкались. Он собирался во что бы то ни стало подойти к ним, но не сейчас, а потом, когда это будет удобней. Но отчего же они так замешкались?

Та, что была в желтом пижонском плаще, стоя перед лотком, что-то говорила голубой куртке, а потом, махнув рукой, протянула лоточнице деньги и взяла два брикета мороженого. Один из них она передала Буратино, и они двинулись дальше, причем теперь голубая куртка не стояла в середине.

Каким-то порывом вдохновения Сергей догадался, что случилось. Он догадался, что девушка, которая ему понравилась, отказалась от мороженого, и отказалась именно потому, что ей неловко было есть мороженое, зная, что Сергей идет за ними. Во всяком случае, Сергей был в этом уверен.

Девушки вышли на Красную площадь, и та, что была в желтом плаще, шагала теперь особенно независимо, словно утверждая: да, я такая. Ношу самый желтый плащ и ем мороженое, когда мне вздумается.

У самого выхода на Красную площадь, на краю тротуара, за маленьким столиком сидел молодой человек и, выложив пачку билетов, призывал через дребезжащий микрофон не терять времени и покупать билеты на пароходную прогулку по Москве-реке.

Дурной от микрофона голос, сопровождаемый холодными порывами ветра, делал призыв этого продавца прогулок крайне неаппетитным. Сергей подумал, что в такую погоду даже думать о воде неприятно, а не то что кататься по ней на катере.

Только он хотел свернуть на Красную площадь, как неожиданно увидел двух студентов из своего института, стоявших за этим зазывалой, словно тайная охрана шарлатанского предприятия.

Один из них жил вместе с Сергеем в комнате и сейчас красовался в его красном шарфе, а другой был земляком Сергея.

Здороваясь с ними, Сергей почувствовал какой-то укол тревоги, но, опомнившись, решил, что тревога эта ложная, потому что здесь, на Красной площади, где все хорошо просма-



тривается, девушки никуда не денутся. Сейчас они приближались к Мавзолею, возле которого виднелась обычная толпа, глазеющая на часовых или ждущая смены караула.

— Ты что тут? — спросил Сергея парень из его общежития. Звали его Генка. Он вынул пачку сигарет и, закуривая, предложил Сергею. Сергей, помедлив, тупо потянулся за сигаретой. Сначала он хотел отобрать у него шарф и потому решил, что брать сигарету не стоит. Но потом у него мелькнуло в голове, что девушка, с которой он хотел познакомиться, может быть, уже заметила, что он был без шарфа, а теперь вдруг раздобыл его где-то. Во всяком случае, Буратино может использовать это против него, мелькнуло у Сергея в голове.

Поэтому он взял сигарету, решив не напоминать о шарфе. Как только они с Генкой закурили, Сергей снова почувствовал атмосферу опасности. Пожалуй, она исходила от земляка Сергея.

Пока они закуривали, он стоял, горделиво замкнувшись. Это был рослый, великолепно одетый парень, вечно занятый поисками в своем теле неуловимых (Сергей считал — по причине их отсутствия) болезней.

Глядя на него, трудно было поверить, что этот барчук — сын одинокой уборщицы больницы, где мать Сергея работала врачом. Чтобы заработать побольше денег, эта женщина весь курортный сезон держала у себя отдыхающих, кормила их и обстирывала, и все для того, чтобы этот лоботряс мог учиться в Москве, тяжело переваливаясь при помощи репетиторов через каждую сессию.

Следует отметить и тот малопочтенный факт, что некоторые лекторы их института, случайно отдохавшие в Мухусе, не менее случайно проводили свое отпускное время в доме его матери.

И каждое лето, когда Сергей возвращался в родной город, он обязательно так или иначе встречался с этой женщиной, и она всегда просила присматривать за ее сыном там, в Москве. Глядя в ее доброе лицо с ничего не понимающими глазами, в которых горела мечта, последняя ставка жизни увидеть сына вышедшим в люди, он не решался ничего ей сказать.

— Сережа, ты же знаешь, он слабый, — просила она, заглядывая в глаза Сергею и трогая его рукой, — не оставляй его.

В таких случаях нередко сын ее стоял рядом мрачный, бугристый от мускулов и спеси, и не только не останавливал мать, но всем своим обиженным видом словно говорил: как же, дождешься от него помощи...

Свою умственную вялость он объяснял какой-то хитрой болезнью, хорошо замаскировавшейся от рентгена и всех консилиумов. В этом году он вообще ушел из института и, если верить ему, устроился заочно в пищевой, хотя, конечно, нигде не работал.

По старой памяти он время от времени приходил в институт и по старой же памяти уводил с собой Генку. Тот в свое время играл при нем и теперь продолжал поигрывать роль расторопного дружка при богатом студенте.

Трагикомизм этой дружбы усугублялся тем, что сам Генка был сыном провинциального профессора, бросившего свою жену и женившегося на юной студентке.

Юная жена профессора в знак совершеннолетия своего пасынка перекрыла крепкой плотиной финансовый ручеек, уходивший в старую семью. Генке почти ничего не доставалось. В институт он пришел уже с комплексом приживальщика.

Дружба их началась с того, что Генка поспорил с земляком Сергея, что съест пять батонов в течение двадцати минут, запивая их одной бутылкой лимонада. Все, кто был в это время в общедетской, спустились в столовую посмотреть на интересное зрелище. Но зрелище получалось не интересным, потому что Генка досрочно слопал все батоны и запросил сдобную булку в качестве премии, которую тут же съел, оросив ее остатками лимонада из той же бутылки.

Несмотря на свою нелюбовь к земляку (земляк ему отвечал тем же), Сергей, подчиняясь чувству землячества, каждый раз при встрече вынужден был сказать несколько теплых, объединяющих слов. И не только объединяющих, но даже как бы возвышающих обоих над московской жизнью.

— Представляешь, сентябрь называется, — сказал Сергей, передергиваясь не столько от озноба, сколько от пошлости этого неодолимого ритуала, — а у нас еще вовсю купаются...

— Что ты, — мрачно потеплев, бормотнул земляк, как бы прося не растревлять хотя бы эту рану, потому что чаша его терпения неудобствами Москвы и без того переполнена.

— Что вы тут делаете? — спросил Сергей, не столько интересуясь их пребыванием здесь, сколько пытаясь ополоснуть рот от предыдущей фразы.

— Да вот, — оживился Генка, — представляешь, идем на день рождения... Представляешь... Вот собираемся... Подарок...

Он кивнул в сторону ГУМа и посмотрел на Сергея взглядом, провоцирующим сентиментальность. Сергей сразу понял источник своей первоначальной тревоги и почувствовал, как близка опасность.

— Ну ладно, я пошел, — сказал он и уже отошел на несколько шагов, но тут его догнал Генка.

— Ты понимаешь, — забормотал он, косея от стыда, — покупаем подарок... Два рубля не хватает... до стипендии...

— Рубль могу дать, — сказал Сергей, хотя и рубля не хотел давать, но почему-то совсем отказать не мог и даже стал объяснять, что у него шесть рублей, из которых пять ему самому нужны позарез.

Они снова подошли к земляку, а тот продолжал стоять на месте с мрачной величавостью, словно происходящее к нему никакого отношения не имело, хотя к нему именно все это имело самое прямое отношение. Видно, он был на мели, а им сейчас хотелось выпить, и именно здесь, в ГУМе, где тогда продавали шампанское в розлив.

Сергей расстегнул плащ и, забыв, что он без пиджака, ринулся было в пиджачный карман, потом вспомнил, что деньги в брюках. И, стыдясь, что он по слабости не смог им отказать, и стыдясь того, что он им дает меньше того, что они просят, и стыдясь того, что он как бы оправдывается перед ними, достал из кармана кошелек.

Открыв его, он вынул оттуда две трешкн, словно наличие именно той суммы, которую он назвал, и должно было доказывать, что пять рублей из них ему в самом деле нужны.

— Есть сдача? — спросил Сергей, показывая трешку.

Генка отрицательно замотал головой. Земляк оставался мрачен и величав в своем темно-синем плаще и модном городском галстуке над белоснежной сорочкой.

Сергей быстро отошел к мороженщице и попросил ее разменять трешку. В это мгновение, забывая о расстоянии, он вдруг подумал, что, если девушки увидят, что он стоит возле мороженщицы, будет ужасно неприятно. Ведь она именно из-за него отказалась от мороженого! «А уж эта Буратино обязательно заметит, обязательно», — с волнением думал Сергей.

Все это как-то нехорошо получалось. Особенно неприятно было то, что у него не хватило духу отказать им, хотя он был уверен, что они ни на какой день рождения не идут, а просто хотят выпить. И было неприятно, что он как-то половинчато выполнил их просьбу, и еще неприятней было то, что он от этого чувствует какую-то вину, а теперь еще, когда продавщица протянула ему деньги, неприятность усугубилась тем, что она разменяла ему трешку серебряными рублями, и он должен был Генке, точно нищему, протянуть монету, что было унижительно для Генки и унижительно для Сергея.

Сергей сунул ему эту несчастную монету, Генка что-то пробормотал в знак благодарности, а земляк продолжал стоять в позе, выражающей мрачную независимость.

— Хоть бы пиджак надел, — сказал он на прощание, как бы через этот неоспоримый факт, что Сергей пришел на Красную площадь без пиджака, объясняя какую-то более глубокую причину своей нелюбви к нему. Он был уверен, что отсутствие у Сергея достаточно большого интереса к своей одежде есть безусловный признак его некультурности, прикрытой якобы умными, а на самом деле лицемерными разговорами.

Сергей пошел через Красную площадь. Он видел, у Мавзолея в толпе путеводно желтел плащ ее подруги.

Еще светило солнце. На Спасской башне золотой обод и стрелки часов ослепительно горели, небо нежнело предзакатной зеленцой, а над темно-кирпичным Историческим музеем высоко в небе розовела олеографическая гряда облаков.

Напротив, в конце Красной площади, над храмом Василия Блаженного, стояла огромная, слегка засвеченная и даже как бы развенчанная наличием на ней земных тел, навеки лишенная таинства невинности луна.

Чистота Красной площади, блеск ее брусчатки, ее оваловидная выпуклость, стройность и стремительность кремлевских башен, казалось, выражают угаданный в глубине прошедших веков апофеоз самолетно-ракетных обтекаемых форм.

Сергей подошел к толпе у Мавзолея. Сейчас девушка в голубой куртке стояла в нескольких шагах от него, и Сергей со сковывающим волнением смотрел на ее стриженный, слегка вьющийся затылок, смотрел, ощущая наплывы нежности и словно смутно узнавая в этом беззащитном затылке, в этой

легкой фигуре тайное родство, таинственную predeterminedность их встречи. Но как ей сказать об этом, как дать знать, что их встреча predeterminedна? Сергей вздохнул.

Слева от Сергея стояла небольшая делегация каких-то африканцев, и девушка-гид что-то им рассказывала по-английски, и, насколько понимал Сергей по отдельным, доносящимся до него словам, она говорила про Мавзолей и про смену караула, а африканцы, мелкокурчавые, пестро и модно одетые, слушали ее доброжелательно, но без особого интереса.

Иногда они задавали ей какие-то шуточные вопросы, и девушка-гид что-то отвечала им, по-видимому несколько смущаясь, и тогда на мгновение все негры оживлялись, но она продолжала говорить свое, и они терпеливо слушали ее без особого интереса. Потом негры разом повернулись в сторону Исторического музея, из чего следовало, что девушка-гид перешла к новому объекту. Оживившиеся было негры снова притихли и стали слушать ее все так же доброжелательно и без особого интереса.

Сергей заметил, что Буратино толкнула его девушку и показала глазами на часовых, а потом на двух девушек, подошедших совсем близко, насколько позволял тротуар, к Мавзолею.

Часовые застыли навтыжку с каким-то страшноватым выражением стремительной неподвижности. Коврики, на которых они стояли, белые перчатки и какая-то незнакомая Сергею, по-видимому, парадная или особая форма службы Кремля делали их самих живыми атрибутами Красной площади.

— Сейчас они стоят по часу, — заметил один из зевак, — а зимой по полчаса... замерзнуть могут.

Приглядевшись к неподвижным фигурам часовых, Сергей уловил еле заметное движение грудной клетки, обозначающее дыхание. Потом он заметил, что часовой, стоявший слева от него, все время мерно покачивается, и в этом мерном, едва заметном покачивании угадывалось невероятное напряжение, с которым он достигал этой неподвижности. Это же напряжение угадывалось по звероватому взгляду, который он таращил из-под фуражки.

Второй часовой казался несколько свободней, то ли потому, что фуражка его была надвинута не так низко, то ли, просто будучи более опытным, он легче достигал этой неподвижности.

И тут Сергей заметил, что эти две девушки, на которых обратила внимание Буратино, глазают на этого часового. Сергей, вглядываясь в его лицо, теперь заметил, что оно согрето или смягчено внутренней улыбкой, странно контрастирующей со стремительной неподвижностью всей фигуры. И когда Сергей охватывал взглядом его фигуру целиком, эта внутренняя улыбка как-то исчезала, а когда он смотрел только на его лицо, она снова угадывалась.

Сергей снова посмотрел вперед, чтобы найти глазами свою девушку. Теперь их заслоняли новые зеваки, подошедшие смотреть смену караула. Он стал вглядываться сквозь толпу зевак и вдруг увидел ее голубую куртку и затылок в барашковых завитушках, и в самое это мгновение, когда он ее увидел, голова ее робко повернулась, и она стала смотреть назад, ища глазами



кого-то, и Сергей знал, что это она его ищет глазами, и только он залюбовался ее оленьей, чуткой оглядкой, как глаза их встретились, она вспыхнула и отвернулась. Она приподняла руку и провела ею по затылку, словно стараясь прикрыть его от взгляда Сергея. Кисть руки и запястье, смуглые и гладкие, как морской камень, соблазнительно высунувшиеся из рукава куртки, показались Сергею ослепительно прекрасными...

Но как подойти, что сказать, снова с тоской подумал Сергей. Хорошо бы издать закон, вдруг подумал он, по которому каждый человек имел бы право знакомиться с девушкой в любом месте и без всякого повода. Регламент — три минуты. Ведь главное, что девушка боится натолкнуться на какого-то мерзавца. А в течение трех минут легко можно доказать, что ты не хулиган, не мерзавец, не приставала, и, если ты чем-то ей понравишься, вы можете быть знакомы, а там видно будет. А кто же я, как не приставала, вдруг подумал он. Нет, не приставала и не пошляк, решил он. Может, что другое, но не это точно.

Не успела голубая куртка убрать руку со своего барашкового затылка, как остроносенькая оглянулась, увидела его и, полагая, что подруга еще не знает о том, что он здесь, стоит за ними, ударила ее локтем. Хотя самого удара Сергей не видел, но он точно почувствовал это. Та терпеливо вынесла удар, но не оглянулась.

Африканцы вместе со своей девушкой-гидом шумно отошли, и сразу же стал слышен голос экскурсовода, занятого нашими провинциальными туристами.

— До революции, — услышал Сергей его голос (глаза туристов были обращены на Спасскую башню), — часовые гири подымались... Сейчас их приводит в движение электродвигатель... В тысяча девятьсот восемнадцатом году часы были остановлены попавшим в Спасскую башню снарядом...

Девушки вышли из толпы и пошли в сторону Василия Блаженного, над которым все ярче и ярче разгоралась луна. Теперь они разделились. Та, что была в желтом пижонском плаще, пошла вперед, а Буратино с голубой курткой приотстали.

Гулко забилось сердце в груди у Сергея. Он понял, что настал его час. Он понял, что девушки разделились, чтобы облегчить ему задачу. Это было точно. Тайно ликуя и волнуясь, он пошел за ними. Та, что была в пижонском плаще, продолжая независимо демонстрировать свой плащ, пересекла площадь и прямо подошла к памятнику Минину и Пожарскому и остановилась там возле небольшой группы экскурсантов.

Буратино и голубая куртка по дороге свернули и остановились посреди площади, где, оказывается, расположилась рекламная стойка с сувенирными фотографиями, вложенными в стеклянные шары. Рядом за столиком сидела женщина и, видимо, принимала заказы на эти фотографии.

Девушки остановились и стали заглядывать в эти шары, висящие на шпагатах, а Сергей, заробев, все медленней и медленней приближался к ним.

«Где же сам фотограф?» — думал Сергей, удивляясь и даже возмущаясь тем, что нет фотографа, словно собираясь запечатлеть себя на Красной площади. На самом деле ничего

он не собирался запечатлеть, а просто его страх искал любую возможность отвлечься от решительного шага.

Наконец девушки отошли от стойки и медленно направились к своей подруге. И в то же мгновение Сергей, почувствовав облегчение, сразу же догадался, что фотограф просто уже ушел, потому что вечерело. Сергей тоже подошел к стойке и, взяв в руки шар, еще покачивающийся от прикосновения его милой девушки, приподнял его и заглянул в глазок. Из шара на него глянула женщина, снятая здесь же, на Красной площади, очень крупным планом, с очень спокойным домашним выражением лица и с большой глупой родинкой на щеке. Она смотрела на Сергея с некоторым равнодушным недоумением, как если бы Сергей, проходя по улице, вдруг увидел ее, взглянув в окно со случайно распахнутой ветром занавеской.

Сергей бросил этот дурацкий шар и пошел в сторону Василия Блаженного, проклиная свою нерешительность и дав себе слово теперь ни за что не отступать. Сам же знаю, говорил он себе, чем дольше откладываешь в таких случаях, тем трудней потом познаться. Ведь если девушка знает, что ты давно за ней следишь, трудно обратиться к ней с таким, например, вопросом:

— Скажите, пожалуйста, как пройти до кинотеатра «Ударник»? — Или с оттенком легкого юмора у памятника Минину и Пожарскому:

— Девушка, кто вам больше нравится, Минин или Пожарский?

Он подошел к толпе, стоящей у этого памятника, глядя на храм Василия Блаженного. Он увидел желтый плащ ее под-

руги впереди себя, но остальных в толпе не было. Он посмотрел направо и увидел голубую куртку в толпе экскурсантов, которые подходили к Спасским воротам.

«Ну что ж, — подумал он, — значит, я не виноват... Если б она сейчас здесь стояла, я обязательно подошел бы к ней и заговорил...»

Волнение его на миг улеглось, и он решил сделать законную передышку. Экскурсовод читал стихи поэта Дмитрия Кедрина о том, как царь Иван Грозный велел ослепить строителей этого великолепного храма.

*Чтобы в Суздальских землях и в землях Рязанских и прочих  
Не поставили лучшего храма, чем храм Покрова!*

Несмотря на ужасное чтение, Сергей заслушался стихами, мысленно расставляя слова в тот мелодический ритм, который, как думал Сергей, имел в виду поэт. Во время чтения его глаза несколько раз встречались с глазами экскурсовода, и в какое-то мгновение тот, казалось, усомнился в чем-то, может быть в правильности своего чтения, но потом осознал, и это было видно по раздраженной решительности в голосе, что Сергей не может быть каким-то там инспектором, явно слишком молод для этого и вообще не имеет права.

Придав голосу совершенно прозаическое звучание, он продолжал:

*И запретную песню про страшную царскую милость  
Пели в тайных местах по широкой Руси гусяры...*

— А сейчас, товарищи, прошу всех прямо к автобусу, — сказал он без всякого перехода и, победно взглянув на Сергея, повел группу назад, через площадь.

Экскурсанты, поеживаясь от неуютного ветра и, может быть, от всей этой неуютной истории, потянулись от храма Василия Блаженного за ним.

Девушка в желтом плаще еще раньше подошла к своим подругам, и теперь Сергей, оставшись один, пожалел, что вовремя не ушел отсюда. Теперь они снова будут втроем, и снова будет очень трудно к ним подойти, подумал он и, собрав всю свою волю, двинулся к Спасским воротам.

Теперь он стоял в нескольких шагах от нее и, зная, что это последний шанс, так разволновался, что ничего не видел, кроме расплывающегося в глазах голубого пятна ее куртки.

— Но ведь они сами разделились, ты это видел, и они это сделали для того, чтобы тебе удобней было к ним подойти, — говорил ему ободряющий голос.

— Но ведь сейчас здесь ужасно неудобно, да к тому же, может быть, она рассердилась, что я так долго не подходил, — сомневался другой голос, и Сергей понимал, что этот другой голос был куда сильнее первого.

В это время Буратино оглянулась на него, и он впился в нее взглядом, умоляя расширить информацию об их истинном отношении к нему. Буратино посмотрела на него, как ему показалось, впервые с сочувствием и, что-то шепнув голубой куртке, прошла вбок, где, как теперь Сергей заметил, все с тем же чувством независимости стояла толстушка в желтом плаще.

— Ты видишь! Ты видишь! — закричал ему первый голос. — Они сделали все, чтобы ты подошел!

— Да, да, я подойду! — отвечал этому голосу Сергей. — Только бы экскурсовод сделал хоть какую-нибудь удобную паузу...

И словно чтобы определить, где будет удобная пауза, и заранее к ней подготовиться, он стал прислушиваться к его словам.

— ...Само название Спасской башни произошло от названия иконы, которая была укреплена над входом в эти ворота...

Над самым проемом ворот Сергей впервые обратил внимание на углубление, где, видимо, когда-то была икона...

— Сережа? Вот не ожидала, — вдруг услышал он рядом с собой голос с легким восточным акцентом. Сергей вздрогнул. Перед ним стояла девушка с его курса, но с другого факультета. На ней было длинное, почти до пят, национальное платье, цветастое, переливающееся какими-то пошлыми блестками, маленькая тубетеечка и довольно-таки не к месту замшевая куртка.

Сергей так и обмер от ужаса — до того было неуместно ее появление.

— Приветствую, — сказал Сергей как можно доброжелательней, именно потому, что не хотел ее сейчас видеть и считал это свое чувство к ней довольно неблагородным, и изо всей силы подавлял его в себе.

— Я часто сюда прихожу, я здесь испытываю волнующее чувство, Сергей, — сказала она, заглядывая ему в глаза и, по видимому, искренне радуясь встрече.

«Что же это такое, что за проклятое невезение, — в отчаянии думал Сергей, — она же мне все испортит». Он покосился

в сторону голубой куртки, но там, слава Богу, еще ничего не заметили.

— Почему ты такой мрачный, Сергей? — сказала она, с какой-то певучей настойчивостью нажимая на его имя и заглядывая ему в лицо с тем отвратительным выражением соучастия, которое свойственно людям с общественными склонностями и которое, как был уверен Сергей, на деле было самым пошлым и подлым любопытством.

— Просто так, — сказал Сергей, изо всех сил сдерживая себя, — наверное, от холода...

— ... Часы эти были сделаны по заказу Петра, хотя Петр не дожил до того времени, когда они появились на Спасской башне... — донесся до него голос экскурсовода.

— Мне тоже холодно, — сказала она, — ты не проводишь меня, Сергей?

И, не дожидаясь его согласия, она взяла его под руку, и притом довольно основательно.

— Общий вес часов — двадцать пять тонн... До революции часовую гирю подымали при помощи... после революции эту работу делает электромотор, — услышал Сергей голос экскурсовода, изо всех сил напрягая слух, сам не понимая, что это отчаянная попытка вырваться от этой мымры и присоединиться к своей девушке.

— Да, да, конечно, — сказал Сергей с ужасом и внезапно появившейся лихорадочной надеждой увести ее с Красной площади, а потом вернуться и прибежать сюда, пока ее возле него не заметили эти девушки, особенно он почему-то боялся, что ее заметит Буратино.

Они пошли через площадь, и она крепко держала его под руку, дружески прижимаясь к нему, и что-то ему рассказывала про институтские дела, и он, как в кошмарном сне, слушал ее, не понимая слов, но и не забывая кивать время от времени и думая только о том, как бы довести ее до тротуара по ту сторону площади и потом под каким-нибудь предлогом улизнуть от нее, но так, чтобы она не вздумала возвращаться, а те девушки ничего не заметили.

Они прошли мимо уже одинокого стенда с шарами, висящими на ниточках, и вдруг в голове у него что-то мелькнуло, похожее на какую-то важную мысль, которую обязательно надо вспомнить, но он никак ее не мог ухватить за хвост.

В это мгновение он увидел, что их обогнали девушки, от которых он ее собирался увести. Та, что была в голубой куртке, как бы вырывалась вперед, а Буратино едва за ней поспевала. Буратино успела бросить на него испепеляющий взгляд, даже как бы кивнула в сторону телеграфа, в том смысле, что она уже тогда поняла, какой он негодяй и предатель.

Толстеньякая, в своем коротком желтом плаще, шла чуть отставая от подруг. Поравнявшись с Сергеем, она откровенно усмехнулась, давая знать, что Сергей ничего лучшего не достоин, чем это пугало.

Но главное — лицо его девушки, уже потерянное навсегда! Нежные черты ее были искажены таким горем, такой униженной гордостью, таким желанием скорее, скорее уйти от всего этого, какие бывают у детей, когда они внезапно покидают шумную гурьбу ребят и, приподняв невидящее, ослепшее от обиды лицо, торопятся уйти домой!



Сергея пронзила вспышка боли, и он словно в свете ее на мгновение увидел непомерную даль жизни во всей ее жестокой механике сцепления равнодушных случайностей.

Это его надежда, будто перегоревшая лампочка, перед тем как погаснуть, вспыхнула еще ярче, приоткрыв ему все то, что сама она обычно прикрывает утешающей иллюзией смысла, которого на самом деле нет, а есть жестокий хаос, инерция многих случайных стремлений, образующих самую суть жизни.

Но если это так, это ужасно, подумал Сергей. «Да, да, это так, — сказал он себе, — ничего нет, а есть только надежда, придающая смысл нашим стремлениям, а следовательно, и вкус, и цвет всей нашей жизни».

Они уже подходили к метро «Площадь Свердлова», когда он услышал сквозь пелену своих раздумий голос своей незнакомой спутницы:

— У тебя какое-то горе, Сергей... делиться с друзьями...

— Ничего такого, — ответил Сергей, останавливаясь у входа в метро и показывая, что дальше идти не собирается.

— ...вечером зайду в вашу комнату, — донеслось до него, и она вплыла в вестибюль метро, несколько мгновений мелькала в своем переливающимся длинном платье, в своей радостной тюбетейке, потом сгинула.

Сергей застыл перед входом в метро, не замечая входящих и выходящих из него людей. У него было такое чувство, что он должен еще что-то сделать, хотя в то же время ясно было, что делать уже нечего, потому что все бессмысленно.

Но это чувство оставалось, и он подумал о том, что ему надо что-то вспомнить. Он вспомнил, что и проходя по Красной

площади мимо стенда с болтающимися стеклянными шарами он мучительно пытался что-то вспомнить. И как бывает, когда что-то пытаешься вспомнить и никак не можешь, а потом, через некоторый промежуток времени, делаешь новую попытку и сразу же вспоминаешь то, что хотел вспомнить (значит, работа мысли может проходить бессознательно), так и Сергей сейчас вспомнил то, что хотел вспомнить тогда.

Он вспомнил, что женщина, увиденная им в стеклянном шаре, с ее неожиданным и как бы непрошено нахальным крупным планом, с ее спокойным лицом и дурацкой родинкой на щеке, была страшно похожа на эту, которая испортила ему знакомство с прекрасной девушкой.

Она была похожа не внешне (теперь-то Сергей думал, что и внешне тоже), а своей спокойной уверенностью, своим непрошено нахальным появлением и еще чем-то, что Сергей чувствовал, и если бы напрягся назвать, то назвал бы победной неминуемостью пошлости.

«Ну да, — подумал Сергей, — когда я заглянул в этот шар, она предупредила о неминуемости встречи с той, а неминуемость встречи была предопределена и тем, что я слишком долго медлил, боясь подойти к этой девушке, и тем, что я слишком долго церемонился с этой выдрой, пока она наконец не решила, что между нами возможна какая-то близость».

Как все странно, подумал Сергей, чувствуя, что боль стихает. Казалось, в жестоком хаосе механических случайностей приоткрылся какой-то смысл. И хотя этот смысл ничего хорошего ему не сулил, он придавал надежду самим своим существованием. Он вспомнил, что и раньше ему становилось легче,

когда то, что мучило и давило, объяснялось каким-то смыслом.

Почти с равными промежутками, словно подчиняясь биению подземного пульса, метро выбрасывало людей из своих недр.

Туго раскачивающиеся в обе стороны многочисленные створки дверей, казалось, с неутихающим бешенством сопротивлялись и тем, кто входил в метро, и тем, кто из него выходил. И, не в силах остановить толкающего, они с одушевленной злостью вымахивали на идущего следом, словно с терпеливой яростью ожидая, что среди тысяч идущих хоть один наконец зазевается и можно будет сбить его с ног и, обернувшись библейским деревянным чудом перед остальными, рявкнуть обалделой толпе:

— Да остановитесь же вы, оглашенные!

Но застать врасплох или тем более сбить с ног никого не удавалось, и поэтому условий для сотворения чуда никак не возникало.

Город уже зажигал огни. Направо от метро в стеклянных телефонных будках юноши и девушки звонили своим возлюбленным, другие юноши и девушки нетерпеливо ждали, когда освободятся телефоны. Вечернее токование, подумал Сергей и невольно залюбовался трепещущим выражением девичьих лиц, словно услышал струйки щебета, льющиеся в телефонные трубки.

Потом он перевел взгляд на будку чистильщицы обуви и увидел сквозь стекло протянутую ногу клиента и грузный профиль старой айсорки, склонившейся над протянутой но-

гой. Он вспомнил, что ему надо купить шнурки, и подошел к будке.

— Шнурки, — сказал он, заглядывая в нее. Клиент обиженно и недоуменно посмотрел на него, словно Сергей прервал тайный акт, круговорот чувственных токов, вызванных гальванизирующими ударами щеток по коже обуви.

— Какие? — спросила айсорка и положила щетку рядом с туфлей.

— Черные, — сказал Сергей и заметил обиженное лицо клиента.

«Неужели не мог подождать, пока я кончу», — сказал ему клиент своим взглядом и обратил внимание Сергея на свою остывающую, размагничивающуюся туфлю.

— Сколько? — спросила айсорка и выпрямилась, вздохнув мехами могучей груди.

— Три пары, — зачем-то сказал Сергей и протянул ей тридцать копеек. Его преувеличенный заказ был на самом деле неосознанной деликатностью по отношению к обиженному клиенту, он как бы намекал ему, что только очень острая нужда в шнурках заставила его вторгнуться в их уединенный уголок.

Айсорка взялась за щетки. И пока Сергей, путаясь в шнурках, совал их в карман, клиент откинулся с прислушивающимся выражением лица, словно стараясь уловить ритм, прерванный вторжением Сергея.

Сергей решил не торопиться в общежитие. Он решил пройти город в обратном направлении и снова сесть в метро на станции «Маяковская». Он знал, что вид вечерней праздничной толпы всегда на него действует ободряюще.

\* \* \*

Сергей встал, вышел во двор и прошел на цементную площадку, устроенную над обрывистым спуском к пляжу и огражденную железными прутьями барьера. Отсюда открывался широкий кругозор на море и береговую полосу.

Компания уже разожгла костер, а Володя прямо у кромки воды чистил рыбу. Выпотрошив каждую рыбешку, он споласкивал ее в море и кидал в кастрюлю.

Могучий хозяйский волкодав, лежавший на площадке, неожиданно вскочил и, просунув голову между прутьями ограды, стал всматриваться в соседний двор, улавливая какие-то невидимые отсюда признаки жизни своего врага, немецкой овчарки.

Вдруг он, дернувшись просунутой головой, зарычал, почувствовав в этой невидимой жизни что-то раздражающее его. Дернувшись, он так шатнул ограду, что она еще несколько секунд после этого дрожала и звенела.

«Ну и силища», — подумал Сергей, глядя на невероятно толстую шею и широкую грудь собаки.

— Ты что, Вулкан, — сказал он.

Собака оглянулась на Сергея и, помахав хвостом, дала знать, что ее агрессивность не распространяется на него. После этого она снова просунула голову между прутьями и, рыкнув, так дернулась, что ограда еще сильнее задрожала, чем раньше. Казалось, она давала знать своему врагу, что миролюбивая пауза, оглядка на Сергея, к ней, той собаке, никакого отношения не имеет.

Окликнув собаку, Сергей вдруг подумал, что его оклик связан с пошатнувшейся оградой, с тайным восхищением си-

лой, преклонением перед ней, таящимися в глубинах нашего подсознания. Он подумал, что его оклик был выражением желания прижаться к этой силе, спрятаться за нее, в крайнем случае заручиться ее лояльностью по отношению к себе.

«Какая низость», — подумал он о себе и, разозлившись, властно позвал собаку:

— А ну, Вулкан, сюда!

Сергей сел на широкую низкую скамью, стоявшую на площадке. Собака вытащила свою толстую шею из-за ограды и подошла к Сергею с некоторой угрюмой озабоченностью.

Сергей протянул руку, взял собаку за мощную холку и изо всех сил потянул к себе, стараясь ее подволочь. Собака упрямо уперлась, не давая себя подволочь. Но после того как Сергей ее отпустил, она сама подошла к нему и ткнулась ему в колени своей невероятной грудью, после чего, неожиданно расслабившись, громко брякнулась возле него, подняв небольшую тучу пыли. Казалось, этим падением она призналась ему: «Думаешь, легко вечно ненавидеть? Устаешь...»

Сейчас Сергей подумал, что его второй, якобы властный оклик был, в сущности, подтверждением его первого оклика, хотя он думал, что он этим властным окликом разрушает свое первое неосознанное желание прижаться к силе. На самом деле, подумал он, это фамильярничание с силой было тем же желанием, но еще более порочным из-за своей фальшивой властности. Так, подумал он, в отношениях с людьми иногда подхалимство выступает в форме дружелюбного хамства, то есть хамства с подтекстом. Хамящий как бы внушает: «Я вам хамлю именно потому, что я к вам чувствую беспредельную близость».

«Хамство с подтекстом, — повторил про себя Сергей, — пожалуй, это неплохо сказано». Удачная, как ему казалось, формулировка хамства ему понравилась, и он теперь без всякой мысли просто гладил черную мягкую шерсть собаки. Собака, лежащая на животе, разомлев от ласки, перевернулась на спину и подставила Сергею свой живот с желтоватой подпаллиной. Боль в ноге то затухала, то усиливалась, но сама амплитуда ее была уже вполне терпима. Он снова погрузился в воспоминания...

\* \* \*

В жаркий июньский день Сергей лежал с учебником истории русской литературы в густой траве подмосковного леса. Вокруг него пестрели желто-фиолетовые цветы иван-да-марьи, росло подымались над травой стебли колокольчиков с нежно голубеющими цветками, сияли звездочки лесной гвоздики, кое-где белели лепестки ромашек.

Воздух был пронизан чириканьем и пеньем птиц. В разрывах зарослей орешника виднелся большой зеленоватый пруд, откуда доносились голоса и смех ребятишек.

Сергей читал, вернее, почитывал учебник, время от времени отрываясь, чтоб взглянуть на вершины лип и сосен, пронизанных птичьими голосами, взглянуть на пруд, на противоположный его берег, где плескались ребятишки и откуда они прыгали в пруд, а один из них с разбегу отрывался от берега и, успев перевернуться в воздухе, врзался в воду.

В нескольких шагах от Сергея из маленького, с двумя отверстиями дупла в стволе липы доносилось верещание птен-

цов. Несколько раз прилетала синица с кормом в клюве, взволнованно чирикала некоторое время, перелетая с ветки на ветку поблизости от гнезда. Видно, присутствие Сергея смущало ее. Но потом она все-таки залетала в верхнее отверстие дупла, вызвав своим появлением восторженное верещание птенцов, и через несколько мгновений вылетала из нижнего отверстия.

Близость пруда и низкое, ниже человеческого роста, расположение дупла делали жизнь этого синичьего семейства незащищенной и хрупкой, но это была жизнь, и взрослая синица делала то, что ей положено делать, — кормила своих птенцов.

Когда она прилетала, Сергей старался не шевелиться, чтобы она не волновалась, и исподтишка следил за ней. Каждый раз, прилетев, она звонким чириканьем выражала неприятное удивление, что Сергей все еще здесь, но потом влетала в верхнее отверстие дупла и вылетала из нижнего.

Сергей со вчерашнего дня жил на даче у своего приятеля по институту. Сейчас он был один, потому что товарищ его уехал на велосипеде в соседний поселок, куда мать послала его за продуктами.

Сергей чувствовал себя прекрасно. Предстоящий через три дня экзамен мало волновал его. Он считал себя достаточно подготовленным, да еще впереди три огромных дня.

Читая учебник, он чувствовал себя несколько умнее его содержания, улавливая места, где автор, огибая острые углы, упрощает смысл того или иного произведения, улавливал



и те места, где автор не сознательно упрощал анализ, но просто сам понимал его беднее, чем понимал его Сергей. И это некоторое превосходство над текстом учебника доставляло Сергею удовольствие, не переходящее, как он думал, в самодовольство.

Кроме того, он чувствовал удовольствие от этого ленивого летнего дня, от лесной прохлады, где он был защищен от жары, он чувствовал удовольствие от ощущения здоровья своего оголенного (в одних плавках) тела, которое умеренно покусывали комары и иногда щекотали забредшие на него муравьи.

Внезапно на том берегу пруда раздался рокот моторов, и два грузовика, до отказа наполненные людьми, выехали на лужайку перед прудом. Из грузовиков с шумом, смехом, женскими визгами посыпались вниз люди.

Несколько человек стали сразу же сооружать костер, поставив рядом с местом будущего очага кастрюли, ведра и корзины с провизией. Из одного ведра торчали шашлычные шампуры. Несколько человек, вооружившись топором, отправились в глубь леса добывать дрова.

Большая часть приехавших роилась вокруг гармониста. Ему вытащили из кузова домашний стул, и он уселся на него, придерживая руками гармонь, покамест одна из женщин не положила ему на колени платок. После этого он поставил гармонь на колени и неожиданно (для Сергея) заиграл вальс «На сопках Маньчжурии». Роившиеся вокруг него люди, разделившись на пары, стали довольно неумело кружиться в вальсе. Мужчин не хватало, и многие женщины танцевали друг с другом. Все они, как заметил Сергей со своего берега,

были пожилого возраста. Те, что не танцевали, образовав круг, глазели на танцующих.

Несколько молодых девушек, которых Сергей взглядом нащупал в толпе, постепенно соединились друг с другом, словно стянутые его взглядом, некоторое время отрешенно следили за танцующими, а потом спустились к воде. Раздевшись, с визгом, брызгая друг на друга, они полезли в воду.

Сергей оживился. Одна из них показалась ему хорошенькой. Яркие губы и яркие глаза ее Сергей почувствовал издали. Она доплыла до середины пруда и громко звала к себе подруг, но те не решались к ней подплыть. Сергей вырвал стебель колокольчика с самыми свежими и яркими цветами, заложил им книгу и, выйдя из рошцы, подошел к пруду.

Набрав воздуха, он нырнул в мутно-зеленую воду и, пока хватало терпения, в полной темноте плыл под водой в сторону этой девушки и наконец, шумно фыркнув, вынырнул рядом с ней.

— Ой, откуда вы?! — спросила она, озираясь, словно пытаясь определить место, с которого Сергей подплыл к ней.

— Оттуда, — кивнул Сергей на свой берег.

— А я туда смотрела, там никого не было, — ответила девушка.

Они оценивающе оглядели друг друга и остались друг другом довольны.

— Я нырнул, — сказал Сергей и, невольно вдохнув полной грудью, шумно выдохнул воздух.

— Надо ж, — протянула она, — а я под водой не умею плавать.

— Могу научить, — сказал Сергей.

— Научите, — ответила она, смело и доверчиво улыбнувшись Сергею.

— Тогда поплыли к тому берегу, — кивнул Сергей на противоположный пустынный берег.

Они поплыли к дальнему берегу пруда.

— Зойка! — кричали подружки спутницы Сергея, но та им сначала ничего не отвечала, а потом, обернувшись, изо всех сил крикнула:

— Я по-то-ом!

Сергей про себя улыбнулся этому странному возгласу: почему потом? И что потом? Берег, к которому они плыли, с одной стороны был покрыт зарослями камыша, а другая его сторона была пологая, с песчаной отмелью и лесом, близко подступавшим к воде.

На мелководье возле этого берега Сергей и в самом деле стал учить ее нырять, иногда насильственно погружая ее в воду, показывая, как надо двигать под водой руками и ногами, но из этого учения ничего не получалось. Как только Сергей ее отпускал, тело ее мгновенно всплывало над водой, и в лучшем случае лишь голова старательно была погружена в воду, а тело, ее юное, милое тело, всплывало над водой, и Сергею приходилось вталкивать его в воду и иногда продолжать поддерживать его под водой. Занятие это было не столько полезным для учебы, сколько приятным для Сергея, по меньшей мере. Во всяком случае,

он учил ее нырянию, а она соглашалась учиться до тех пор, пока они оба порядочно не промерзли.

Они вылезли на берег и улеглись на траве. Тот берег пруда, где остановилась компания спутницы Сергея, сейчас едва был виден. Но из-за зарослей камыша и нескольких ветел, росших у самой воды, подымался дым разожженного костра, была слышна гармошка и отдельные возгласы. Судя по пиликанью гармошки, какая-то из женщин перешла на частушки, и, видно, частушки, во всяком случае некоторые из них, были достаточно солоны, потому что время от времени оттуда доносились всплески смеха.

Зоя оказалась в самом деле миловидной девушкой с зелеными прозрачными глазами, похожими на крыжовник, с большим ярким и свежим ртом, склонным по всякому поводу смеяться, обнажая ровные белые зубы.

Она сказала, что работает на фабрике (Сергей тут же забыл, на какой именно, и потом никак не мог припомнить), что живет в нескольких километрах отсюда, в поселке Дубки, а приехали они сюда вместе с работниками своего цеха на пикник.

Есть что-то разбойное в ее прозрачных глазах, подумалось Сергею, и он с удовольствием смотрел на ее лицо и на эти ее казавшиеся разбойными из-за своей прозрачности глаза.

— Студентик, — сказала она, узнав, что Сергей студент, и своим голосом извлекая из этого слова чувственный смысл.

«Пожалеть хочет», — подумал Сергей радостно и предложил своей спутнице поискать в лесу земляники. Они вошли в лес, время от времени припадая к земле там, где ку-

стилась земляника, и Сергей угощал ее самыми спелыми ягодами, и она его несколько раз угостила лучшими из найденных ягод.

Каждый раз, когда она первой замечала кустики земляники, она так нежно становилась на колени, словно хотела погладить маленькое животное или схватить ребенка, только что сделавшего свои первые шаги. Сергея волновала и умиляла эта ее очаровательная манера припадать к земляничным кустам.

Чуть подальше от опушки леса стали попадаться кустики черники, усеянные черными капельками ягод, и они стали собирать чернику, из кустов которой каждый раз вылетало облачко комаров. Срывая ягоды черники, Сергей никак не мог привыкнуть к мысли, что вот эти кустики, не превышающие уровень травы, — та же черника, которая у него на родине растет деревцами, иногда выше человеческого роста.

И здесь, когда она обнаруживала кустики черники, она нежно припадала на колени, словно для того, чтобы обнять ребенка или погладить маленькое животное.

В конце концов, когда она еще раз коленопреклонилась, Сергей, присевший было рядом с ней на корточки, тоже стал на колени, придвинувшись к ней, обнял ее одной рукой и, чувствуя коленями ее колени и чувствуя грудью ее влажный прохладный лифчик и одновременно горячее тело, поцеловал ее в губы.

Сергей почувствовал, что она нетерпеливо и доверчиво прильнула к нему, отвечая на его поцелуй, и вдруг что-то в голове у него зазвенело. Он выпрямился вместе с ней, встал на ноги

и, прислушиваясь к далекому теперь звуку гармошки и гомону на берегу пруда, схватил девушку за руку и стал быстро продвигаться вместе с нею вперед, в сторону, противоположную от этих звуков, и она, покорно поспевая, шла за ним.

Они продрались сквозь орешник, вышли на небольшую полянку, усеянную широкими листьями отцветшего ландыша, прошли ее, и Сергей вдруг одной ногой провалился в какое-то заросшее высокой травой болото, громко чмокнув грязью, с трудом вытащил ногу, по колено почерневшую от торфяной жижи.

Но то, что влекло его в гущу леса, было сильнее этой маленькой неприятности, и он, вырвав несколько клоков травы, вычистил ногу и, снова взяв девушку за руку, обошел болотистую низину, вышел на маленькую поляну и остановился возле молодого клена, прислушиваясь к уже неслышимому пруду и чувствуя, что никого нет в целом мире, кроме него и этой девушки с прозрачными глазами и ярким ртом.

Он обнял ее и надолго прильнул к ее губам, чувствуя на себе широко раскрытые прозрачные, сладостно преступные глаза, и, вдруг заметив, что глаза ее закрываются, осторожно положил ее на траву.

Сергей уже знал женщину, целовался с девушками, но такой внезапной головокружительной близости у него никогда не было. И он не знал, как преодолеть чувство стыда и неловкости, которое ему сейчас все больше и больше мешало.

Вдруг девушка нащупала что-то на его груди и приподняла лепесточек мертвого мотылька.

— Колетая, — сказала она, придерживая мотылька двумя пальцами.

— Что? — спросил Сергей, не поняв, что она сказала.

— Колетая бабочка, — сказала она, поворачивая пальцы так, чтобы Сергею видно было, что она держит в руке. Сергей снова ее не понял.

— Неужели не видишь, — удивилась девушка, снова показывая на мотылька, — она же колетая.

«То есть околевавшая, мертвая», — наконец мелькнуло у Сергея в голове, и он радостно засмеялся.

Они шли назад, и Сергей чувствовал себя неловко. К тому же его раздражала нога, провалившаяся в болото. Обсохшая грязь стягивала икру и напоминала об этом глупом событии.

Вдруг девушка, взглянув на Сергея своими прозрачными глазами, рассмеялась, и Сергей стал просить ее сказать, над чем она смеется.

— Я подумала, какой ты шел сюда и какой идешь обратно, — с обезоруживающей простотой сказала она.

Она снова рассмеялась. Сергей смутился, хотя и не показал вида, а только улыбнулся ей. В самом деле, вспомнил он, с какой вдохновенной бодростью он продирался сквозь кусты, когда шел сюда, и какой уныло-притихший он теперь возвращается.

«Как она естественна во всем», — подумал Сергей, восхищаясь ею и чувствуя, что сам он не может быть таким и, наверное, никогда не сможет.

Они вошли в воду и проплыли вместе до середины пруда. В воде Сергей почти перестал чувствовать смущение. Они договорились встретиться сегодня на платформе этого дачного поселка в восемь часов вечера. Было решено, что они сходят на танцплощадку в Дубки, где она жила.

Доплыв до середины пруда, Сергей кивнул ей, и они расплылись в разные стороны. Выходя из воды, Сергей вымыл ногу. Он вошел в рожицу, подошел к своему месту и оделся. Он поднял книгу, выкинув увядший стебель колокольчика, которым заложил страницу.

На той стороне пруда продолжала играть гармошка, и какая-то женщина напевала частушки. Одну из них Сергей расслышал:

*Одному тебе, миленок,  
Отдаю свою красу,  
А красы моей не хватит,  
Я бутылку припасу.*

Над жаром огня дозревали шашлыки, и оттуда уже доносился запах жареного мяса. Сергей ощутил голод и пошел к даче своего приятеля. Сейчас он уже никакого смущения не чувствовал, и, наоборот, то, что было у него с этой девушкой, играло и пело внутри него. Его сейчас восторгало не только то, что было в лесу, а и то, что он может восхищаться простой девушкой и простая девушка может его полюбить.

Сергей уговорил своего приятеля пойти вечером вместе с ним на свидание. Он сказал ему, что у пруда познакомился с очень милой девушкой, что сегодня они должны еще раз встретиться и пойти в поселок Дубки на танцплощадку.

Приятеля долго уговаривать не пришлось. Он облачился в белоснежный летний костюм. Сергей почистил и отгладил



свои серые шерстяные брюки, надел еще достаточно свежую ковбойку, и они пошли.

Когда они пришли на платформу, она уже стояла там. Сергей ее впервые видел одетой, да еще, готовясь к свиданию, она постаралась одеться получше, и Сергея несколько покорила ее попытка быть модной. На ней было полосатое платье мешком, как тогда было модно, но на ней оно сидело чересчур мешком. Кроме того, она пощипала себе брови.

— Не найдется ли у вас подружки? — спросил приятель, знакомясь с ней. Он всегда так говорил, если его знакомили с чьей-нибудь девушкой.

— Найдется, найдется, — серьезно уверила она его и обещала на танцплощадке познакомить его с хорошей девушкой.

Они перешли на другую сторону железной дороги, где ютились маленькие дачные участки, некоторые заросшие травой и одичавшими фруктовыми деревьями, а некоторые, наоборот, сиявшие чистотой и точностью прополотых грядок и опрятно выбеленных яблонь. Пройдя несколько улочек, поросших травой, на одной из которых паслась огромная костлявая корова на длинной веревке, а на другой — маленькая коза с огромным выменем, они вышли к открытому полю с желтеющей до горизонта пшеницей.

Они шли полевой тропинкой, и их несколько раз догоняли велосипедисты или ехали навстречу. Потом проехала маленькая девочка на велосипеде, а за ней бежала другая маленькая девочка. Не успели они пройти эту тропинку, как на-

встречу им показалась та же пара девочек с велосипедом, но теперь та, что бежала, давила на педали, а та, что раньше сидела верхом, бежала за велосипедом.

Пройдя пшеничное поле, они вошли в сосновый бор, в котором было сумрачно, прошли бор, выбрались на картофельное поле, зеленеющее ботвой, прошли березовую рощицу и вышли в поселок Дубки.

Танцплощадка, откуда громко раздавались звуки радиолы, была расположена, как понял Сергей, в центре поселка, напротив большого гастрономического магазина.

Сергей купил три билета, и они прошли на танцплощадку, устроенную под открытым небом и огороженную со всех сторон высоким деревянным забором с двумя входами друг против друга.

Постояв немного в стороне от танцующих, Сергей пригласил свою девушку, и они стали танцевать танго. Во время танца Зоя здоровалась со многими танцующими девушками и парнями. С некоторыми из девушек она успевала обменяться несколькими словами:

— Ты завтра в какую смену?

— Я в первую...

— Ну как вы тогда? — спрашивала она у другой.

— Было так весело, чуть животики не надорвали...

— Иди ты!

— Честное слово!

— Ты сейчас у хозяйки или в общежитку ушла? — спрашивала она у третьей.

— Я на пару с Нинкой комнату снимаю... А ты?

— А я с Людкой у старой хозяйки...

Сергей заметил, что, здороваясь с девушками, она одновременно как бы представляет им Сергея, хотя формально и не знакомит с ним. Девушки настолько хорошо знали друг друга и всех жителей поселка, что сразу признавали в Сергее человека, откуда-то со стороны попавшего на танцплощадку. Судя по их взглядам, Сергей понял, что они одобряют вкус своей подружки, и Сергею от этого было весело и приятно.

Зато ребята, с которыми здоровалась Зоя, окидывали Сергея в лучшем случае равнодушными, а в худшем — враждебными взглядами. Сергей не обращал внимания на эти взгляды и не придавал им значения. Он заметил, что Зоя так поглощена явным и неявным показом его своим подругам, что танцует совершенно механически, не чувствуя ни музыки, ни своего партнера.

После нескольких танцев она увидела в толпе танцующих свою подружку, маленькую черноглазую девушку Люду, и сказала, чтобы та подошла к ней после танца. Та и в самом деле подошла к ним. Зоя познакомила ее с Сергеем и Виктором (так звали его приятеля).

Теперь Виктор все время танцевал с Людой, и, судя по их веселому виду, когда они возвращались после очередного танца, они понравились друг другу.

Одним словом, все шло хорошо, покамест вдруг Сергей не заметил, что недалеко от того места, где они останавливались после очередного танца, собралось с полдюжины ребят и они оттуда время от времени поглядывают в их сторону довольно

враждебно. Сергею это не понравилось, но он не придал этому большого значения.

Потом, когда они пропустили один из очередных танцев, маленькая подружка Зои отошла вместе с ней на несколько шагов и стала ей что-то взволнованно втолковывать. Зоя презрительно пожимала плечами и что-то ей отвечала, и Сергей почувствовал, что есть какая-то связь между этими ребятами, бросающими в их сторону недружелюбные взгляды, и тем, что сейчас выясняют между собой подружки. Сергею стало тревожно и неудобно.

— Что-нибудь случилось? — спросил Сергей, когда Зоя подошла к нему и они отправились танцевать.

— Да нет, — отвечала Зоя, тряхнув головой, — ничего такого... Пристает тут один ко мне...

Теперь, когда они, танцуя, приблизились к тому месту, где стояла компания ребят, те с откровенной враждебностью молча оглядывали их обоих.

Следующий танец девушки пошли танцевать друг с другом, и Виктор сказал, что дело плохо, что здесь, на танцплощадке, Зойкин парень, с которым она сейчас в ссоре, и надо ждать неприятностей. Сергей стал догадываться, что он вплетен в сюжет этой ссоры, что Зоя не просто показывала его своим девушкам, а делала это со значением, доказывала всей танцплощадке, как она хорошо устроилась и без этого парня, с которым она поссорилась.

Не успел Сергей додумать эту неудобную мысль, как один из парней, стоявший во враждебной компании, подошел к нему. На нем был новенький клетчатый пиджак.

— Не советую танцевать с Зойкой, — сказал он.

— Почему? — спросил Сергей как можно дружелюбней.

— У нее есть парень, — сказал подошедший и кивнул в сторону своей компании.

— Но я с ней пришел сюда, — сказал Сергей, стараясь быть дружелюбным и в то же время логически ясным.

— Я предупредил, — сказал парень холодно, — потом не обижайся.

Он отошел к своим ребятам. Танец кончился, и девушки подошли к тому месту, где стояли Сергей и Виктор. Зоя заметила, что один из этих ребят к нему подходил.

— Что он тебе сказал? — спросила она, глядя на него своими прозрачными глазами.

— Да так, ничего, — засмеялся Сергей, чувствуя первый укол раздражения на свою девушку: какого черта она его сюда привела!

— Подумаешь, хозяин нашелся, — сказала она и тряхнула головой.

Из компании отделился парень в белой рубашке и подошел к Зое.

— Пошли танцевать, — сказал он.

— Не пойду, — отвечала она сердито.

— Мне тебе надо что-то сказать, — процедил парень.

— Мы уже обо всем поговорили, — ответила она, — а будешь приставать, начальнику цеха пожалуюсь...

Сергей понял, что именно этот парень имеет к ней какое-то отношение. Ему было неприятно, что она так резко с ним держится.

— Ну, смотри, Зойка, — процедил парень и презрительной походкой отошел к своей компании.

— Очень испугалась! — крикнула ему вслед Зоя.

— Почему ты с ним не пошла? — спросил Сергей, чувствуя все большее раздражение: зачем ей надо было приходиться с ним сюда!

— Да не хочу я с ним дружить, — отвечала она, — а он ко мне пристаёт... Пойдем танцевать...

Сергей пошел с ней танцевать, чувствуя, что ему не до танцев, чувствуя раздражение на Зою за то, что она его сюда привела, и в то же время считая своим долгом не показывать ей своего волнения.

Когда они, танцуя, приблизились ко второму входу на танцплощадку, Сергей заметил, что там стоит парень из той компании. Он подумал, что этот парень здесь стоит не даром. Значит, они ждут их побега, но Сергей бежать не собирался. Тем не менее настроение у него сильно ухудшилось. Значит, дела и в самом деле плохи, подумал он, раз они ждут нашего побега.

Потом, когда они, танцуя, подошли к главному входу, он заметил, что возле него стоит тот парень в клетчатом пиджаке, который к нему подходил. И хотя Сергей с наружной стороны входа заметил милиционера, сердце у него екнуло, он понял, что крупной опасности не избежать.

Надеяться было не на что. Он знал, что Виктор не боец, и чувствовал себя здесь, в этом далеком поселке (он вспомнил длинную дорогу), с этими слободскими хулиганами беспомощно и одиноко.

Танцы скоро должны были кончиться, и тогда... Сергей и представить себе не мог, что будет тогда. И чем отчаянней он чувствовал себя, тем веселее он становился внешне, словно пьянея от того, что его ожидает. Танцуя, он улыбался своей подруге, и та отвечала ему улыбкой, и Сергей чувствовал раздражение, глядя на ее ровные, красивые зубы.

Как ему казалось, он уяснил себе положение вещей. Он понял, что она дружила с этим парнем, потом они почему-то рассорились, и скорее всего этот парень не разрешал местным ребятам с ней танцевать. И вот она привела сюда Сергея, чтобы показать, что она сумела прорвать блокаду и обеспечить себя достаточно хорошим парнем, да еще студентом.

Из-за ее мелкого тщеславия он попал в очень неприятную историю и испытывал сильное раздражение на свою девушку. Но, как это ни странно, внешне он сделался еще веселее и общительней, сам не зная отчего, скорее всего от полноты отчаяния. Если бы у него была какая-нибудь надежда, он, наверное, обдумывал бы, как лучше выйти из создавшегося положения, и сам был бы серьезней.

Но выхода не было. Вернее, выход был один — оставить эту девушку и уходить со своим товарищем домой, но Сергей не мог себе этого позволить, хотя сильно злился на свою девушку.

Она, безусловно, не понимая источника внешней веселости Сергея, думала, что он весел оттого, что уверен в своих силах, и, вероятно, от этого она испытывала гордость за него и радовалась, что познакомилась с ним и привела его сюда. Последние танцы она танцевала, доверчиво положив на грудь Сергея свою голову, и Сергей, опять же внешне принимая

этот знак ее нежного расположения, чувствовал себя самым скверным образом.

Но вот закончился последний танец, несколько раз погас и зажегся свет, и молодежь, окликаемая друг друга, стала выходить, и Сергей вместе со своими спутниками втерлись в толпу, и, как показалось Сергею, им удалось незаметно выйти. Но когда они вышли, он заметил, что в десяти шагах от входа стоит вся эта компания, а рядом с ними стоит какой-то странный мальчик с велосипедом.

Маленький пожилой милиционер стоял у самого выхода, и Сергей, подойдя к нему вплотную и прикрываясь от компании людьми, выходящими с танцплощадки, стал объяснять ему, что происходит, но тот, выслушав Сергея и взглянув в сторону этих ребят, сделал вид, что Сергею и его девушке ничего особенного не грозит. Это тем более было обидно, что двое из компании, заметив, что Сергей замешкался возле милиционера, нарочно подошли и стали слушать, о чем они говорят.

Сергей почувствовал себя совсем одиноко. Милиционер был такой пожилой и такой маленький, словно всех более молодых и крепких милиционеров разобрали по другим местам, а он достался этому забытому Богом поселку.

— Идите по домам, ребята, не надо ссориться, — сказал он напоследок, отворачиваясь от Сергея. Сергей понял, что он не хочет портить отношения с ребятами этого поселка. Сергею ничего не оставалось, как, взяв свою девушку под руку, твердой походкой идти в сторону ее дома.

Не успели они пройти и двадцать метров, как оказались в полутемной улице, и их окружили все эти ребята и этот



мальчик с порочным лицом, придерживающий за руль свой велосипед.

Сергей крепко и решительно держал свою девушку под руку, хотя внутри себя не чувствовал этой решительности, а, наоборот, чувствовал растерянность и отчаяние.

Тот, что еще на танцплощадке подходил к Сергею, рослый парень в новеньком клетчатом пиджаке, сейчас снова подошел к нему и сказал, кивнув на парня в белой рубашке:

— Ему надо с ней поговорить...

У этого парня был такой вид, и он этот вид поддерживал голосом и выражением лица, будто он знает и понимает, как принято среди порядочных людей разрешать эти вопросы, но здесь он должен разрешать эти вопросы, как их принято разрешать здесь. Бремя этого двойного знания как бы придавало ему дополнительную сумрачность, словно он дополнительной суровостью оправдывался за эти свои знания перед своими слободскими друзьями.

— Пожалуйста, пусть говорит, — сказал Сергей, продолжая держать свою девушку.

— Нам не о чем говорить, — отрезала она упрямо и враждебно, и Сергей снова почувствовал прилив раздражения на нее за то, что она никак не хочет проявить гибкость.

Ребята несколько замешкались; по-видимому, твердый ответ девушки и то, что Сергей продолжал решительно держать ее под руку, заставили их несколько замяться.

Вдруг мальчик, державший велосипед и имевший порочное лицо, повернулся к Сергею и сипло спросил:

— Ты что, вор?

— Нет, — отвечал Сергей, сразу почувствовав, что говорит против себя.

— А кто ты? — спросил мальчик, который больше всего напоминал мальчика именно тем, что держал велосипед.

— Студент, — отвечал Сергей, стараясь сохранить в голосе твердость, как бы давая знать, что и студент имеет право на человеческое отношение, а не только вор.

— Слыхали? — торжествуя произнес мальчик с велосипедом. — Студент! А я что говорю?!

— Ну ладно, — вдруг сказала Зоя и, освобождаясь от руки Сергея, подошла к парню в белой рубашке, — говори, чего ты хочешь?

— Отойдем, — сказал парень, и круг, разомкнувшись, выпустил их, и они перешли небольшую канавку, поднялись на тротуар и подошли к забору, где теперь смутно белела рубашка этого парня.

Как только они отошли, круг сузился, в середине его стоял мальчик с велосипедом, а ближе к краю стоял Сергей, и парень в новеньком пиджаке сейчас плотно придвинулся к нему, сунув руку в боковой карман пиджака и явно показывая, что у него там нож или еще какое-то другое оружие, при помощи которого он должен сдерживать Сергея. В то же время его сумрачное лицо продолжало выражать двойное знание, то есть знание того, как в таких случаях ведут себя порядочные люди и как он вынужден себя вести в согласии с местными обычаями.

Те двое у забора, видимо, спорили, потому что голоса их делались громче и громче, и вдруг раздался звонкий звук пощечины и в ответ крик Зои:

— Негодяй!

Сергей рванулся было в их сторону, но парень в новеньком пиджаке сумрачно преградил ему дорогу и, не вынимая руки из кармана, что-то сжал в руке.

Сергей отчетливо слышал звуки пощечин, которые получила Зоя, и чувствовал ужасную подлость своего положения, и чувствовал холодящие его порывы стыда, останавливающее их чувство самосохранения и как оправдание, в которое он почти не верил, повторял про себя: «Но ведь у него нож... Но ведь у него нож...» Он почти не верил этому оправданию и почти не верил, что этот парень ударит его ножом, даже если этот нож лежит у него в кармане, и тем подлее он себя чувствовал, слыша эти пощечины и не в силах сдвинуться с места от сковавшего его страха. Да, страха, именно страха!

И вдруг из темноты раздался чей-то крик:

— Ты чего девушку бьешь, сволочь!

В следующее мгновение тень какого-то человека перелетела через канаву и стала драться с парнем в белой рубашке.

— Это Петька, — выдавил один из парней, окружавших Сергея. Там у забора уже несколько минут шла драка, и ни один из этих не сдвинулся с места, чтобы помочь своему другу, и это еще сильнее раздавило Сергея: значит, можно было защищать ее, значит, никто не вмешивается...

И вдруг драка внезапно остановилась, и этот неизвестный парень снова перепрыгнул канаву и очутился на улице в двух шагах от всех остальных. Он держал ладонью щеку, а потом

оторвал ладонь от щеки, и Сергей увидел, что ладонь у него черная от крови.

— Бритвой писанул, — сказал он, не обращаясь ни к кому, и, снова схватившись за щеку, растворился в темноте.

— Хватит, пошли! — сипло сказал мальчик с велосипедом, и круг внезапно распался, и все, в том числе и парень в белой рубашке, растворились в темноте.

Сергей со своим приятелем и девушкой и подошедшей к ним Зоей остались одни и двинулись в сторону дома девушек. Зоя по дороге без умолку говорила, что она это дело так не оставит, что ему на фабрике попадет за это хулиганство, и еще что-то в этом роде, а Сергей чувствовал себя униженным и раздавленным и проклинал себя за это дурацкое знакомство, за свой подлый страх, за все на свете. Он чувствовал, что Зоя несколько не обижена на него за то, что он не вступил в драку, но это его никак не утешало.

С особенной неприязнью, как он сам это заметил и сам удивился себе, с особенной неприязнью он вспоминал того неизвестного рабочего паренька, который случайно проходил по улице и, увидев, что бьют девушку, ни о чем не думая, бросился ее защищать.

«Вот и получил бритвой по щеке», — подумал Сергей, пытаясь оправдать себя за свой страх, но он не мог себя оправдать и чувствовал себя раздавленным.

Они уже подошли к дому, где жили девушки, и те стали объяснять им, как выйти из поселка, не запутавшись в его улочках, как вдруг в темноте вырос парень в белой рубашке и тот рослый в новеньком пиджаке. Разгоряченный дракой

и успехом и, видимо, ие насытившись ими, он догнал их и решил добрать недобранное.

Зоя стала говорить ему, что она никогда не простит ему того, что случилось, что он уже завтра обо всем этом пожалеет, но тот не стал ее слушать, а вплотную подошел к Сергею и сквозь темноту стал вглядываться в него. Они с полминуты смотрели друг другу в глаза, и Сергей знал, что, если тот подымет руку, он будет с ним драться, и парень этот, хоть и был разгорячен предыдущей встречей, все-таки почувствовал готовность Сергея к отпору, вдруг повернулся и с размаху ударил товарища Сергея:

— А ты чего смотришь?!

И Сергей опять почувствовал, что он должен был вступить за своего приятеля, и не вступился. Но унижение от того, что он раньше ничего не сделал, было глубже этого унижения, и уже как бы было все равно, словно дальше унижить его было невозможно.

Тот, что был в новеньком пиджаке, оттолкнул от Виктора своего приятеля в белой рубашке, словно наконец частично пуская в ход и те знания, которые без дела пропадали здесь, в этом глухом поселке. И они оба растворились в темноте.

Сергей и Виктор распрощались с девушками, те, как понял Сергей, ожидали, что они назначат им свидание, но они ничего не сказали и ушли. Виктор по дороге говорил Сергею, что опасность еще не миновала и неизвестно, что их ждет у выхода из поселка или дальше по дороге. Сергей почти не слушал Виктора, да и по дороге к ним никто не приставал, и они благополучно добрались до дачи его приятеля.

Они выпили по стакану молока с булкой, оставленные матерью Виктора в его комнате. Сергей был в раздавленном состоянии и удивлялся, что может есть булку и пить молоко и даже чувствует аппетит.

Потом они легли. По дыханию Виктора Сергей догадался, что тот быстро уснул, а Сергей почти всю ночь не спал, ему все мерещились эпизоды этого дня и вечера, и он никак не мог отогнать от себя чувство чудовищного унижения, которое он пережил.

То и дело он вспоминал этого паренька, который, увидев, что бьют девушку, не задумываясь полез драться, и, хотя его полоснули бритвой по щеке, все-таки Сергей чувствовал, что его, Сергея, унижение не было бы столь глубоким, если бы этот парень не влез в драку.

Он ощущал в себе какое-то враждебное чувство к этому парню за то, что тот оказался нравственно выше его, и, осознавая низость своего враждебного чувства к этому парню и понимая природу этой враждебности, страдал еще больше и чувствовал себя еще раздавленной и униженной.

...Через день, когда Сергей с Виктором и еще несколькими ребятами и девушками играли в волейбол возле пруда, Сергей увидел, что к пруду подошла Зоя. Она стала у пруда в нескольких шагах от играющих в мяч.

Сергей поздоровался с ней, чтобы не делать вида, что не замечает ее, и продолжал играть, а она одиноко так постояла еще минут десять-пятнадцать, а потом, видимо, поняв, что Сергей к ней не подойдет, тихо ушла.

Сергей смотрел ей вслед с каким-то щемящим замешательством, и ему жалко было ее и жалко упускать ее, но он чувствовал, что после всего, что было позавчера, он не имеет права на эту девушку и было бы низко продолжать с ней какую-то близость после того, что он не осмелился защитить ее.

Стараясь в какой-то мере оправдаться перед собой, он разжигал в себе неприязнь к ней. Конечно, она не должна была приводить его на эту танцплощадку, конечно, она проявила мелкое тщеславие, показавшись там с ним. Но все же, все же, как это подло все получилось.

Больше Сергей эту девушку никогда не видел, но еще целый год время от времени с гадливой, ничуть не притуплявшейся остротой вспоминал все, что видел и пережил в тот вечер. И только через год он избавился от нестерпимой остроты этого воспоминания, после такого случая.

Провожая товарища по институту, это был не Виктор, совсем другой парень, он стоял на мухусском вокзале, когда вдруг заметил, что какой-то очень здоровый парень собирается стукнуть его товарища.

Сергей преградил ему дорогу. Оказалось, что этот подвыпивший парень, проходя мимо приятеля Сергея, толкнул его плечом. Приятель сказал, что в таких случаях надо извиняться, а этот парень послал его куда подальше, а товарищ Сергея, физически очень невзрачный, показал в ответ ему кулак. Этот подвыпивший парень, увидев показанный ему кулак, счел себя смертельно оскорбленным и ринулся на приятеля Сергея. Именно в этот момент Сергей его и заметил. Остальные подробности он узнал потом.

Сейчас он видел, что рассвирепевший парень рвется к его приятелю, а Сергей преградил ему дорогу и стал пытаться с ним объясниться, но тот упрямо рвался к своему обидчику, и Сергей, поняв, что он грузин, попытался объясниться с ним по-грузински.

— Стыдно, парень, это гость, гость, — повторил Сергей, стараясь воздействовать на гостелюбивую душу грузина.

Но парень этот не на шутку рассвирепел и никак не хотел признавать гостя в приятеле Сергея, и Сергей его уже едва удерживал и почти висел на нем, а тот все прорывался к его приятелю. И в какое-то мгновение Сергей понял, что еще секунда, и гнев этого очень здорового физически парня обратится против него, и тогда он с ним не справится. Сергей вдруг с каким-то точным хладнокровием оценил обстановку и первым изо всех сил ударил парня кулаком в лицо. Парень пошатнулся, но в следующее мгновение ринулся на Сергея.

Первый оглушающий удар Сергея уравнивал силы. Они стали драться и, дерясь, выволоклись из дверей вокзала, и Сергей уже видел, что вокруг них столпились зеваки. Парень этот во время драки один раз упал, и Сергей почувствовал, что тот упал от его точного удара; правда, он тут же вскочил на ноги и продолжал драку.

Потом Сергей почувствовал, что кто-то его ударил сзади по шее, потом он вдруг увидел, что его двоюродная сестра, звали ее Лена, выскочив из толпы, бьет его противника закрытым зонтом («Почему-то все женщины по имени Лена бывают боевыми», — успел подумать Сергей, не преры-



вая драки), потом раздалась трель милицейского свистка. Противник Сергея успел нырнуть в толпу, а Сергея милиционер привел в помещение вокзальной милиции. К счастью, его отпустили, выслушав его объяснение и убедившись, что он трезв.

Парень, с которым Сергей дрался, оказался шофером какого-то знатного председателя колхоза. Этот председатель и шлепнул Сергея по шее, увидев своего шофера дерущимся с ним. Двоюродная сестра Сергея оказалась на вокзале, потому что обещала помочь достать билет для его приятеля.

Случай этот ослабил силу унижительного воспоминания о том вечере, но до конца забыть его Сергей никогда не мог. Он не осознавал, что сила раскаяния по поводу того вечера сама по себе была мощным нравственным светом, предохранявшим его от возможных падений во многих других случаях жизни.

\* \* \*

— Сергей Тимурович, идите к нам! — услышал он и поднял голову.

С той стороны костра, так, что ее время от времени прикрывали клубы дыма, стояла жена летчика и, высоко подняв руку, словно стараясь закинуть ее за клубы расползающегося дыма, звала его. Озаренная сзади закатным солнцем, выплывающим из разрывов дыма, с этим эллинским жестом высоко поднятой руки, она сейчас была очень живописна и хороша.

— Давай сюда! — закричал летчик, сидевший у костра. Сергею показалось, что летчик, присоединившись к жене, старается смягчить ее чрезмерное внимание к Сергею.

Сергей спустился вниз, прошел в калитку, закрыл ее за собой и, оглянувшись на собаку, усмехнулся. Пес, наклонив свою большую голову, следил за ним, пока он нащупывал рукой шеколду, чтобы закрыть калитку. Собака ждала, когда кто-нибудь по рассеянности забудет задвинуть шеколду, чтобы выскочить на пляж.

Трудно переступая по глубокому пляжному песку, Сергей подошел к костру и опустился.

— А ну, покажи ногу, — сказал Володя и, наклонившись, взглянул своими острыми прищуренными глазами. — Да, сильно саданул.

— Ничего, — сказал Сергей, — проходит...

Кроме летчика с женой, геолога из Тбилиси, жены Сергея, у костра сидели старик Сундарев, сосед хозяина, и его гость из города, художник Андрей Таркилов.

Солнце уже низко висело над морем, озаряя золотистым светом город, белеющий в сиреновой дымке и в зелени, порт, хорошо видный отсюда, и надо всем этим — горы, величаво-спокойные, с самыми дальними, розовеющими снегом вершинами. Диск солнца все ниже и ниже опускался над морем. Казалось, опускаясь все ниже, солнце теряет прочность своей оболочки и вот-вот выльется огромной золотистой каплей в море.

Черные силуэты лодок, возвращающихся после рыбалки в город, шли параллельно берегу. Сергей вздохнул, глядя на город своей юности. Ничтожный город, но столько ему отда-

но сердечных сил, что сколько ни уезжай от него, сколько ни живи в других городах, а от этого уже не оторвешься.

...Уха, кипевшая над огнем в большой кастрюле, делалась все пахучей и пахучей.

— Ой, слюнки текут, — сказала жена летчика.

Володя зачерпнул черпаком из кастрюли и, дуя в него, отпил несколько глотков.

— Готова, — сказал он и, сняв кастрюлю с огня, поставил ее рядом. — Женька, Валька! — крикнул он в сторону дома. — Тарелки, ложки, хлеб!

— Сейчас, — раздался со двора голос младшей девочки.

Жена летчика и жена Сергея пошли одеваться, они все еще были в купальниках. Сергей чуть отодвинулся от огня, который, чем ниже к горизонту опускалось солнце, делался все ярче и ярче, словно солнечный свет мешал ему проявить свою сущность.

Летчик расстелил большое махровое полотенце и, вытащив из корзины, стоявшей тут же, рядом с костром, три бутылки водки, сначала поставил их на полотенце, но потом, решив, что они стоят недостаточно устойчиво, мягко уложил их. Из этой же корзины он вынул несколько пучков редиски и зеленого лука и разбросал их вокруг бутылок, как бы смягчая оголенный смысл алкоголя.

Подошли девочки с хлебом, с тарелками и мисками. Пока хозяин разливал уху, подошли и женщины, уже одетые. Хозяин нашел черпаком в кастрюле скорпиона и, стряхнув его в тарелку Сергея, сказал:

— Кушай мясо врага.

Сергей взял в ложку разваренное тело скорпиона, поднес ложку ко рту и, несколько раз сильно подув в нее, отщипнул, вернее отсосал губами несколько ломтей разваренного мяса. Все с любопытством ждали, что он будет испытывать. Сергей ничего не испытал: мясо было невкусное.

— Ну как? — спросила жена летчика.

— Невкусно, — сказал Сергей.

Летчик открыл одну из бутылок и налил всем, кроме детей, по полстакана водки. Жена Сергея отказалась было пить, но в конце концов и ей он символически налил на самое донышко.

— Ну что, поехали? — сказал хозяин, подымая стакан с водкой.

— За вашу удачную рыбалку, — сказала жена летчика.

— Ну, не совсем удачную, — поправил хозяин, кивнув на Сергея. — Лучше выпьем за боевое крещение.

Все выпили за боевое крещение Сергея, и сам он, выпив за свое боевое крещение, почувствовал себя лучше. Ему стало просто хорошо.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила жена.

— Очень хорошо, — сказал Сергей, хлебая душистую уху и кусая хлеб.

— Наверное, скорпион уже действует, — сказал хозяин, улыбнувшись. Считалось, что противоядием от яда морского скорпиона служит его собственное мясо. Разумеется, Сергей этому не верил.

— Скорее водка, — улыбнулся Андрей Таркилов одними глазами.

— Да, водка — великое лекарство, — сказал старик Сундарев, медленно, по-стариковски поднося ложку ко рту. После первой порции водки водянистые глаза старика стали оживать, и он, до этого безучастный ко всем сидевшим на берегу, теперь стал с некоторой теплотой оглядывать окружающих. Он сидел в одних брюках. У него было высокое тело, прямые плечи и седовласая петушинная грудь, придававшая облику старика некоторую настырность. Длинные руки его кончались огромными, хорошо разработанными кистями, — следствие многолетней работы руками. Когда-то он был художником, но уже многие годы жил тем, что чинил ружья окрестным жителям, делал ножи и металлические браслеты, пользовавшиеся у приезжих женщин немалым успехом.

Они выпили еще по два раза, и всем стало хорошо от морской свежести, от вкусной густой ухи, от водки. Какая-то женщина, противного вида, с еще более противной стайкой тонконогих шпичев, вышла гулять на берег.

Каждый раз, проходя вместе с собачками мимо компании, она, если ее проход совпадал с поднесением стаканов ко рту, отворачивалась, как от оскорбительной непристойности. Если какая-нибудь из этих лилипутских собачек приближалась к ним, она ее строго отзывала, голосом показывая, что предохраняет собачку от нравственного падения.

— Пойду кошек накормлю, — сказал старик Сундарев и, подняв тарелку, на дне которой лежало много разваренной рыбы, пошел к своему дому. «Похоже, подумал Сергей, — что алкоголь возвратил его к человеческим обязанностям».

Всю эту неделю Сергей присматривался к старику Сундареву. Старик присматривался к его жене. Сергей это заметил. Каждое утро, когда они приходили купаться, он садился неподалеку и наблюдал за нею, все такой же — в засаленных брюках, без рубашки, худой, длинный, с могучими кистями рук и петушиной грудью.

Сергею думалось, что в этом старике есть какая-то правда, которая помогает ему жить, придает ему моральную и отчасти даже физическую прочность. Он с любопытством приглядывался к нему. Ему хотелось разглядеть какие-то конкретные признаки его житейской мудрости. Но до сегодняшнего вечера поближе познакомиться с ним не удавалось.

— Видишь эту женщину с собачками? — кивнул Володя.

— Ага, — сказал Сергей и посмотрел на нее. Собачки так и петляли вокруг нее.

Сергей знал, что это жена знаменитого доктора Каледина. Этот доктор лечил своих пациентов пчелиным ядом, и, видимо, лечил удачно. Пациенты записывались к нему за несколько месяцев до приема. К нему приезжали лечиться не только изо всех районов побережья, но иногда даже из Москвы.

Жил он в доме старика Сундарева, вернее, в его бывшем доме. Он откупал у него год за годом по комнате, и сейчас старик ютился в маленькой комнатушке, в сущности давно купленной доктором. Это все и то, что доктор лопатами гребет деньги, Сергей уже слышал.

— Она жена Каледина, ей достанутся все его деньги, — сказал Володя с каким-то комическим сожалением. О деньгах доктора говорилось, как о бедной сиротке, которая после смерти отца может пойти по рукам.

— Ну и что? — сказал Сергей.

— А ведь тайну этого лечения старик Сундарев привез из Индии, а потом уже здесь научил Каледина... У них даже патент выписан на обоих.

— Ему слишком нравилась тогдашняя жена Каледина, — сказал Андрей Таркилов, — вот они и поделились: тот женой, а этот тайной пчелиного яда.

— Я это к тому говорю, — продолжал Володя, разливая водку, — что мог бы, раз ему так подфартило с этим пчелиным ядом, немножко поделиться и с нашим стариком.

Сам старик в это время подошел и сел рядом с Андреем. Он уже уловил, о чем шла речь, и, взяв из рук Володи стакан, доброжелательно прислушивался.

Сергей все-таки никак не мог понять, почему доктор должен был делиться своими деньгами со стариком.

— А что, старина, — обратился Андрей Таркилов к Сундареву, — небось, обзаведись Каледин с самого начала такой женой, не стал бы ты ему раскрывать индийские тайны?

— Не стал бы, — согласился старик таким тоном, что все рассмеялись.

— А куда делась та жена? — спросил геолог из Тбилиси.

— С той он разошелся, — сказал старик Сундарев и, вздохнув, добавил: — Бросила она нас... Выпьем за нее.

Все рассмеялись, и Сергей вместе со всеми выпил за неведомую жену доктора. Настоящая жена доктора, словно услышав этот оскорбительный тост, хотя услышать его никак не могла, демонстративно направилась к воротам своего дома, окруженная своими стекающимися и растекающимися собачонками. Сергей не любил слишком маленьких собак, они ему чем-то напоминали крыс.

— Эту он взял как затычку к своим деньгам, — сказал Володя, нюхая хлеб после выпивки.

— Да она и его заткнула как следует, — добавил старик. Усмехнувшись, вспомнил: — Я ему говорю, дай, мол, пропить хоть часть твоих денег. Ведь сдохнешь — все останется этой мымре.

— А дети есть? — спросил геолог.

— Дети взрослые... Они давно ушли с матерью и с ним не общаются, — сказал Володя.

Тут старик Сундарев стал толково разъяснять, исходя из того, что доктор уже имеет миллион рублей (в старых деньгах) и что проживет он никак не больше чем десять лет, при жалком состоянии его здоровья, а ему уже шестьдесят... Выходило, что ему прямой резон передать деньги старику Сундареву.

В этих рассуждениях было много скрытого комизма, учитывая, что старик был явно лет на десять старше доктора, а говорил о нем как человек, которому жить и жить, а тому ничего не остается, как ложиться и помирать.

На тему о богатстве доктора всласть говорили еще с полчаса, ибо, как заметил Сергей, ни о чем в компании так не любят поговорить, как о чужих деньгах.



Володя предложил в один из ближайших дней поехать в горы. Сравнительно недалеко от озера Рица есть замечательное озерцо, еще не открытое туристами. Само озерцо, по словам Володи, полно форелью, а вокруг пихтовые и тисовые рощи неземной красоты.

Все так увлеклись планами предстоящей поездки на горное озеро, что не заметили, как появилась жена Володи.

— Добрый вечер, кутилы, — сказала она, останавливаясь над ними.

— Добрый вечер, — зашумели все в ответ, теснясь и уступая ей место у костра. Но она не села, а продолжала стоять, улыбаясь бледной улыбкой очень усталого человека.

Сергей невольно как-то сопоставил выражение цветущего здоровья сидящих у костра, особенно женщин, с выражением обескровленного, посеревшего лица жены Володи, целый день проведенной в раскаленной кухне, и ему стало как-то стыдно. Особенно неловко ему было за этот разговор о романтической поездке в горы, может быть потому, что она явно не могла принять участие в этой поездке, и значит, как сейчас ему казалось, само мероприятие носило оттенок предательства по отношению к этой женщине.

— Мамоцка! — вскрикнула младшая девочка и, словно почувствовав все, что почувствовал Сергей, вскочила с места и, привстав на цыпочки, поцеловала мать в самые губы. И эта прильнувшая к матери крепышка, ее закинутая головка, ее напряженная спинка, ее замершие локотки, словно прислушивающиеся к поцелую, и сам поцелуй, словно вливающий силу и свежесть в губы матери, длился несколько секунд.

Наконец мать, мотнув головой, оторвала свои губы со словами:

— Ну что ты виснешь на мне, я же устала.

Но в это же мгновение Сергей заметил, что в лице у нее появилось какое-то неуловимое посвежение, глаза ожили...

— Садись со мной уху есть! — предложила девочка. — А я сочинение написала, а дядю Сережу скорпион ударил.

— Ладно, садись, — сказал Володя и, усадив рядом жену, налил всем водки.

— Женя, — обратилась мать к старшей девочке, — что ж вы миски вынесли, неужели не могли тарелки достать?

— Не имеет значения, — сказал Володя и кивнул на стакан, налитый жене. — Выпей!

— Нет, нет, — замотала она головой, но под взглядом мужа взяла стакан и добавила: — У нас и рюмок достаточно...

Геолог из Тбилиси предложил выпить за хозяйку дома и сам поднял за нее довольно красноречивый тост, причем Володя слушал его склонив голову, с выражением кроткой покорности.

По словам геолога получалось, что все, что здесь есть: и дом, и дети, и этот участок земли, — все это держится на жене Володи. И сам Володя, время от времени покорно кивая, подтверждал, что все обстоит именно так, как говорит геолог.

Допивая водку, Сергей заметил, что из ворот одного из соседских домов вышел старик с овчаркой и направился к морю. Через мгновение Вулкан, выскочивший на пляж, отбрасывая лапами гальку, мчался к этой овчарке.

— Вулкан! — крикнул хозяин и, забыв свою покорность и застенчивость, как подброшенный пружиной, рванулся в сторону собаки.

Вулкан налетел на овчарку. Старик, пытавшийся оттянуть свою собаку за поводок, упал. Вулкан с налету свалил овчарку и стал ее грызть. Через мгновение обе собаки вскочили и, встав на задние лапы, как борцы, повисли друг на друге. И, еще вися друг на друге, ухватив друг друга за холки, сползли на передние лапы.

Тут подбежавший Володя и хозяин овчарки с обеих сторон, каждый ухватив свою собаку за задние ноги, попытались оттянуть друг от друга. Но ничего не получалось. Получалось довольно комическое зрелище: обе собаки почти висели в воздухе, продолжая держать друг друга за холки.

— Ведро! — вдруг крикнул Володя, обернувшись.

Сергей схватил ведро, стоявшее у костра, и, выплеснув из него остатки воды, еще не понимая, зачем оно понадобилось Володе, помчался к нему.

Володя, схватив ведро, кинулся к морю и, черпанув воды, вылил ее на собачьи головы. Собаки продолжали держать друг друга за холки, как бы прислушиваясь к действию своего и вражеского прикуса. Несколько раз Володя выливал на их головы морскую воду, но они молча, в блаженном оцепенении злобы продолжали держать друг друга.

— Давай их в море, — предложил хозяин овчарки. Оба снова ухватились за задние ноги собак и, с трудом приподняв эту провисшую под тяжестью голов гирлянду ненависти, вошли в воду.

Теперь они стояли в воде почти по бедра.

— Раз! — сказал Володя и слегка откатнул собак.

— Два! — Второй, более широкий качок. Старик напряжился, едва удерживая ноги своей, собаки.

— Три!

Тяжело мотнувшись, собаки рухнули в воду и скрылись в ней. Через несколько секунд они вынырнули отдельно друг от друга и, одновременно отряхнув головы и не замечая друг друга, поплыли к берегу.

— Как только выйдет, хватай за поводок! — крикнул Володя старику, и, видно, крикнул вовремя. Как только собаки вышли из воды, они ринулись друг на друга, как боксеры после гонга. Но старик успел ухватить свою собаку за поводок, а Володя за задние ноги своего Вулкана. Пока старик гнал и волочил свою собаку, Володя с большим напряжением удерживал своего волкодава за задние ноги. Как только захлопнулась калитка за овчаркой, обеих собак словно прорвало, они бешено залаяли друг на друга, и было похоже, что каждая доказывает, что победила именно она.

Володя отпустил свою собаку и стал гнать ее во двор. Он загнал ее во двор, закрыл калитку на шеколду и, на ходу поругивая жену за то, что она забыла закрыть калитку, вернулся на место, снял брюки, выжал их и, продолжая ворчать на жену, уложил их у костра.

Жена все это время смущенно улыбалась, а теперь, когда он в одних трусах и майке уселся у костра, сказала:

— Пойди надень другие брюки.

В ответ он сердито отмахнулся, показывая, что все эти неприятности с собаками получились из-за нее.

— Хорошо, что так хорошо все кончилось, — сказал геолог из Тбилиси, подняв свой стакан. Оказывается, он не договорил свой тост, о котором все забыли. Теперь он его продолжил, и Володя, подчиняясь магии застолья, опять придал лицу выражение кротости и благодарности жене.

— Как там мой заказ? — спросил геолог у жены Володи, после того как все выпили.

— Вот-вот привезут, — отвечала жена Володи, неохотно беря из своей миски кусочек рыбы.

— Какой заказ? — спросил Володя и посмотрел на геолога.

— Да так, пустяки, — заскромничал геолог и снова, обращаясь к жене Володи, спросил: — Может, из машины позвоню?

— Не надо, сейчас привезут, — сказала она.

В самом деле, через несколько минут прямо на берег выехала «Волга» и остановилась недалеко от костра. Из машины высунулась мощная голова зевсообразного красавца. Это был главный повар ресторана гостиницы. Геолог и Володя подошли к нему, и он, открыв дверцу машины, подал арбуз, кастрюлю, завернутую в полотенце, две бутылки коньяка и несколько плиток шоколада.

— Что ни говори, — сказала жена летчика, — это они умеют лучше всех.

— Да, — согласилась жена Сергея, — это они делают красиво...

Женщины смотрели сейчас в сторону зевсообразного красавца повара, который, высунув голову из машины, громко

по-грузински спорил с геологом из Тбилиси. Судя по русским репликам Володи (да это понятно было и так), красавца звали принять участие в дружеском ужине, а он отказывался, ссылаясь на какие-то свои дела.

Сергей понял по выражению лица своей жены и жены летчика, что они были бы рады, если бы повар к ним присоединился. Повар, словесно отказывая геологу разделить дружеский ужин, то и дело поглядывал на женщин у костра, давая знать, что, к сожалению, занят, а иначе не стал бы пренебрегать обществом, где сидят столь привлекательные женщины.

Наконец зевсообразный повар включил мотор, послал сидящим у костра воздушный поцелуй, и дал задний ход, и, вовсе высунув из окна свою голову и подставив остающимся свой затылок, еще более зевсообразный, чем профиль или фас, стал выезжать с пляжа.

Фигура геолога, державшего арбуз и коньячные бутылки, и фигура Володи, державшего кастрюлю, как только тронулась машина, по какой-то мистике гостелюбия приняли выражение сиротского одиночества, грустной покинутости. Сами приношения, которые они держали в руках, сейчас излучали грусть, словно неучастие повара в предстоящей трапезе превращало эти дары в языческие жертвоприношения, принесенные на родственную могилу.

Но как только машина зашла за бугор, оба державших языческие жертвоприношения отбросили выражение сиротского одиночества и бодро подошли к костру.

— Давайте есть перепелок, пока они теплые, — сказал Володя и поставил кастрюлю. Присаживаясь у затухающего ко-

стра, он разгреб жар и подтянул к середине костра обгоревшие головешки.

— Я вам сейчас чистые тарелки принесу, — сказала хозяйка и встала.

— Я тебе помогу, — вскочила старшая девочка и побежала за матерью.

Темнота моря уже начинала сливаться с темнотой неба. И только край неба, где зашло солнце, все еще золотился, отражаясь в воде тусклой световой дорожкой. В городе уже кое-где зажигались огни, и они сквозь толщу влажного воздуха сверкали размазанным небрежным золотом. Многоточия огней отмечали уходящую в море пристань.

— Зачем же вы так потратились, — сказала жена летчика и улыбнулась геологу, — нам просто неловко.

— Ради Бога, — сказал геолог и движением руки отвел разговоры на эту тему.

— Надо арбуз в воду положить, — предложил старик Сундарев.

— Знаю, — сказал Володя и, взяв арбуз, отправился к морю.

— Если потеряешь арбуз — не возвращайся, — шутливо пригрозил ему геолог.

— Не первый раз, — отвечал Володя и, войдя в море, втиснул арбуз в упруго сопротивляющуюся воду, и некоторое время видно было, как он нащупывает на дне камни, между которыми он закреплял арбуз.

К его возвращению жена его успела принести тарелки, помидоры и огурцы. Все это она сейчас разложила на полотенце, одновременно призывая не оставаться здесь, а войти в дом.

— Пограничники запрещают зажигать на берегу огонь, — сказала она, — неприятности будут...

— Ничего не будет, не бойтесь, — сказал Володя, подходя к огню и кладя в него сучковатую, разлапую корягу, найденную на берегу, повернув ее так, чтобы удобней занялся огонь.

— Давайте выпьем за наших московских гостей, — сказал геолог, разливая в стаканы коньяк, — тем более что человек был в воде и замерз.

— А вынимать кто будет арбуз? — спросила жена Сергея. Вопрос этот почему-то всем показался смешным, и все рассмеялись.

— К тому времени всем захочется в воду, — сказал Андрей Таркилов.

Хозяйка стала раскладывать перепелок по тарелкам, когда выяснилось, что одной тарелки не хватает, жена Сергея уговорила положить ей с мужем в одну тарелку.

Сергею сейчас было хорошо. Он давно забыл про скорпиона и свою обиду. Ему было приятно, что она сейчас этим предложением напомнила о том, что они близки. И сам ее наивный вопрос об арбузе умилил его, потому что он в нем ощутил неосознанное чувство справедливости, то есть что Володю, который уже дважды был в воде, нельзя снова пускать за арбузом.

Все принялись за еще теплых перепелок, раздирая их руками, высасывая жир во время надкуса, с чмоканьем и хрустом переламывая их необыкновенно вкусные косточки. Сергею казалось, что он никогда ими не наестся, но, приступая ко второй, он почувствовал, что явно сбавляет темпы.



Какие нежные кости, подумал Сергей в это время, прислушиваясь к хрусту косточек во рту. И вдруг музыка каких-то строчек, связанных с тем, что он сейчас подумал, мелькнула у него в голове. Но каких, подумал он, никак не припоминая эти строчки и в то же время по тревожному чувству, охватившему его, понимая, что это важные для него строчки. Но разве могут быть важные для меня строчки, подумал он, связанные с поеданием перепелок или другой дичи? Он ничего не мог припомнить, но чувствовал, что в голове застрял какой-то обрывок поэтической мелодии.

«Нет, — подумал он, — надо припомнить все, как было. Я приступил к третьей перепелке, отломил ей лапку, отправил в рот и... ну да! и подумал: какие нежные кости. Что же это означает? Нежные кости... Их нежные кости... Точно!

*Их нежные кости всосала грязь...*

Теперь он ясно вспомнил. Это было знаменитое стихотворение о революционном терроре. В юности оно ему беспредельно нравилось своим непонятным (тогда казалось — понятным!) могучим пафосом готовности идти сквозь любую кровь и грязь во имя высокой революционной цели.

— Сергей Тимурович, вы меня слышите?! — услышал Сергей сквозь пелену раздумья и, вздрогнув, опомнился.

— Да!

— ...Скажите, чем объяснить, что среди кавказцев столько интересных мужчин? — спросила жена летчика и посмотрела на геолога.

— Не знаю, — ответил тот, ковыряясь в зубах спичкой, и, усмехнувшись, добавил: — Один наш старый писатель сказал, что это признак вырождения нации.

— Значит, нация, в которой мало красивых мужчин, расцветает? — спросила она, бросив иронический взгляд на мужа, хотя муж ее выглядел вполне прилично.

— Не знаю, — холодно ответил геолог, показывая, что не собирается никаким образом впутываться в ее отношения с мужем.

— А вы как историк что нам скажете? — обратилась она к Сергею.

Ничего не замечая вокруг, Сергей смотрел на огонь, думая о чем-то своем. Жена слегка толкнула его в бок, одновременно отвечая на улыбки компании улыбкой, призывающей к легкому снисхождению по отношению к странностям этого человека. Ведь вот она ничего, привыкла к этим странностям, живет.

— Сергей Тимурович, вы меня слышите? — услышал он вновь голос жены летчика.

— Откуда я знаю, — ответил Сергей, едва сдерживая вспышку бешенства. Как и все люди, склонные отдаваться работе воображения, он не любил, когда его возвращали к действительности.

Да и как ответишь на этот вопрос, где статистика? Впрочем, и без статистики это видно. Просто яркость черт, свойственная южным народам, придает им мужественный вид, а мужественный вид — это уже почти вся красота мужчины. И наоборот, яркость черт делает женщин-южанок менее привлекательными, если они, эти черты, недостаточно пропорциональны.

— Оставим мужчин, мы не древние греки, — сказал старик Сундарев, — лучше выпьем за женщин...

— А что вы делали в Индии? — спросил Сергей у старика Сундарева.

— Что я делал? — повторил тот, задумавшись. — Я был молод, богат, изучал искусства Востока...

— И его бардаки, — вставил Андрей Таркилов, который время от времени подшучивал над стариком. Все, кроме старика, рассмеялись.

— Если хочешь, и бардаки, — отвечал старик, ничуть не смущаясь.

— Пошли, девочки, — сказала жена Володи, вставая, — сколько я знаю Николая Николаевича, он все про одно и то же...

— Мама, я останусь, — крикнула младшая, — я знаю, что такое бардак — это беспорядок!

Тут уж все расхохотались, улыбнулся и старик Сундарев.

— Правда, дядя Сережа? — обратилась девочка к Сергею.

— Точно, — ответил Сергей, — но тебе все-таки пора спать.

— Нет, я останусь, — упрямо топнула ногой девочка.

— А ну, цыц! — крикнул Володя с той напускной строгостью, с которой любящие выпить родители останавливают детские шалости, когда эти шалости грозят испортить застолье.

— Спокойной ночи, — сказали девочки дружно, и маленькая, с неохотой оторвавшись от уюта костра, тут же стала создавать новый уют возле мамы. Она почти волочилась, тыкаясь головой под мышку матери и все обнимая ее другой,

соскальзывающей рукой. Смолк гравий под их ногами, стукнула калитка, и они исчезли в темноте.

Стало тихо. Все молчали в ожидании рассказа старика.

— В одном из александрийских заведений, — начал он, — я влюбился так, как никогда в жизни не влюблялся...

Старик опять замолчал и затянулся сигаретой, озарившей его лицо и прямые голые плечи.

— Теплоход, — сказал геолог, и все посмотрели на море. В темноте в сторону пристани двигалась огромная гроздь огней.

— «Адмирал Нахимов», — уточнил Володя и разлил коньяк.

— Нет, это слишком горестная история, — сказал старик Сундарев, отпив свой коньяк, — лучше пойдемте смотреть картины к доктору... У него целая галерея, там и мои работы...

Кто-то сказал, что уже, наверное, поздно идти к доктору, но тут старик Сундарев заупрямился и сказал, что для него никогда не поздно.

Володя вытащил из моря и принес мокрый, отражающий блики костра арбуз. Каким-то неуловимым для Сергея способом он его так разрезал, что арбуз распахнулся, как огромный тропический цветок. Сергей подумал, что в жизни есть множество мелких вещей, которые украшают ее и которые Сергей почти никогда не узнает.

Далекий прожекторный луч, скользнув по воде, пошел берегом и вдруг остановился на компании. Геолог из Тбилиси протянул ломоть арбуза к прожектору и сказал:

— На, держи, дорогой!

Все рассмеялись, а луч заскользил дальше, словно удивившись своего чрезмерного любопытства.

Выпили по последней. Володя погасил огонь, засыпал угли песком, сложил в ведро все, что осталось от еды и питья, и отправился к себе домой.

Огромная красная, словно еще слабо раскаленная луна вышла из-за гор, размазав по воде червонную дорожку.

Все прошли на участок старика Сундарева и поднялись по лестнице на второй этаж к парадному входу. Приход их был замечен доктором, и он, приоткрыв закрытую на цепочку дверь и признав Сундарева, некоторое время не открывал дверь, все удивляясь, что они так поздно пришли смотреть картины.

— А эти кто? — бесцеремонно спросил он, показывая на компанию. Тут старик Сундарев довольно сердито ему объяснил, что это его друзья.

Наконец хозяин дома зажег свет в передней и открыл дверь. Маленький щуплый человек в пижаме стоял в дверях, пропуская их вперед с таким видом, словно кто-то, не известный никому человек, мог пройти сюда под видом одного из друзей Сундарева.

Лай собачонок доносился из-за дверей комнат. Оттуда же донесся дребезжащий голос хозяйки, предлагающей всем разуться. Все разулись, вернее, скинули босоножки. Все, кроме старика Сундарева, который и так был босой.

Вошли в большую комнату, ярко освещенную люстрой. Полы, видно, были недавно натерты, потому что стоять на них было прохладно.

Стены комнаты были увешаны картинами довольно известных на Кавказе художников, малоизвестных и вовсе никому не известных. Хозяин вкратце рассказывал историю некоторых картин.

Почти все картины, особенно сундаревские, показались Сергею талантливыми, и он оттого, что не ожидал ничего стоящего, обрадовался, да и, находясь под хмельком, преувеличивал свои впечатления. К тому же он почувствовал симпатию к этому маленькому доктору в пижамке, который множество лет подряд скупал картины бедных художников и тем самым помогал им, то есть становился в глазах Сергея человеком идейным, а не просто зашибателем денег.

И оттого, что он о докторе раньше плохо думал, Сергей, чувствуя свою вину перед ним, хотел как-нибудь загладить ее, и, когда доктор очутился рядом, Сергей, кивнув на миниатюру, висевшую поблизости (заметить и не обидеть самого маленького), спросил:

— А это чья работа?

— Это так, мазня, — кивнул доктор небрежно и пошел дальше.

Тут Сергей не на шутку обиделся на доктора и стал вглядываться в миниатюру, ища в ней тайные признаки талантливости, и почему-то не находя их, и от этого еще больше сердясь на доктора.

Он оглядел комнату и увидел доктора вместе со стариком Сундаревым стоящим в углу и объясняющим какую-то картину. У жены Сергея и у жены летчика был тот глубокомысленный

ленно-доброжелательный вид, какой бывает у женщин, когда им объясняют что-то непонятное и ненужное им, а они делают вид, что это им понятно и важно.

Тут Сергей заметил стоящего посреди комнаты Андрея Таркилова, и что-то необъяснимое в его длиннорукой широкоплечей фигуре его привлекло. В его позе чувствовалась какая-то ироническая громоздкость, как если бы он стоял на полу, а вокруг него лежали яйца, которые он мог раздавить неосторожным движением. Его поза выражала шутовское обещание не делать этого неосторожного движения. Сергей подошел к нему.

— Он говорит, что это мазня, — тихо сказал Сергей, кивнув на миниатюру.

Таркилов с тем же выражением своей опасной громоздкости взглянул на миниатюру и тихо ответил Сергею:

— Да тут все мазня...

— Как так, — поразился Сергей, уже ничего не понимая, — а Сундарев?

— И Сундарев, — шепнул ему Таркилов, как бы радуясь возможности поделиться знанием того, чего Сергей не знает. Теперь Сергей понял, что громоздкость позы Таркилова выражала его внутреннее отношение к этим картинам. Мол, все это такое трухлявое старье, что одного неосторожного движения достаточно, чтобы все рассыпалось в прах. Мол, достаточно кашлянуть, чтобы холсты осыпали свои краски, как яичную скорлупу. — Да нет, — шепотом продолжал Таркилов, — старик, конечно, способный человек. Но он из тех людей, которые делают все, за что берутся, и потому ни в чем не достигают совер-

шенства... Настоящий художник — это человек, для которого творчество — единственный способ перегрызть капкан... Нет, тут есть способные вещи — вон, а вон еще...

Теперь Сергею казалось, что Таркилов, продолжая стоять в комнате, где повсюду разложены яйца, кивая на них головою, как бы приговаривает: «Вот тухлое, а вот еще тухлое, но на яичницу, конечно, наберется...»

Потом он стал противоречиво объяснять, что школа какая-то у этих художников есть, да еще дай Бог какая, у некоторых... Хотя, с другой стороны, невыносимое подражание европейскому модерну начала века. Каждым новым утверждением он как бы накладывал на свой рассказ противоречивые краски и был в противоречиях убедительным. Сами его противоречия, чувствовал Сергей, были следствием духовной силы и какого-то жесткого чувства справедливости, которое не хочет упускать ни одного оттенка.

— Пойдем к нему, я тебе покажу замечательную вещь старика, — вдруг сказал Таркилов.

На молчаливый вопрос Сергея, мол, как быть с остальными, тот махнул рукой:

— Потом придут...

Они тихо вышли из комнаты, и, когда проходили прихожую, на них из-за дверей потявкали собачки.

Они спустились вниз, и Андрей Таркилов, открыв дверь, пропустил Сергея вперед. Необычайной силы запах затхлости пахнул на Сергея, и он увидел, как засветились в темноте фосфоресцирующие глаза. Они светили на разной высоте, и это было так непонятно, и запах затхлости



был такой сильный, что Сергей невольно отпрянул к дверям. Но тут Таркилов включил свет, и Сергей увидел множество кошек. На подоконнике, на полупустых книжных полках, на спинке кресла, в самом кресле и на столе сидели кошки. Они сидели неподвижно и неподвижными глазами смотрели на вошедших.

После того как воцарился свет, запах затхлости как будто уменьшился. Казалось, хаос запустения, одичания, объясняя причину вони, уменьшал сам запах. Незнание причины, подумал Сергей, превращало в темноте вонь в мощную необъяснимую силу.

В комнате стоял топчан, обеденный стол с электрической плиткой, залитой спекшимися кофейными подтеками, и турецкий кофейник, тоже покрытый коричневой коркой.

Кроме обеденного стола был еще один, рабочий стол, заваленный инструментами, среди которых обращали на себя внимание маленькая наковальня, тиски, несколько кинжалов без ножен и ножен без кинжалов.

Прямо на противоположной стене висела картина, на которую кивком головы Таркилов обратил внимание Сергея.

Картина изображала горное озеро, увиденное сквозь заросли мощных ядовито-зеленых растений. Казалось, зелень всеми своими мясистыми листьями, всеми шипами ежевичных плетей, всеми пикообразными бутонами цветов пытается прикрыть, защитить от человеческого глаза голубой кристалл озера, сверкающий в ее разрывах.

Картина производила сильное, тревожное впечатление.

— Стоящая вещь, — сказал Андрей Таркилов, и Сергей заметил, что тот заново и с удовольствием любит ее.

«Не на это ли озеро собирался повезти нас Володя», — подумал Сергей неожиданно для себя и еще глубже почувствовал картину. Таркилов объяснил ему особые достоинства этой картины. К числу особых достоинств он отнес то, что картина вся подчинена единой идее и в то же время каждая ее часть, каждый ее кусок живописно ценен сам по себе, и оттого, что он ценен сам по себе, он еще глубже (бескорыстно, ввиду собственной ценности) служит выражению определенной идеи.

Через некоторое время пришли и все остальные гости во главе с хозяином. Старик Сундарев предложил сварить кофе, но гости отказались, может быть из-за запаха затхлости, прочно стоявшего в комнатенке. Во всяком случае, жена Сергея почти не могла скрыть брезгливого выражения лица. Особенно заметным это выражение стало, когда одна из кошек вскочила хозяину на плечо и, громко мурлыча, стала тереться головой о его щеку.

Кто-то сказал, что пора спать, и все, оживившись, пошли к дверям. Старик Сундарев, сбросив кошку с плеча, проводил всех до калитки и остался с Андреем Таркиловым, который собирался у него заночевать.

Геолог, живший в одном из соседних домов, пошел к себе, а Сергей и летчик вместе со своими женами вернулись в дом Володи, не забыв тщательно закрыть калитку, чтобы Вулкан не выскочил на берег.

Сергей с женой вошли в свою комнату, разделись и молча легли. Кровати их стояли рядом, почти вплотную придвину-

тые друг к другу. В постели он снова почувствовал слегка пульсирующую боль в ноге, но, еще не успев ее осознать, вслушаться в нее, он провалился в глубокий, но, как потом оказалось, короткий сон.

Он не помнил, когда это случилось, он только помнил, что случилось это в полусне. Он протянул руку к ее кровати и, не открывая глаз, уверенно нашел в воздухе ее руку, протянутую к нему. Лаская ее руку, не выпуская ее из своей и не удивляясь тому, что и она ему в это же мгновение протянула руку, он перелег на ее кровать, и тело его стало наполняться медленной, не прерывающей пленку сна сладостью.

И он уже тело свое ощущал, как ладонь, сжимающую огромную гроздь винограда. И хотелось эту гроздь просто держать в руках, слегка перебирая пальцы и слегка надавливая на нее, любясь в полусне ее сказочной огромностью, наслаждаясь ее зрелостью и еще больше наслаждаясь предчувствием главного наслаждения. И хотелось, продлевая это предчувствие, держать и держать солнечное ядро нежности целующимися губами, все еще мучительно медля, словно отгрызая от грозди самые незрелые, но все равно уже вкусные ягоды, наконец медленно и сильно нажать на всю гроздь и выжать ее до конца.

И уже когда все случилось, сознание его окончательно прорвало пленку сна и трезво высунулось из отхлынувшей страсти. Он открыл глаза и увидел ее, все еще спящую, только еще глубже спящую, чем раньше, и прекрасную в мертвенном свете луны, стоящей прямо в окне,

и лицо ее в этом мертвенном свете сейчас казалось резким и трагическим.

Он почувствовал, что голова его совершенно ясна и он помнит то прекрасное, что было сейчас и уже улетучилось, и что бывало у них не раз, хотя и не так часто, как хотелось бы. Это приходило само, и никогда нельзя было предугадать, когда оно придет. Можно было только сравнивать с тем, что было обычно, и они, сравнивая это с тем, что было обычно, сознавались, что даже в лучшие минуты не бывало так хорошо, как во время этой близости в полусне.

Неужели, подумал он, отсутствие сознания и делает человека счастливым? Ну да, сказал он себе, степень наслаждения жизнью и есть степень отсутствия сознания. Может быть, моя влюбчивость в юности, подумал он, была попыткой уйти от сознания? Нет, это было другое. Это было страстное желание найти одну. И сколько сил отдано этому, сколько напрасных сил! Но неужели полнота наслаждения и есть единственное содержание любви, единственная правда, а все остальное — самоотверженность, благородство, бескорыстие — только утонченная плата за это?!

Нет, не может быть, сказал он себе. Вот это было и улетучилось, как будто ничего не было, а обида осталась. Ведь, в сущности, она меня сегодня предала. Это было даже хуже, чем предательство. Ведь предатель осознает, что он переходит какую-то грань. Она даже не осознала это. Она услышала веселый смех, доносящийся с пляжа, и ее слепая душа потянулась туда, не в силах соединить и сопоставить страдание близкого человека с этим взрывом веселья и правильно выбрать свое место между ними.

Подумать только, сказал он себе, что это та самая женщина, которая когда-то так его любила, что и после замужества в первое время почти не могла есть в его присутствии. Куда все это девалось?

Но и тогда она уже была такой, жестко сказал он себе, только тогда я был источником веселья. Тогда я был неиссякаемым источником веселья, подумал он мрачно.

Он вспомнил далекий случай, когда они только поженились и к ним приехали ее родители. Так как всем жить в одной комнате было неудобно, они сняли комнату для родителей недалеко от их дома.

В то утро у ее отца случился сильный сердечный приступ, и Сергей вызвал институтского врача, а потом ушел на лекции. Через три часа, вернувшись на квартиру, где жили ее родители, он застал там ее отца, лежавшего в кровати, рядом с ним была его жена, а дочери не было.

— А где же Лара? — спросил он.

— А сюда заходил ваш товарищ, — отвечала ему мать, — и они пошли к вам... Вы к себе не заходили?

— Конечно, нет, — сказал он сдержанно, но чуть не задохнувшись от возмущения.

Он вышел из комнаты и, продолжая задыхаться от возмущения, пошел на свою квартиру, почти уверенный, что увидит там что-то ужасное. Но ничего ужасного он там не увидел. Она сидела в комнате, а приятель его стоял в дверях, словно показывая квартирной хозяйке, что они не уединились здесь.

— Почему ты здесь? — спросил Сергей, изо всех сил сдерживаясь.

— Мы тебя ждем, — отвечала она спокойно, — сейчас я вам приготовлю закуску.

— Ты ведь должна была быть возле больного отца, — сказал он, все еще возмущаясь.

— Но ведь там мама, Сережа, — сказала она недоумевая. — Разве ее там нет?

— Мало ли... Могла понадобиться твоя помощь, — отвечал он, уже успокаиваясь и усаживаясь за стол и все-таки думая краем сознания, что у нее в голове не все в порядке.

Через несколько минут он сам уже с приятелем нажимал на водку, позабыв о том, что случилось... Нет, в глубине души его все-таки осталось недоумение даже не по поводу случившегося, а по поводу того, что она, пожалуй, ничего не поняла.

Теперь ему припомнился другой случай. Неожиданно к ним вечером явился земляк Сергея, тот самый учитель-алкоголик, которого он знал по причалу, где у них у обоих стояли лодки.

Как тот узнал его адрес, Сергей так и не выяснил. По-видимому, кто-то в Мухусе ему дал его.

Сначала все было нормально, хотя Сергей с самого начала понял, что земляку негде ночевать и он собирается у него остаться.

Все казалось нормально, потому что Сергей так душевно устал до этого, что просто-напросто отключился от своих последующих действий, о которых он уже тогда смутно догадывался.

Он был душевно усталым оттого, что они с женой до этого сильно повздорили и только-только воцарился какой-то не-

здоровый, усталый мир, и тут явился этот учитель, очень плохо одетый и даже слегка пованивающий, как долго не мывшийся, мужчина, с этой нелепой бутылкой старки, которую он вытащил из плаща и поставил на стол даже с некоторой важностью, как плату за предстоящее гостеприимство.

Сначала они немного поговорили о Мухусе, общих знакомых, о рыбалке. Потом гость рассказал о цели своего приезда, о том, что он хочет пожаловаться в министерство на притеснения со стороны местного педагогического начальства, которое лишает его часов, загоняет в вечернюю школу и так далее.

Потом жена Сергея приготовила чай, и они выпили чаю, и перед самым чаем гость сделал попытку открыть бутылку с водкой, но Сергей не дал ему открыть эту бутылку, уже понимая, что он не даст ему остаться ночевать, и понимая, что распить сейчас с ним бутылку водки, а потом выгнать его будет слишком чудовищно.

И гость, тоже почувствовав что-то неладное, очень упрашивал его, пытался открыть свою бутылку, но под молчаливым взглядом жены Сергей под всякими предложениями вынудил его оставить бутылку в покое, и тот наконец оставил бутылку и во время беседы и чаепития несколько раз бросал на нее болезненный взгляд, потом умоляюще глядел на Сергея, как бы прося его разрешения хотя бы вернуться к этой теме, хотя бы получить право выставить новые аргументы, быть выслушанным, но Сергей и этого права ему не дал.

И хотя жена молчала и ничего не говорила, он понимал, как ей будет неприятно спать в одной комнате с этим полу-

бродягой-учителем. Да у них и кровати второй или кушетки в комнате не было. Вернее, была одна кушетка, на которой они сами спали.

Положим, они легко могли занять раскладушку у соседей по коммунальной квартире. «Но с какой стати? — раздраженно думал Сергей. — Я с ним в Мухусе никогда за одним столом не сидел, у него в доме не бывал. С какой стати я должен укладывать его спать рядом с нами... И что ему жаловаться, ему надо быть благодарным, что его все-таки еще держат на учительской работе. Если бы хоть была еще одна комната, а то здесь он будет храпеть рядом с нами...»

Он не додумывал и не договаривал своих мыслей даже про себя. Вернее, он сам того не осознавал, что решимостью выставить гостя за дверь он целиком обязан жене, хотя она ни слова не сказала, ни полупамятка не бросила, что недовольна его гостем.

Наоборот, она была услужливей и доброжелательней, чем обычно. Сама того не осознавая, она была рада этому гостю, неожиданно ввалившемуся в их дом. Она была рада тому, что, вероятно, это алкоголик, что он явно давно не мылся, что, конечно, Сергей уложит его спать рядом с их супружеским ложем, и тот будет громко рыгать во сне или даже нецензурно выражаться.

Этот гость был прекрасной иллюстрацией к теме их раздора, заключавшейся в том, что Сергей без разбору дружит с кем попало (это было ложью, вернее, диким преувеличением), одалживает деньги людям, которые никогда их вовремя не возвращают (это было верно), не может проявить должного упорства в выколачивании квартиры из института (это было верно), на



которую он давно имеет право. И вот, пожалуйста, случайный гость, и, конечно, с водкой, и ночлег лишнего человека в комнате, где и самим негде повернуться.

Сам того не осознавая, но чувствуя все это и не желая давать жене этого козыря, Сергей не хотел оставлять учителя ночевать и, злясь на себя за это, старался накопить злобу на него, а так как никаких особых поводов он не находил, кроме его уж слишком несвежего вида, он злился на себя, как бы видя правоту жены, которая прожужжала ему все уши, что он не может никому по-мужски отказать в чем-нибудь или по-мужски настоять на чем-нибудь.

И вот теперь, чувствуя нравственную уязвимость своего гостя, он решил на нем продемонстрировать свою мужскую твердость.

— Выйдем покурим, — сказал Сергей после чая, и гость как-то слишком покорно вскочил, чувствуя какую-то надвигающуюся опасность (они уже до этого курили в комнате), потом он бросил взгляд на бутылку с водкой, как бы сказав этой бутылке своим взглядом, что они ненадолго разлучаются, и Сергей вывел его в коридор коммунальной квартиры, а потом и вовсе во двор.

Они закурили под сенью большой развесистой липы, и Сергей, не глядя ему в лицо и довольный окружающей темнотой, сказал своему гостю, что тот должен сам его понять, что у него всего одна комната, что он в этой комнате спит с женой, что она не южанка, как они, и поэтому многого не понимает. Говоря все это, он чувствовал, что все глубже и глубже увязает в какой-то болотной почве, с ужасом выдергивает

ногу, чтобы тут же окунуть ее в еще более смрадную, засасывающую жижу.

— Да что ты, Сергей! — перебил его гость. — Я же понимаю — молодая жена! И хорошенькую же ты отхватил жену! Мне в коридоре поставьте раскладушку, и будет полный порядок!

Теперь отказывать ему было еще трудней, чем вначале. Сергей никак не мог согласиться, чтобы соседи увидели и убедились, что он гостя выставил ночевать в коридор. Часть своего патриархального сознания, если оно у него оставалось, он сумел придушить и отказать гостю в ночлеге, но другая часть еще живого, извивающегося сознания не могла примириться с тем, что нарушенный им закон гостеприимства будет замечен другими.

— И в коридоре нельзя, — сказал Сергей, опустив голову, — соседи будут недовольны...

Было решено, что земляк Сергея пойдет ночевать на вокзал. В гостиницах, конечно, как всегда, мест не было, потому-то он и пришел к Сергею.

Они вернулись в комнату, и земляк его долго, от стыда долго, надевал плащ, вернее, как-то долго громыхал плащом, а потом он пытался уйти, а Сергей ему всовывал его бутылку водки, а тот почему-то заупрямился ее брать, словно она, эта бутылка, самим пребыванием в доме Сергея была осквернена как знак, как символ дружественного застолья. Наконец Сергей сунул ему бутылку, и тот, перестав невыносимо громыхать плащом, вышел из дому. Сергею подумалось, что он опустошит эту бутылку тут же под липой, где они курили и разговаривали, если это можно назвать разговором.

...И если путник останавливался на верхнечегемской дороге возле дома твоего деда и просил у хозяев напиться, то ему выносили кувшин с вином. И если день клонился к закату, путника просили войти в дом и переночевать... И если путник был верхом, его просили въехать во двор, спешиться и остаться на ночь...

Но в чем дело, почему все так получилось?..

И вдруг ему приоткрылась истина, и все, что вызывало его тяжелое недоумение, грусть, чувство роковой ошибки, совершенной когда-то, сразу же объяснилось.

Он понял, что всю юность влюблялся и, наконец полюбив, женился на девушке, в сущности никогда не интересуясь ее душевным обликом.

Нам нравится, думал он, лицо женщины, ее фигура, ее походка, ее смех, мы влюбляемся во все это и снабжаем избранницу теми душевными качествами, которые хотели бы видеть в любимом существе. Но стройные ноги, думал он, которые нам понравились, совсем не обязательно связаны с тем душевным обликом, с тем человеческим характером, который мы считаем родственным нашему.

Он вспомнил товарища своей юности. На год раньше окончив школу и уехав учиться в Киев, он там влюбился в одну девушку и писал Сергею восторженные письма о ней. Потом он написал, что она с матерью едет в Мухус отдыхать и он, Сергей, и еще один его друг должны ее встретить и развлекать до самого его приезда.

Сергей на всю жизнь запомнил то удивление и разочарование, которое его охватило, когда он увидел ее. Маленькая, белобрысая, с двумя тоненькими косичками, она ни-

чем не выделялась в перронной толпе, где он ее увидел, вернее, именно выделялась какой-то подчеркнутой неяркостью.

Позже, когда друг его приехал, он как-то намекнул ему, дал знать, что удивлен внешностью его возлюбленной.

— Ты не знаешь, какая у нее душа, — отвечал его друг, загадочно улыбаясь и нисколько не обидевшись на намек Сергея. Тогда Сергею ответ его показался риторичным. Но ведь не душу же ее ты целуешь, хотел он сказать, но сдержался.

«Насколько же он был одаренней нас, — думал Сергей, вспоминая те далекие дни, — если уже тогда понимал то, к чему я прихожу через столько лет». Сергей сейчас с абсолютной ясностью понял, что друг его юности был одаренней их всех главным человеческим даром — духовной жаждой.

Именно эта жажда заставила его заметить и оценить эту пигалицу, иначе он, парень, на которого уже тогда вешались девушки, как бы ее заметил?

Видно, душа его, думал Сергей, подавала встречным девушкам более тонкие сигналы, чем те сигналы, которые мы подаем встречным женщинам, и, услышав ответ на них от этой маленькой девушки, она, душа его, благодарно ответила любовью и кристаллизовалась в любви.

И подобно тому, думал он, когда нам нравится внешность женщины и мы влюбляемся в нее и, влюбившись, дорисовываем ее духовный облик именно таким, каким мы его хотели бы видеть, подобно этому, когда человек чувствует к женщине душевную близость, он ее малопривлекательную внешность дорисовывает в согласии с обликом ее души. Вероятно,

он испытывает благодарную нежность к ее физическому облику, как хранителю прекрасной души.

А ты, подумал он о себе и почувствовал, как пронзила его волна отвращения к самому себе. Тебя всегда с неудержимой силой влекло к смазливym. Ты к ним относился, как к редким представителям высшей расы, драгоценными вкрапинами, вошедшими в среду обычных людей. И ты их совершенно независимо от сознания искал в театре, в метро, в студенческой аудитории, в поезде, на пляже, на пароходе, и даже у гроба в траурной толпе ты искал и находил представительниц этой якобы высшей расы. Ты к ним тянулся, как мещане раньше тянулись к аристократам. И, несколько раз в жизни дотянувшись, ты обжигался и, проклиная, давал себе слово найти совершенно другой тип девушки, лишенный всего этого вздора, хамства, капризов, душевной пустоты. Самое смешное, что следующая девушка, которая тебе нравилась, казалась скромницей или интеллектуалкой, или работала под тургеневскую барышню.

Смазливym все идет, и они выступают в разных обличьях, в том числе и в обличье женщины, как бы не подозревающей о своей привлекательности. Эти даже хуже, чем так называемые inferнальные женщины, потому что они маскируются под скромниц... Да, inferнальные женщины... В сущности, пошлое определение, романтизирующее зло. Что такое inferнальная женщина? Это привлекательная хамка — вот что такое inferнальная женщина.

Ему показалось, что он очень точно определил сущность роковых женщин, и, как всегда, когда он приходил к точной мысли, это улучшило его настроение.

В сущности, стремление к красоте, подумал он, смягчаясь к себе, заложено в человеке самой природой. Иначе это объяснить невозможно. Это инстинкт улучшения рода, и этот инстинкт вечен, и он стоит над историей, над классами, над всеми социальными перегородками. Иначе сегодняшний человек не мог бы восхищаться Нефертити. Социальная ограниченность человека может создавать те или иные оттенки в понимании красоты, но сущность ее не меняется.

Да, подумал он, наше восхищение красотой и стремление ею овладеть заложено в нас природой, хотя нам кажется, что выбор наш личный, субъективный. Да... Инстинкт улучшения человеческого рода. Интересно, насколько ли он улучшился с тех пор, как существует? Вряд ли... Тем более что красивые женщины как раз меньше всего и рожают теперь... И так как их мало да при этом они рожают меньше остальных, можно прийти к выводу, что род человеческий делается все менее и менее привлекательным на вид. А это, в свою очередь, увеличивает биржевую стоимость привлекательных женщин и приводит к оскудению их душевной жизни... Ведь не душевную жизнь стимулируют восхищенные взгляды мужчин... Мы восхищаемся ими и тем самым все время утверждаем, что они совершенны. Как же они при естественной человеческой слабости могут стремиться к совершенству, если мы своими взглядами все время утверждаем, что они уже сами по себе совершенны?

И ты восхищался ими первый, и не скрывал своего восхищения, и если, влюбившись, ты доходил с ними до дружеской или любовной близости, то это каждый раз приводило тебя

к ужасному разочарованию. А твое разочарование вызывало в них боль, удивление, обиду.

«Ты так хотел познакомиться, и вот мы вместе, так что тебе еще надо?!» — говорил их удивленный взгляд.

«Ах, тебе, сукин сын, на десерт еще надо было души», — могли бы они ему сказать, думал он. И они говорили ему это, но совсем другими словами.

Он вспомнил свою давнюю, не высказанную своему другу остроу: ведь не душу ее ты целуешь. Какая глупость! Что, как не душа или не соучастие души, делает первый поцелуй влюбленных таким прекрасным, что никакие позднейшие изощренные ласки не вспоминаются с такой благодарной нежностью.

Разве это не намек какой-то высшей силы, которая безусловно в нас есть и которую мы условно называем душой? Разве это не намек на то, что она, эта сила, должна дирижировать всем тем, что потом будет между мужчиной и женщиной? Но слишком быстро это нежное прикосновение наполнялось чувственностью, и потом долгое время только чувственность диктовала отношения.

Правда, у некоторых этот дирижер всю жизнь продолжает руководить всем сложным оркестром отношений двух людей. У некоторых, но не у тебя. Ты сам прогонял дирижера, как докучливого соглядата. Или он уходил, чувствуя, что ему здесь нечего делать.

Так почему же потом обязательно наступала такая острая боль, такая тоска, такое разочарование? Ты словно ожидал объявления ведущего программы:

— Следующим номером будет демонстрация прекрасных душевных качеств подружки Сергея Башкапсарова.

Но программа не выполнялась, и это вызывало твою мрачную подавленность или ярость. Потом вы расставались, и рано или поздно ты опять влюблялся, и через некоторое время опять обнаруживалось то же самое.

Подобно пьяному из анекдота, который искал потерянную вещь не там, где он ее потерял, а там, где светил фонарь, ты всегда искал высокую женскую душу под светом смазливого личика. Вернее, даже не искал. Когда тебе нравилась девушка, ты считал недопустимым анализировать и приглядываться к ее душевным качествам. Ты, болван, считал это признаком замаскированной меркантильности. Для тебя это было все равно что интересоваться богатством или общественным положением ее родителей.

Чистота чувственного влечения, его бескорыстие... Идиот! Как странно, подумал он, что я через столько разочарований столько лет пришел к тому, к чему друг моей юности пришел в восемнадцать лет.

Это дар, подумал он, дар, которым я никогда не обладал. У него тоже была первая любовь, такая же неудачная, как у меня, но одаренность помогла ему быстро сориентироваться, и он понял, как надо искать, а ты продолжал свое, и жажда глаз намного опережала жажду души.

Он посмотрел в ее сторону, прислушиваясь к ее ровному, спокойному дыханию во сне. Он знал, что все еще любит ее, и почувствовал долгое немое отчаяние. Он ясно осознавал, что никогда ничего не сможет ей объяснить.



Все их ссоры кончались ее слезами, и в конце концов острая жалость пронизывала его, и он начинал утешать и ласкать ее, и все завершалось близостью, почему-то особенно сладостной. Обычно после этого она засыпала глубоким сном, а он чаще всего лежал, оступев от всего случившегося и никак не понимая, как мог разразиться этот безобразный скандал, и даже не всегда мог припомнить причину, вызвавшую взрыв с его или ее стороны. Иногда у него возникала странная догадка, что все это вызвано тайным эротическим призывом: отбросив их друг от друга ссорой, обострить чувственную нежность сближения.

...Сергей уже задремал и вдруг, еще не понимая, что случилось, услышал прямо над головой катастрофически нарастающий грохот, и грохот этот, словно падая в бездонный колодец и увлекая его в свое падение, с каждым мгновением нарастал. И он уже понял, что это ночной поезд из Тбилиси, и с ужасом осознал, что бежать уже поздно, и налетела грохочущая громада железа, искромсала его тело, и голова его, грубо стукаясь о шпалы, несколько секунд катилась впереди поезда, а потом отскочила в сторону, яростно скатилась с насыпи и затихла в бурьяне.

Поезд прошел, унося с собой вырванный с мясом кусок тишины. И стало еще тише. Сергей окончательно проснулся. И теперь он услышал в тишине мерный грохот приboя. Вспоминая пережитый ужас, он посмотрел на нее. И лицо ее в лунном свете поразило его опять жесткой резкостью черт, их подчеркнутой красотой и неодушевленностью. Грозный, отлично налаженный инструмент эгоизма, подумал он.

Сергей тихо встал и вышел на крыльцо. Луна четко освещала море, пляж, темноту дуги залива. Сильный прибой с тяжелой, медлительной мощью обрушивался на берег. Было безветренно, небо было ясное. И этот тяжелый, ровный прибой внутри тихой безветренной ночи был как бы сновидением и одновременно казался грозным намеком на реальность противоестественных сил.

Вдруг хлопнула калитка со стороны дороги, и Сергей увидел Володю, входящего во двор. Он был одет в черные брюки и белую рубашку, в руке он держал щеголеватую трость, которой он пользовался, когда у него начинала болеть спина. Точно в таком виде он накануне ходил в поселковый Совет за какой-то справкой.

Сергей удивился его появлению и обрадовался, что сейчас перекинется с ним двумя-тремя словами и исчезнет ощущение жуткого одиночества. В то же время он соображал и никак не мог сообразить, куда Володя ходил среди ночи. Ах, да, напомнил ему грохот пронесшегося поезда, видно, ходил на станцию встречать отдыхающих из Тбилиси.

«Почему же у него такое сумрачное лицо, — думал Сергей, глядя на приближающегося Володю, — неужели только потому, что у него перехватили клиентов?». Чем ближе подходил Володя, постукивая своей палкой, тем яснее замечал Сергей, что лицо его страшно расстроено. Сергей чувствовал, что Володя все еще не замечает его, хотя не заметить его было невозможно — Сергей стоял на ясно освещенном луной крыльце.

И когда Володя поравнялся с ним, все еще не замечая Сергея, и прошел мимо с выражением глубокого страдания на

лице, с шевелящимися губами, словно он беззвучно и покорно объяснял кому-то причину своих страданий, Сергей понял, что он спит. Он находился в том лунатическом состоянии, о котором говорила жена его и которого она так боялась из-за железной дороги, проходящей рядом с домом. Видно, кто-то из постояльцев забыл закрыть калитку на замок.

Сергей знал, что у хозяев было много хлопот с получением справки в поселковом Совете для переоформления дома на наследников. И в тот раз он ее не мог получить. Там нашла коса на камень. Володя заупрямился давать взятку ввиду ясности и простоты дела, и председатель поселкового Совета решил показать характер.

Сергей представил, как Володя среди ночи, постукивая палкой, подошел к помещению поселкового Совета, может быть, дернул закрытую дверь, постоял и пошел обратно. Жалость к другу пронзила его.

Сергей вышел на пляж и пошел вдоль кромки прибоя, ступая босыми ногами по влажному холодному песку. Сознание и счастье несовместимы, подумал он. Ну, предположим, у меня в личной жизни было бы все хорошо, все равно я не смог бы оставаться счастливым, видя хотя бы такое.

Счастье — это попытка уйти от сознания. Это попытка целиком окунуться в милую суету бессознательности. Все суета, все случайно, подумал он. И историком я стал случайно, мог бы выбрать другой факультет, и полюбил случайно, потому что долго никого не любил, а была молодая естественная потребность любить, и не освети велосипедист ее ноги в тот вечер, скорее всего я не пошел бы с ней гулять и забыл бы ее в тот же вечер.

Дар жизни, подумал он, не может быть связан с такими проходящими вещами, как любовь женщины, научная карьера, гармония семейной жизни. Ради этой лживой гармонии я уже однажды сделал низость, лишив человека ночлега (пусть одна комната, пусть человек не близкий, все равно нельзя было этого делать), ради утверждения и сохранения своей мысли я чуть было не согласился на искажение ее.

Дар жизни — это видеть, сочувствовать, осознавать, принимая всю неизбежную горечь, которую приносит знание. Это единственная ценность, которую у нас никто не может отнять, если мы сами у себя ее не отнимем.

Но разве только горечь приносит жизнь? Разве не было радостью сознать этот солнечный день, это теплое море, эту дугу залива, этих юных студентов, разбросанных на берегу, этого чудного ребенка с его огромной улыбкой, эту рыбалку с ее скорпионом и даже прилив нежности к жене, когда она падала, потянувшись за воланом?

Самую чистую радость приносят вещи, которые нам не принадлежат, подумал он, и именно поэтому, именно они по-настоящему нам принадлежат. Как только то, что приносит радость, мы стараемся закрепить за собой, наступают боль и разочарование. Сколько истинной радости он испытал, когда просто осознал и развивал свою мысль на бумаге, и сколько горечи он испытал, когда попытался превратить ее в диссертацию, то есть закрепить ее за собой.

Сергей шел и шел вдоль кромки прибоя по влажному холодному песку. Иногда растекающаяся пена прибоя достигала его босых ног, и он чувствовал прикосновение теплой во-

ды, как бы не имеющей ничего общего с водой, образующей ленивую ярость прибоя.

Выражение лица Володи, особенно его беззвучно открывающийся в мучительной жалобе черный рот, то и дело вставали перед его глазами.

## содержание

|   |     |
|---|-----|
| Созвездие козлотура .....               | 8   |
| Школьный вальс, или энергия стыда ..... | 177 |
| Морской скорпион .....                  | 368 |



Литературно-художественное  
издание

искандер  
фазиль абдулович

собрание

созвездие козлотура

Редактирование и корректура  
*Марина Ляхович, Мария Богданович*

Художественный редактор  
*Валерий Калныньш*

Верстка  
*Роман Терешин*



Изд. лиц. № 0985 от 17.02.2000.

Подписано в печать 27.03.2003.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага для ВХИ.  
Гарнитура Петербург. Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 30,1. Тираж 3000 экз.  
Заказ № 217.

Издательский Дом «Время».  
113326, Москва, ул. Пятницкая, 25.  
Телефон: (095) 231 1877.

Отпечатано с готовых диапозитивов  
на ГИПП «Уральский рабочий»  
620219 Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.  
Качество печати соответствует качеству  
предоставленных диапозитивов

ISBN 5-94117-059-9



9 795941 170592